Сана Валиулина

НЕ БОЮСЬ СИНЕЙ БОРОДЫ

Роман

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сана Валиулина родилась в Таллинне (1964), закончила МГУ, с 1989 года живет в Амстердаме. Автор книг на голландском – автобиографического романа «Крест» (2000), сборника повестей «Ниоткуда с любовью», романа «Дидар и Фарук» (2006), номинированного на литературную премию «Libris» и переведенного на немецкий, и романа «Сто лет уюта» (2009). Новый роман «Не боюсь Синей Бороды» (2015) был написан одновременно по-голландски и по-русски. Вышедший в 2016-м сборник эссе «Зимние ливни» был удостоен престижной литературной премии «Jan Hanlo Essayprijs». Роман «Не боюсь Синей Бороды» – о поколении «детей Брежнева», чье детство и взросление пришлось на эпоху застоя, – сшит из четырех пространств, четырех времен. От ностальгически-акварельного поселка Руха на эстонском побережье в семидесятых годах, где «тишина, только сосны гудят над валунами, как антенны: море транслируют», с загадочным домом, в котором происходят таинственные происшествия, – через Таллинн рубежа семидесятых-восьмидесятых и скрытую жестокость советской школы и Таллинн начала девяностых, на заре «дикого капитализма», с жестокостью явной и неприкрытой, – к нашему времени, несуществующей стране и эпохе-без-перемен.

- Сана Валиулина
  - ○
  - ○ Книга 1
    - ■ Лето в Руха
    - ■ Смерть Виктора
    - ■ Дом
    - ■ SOS
  - ○ Книга 2
    - ■ Еще не зима
    - ■ Золотой мальчик
    - ■ Портрет Веры в юности
    - ■ Голова Амина
  - ○ Книга 3
    - ■ Чарли
    - ■ Один день в Дерпте
    - ■ Пикник в летнюю ночь
    - ■ Дом у моря
    - ■ Ассистент
  - ○ Книга 4

- notes
  - 1
  - 2

Сана Валиулина
Не боюсь Синей Бороды

Посвящаю моим родителям

Все события и герои этой книги вымышлены, любые совпадения с реальностью – случайны.

Книга публикуется по соглашению с литературным агентством ELKOST Intl.

© Валиулина С.

© ООО «Издательство АСТ»

Книга 1
Черный капитан

BLUEBEARD
Dearest Judith, are you frightened?
JUDITH
No, my flowing skirt was tangled,
Something caught the silken flounces.
[1]

Лето в Руха

Сначала была капитанская жена, Эрика, с узковатым эстонским прищуром на плотном лице. И сама она была плотная, без всяких там изгибов на прямоугольном теле. Изгибы – это все для городских, что на каблуках колышутся и хвостом виляют, русалок из себя строят, чтоб мужиков приманивать. А у нас тут штормит, песок, валуны и дом большой с верандой, погребом и курами, а еще и мальчишки, – тут не поизгибаешься. А там, глядишь, и свинью заведем, да вот муж не хочет, говорит, некультурно – свинья в таком доме. Ему лучше знать, он у нас по заграницам ездит, а мы и так проживем, без изгибов, чай не Мэрилин Монро.

Капитанша Эрика смеется, мама тоже, но ей не смешно, я же вижу. У капитанши платок на голове, чтобы не продуло, она из бани идет, как и мы. Вот муж вернется из Испании, будем душ ставить, чтоб было культурно, а пока в баню походим, как и все, мы не гордые.

Руки у капитанши большие, красные и пахнут селедкой. Она в знаменитом колхозе рыбу чистит. Этот колхоз на всю страну прославился своими рыбными консервами. Там у них есть такая радужная форель, они ее сами в прудах своих выращивают, а потом замасливают. Так что, между прочим, капитаншины руки не селедкой пахнут, а радужной форелью. Эту форель все так обожают, что в магазинах ее нет. Форель – она же благородная рыба, а тут еще и радужная к тому же. В магазинах пускай вон кильку продают в томатном соусе. Да перед такой рыбой мужчинам шляпу надо снимать, а женщинам – книксен делать, ну и пускай, что она в банке. Капитанша распаляется и уже не смеется, у нее за форель душа болит, а мама улыбается в сторону. Мы эту форель тоже очень любим. Ее надо есть на белой булке с маслом, и никак по-другому. Только дураки и плебеи, которые ничего не смыслят в жизни, едят радужную форель с черным хлебом.

Мы до горки с капитаншей, потом нам налево, а ей прямо через мостик, и дальше всё прямо и прямо, до богатой улицы. Там у них у всех свои ванные в домах, ну и сауны, конечно. Но сауны – это фольклор и душа, а душ – это культура и комфорт. Вот черный капитан из Испании вернется, и будет в капитаншином доме отдельная душевая, как и положено на богатой улице.

Мы в Руха каждое лето ездим. Первого раза я не помню, но тогда, говорят, в июле такая жара стояла, что Белая речка – эта та, через которую мостик на богатую улицу и к морю, – вся

высохла, и дачникам негде было белье стирать. И скатерти тоже, которые они специально из города привозят, а некоторые даже из Москвы. А еще все дети голышом по улице бегали.

И второго раза я не помню. Мне тогда два года было. Только вот что-то соленое помню и пустоту вокруг. Соленое – это, наверное, сопли со слезами, а пустота – она как тьма, только не безвидная. Это мне позднее уже рассказали, что я тогда на пляже заблудилась и долго с ревом бегала голая, пока не нашли мою маму.

А уже потом, точно не знаю когда, вдруг появилась капитанша Эрика, жена черного капитана, что начал строить дом в самом конце богатой улицы. Там, где напротив малина растет за валунами.

– Вот следующий год у нас будете, – говорит капитанша, – а у нас уже душ и унитаз новый чешский, не бледно-желтый, как у Нигулей, а нежно-голубой, и сливной бачок тоже нежно-голубого цвета.

Нигули, хоть и эстонцы, но в новом поселке живут, на Советской улице. У них квартира со всеми удобствами в кирпичном доме. Им теперь в баню не надо ходить.

К ним даже некоторые отдыхающие мыться приходят по субботам, когда в поселке горячую воду дают. Мы, правда, у них никогда не были, мама говорит, у них к нам нет интереса. К ним все больше их друзья ходят мыться, москвичи с московскими консервами, с икрой черной, например, а с нас брать нечего. «Мы не бедные, – говорит мама, – мы интеллигентные. У нас другие ценности, мы не хлебом единым». «Ой, замечталась, нежно-голубая, – смеется капитанша, – а кто огурцы солить будет? Я ведь Нигулей уважаю, но боюсь, они болеть скоро будут, ведь эстонец без земли – это что? На него так вся зараза сразу липнет, даром что квартира со всеми удобствами. Ну что, придете ко мне следующее лето ванную-туалет смотреть?»

Мама кивает, а сама плечами пожимает, не поймешь ее. Но капитанша уже далеко, вот она по горке спустилась, вот по мостику идет, а вот уже по склону поднимается к богатой улице, к дому своему, где черный капитан уже первый этаж кирпичом обложил.

Так что капитанша Эрика появилась в Руха вместе с этим домом, ее из наших никто не помнит и не знает, где она раньше жила, хотя поселок и маленький. А вот черного капитана никто пока из наших так и не видел. А от местных толку мало, у них с капитаном свои счеты, он ведь не здешний, а с острова, где когда-то шведы жили, а теперь пограничная зона. Там кроме шведов еще и мореплаватели когда-то обитали, вот он и решил стать

капитаном, а то на суше ему душно и неуютно. Он на сушу приплывает только дом строить, и всегда осенью, чтоб до морозов. А нас уже тогда никого нет, вот мы его и не увидим никак.

«Ну уж, только дом строить, детей же он успел двоих сделать, – это у нас москвичи такие, всё своими именами называют, раскрепощенные, как мама говорит. – Значит, у него и самый главный инструмент работает. Значит, в порядке мужик».

Москвичи вообще всё лучше знают, все-таки в столице мира живут, это уже папа говорит. Они, например, знают, почему капитан черный. «Дак на этом острове шведы жили? Жили. Так вот, это были не просто шведы, а прибрежное шведское племя, там у них какое-то смешение произошло с аджарами в одиннадцатом веке, так что волосы у этих прибрежных шведов цвета вороньего крыла, а что такого? Вон в Грузии мегрелы же живут, рыжие с голубыми глазами. Вот вам и капитан с черными аджарскими кровями. Усекли?»

Мы-то усекли, но, когда мама спросила капитаншу, чтобы москвичам нос утереть, так ли это, та только хмыкнула и московскую версию не подтвердила. Но и отрицать не стала. Так, кроме москвичей, никто и не знает, почему его черным капитаном называют.

Мы когда в дальний лес ходим чернику собирать, то иногда идем по богатой улице. Просто так, для разнообразия, а заодно чтобы на дома их высокие поглядеть, на стены крепкие. Там у них в садах сосны и березы – выше, чем в лесу, а между ними гамаки висят. А еще там камины кирпичные, на них камбалу коптят. И стулья деревянные ленивые с откидными спинками, чтоб эту камбалу есть или загорать. А еще на богатой улице у каждого дома машина стоит. И всегда там кто-нибудь эту машину чинит или моет.

В самой же Руха песок и пыль кругом, и камни, и даже главная улица, Советская, которая, как река, делит Руха на две части, эстонскую и русскую, хоть и заасфальтирована, но все равно пыльная, и в ухабах и колдобинах, и поэтому очень машины портит и пачкает.

«Вот в Финляндии на дорогах ни пылинки, и они у них там как выглаженные, там машине рай, только езжай себе и радуйся, – говорят эстонцы. – И не плюет никто на улице, а все потому, что частная собственность».

А какая малина в садах растет на богатой улице, ее аж за километр видно. В лесу она еще мелкая, кислая, рот сводит, а на богатой улице уже вся соком изнемогает. Вот она ветки свои тяжелые через изгородь раскинула, соблазняет, но мы зубы

сжали, терпим, потому что знаем: у кого здесь дом, тот все видит через стены, штакетники и заборы.

Вообще-то богатая улица не очень длинная, но идти по ней дольше, чем по лесу. Это потому, что в лесу все понятно, там все свое дело делают, фитоценоз поддерживают. Сосны на дорогу хвою бросают и под ноги расстилают, а под соснами муравьи шастают, иглы эти хвойные в муравейники тащат, сверху солнце мох изумрудит и смолу сосновую по воздуху разливает, травы разные и кусты черничные кислород в атмосферу выдыхают, с запада же море шумит, волны свои песчаные на берег гоняет, сушу песком кормит.

А на богатой улице все такое таинственное, превознесенное. И сосны и яблони их величественные, и стулья ленивые, и камины с камбалой, и ноготки и ромашки на клумбах, и даже пустые стаканы, что на деревянных столиках стоят. И сами они и дети их беловолосые, в разноцветных финских колодках и в американских джинсах. Дочки их в розовых брюках клеш на траве в кукол играют, а куклы эти не простые, а тоже американские и надменные, с высокими шеями. Они им маленькой щеточкой волосы расчесывают и наряды все время меняют, чтобы те были довольные.

И ведь ни о чем уж таком таинственном они на богатой улице и не говорят – я ж по-эстонски понимаю – а так, как все люди, в саду между собой перекликаются, чего-то спрашивают, и орут друг на друга, и чихают, и чешутся, и комаров давят, всё как и мы.

С некоторыми мы даже знакомы. Вот, например, Кульюс, он директор школы, где мы отдыхаем, и недавно сюда переехал. Он с мамой всегда здоровается, когда мы мимо его дома проходим. Правда, дом его не совсем на богатой улице, а чуть в стороне, на Пионерской. Он раньше в школе жил, около бассейна, а теперь здесь себе дом строит. Кульюс, когда маму видит, сразу все дела бросает, даже если машину мыл, и бегом к забору. Один раз даже так торопился, что опрокинул ведро с мыльной водой. А мама тогда чуть краснеет, может, ей неудобно, что директор школы в тренировочных штанах и в белой бельевой майке ей у забора рукой машет. Она говорит, что Кульюс порядочный человек и мужчина. Он нам один раз вместо большого класса, где пятнадцать человек отдыхает, маленький класс устроил в школьном общежитии, на шестерых. И раскладушки дал новые, и плитку электрическую поменял, потому что старая плохо нагревалась и на ней яйца не жарились и «Петушок», югославский суп из пакетиков, никак не закипал, так что у нас на зубах вермишель хрустела. И взамен ничего не попросил.

Поэтому, когда мы подходим к Пионерской улице, мама теперь всегда шаг замедляет, чтобы Кульюсу не надо было так бежать. Она ведь вообще-то быстро ходит, бодрым шагом, и нас так воспитывает. А папа еще быстрее, но он в Руха только на выходные приезжает, и то не всегда, он в отпуск один любит ездить.

На углу богатой улицы, у поворота к морю, замдиректора завода себе дом построил. Так у него даже два камина, чтобы гостей принимать, и машины две – себе и жене, а то ей в парикмахерскую не на чем было бы ездить. Дом у них благородного цвета. Платины. Когда он еще был не облицован, все в поселке гадали, а рабочие даже поспорили на бутылку, какой же цвет замдиректора с женой выберут. А как увидели, сначала очень подивились. Кто же свой дом в темно-серый цвет красит? А им потом объяснили, что это платиновый и поэтому самый благородный цвет. Замдиректора сам из Ленинграда, и зовут его не то Голицын, не то Милославский, а жена у него из Таллинна. Они вместе в Ленинграде в судостроительном институте учились, а теперь она на голубом «москвиче» в парикмахерскую ездит.

Но это все не мама мне рассказывает, мама гордая и «бабских» разговоров не признаёт. У нее тоже высокая шея, как у американских кукол-блондинок, но волосы черные и короткие, и она ни на кого не похожа, и на нее никто не похож, даже я. Наверное, поэтому Кульюс с ней так любит разговаривать. Он, наверное, когда на нее смотрит, все забывает: и белые «жигули» свои, которые каждое воскресенье моет, и парник свой потный с огурцами и помидорами, и дом, где он уже первый этаж успел утеплить, и жену Валве с апельсиновыми волосами, которая в универмаге работает, и своих детей в финских спортивных костюмах синего цвета с двумя белыми полосками вдоль рукавов и штанин, и всю свою трудовую директорскую жизнь с пионерскими слетами, партийными собраниями, второгодниками и двоечниками, которых неустанно делает достойными членами, и белую майку бельевую, и штаны свои тренировочные с пузырями на коленях, как у русских за Советской улицей. Ему, наверное, жена финский костюм не дает надевать, когда он с машиной возится.

Он у мамы все время одно и то же спрашивает. Когда приехали и на сколько, что надо было бы на подольше и что в этом году август обещают жаркий, и как часто нам белье постельное меняют и что должны как минимум раз в десять дней, а то дети песок в простыни заносят, и какие нынче очереди в рабочей столовой, и что лучше туда ровно к часу приходить, и

что в ресторане простым учителям слишком дорого, и про работу ее и про меня. На меня он, правда, никогда не смотрит – наверное, чтобы времени не терять. Хотя нет, один раз взглянул мельком, поморщился и сказал, что на маму я совсем не похожа. А я сказала, что похожа без очков, что у меня ее овал лица.

Но он и слушать не стал, все на маму торопился смотреть, как будто поймать ее хотел, как будто она бабочка редкая, залетела случайно на богатую улицу и вот-вот выпорхнет, и останется Кульюс опять один со своим домом, женой и машиной. Поэтому, когда он прощается, лицо у него, как будто ему себя жалко и чего-то стыдно, я же вижу, хоть оно у него и под большими очками.

Раньше богатая улица кончалась платиновым домом, то есть на углу Морской, что к морю ведет, как и все дороги в Руха. Вообще-то богатая улица на самом деле Лесная, она в лес идет. Но ее так уже давно никто не называет, хотя богатые только за границей живут, а у нас все равны. В общем, напротив дома замдиректора лес как стоял, так и стоит. А вот с противоположной стороны богатую улицу удлиняют, новые дома строят. Мы обычно сразу на Морскую заворачиваем, в приморский лес. А если прямо идти, по новой богатой улице мимо новых домов, там, где справа валуны, за которыми малина дикая растет, то выйдешь прямо к дому черного капитана. Мы так тоже иногда ходим, если сначала заходим за знакомыми со Спокойной улицы, чтобы вместе за черникой идти. По дороге моя сестра и двоюродный брат сразу за валуны бегут малину собирать, и я за ними, но только до дома черного капитана.

Там мне уже никакая малина не нужна, я черного капитана хочу увидеть. Я точно знаю: он где-то здесь, в доме своем, где веранда не застекленная, как у всех, а слепая, кирпичная и с иллюминаторами. По четыре иллюминатора на каждой стороне, всего двенадцать. Черного капитана толстая Эрика прячет, а по ночам дом заставляет строить. Я однажды слышала в универмаге, как Валве Кульюс говорила, что там по ночам инструменты стучат и пила визжит. А соседи что? А что соседи? Они городские, богатые, им дом днем строители строят, а ночью там никого. Они там пока не живут, а те, что через дом, так они там тоже пока только стены утепляют, у них там один глухой старик ночует, дом сторожит. И собак они еще не завели. А через два дома, которой деревянный, из подпаленных досок по финскому образцу, так те да, те один раз ночью выходили посмотреть, но так ничего и не увидели. А как в сторону капитанского дома направились, так все сразу и стихло.

Я у мамы спросила, а она говорит – ерунда и бабские

разговоры. Этой Валве больше делать нечего, как языком чесать и тряпки импортные продавать из-под прилавка. А когда я у нее спросила, почему Эрика тогда никого в дом к себе не пускает, и в сад тоже, мы с ней всегда за калиткой разговариваем, то мама сказала, что – не доверяет, боится, что поломаем что-нибудь или испачкаем, а в саду наступим куда-нибудь не туда и истопчем, и что для некоторых дом важнее души, никто же не любит, когда в душу лезут, и вообще, не все же, как мы, не хлебом единым. Или, может, чтобы не угощать – растворимый кофе – дефицит и дорогой, а чай эстонцы не пьют. А то, что мальчишки ее ни с кем не дружат, так это всё от воспитания и чтобы друзей своих в дом не таскали.

А я все-таки думаю, Эрика его прячет. Вдруг он убежит, и дом недостроенным останется. В Руха же много красивых дачниц, а у Эрики ноги и руки толстые, глаза узкие, и ходит она всегда в одном и том же бордовом кримпленовом платье с мокрыми подмышками. А черный капитан красивый, я точно знаю, ну и что, что его никто не видел. Волосы у него цвета вороньего крыла, как москвичи говорят, лицо бронзовое и точенное солеными ветрами, а глаза лазурные, как испанское море.

Так что когда мы по тропинке за капитанским домом к Спокойной улице заворачиваем, то я, если в саду никого, вдоль забора иду близко-близко и медленно, почти к нему прислоняюсь. Маме не нравится, что я забор обтираю, но она за разговорами меня забывает. А я в каждый иллюминатор по очереди смотрю, пока мы сад огибаем. И все жду, не мелькнет ли в них что-нибудь. Но в иллюминаторах этих тьма и они молчат, как рыбьи глаза.

С Эрикой мы познакомились, когда еще жили в школе. Но уже не в большом классе в розовом доме, где нас отдыхало пятнадцать человек. Нам в то лето Кульюс как раз выделил маленький двухсемейный класс, всего на шесть мест. Для нас троих и для учительницы из Тарту с двумя детьми. И школьной доски в этом классе не было, только раскладушки, а в углу парта с новой плиткой. Мама радовалась, а мне было жалко. Мы в большом классе с другими детьми всегда наперегонки бегали, когда дождь шел. Раскладушки же были вдоль стен расставлены, а парты свалены в углу друг на друге, так что посередине места – как на спортивной площадке. На нас кричали, что мы все побьем, но мы все равно бегали и даже в пятнашки играли, и не боялись, что в угол поставят. Углы-то все были заняты, так что ставить нас было некуда.

Мама еще все радовалась, что нас всего две семьи на одну плитку и что с яйцами или с супом не надо в очереди стоять или

ругаться, кто первый подошел со своей кастрюлькой. Она же гордая и выросла не в коммунальной квартире, и ей все это в тягость. А другие учительницы, те, что из России, у них опыт. Мы поэтому, чтобы себя не унижать, иногда в ресторан ходили обедать за сумасшедшие деньги. Рабочая столовая тогда еще только рабочих кормила.

А с учительницей из Тарту она быстро подружилась. Потом Кульюс сказал, что он специально ее к нам подселил, знал, что они с мамой сойдутся характерами. У мамы ведь темперамент не балтийский, а степных широт. Мама только фыркнула, а нам объяснила потом, что, мол, Кульюс думает, он великий психолог, потому что у него партийный билет в кармане, и что пускай он свою жену изучает, а она как-нибудь сама со своим темпераментом разберется. Но все равно очень радовалась, и мы с этой учительницей и ее детьми каждый день на пляж ходили. Дочка была меня на год старше и не вредная, а сын сам по себе. Они меня не дразнили, что я в очках, а дочка, ее Марис звали, меня даже за руку брала, хотя у меня тогда диатез был между пальцами.

Вот тем летом мы с Эрикой и познакомились, они как раз первый этаж построили, и черный капитан опять в море ушел деньги зарабатывать на кирпич и финский санузел.

Мы тогда целыми днями купались. С утра на пляж, потом домой обедать, а потом опять на пляж и в море. Марис вообще из моря не вылезала, даже если вода была холодная. Мы сначала думали, это потому что у них в Тарту моря нет, а потом нам объяснили, что у нее такое заболевание теплообмена – она холода не чувствует. А вот от жары ей сразу плохо становится. Так что она, даже если холодно, в море часами может сидеть.

Я уже точно не помню, как именно мы познакомились. В Руха вообще все друг друга давно знают, и местные, и дачники. А если кто новый появляется, то он вроде тоже как свой, как будто всегда здесь был, только вот по улице не ходил, а теперь вышел – и все его сразу узнают и привечают. Помню только, стоим мы с ней у мостика на Белой речке и разговариваем. Она к себе идет, а мы на пляж. И она все говорит и говорит о белых кирпичах, которые им форельный колхоз обещал, и о шифере, что он дешевле, но они все равно черепичную крышу будут делать, и что весь крыжовник в этом году божьи коровки сьедят, и что этим летом грибов точно будет много, и она теперь банки собирает, что радужную форель скоро тоже в стеклянных банках будут консервировать, что это культурнее, но тяжелее – это она про москвичей, они же эту форель в Москву возят, и что, как первый этаж окончательно построят, сразу собаку заведут, а мальчишки

всё черного капитана просят обезьянку им привезти, просто мечтают наверное, чтобы она полированную мебель погрызла и занавески порвала, а мебель эту они уже через полтора года хотят заказать, когда второй этаж будет.

И мама ей поддакивает, а сказать ей нечего – мы же в малогабаритной квартире живем и мебель у нас не полированная, а про шифер и черепицу она вообще ничего не знает. И учительница из Тарту молчит, хоть она тоже эстонка, как и Эрика. А у Марис лицо вдруг побелело, и все веснушки пропали, и губы синие, как от холода, и рука, мы с ней за руки ходим, хоть у меня и диатез, холодеет, вот уже как ледышка. Мы ведь пока капитаншу слушали, на жаре стояли. Хорошо еще, внизу Белая речка, мы Марис сразу туда повели и в воду посадили, а Эрика пошла себе дальше, как будто недовольная, что недоговорила про свой дом.

У них тогда еще веранды не было, ну и иллюминаторов тоже, конечно. А погреб они сразу вырыли, чтобы там соленья всякие держать. Как же Эрике без погреба? Она без него и дня не может прожить. Она маме так и сказала: ни одного дня. А мама опять поддакивает, а сама усмехается, а Эрика ей говорит, что она теперь в огурцы обязательно лист черной смородины ложит. Так и говорит: ложит.

Я уже тогда стала подозревать, что Эрика черного капитана прячет. Поэтому она всем часами про свои соленья рассказывает, чтобы все думали, что в погребе у нее только банки стоят и бочонки с квашеной капустой. А на самом деле она там черного капитана морит, днем его успыпляет, а ночью заставляет работать.

Когда я это поняла, то стала наблюдать за Эрикой. Как она говорит, не дрожит ли у нее голос, твердые ли руки, не переступает ли с ноги на ногу, не выступает ли у нее пот на лбу, не вспыхивает ли вдруг, как мама, когда Кульюс к ней бежит, не отводит ли глаза, не вздрагивает ли без причины. Но по ней ничего не видно. Руки, как всегда, толстые, спокойные, картошку держат или капусту, которую она у русских покупает для квашения. И в глазах узких все ровно, темно и тускло, как в тине, она их не отводит, но и прямо не смотрит, будто ей все равно, с кем разговаривать.

Я еще хотела за ней следить, как шпион, но мне мама в то лето только до Белой речки разрешала одной ходить. Боялась, наверное, что я опять заблужусь. А сестру мою на богатую улицу не уговоришь пойти. Ей там скучно. Она в лес хочет или к морю. Тогда я шесть батончиков «Березка» накопила, она их еще больше любит, чем я, и мы к дому капитанши пошли. Я ей ничего про

капитаншу не сказала, у нее в Руха подружек много, вдруг она им проболтается, и все узнают про тайну черного капитана. Я ей три батончика сразу дала, а три на потом оставила.

Мы до капитанского дома дошли и остановились, а она уже обратно хочет, ей скучно, малина-то за валунами еще зеленая. Я к калитке подошла и на дом смотрю, на дверь деревянную, за которой коридор должен быть, и лестница вниз, и железная дверь с замком в погреб. В саду никого, собаки же у них пока нет, мальчишек тоже не видно, и тишина, только сосны гудят над валунами, как антенны, море транслируют.

А я стою, и мне вдруг как-то пустынно становится, не по себе, как будто я заблудилась и мне надо дорогу искать, а я стою и боюсь пошевелиться и слово вымолвить, ведь меня все равно никто не поймет, как тогда в песках у моря, никто же моего языка не знает, и тогда мне снова надо будет плакать. Вот так все стою в тишине и смотрю на дверь эту, за которой внизу в тьме безвидной спит черный капитан с глазами цвета испанского моря, так крепко, что и сам не знает, что томится. Тут меня сестра за руку дернула, и я сразу все услышала: и визг пилы у городских соседей, где строители дом строят, и гул моря в соснах, и сестру, которая батончики клянчит, и лай собак на богатой улице, и саму капитаншу.

Она мне по-эстонски из сада кричит: «Девочка, тебе чего?», как будто не узнаёт меня. А я ей не верю, я же одна в Руха в очках, меня здесь все знают. Я ей ничего не ответила, а она опять кричит, чтобы мы в лес шли играть, нечего нам здесь у чужих садов тереться. Так я тогда ничего и не увидела.

А Марис я все рассказала про черного капитана. Она в Руха первый раз, и я у нее одна настоящая подружка. И Эрику она не любит, ведь это она из-за нее тогда чуть в обморок не упала у Белой речки. И что усыпляет его мертвым сном, а волосы его цвета вороньего крыла привязывает к кровати, к железным прутьям у изголовья, а ночью, как лунатика, из погреба выводит работать, а сама за соседями следит из окна, и что дом свой специально в конце улицы строит, где поменьше народу и красивых дачниц, а нам всем зубы заговаривает про стройматериалы и соленья, чтобы отвлечь нас от черного капитана. Марис мне сначала не поверила, а потом согласилась со мной ночью к капитаншиному дому пойти.

Мы с ней всё заранее приготовили. Сандалии в коридор поставили, сразу за дверью под парту, чтобы ночью босиком по комнате идти. И свитера туда же положили, а под ночной рубашкой оставили шорты. Я в карман маленький фонарик засунула и перочинный ножик. А Марис – дропсики шоколадные.

За ужином мы сначала все время хихикали от волнения, так что мама стала на нас странно поглядывать, а потом я Марис под столом сильно наступила на ногу, и мы стали смотреть в разные стороны, чтобы не встречаться глазами и не смеяться. А после ужина на нас уже никто внимания не обращал. У сестры моей песенник, ей вообще ни до чего, она туда каждый вечер новые песни записывает и фотографии певцов с гитарами специально между куплетами расклеивает, чтобы было красиво и томительно. А брат Марис сам по себе, он хоть и высокий, но его не видно совсем, он какими-то своими делами невидимыми занимается. То ли думает, то ли влюбился.

Когда все уснули, сначала я встала, как будто в туалет, и дверь в коридор открытой оставила для Марис. А ее раскладушка рядом с дверью. Она сразу после меня вышла и дверь закрыла. А сандалии мы решили уже на улице надеть.

Мы тогда рядом с бассейном жили, в глубине школьной территории. Так что нам до Советской улицы надо было мимо голубого дома пройти через баскетбольную площадку к розовому дому, где скверик с акациями, потом направо свернуть и через дорогу, а там уже и Дом моряка над спуском к Белой речке и богатой улице. Фонарик нам не понадобился, так ярко луна светила, и дома – и голубой, и розовый, и зеленый – все как выцвели, но при этом блестели, глядя на нас неподвижно глазными впадинами, а деревья, наоборот, почернели и колыхались. Так мы и шли с Марис, прижимаясь к стенам, и я на всякий случай переложила перочинный ножик из кармана в руку, а когда дошли до баскетбольной площадки, то побежали, чтоб было быстрее и не страшно.

До розового дома добежали и остановились. И так у нас в ушах колотило, что ничего не было слышно. А потом у Марис закололо в боку, она хотела сесть на ступеньки у входа, но я ей говорю, что так еще хуже будет, я же знаю, я гимнастикой занимаюсь, надо наоборот, дальше идти бодрым шагом и ровно дышать. Или хотя бы дойти до акаций, там есть скамейка, и нас там не будет видно. Но Марис все равно села, и тут нас мама и догнала с учительницей из Тарту. Они, оказывается, все это время шли за нами, их брат Марис разбудил, за то, что она сказала, что он влюбился. Мама меня не ругала, а только сказала, что я ее очень расстраиваю, потому что эгоистка и не думаю о ее больном сердце. А учительница из Тарту с Марис обратно пошли отдельно, и она тоже ей всю дорогу что-то говорила. И Марис тогда даже заплакала. Ведь мама у нее мать-одиночка, ей и так трудно в жизни, и Марис ей очень жалко, что у нее нет папы, как у всех детей, и она даже думает, что зря родила ее на страдания.

Это мне Марис уже потом рассказала. А мне мама, наоборот, всегда говорит, что она чуть не умерла во время родов и что поэтому я просто обязана быть счастливой. Ведь не зря же она тогда чуть не умерла, если бы не врач с золотыми руками, который дежурил в то воскресенье в роддоме.

Так я и не дошла ночью до дома черного капитана, ни тем летом, ни следующим, когда к нему прилепилась веранда с иллюминаторами, тихими и глубокими, как рыбьи глаза.

И Марис больше в Руха тоже не приезжала. Так что теперь я одна следила за капитаншей и ее домом. Однажды, когда мы проходили мимо него и я, как всегда, прижималась к забору, чтобы лучше видеть, в третьем иллюминаторе на торце веранды что-то замерцало. Словно кто-то давал световые сигналы: спасите мою душу. Только я заволновалась и остановилась, как вдруг появилась капитанша. И опять сделала вид, что меня не знает, мама-то уже вперед ушла: «Иди давай, нечего здесь стоять, в лесу малину надо собирать, а здесь нечего».

Я только рот раскрыла, чтобы сказать ей, что мне ее малина не нужна и что я все знаю про нее и про черного капитана, как Эрика повернулась и исчезла так же внезапно, как и появилась. А когда мы ее встретили на следующий день около универмага на Советской улице, то она сразу начала маме говорить, что пускай вон другие в очереди стоят за импортными тряпками, а ей муж из Португалии чулки-сапоги лакированные обещал привезти и белые брюки клеш кримпленовые. Я тогда ей прямо в глаза ее тинистые стала смотреть, чтобы она знала, что я все знаю, но она на меня даже не взглянула, но не так, как Кульюс на меня не смотрит, когда с мамой разговаривает, а как-то по-другому, не по-настоящему, как-то очень специально, и потом так быстро попрощалась и пошла дальше, что мама даже удивилась. Она же вроде ей ничего обидного не сказала.

А один раз я у нас на кухне слышала, когда москвичи там грибы варили и между собой трепались, что черный капитан – это местный фольклор и опиум для страждущих. Никакого черного капитана с аджарскими кровями и орлиным профилем и в помине нету, вы еще скажите, что у него повязка на глазу, вместо ноги протез из китового уса, а на плече попугай сидит и кричит: «Пиастры, пиастры». А есть просто обычный белобрысый эстонский моряк советского торгового флота, который плавает в иностранные воды и сбывает там обычное советское сырье, а в обмен на пюссискую древесину, коричневое золото из ихнего Кивиыли и текстиль из Кренгольмской мануфактуры, ну, может, нефть еще, привозит джинсовые костюмы и юбки адидас и леви штраус, и турецкие дубленки, и итальянские болоньи, и уж точно

нейлоновые черные колготки, которые сейчас в моде. А Эрика потом все это перепродает за бешеные деньги, чтобы стройматериалы покупать. У нее дома, наверное, целый склад джинсовый. Поэтому она никого к себе в гости и не зовет и одевается как колхозница, чтобы не подумали чего. И к тому же, согласитесь: как такая, мягко говоря, непривлекательная особа могла найти себе красавца-мужа. Этого просто не может быть.

Я тогда не знала, верить им или нет. Москвичи же очень просвещенные в своей столице мира. Но мы тоже в столице живем, хоть и не мира, но Эстонии. И у нас финское телевидение есть, а у них только программы с русской народной музыкой и танцами.

Мама мне сказала, чтобы я поменьше болталась на кухне и слушала всякие сплетни. Она вообще к москвичам скептически относится. Ну, во-первых, они слишком раскованные, а во-вторых, все время плиту занимают грибами. У них целый день кастрюльки кипят, а потом они эти грибы вареные сразу в банки с солью закатывают, чтобы в Москву везти, на зиму.

Правда, я тогда совсем недолго сомневалась. Я быстро поняла, что им не верю. Я бы и им объяснила почему, но ведь они никого, кроме себя, не слышат. Только если про грибы говорить, или про когда горячую воду в поселке дадут, или что в универмаг польские плащи обещали завезти.

А я, как поняла, даже огорчилась сначала. Какая же я все-таки дура, что сомневалась в черном капитане. Как я могла? А он вот почему существует. Хотя в прошлом году, когда Марис здесь была, мне бы это даже и в голову не пришло. А этим летом у меня в Руха нет настоящей подружки и я меньше отвлекаюсь на дружбу. Все равно странно, ведь и тогда у Эрики были ее мальчишки, и я даже спрашивала у мамы, почему они всегда одни играют, ведь на богатой улице много других детей. И сама Эрика на них маме жаловалась, что с грязными ногами в дом бегают, что обезьянку просят привезти, что она боится мебель полированную заказывать, они ее со своей обезьяной сразу всю общарапают, и что ленивые они и уроки не любят делать.

Я же это все слышала и часто их видела, но только сейчас поняла, почему москвичи неправы. Все дело в ее сыне, Томасе. Он на год старше Мати. Если бы у капитанши был один Мати, я бы, наверное, москвичам поверила. Мати беловолосый и плотный, как капитанша, а глаза у него блекло-зеленые, цвета осоки в дюнах. Он сын того бесцветного моряка советского торгового флота, с кивиылиским сланцем и древесиной, и с чемоданами, набитыми джинсами и колготками, о которых тогда москвички за своими кастрюльками говорили на кухне. И капитанши Эрики,

чей он точная копия.

А Томас такой красивый, что на него даже смотреть трудно. Может, поэтому я его и не видела все это время, как будто он и его имя были разделены и только этим летом вдруг соединились в моем взгляде. Томасу подходит слово «трагический». Мама это слово очень любит, и москвичи тоже, а папа его редко употребляет, но, по-моему, часто думает.

Трагическая история, трагическая судьба, трагическая любовь, трагическая жизнь, трагический герой, трагическая героиня, трагическая смерть. И мне это слово нравится – оно такое загадочное, притягательное, как море ночью, когда мы купаться ходим всей компанией. И такое же грозное и недостижимое, как небо, куда впадает это ночное море, когда поглотит горизонт. А капитанша этого слова и не знает вообще, хотя сын у нее трагический; или забыла, или оно ей на нервы действует. А может, ей просто некогда. Ей же надо деньги на кирпич копить, и на черепицу, и на мебель полированную, и на новый унитаз. Она недавно чешский раздумала покупать, все говорят, что финская сантехника самая лучшая в мире. В колхозе ей обещали с унитазом помочь, у них там с Финляндией братские связи. Так что теперь у нее незапланированные расходы, финский-то унитаз намного дороже, он же с настоящего Запада, но она не унывает, а наоборот, ведь главное – цель в жизни.

А у Томаса волосы цвета вороньего крыла, как и у черного капитана. Я таких волос ни у кого не видела, ни в Руха, ни в Таллинне. И кудрявые, но не барашком, а такими небрежными волнами. Глаза у него неуловимого цвета, но скорее зеленые, только не как у Эрики или у Мати, а переливчатые, как морская зыбь. В них то небо отражается, то мох под соснами, то солнце в них золотится, а то из них весь цвет исчезает и появляется трагическое. Но он редко на других смотрит, как будто и ему это трудно, будто он себя стесняется.

У них с Мати нет спортивных костюмов финских, как у других детей на богатой улице, или им капитанша их носить не разрешает, бережет. Но Томас и в старых сангаровских шортах и коммунаровских сандалиях возвышенный, хотя и стеснительный. А что трагический, так это потому, что отец его томится, и на нем его томление сияет.

И Эрика его как-то по-другому ругает, чем Мати. Я однажды их в саду видела у веранды, когда за валунами малину искала. Мне тогда мама уже одной разрешала ходить за Белую речку. Капитанша кричала, что он разгильдяй, и что она Кульюсу пожалуется, и что он опять грядки не полил, а Томас молчал. А потом она руками стала размахивать около его лица, а он только

отошел в сторону и опять молчит, голову опустил, но не убегает. И тут она как завопит, что лучше бы он и не родился вообще, и были бы у нее Мати и другой ребенок, который бы ей помогал в ее трудной жизни.

А Томас поднял голову и улыбнулся, я за ближайшим валуном сидела, так что мне хорошо было видно. И стал на нее так смотреть, как будто все про нее знает, и про отца своего, черного капитана, будто он сторож отцу своему, которого она мучает, а он, Томас, знак мучений его трагический на себе носит, чтобы она не забывала, поэтому она так его и ненавидит. У капитанши сначала руки упали вдоль тела, как тряпичные, а потом она одной рукой размахнулась да как двинет его по лицу. Томас отвернул лицо в сторону и стоит, а капитанша на руку свою посмотрела, которой его ударила, о платье обтерла и пошла прочь. А я сижу за своим валуном и вижу, какой он красивый и гордый. Щека у него горит, а он стоит себе и ничего не делает, а потом вдруг засвистел, руки в карманы сунул и тоже пошел.

А я все сидела на корточках, и смотрела на сад, на пустое место между грядками, где они только что стояли друг против друга у поленницы под навесом, и на веранду с тихими иллюминаторами, и все ждала, что вот откроется дверь и выйдет черный капитан. Вот он восстанет на крыльце, прищурится и приставит руку козырьком ко лбу, чтобы на солнце посмотреть, и засвистит, как Томас. Вот он вытащит пачку сигарет из кармана, и закурит, и спустится в сад, а потом повернется и пойдет легко и скоро сына своего искать, и будут ноги его, как вихри, и будут волосы его пылать на солнце, как черное пламя.

А еще через год мы опять приехали в Руха. И я стала спрашивать тех дачников, которые здесь с начала июня отдыхают, не видели ли они черного капитана. Но они только отмахивались и плечами пожимали: что за глупый вопрос, все же знают, что он летом в море. А когда я у Кульюса спросила – он как раз маме советы давал у своей калитки, – то он меня как будто и не расслышал вовсе и опять сказал, что я на маму не похожа. А мама ему ответила, что да, я папина дочка, что он тоже блондин в очках и тонкая натура.

Томас за год вытянулся, а шорты на нем те же самые, сангаровские. А Мати потолстел и ходит в длинных финских спортивных штанах, даже в жару. То ли ног своих стесняется, то ли штаны показывает, что не хуже, мол, чем у детей на богатой улице. Томас, с тех пор как его капитанша ударила, еще более красивый стал и отдаленный. Раньше он себя как будто стеснялся, а сейчас ходит, словно ему до себя и дела никакого

нет. И от этого он еще более трагический, как один поэт, который в прошлом веке в юности погиб на дуэли. У этого поэта тоже очень красивое лицо, и волосы черные, блестящие, и смотрит он со своего портрета, будто ему все равно, есть ли он или нет его. И даже, может, было бы лучше, если бы его и не было – художнику было бы меньше работы, а ему не надо было бы смотреть на мир скорбными глазами и делать вид, что он существует.

На Эрике теперь платье без рукавов, белое с синими полосками, а на них по диагонали красные цветочки рассыпаны. Они за это время еще пол-этажа облицевали и сауну начали строить. В глубине сада, там, где за забором сразу лес начинается, который разделяет богатую и Спокойную улицы. «Душ душем, это, конечно, гигиена и культура, – говорит капитанша, – а сауна – это здоровье, оптимизм и хорошее настроение. Сауна – это базис».

Мне не нравится слово «базис», оно какое-то бетонное, а в бетон, например, человека можно замуровать навеки. Я это в фильме видела про итальянскую мафию. Там одних людей засунули в жидкий бетон, а потом его как базис использовали для моста или башни, а может, и жилой дом на нем построили.

Мы это слово недавно в школе проходили, вместе со словом «надстройка», с которым они неразрывно связаны. Мне и слово «надстройка» не очень нравится, хотя оно означает что-то вроде счастья. Правда, это не простое счастье, а обусловленное, его только на базисе можно построить. Так что не так уж они и неразрывно связаны. Ведь базис может и без надстройки обойтись, а вот наоборот… Вот и получается, что базис главнее, и капитанша совершенно права, что так о нем заботится. Ей и слово это очень нравится, она его сегодня уже несколько раз повторила, как будто недавно выучила и боится забыть. Хотя по-эстонски – «баааазис» – оно звучит не так сурово, как бетон, а скорее как жидкий бетон, который еще не застыл, а значит, не так окончательно и бесповоротно, как в русском. Как будто оно еще подлежит обжалованию и есть еще слабая надежда для этих двоих из фильма про итальянскую мафию, перепуганных до одури, как курицы, которых ловят в суп. И для всех других строптивых и чистоплюев, тех, короче, что сразу хотят в надстройку и не желают пачкаться в грязном котловане с базисом. Ишь, какие хитрые.

Так что капитанша за этот год поумнела и полностью убедилась, что идет по правильному пути к базису. Они, когда сауну построят, будут туда гостей приглашать, как все делают на богатой улице. И москвичей тоже, образованных, чтобы мальчишек развивать. И никаких консервов им московских не

надо, у них свои есть, не хуже. Это они в блочных домах за консервы и сырокопченую колбасу в душ пускают, хотя так прямо не говорят, конечно, но все же знают. А пока работать надо не покладая рук, базис строить. Вот только с Томасом что-то не то. Ни учиться не хочет, ни по дому помогать, и все ему все равно. И с Мати ссорится все время. Не дай бог, скоро курить начнет. А недавно, в мае это было, плевательный конкурс организовал, прямо на нашей улице. Да еще напротив дома замдиректора, где Морская улица начинается. Нет, Мати не участвовал. А так их точно человек двенадцать было, детей. И с Советской улицы, и со Спокойной, и даже русских пригласил, которые за Советской улицей в бараках живут. Ну и своих конечно, с богатой улицы. Там и Марика, дочка Кульюса, участвовала, третье место заняла, отец все-таки директор школы. И главного инженера близнецы, и даже парторга сын. А что было? Так он устроил конкурс, кто дальше плюнет. Сначала просто так, а потом с семечками.

Никто ж сначала не понял, что они там делают всей компанией. Тем более там и парторга был сын, и начальника отдела кадров, это того, у кого родственники в Канаде, он себе еще недавно «жигули» новые купил вишневого цвета. А тут Ану замдиректорова из окна посмотрела, больно они смеялись громко. Ну, а она как раз дома была и на балкон вышла. Смотрит, а у нее на машине что творится! Ей сверху все видно. Так у нее там крыша голубая вся семечками заплевана. Это они с валуна через забор на ее «москвич» плевали, кто на крышу попадет. А семечки русские принесли. Ну и шума было… А я говорю, нечего все на Томаса сваливать, у него отец в море, а я одна, и на мне весь дом. Вон парторг тоже не уследил, а у него, между прочим, работа такая – следить. Значит, и они детей своих несознательно воспитывают, что они все в конкурсе захотели участвовать. И Томас мой, между прочим, не курит, а вот дочку Кульюса в лесу за «Анкуром» с сигаретой видели. А Ану теперь со мной не здоровается.

Ну, Томаса на пионерском собрании разбирали, выговор вынесли и двойку по поведению поставили. Кульюс с ним еще отдельно разговаривал, но я не знаю, что из этого вышло. Он только сказал, что будет и дальше бороться и воспитывать и неустанно делать достойными членами. А Томас молчит.

Мне нравится, что Томас молчит. Ему молчание идет, как детям с богатой улицы американские джинсы. От молчания он еще трагичнее делается, еще больше превозносится, совсем как прошлым летом, когда Эрика его по лицу ударила. А капитанша от его молчания бесится, я же вижу. Она, наверное, думает, лучше бы он курил, тогда бы она знала, как его ругать. А от молчания у

него знак черного капитана еще ярче становится. Чем больше он лицо свое от нее сокрывает, тем ярче у него этот знак горит.

Томас теперь целыми днями нож метает. Это у него новое увлечение после плевательного конкурса. Ему отец из Андалузии нож мавританский привез, вот он его и метает в дерево. Или в саду, если там капитанши нет, а Мати ему не мешает – он брата своего как будто и не видит вообще, – или в лесу мелом мишень на дереве отметит и метает. И расстояние каждый раз увеличивает. Вот он уже до трех метров дошел, и капитанша ему запретила в саду метать. Боится, что в нее попадет или в Мати. А ножик у него не решается отобрать, его же черный капитан подарил. И потом, он его всегда с собой носит, а на ночь где-то так прячет, что сам черт не найдет. Когда она ему в саду запретила метать, он спорить не стал, а молча повернулся и в лес пошел. А ему еще грядки надо было полоть, и куриц кормить, и уроки делать, его же с условием Кульюс в следующий класс перевел. Она ему кричит в спину: куда пошел, когда придешь; а он раз – через валуны и сиганул в лес.

Мама по очереди кивает капитанше и головой качает. Она, как учительница, Эрику понимает, и когда капитанша Томаса опять начинает с новыми силами ругать, что целыми днями в лесу пропадает и что не ест ничего и худеет с каждым днем, то говорит, что это переходный возраст. А капитанша ей в ответ, что лучше бы он курил или дрался, как русские за Советской улицей, а так – у нее просто руки опускаются. А мне ее не жалко совсем, я же знаю, что она его по лицу ударила, чтобы знак черного капитана ей в глаза не сверкал, и руки у нее еще больше потолстели с прошлого лета, а глаза все такие же тинисто-мглистые, и ничего в них не видно. И так пристрастна она дому своему, как будто это его она под сердцем носила и до сих пор носит, а не сына своего.

И москвичи говорят, что все это переходный возраст плюс акселерация и что вообще-то драть этого Томаса некому. И что этот ваш знаменитый черный капитан детей-то сделал, а потом в море удрал денежки зарабатывать и чтоб подальше быть от своей дражайшей, и разумеется, что дом богатый – это, конечно, хорошо, и сауна у них скоро будет отличная, не хуже, чем у замдиректора, и вообще, эстонцы – народ хозяйственный и работящий, не то что наша русская пьянь, но одним домом ребенка не воспитаешь, а нужно еще что-то. Вот именно, не хлебом единым. Это уже мама добавила, и все с ней на этот раз сразу согласились, помешивая в кипящих кастрюльках и шипящих сковородках.

А я молчу, как могила, не могла же я им тайну черного

капитана выдать, что он у Эрики раньше в погребе томился, а теперь в их закрытой веранде под полом, чтобы его не увели красивые и такие же черноволосые, как и он, дачницы, и что Томас про него знает и поэтому ненавидит Эрику, а она его. Никто бы мне все равно не поверил, доказательств же у меня нет, кроме мерцания sos – спасите мою душу – в третьем иллюминаторе на торце веранды, которого никто, кроме меня, не заметил.

А потом еще кто-то сказал, какие современные дети неблагодарные и родителей своих, которые на них горбатятся и надрываются, ни в грош не ставят. А все потому, что не знают, что такое война. Вот если бы знали, что такое война и голод, по-другому бы относились к своим родителям, которые терпят от них черную неблагодарность. «Ну, Эрика, между прочим, не воевала, она тогда еще только родилась, а вот что ее родители во время войны делали, так это еще под большим вопросом», – возразил кто-то и даже оторвался на секунду от своей кастрюльки. А потом прибавил, что каждое поколение имеет право на свои трудности и нечего шантажировать детей нашими личными проблемами и собственным искалеченным опытом и тем самым прививать им свои комплексы. Мы должны растить здоровое поколение. Тут все оторвались от кастрюль и сковородок, а кто-то даже кран выключил, чтобы вода не шумела. Тогда этот первый стал очень тихо говорить, но всем было отлично слышно, в кухне же теперь тишина настала, что не для того миллионы отдали свои юные жизни, чтобы над их памятью издевалось новое поколение, и что идеологически незрелые родители хуже, чем родители-алкоголики, и что, видимо, находясь в Эстонии, которая по своему мышлению еще не окончательно изжила в себе буржуазно-капиталистические предрассудки, некоторые решили, что и им позволены различные декадентские вольности. И что кому здесь не нравится, пускай едет себе в Америку за всеми этими Бауманами и Либерманами. Ну тут уже все закричали, что никто ни над кем не издевается и что никто не забыт и ничто не забыто и вечная память павшим, а потом опять включили воду, и когда запахло горелым, то снова бросились к своим сковородкам, а мы с мамой ушли из кухни, так как после грибов на зиму москвичи сразу заняли плиту супом своим детям на обед, чтобы те не испортили себе желудок на сухомятке и не нажили язву.

Мама сказала, что у нас еще есть помидоры с огурцами и кусочек докторской колбасы и что мы обойдемся, и стала читать в журнале «Иностранная литература» современный и очень смелый французский роман про любовь и измену, которую называли

красивым словом «адюльтер». Журнал ей надо было вернуть завтра вечером, потому что после нее в очереди стояло еще шесть человек. А я все думала о капитанше и Томасе.

Вот я представила себе его лицо, как он отвел голову к плечу, когда Эрика дала ему пощечину, как затвердели в камень его губы, чтобы ни одного слова не вырвалось из них, и как он опустил глаза с длиннющими черными ресницами, чтобы не испачкать свой взгляд о капитаншу.

И что Томас плевать хотел на ее базис, хоть она и его мать и говорит, что для него надрывается. И что не хочет он в ее котловане грязном сидеть, и в чистом не хочет с голубым финским унитазом и полированной мебелью и сауной, которая будет не хуже, чем у замдиректора. И на надстройку ему плевать, которую она на своем базисе собирается строить, как будто правда думает, что виноградник ее что-нибудь другое может принести, кроме диких ягод. Как будто она правда верит, что дом ее, который черный капитан одурманенный по ночам строит, чем-нибудь другим наполнится, кроме как филинами, и бесами, и шакалами, которые выть будут в ее чертогах.

А знак этот на его лице, от которого у Эрики руки опускаются, с каждым летом будет все ярче разгораться, как знак знания мучений его отца, черного капитана. Но не будет знать Томас, что ему пока с этим знанием делать, кроме как плевательный конкурс устраивать, и вредно влиять на детей с богатой улицы, и молчать. И от этого он всегда будет такой красивый и трагический.

Мама все сидела и читала свой роман, а я вышла из комнаты и пошла на улицу. Сначала просто так, а потом около закрытой будки с мороженым повернула налево и спустилась к Белой речке. Перешла через мост и на развилке пошла налево, к богатой улице. Мимо их домов высоких, и крепких стен, и вожделенных машин, и каминов, и шезлонгов, и густых малинников, и тучных огородов с парниками, и гордых детей с американскими куклами, прямо к дому черного капитана.

Села за валун напротив сада и стала ждать. Вот Мати вышел из дому, направился к сараю, взял ведро и стал курицам корм раскидывать. Потом сел на бревно у поленницы и одной рукой начал ковыряться в носу, а другой – шишки в куриц бросать. И не заметил, как появилась Эрика да как схватит его за ухо. Мати захныкал, и она его сразу отпустила, а когда он в дом ушел, долго стояла с опущенными руками и ничего не делала. Только все смотрела куда-то, а потом повернулась в мою сторону и в лес стала вглядываться за валунами. Меня ей точно было не видно, я хорошо спряталась, но она так долго стояла и смотрела, что у

меня коленки затекли. А потом опять повернулась и пошла в дом. А я за валуны и в лес через дикий малинник. Вот я продралась через него и попала в сосновый бор вперемешку с березами. Наверху ветер шумит, кроны раскачивает, а внизу между деревьями тишина. Минут через пять я услышала легкий свист, как будто что-то воздух прорезает. Я осторожно пошла на этот свист. А там Томас, как я и думала, вжик-вжик метает свой ножик. Арабская ручка тускло золотится между соснами, и лезвие впивается в ствол. Томас его вытаскивает и давай опять метать.

Я стою и смотрю, затаив дыхание, как в тот раз, когда его ударила капитанша, и пошевелиться боюсь. А он ничего не видит, только под ноги хмуро смотрит, когда идет вытаскивать ножик, и губы у него твердые и молчаливые, а потом опять переводит взгляд на мишень, которую отметил мелом, чуть прищуривается и метает.

И все метает и метает, без устали и с распрямленной спиной, поражая белую мишень, будто это ненавистный базис, где сидит капитанша с толстыми руками, что его отца мучает, и где местные богачи превозносятся со своими высокими домами и каминами, и суетятся дачники с консервами, и шипящими сковородками, и кастрюльками с супом. Как будто он попрать хочет их базис, как грязь на улицах, и истребить, чтобы ничего от него не осталось, кроме черной раны.

Смерть Виктора

Если Советская улица, как река, рассекает Руха на два берега, западный и восточный, то Спокойная улица – это ее полузабытый, тихий западный рукав. Когда Советской улицы еще и в помине не было, а значит, и восточного побережья, и никто даже слова такого не знал – «советский», Спокойная улица была главной в поселке. Правда, Руха тогда была еще не поселком, а одним из маленьких курортов на одном из многочисленных заливов Балтийского моря.

В те времена, когда никто в Руха и не подозревал, что их поселение вскоре прорежет улица под чужим названием «Советская» и здесь возникнет целое восточное побережье, на котором поселятся дальние народы, Спокойная улица соединяла и разделяла прошлое и настоящее жителей Руха.

Через эту улицу, как через реку, они переправляли своих мертвых и хоронили их на кладбище у белой церкви. Жители Руха чтили своих мертвых, но на всякий случай выносили их из дому ногами вперед, чтобы те не нашли дорогу домой, или перевязывали гроб красной шерстяной ниткой, или же поворачивали покойника в гробу на бок, а то и вбивали в могилу осиновый кол, чтобы тот не превратился в домового. А после похорон через эту же улицу во весь опор гнали лошадей, мчась обратно в настоящее и оставляя мертвых в прошлом, под гудящими соснами за плитняковой оградой у белой церкви по левую сторону Спокойной улицы.

Что жители Руха думали о будущем – неизвестно. Это потом, когда они уже попали в это будущее, они наверняка очень удивлялись, может, просто поражались своему неведению, наивности и беспечности, а позже и нелепому героизму, с которым иные еще упирались при входе в это будущее и даже пытались бороться против него. А оно тем временем, уже изрядно наевшись, как циклоп с залитым человечьей кровью глазом, спокойно продолжало ощупывать свое новое стадо на пригодность материала для новых котлованов.

Но пока жители Руха жили в своем настоящем по правую сторону от Спокойной улицы. Ничем выдающимся и особо возвышенным это настоящее не отличалось.

Жители Руха проходили конфирмацию, работали, ходили по воскресеньям в белую церковь, пели псалмы, а в будни поклонялись камню, дереву или воде, которым по старинке и складу характера больше доверяли, чем завезенному когда-то крестоносцами христианскому небожителю, ловили рыбу в море,

растили цветы, судачили, летом играли с дачниками в кегли в приморском лесу, строили яхты и смолили деревянные купальни на пляже, где дети в широких белых панамах пускали кораблики на мелководье, а мамаши следили за ними из-под клетчатых зонтов с бахромой. А также, как им было положено отцами и дедами, женились, рожали и умирали, аккуратно поддерживая численность населения Руха на оптимальном уровне.

Раз в году, в день летнего солнцестояния, после захода солнца жители Руха разжигали за домами на вершине зеленого холма большой костер, пели и резвились, а потом гурьбой бежали в лес, чтобы поймать миг цветенья папоротника. Ведь счастливчик, нашедший цветок папоротника, становился королем мира. Самые же умные отставали и слушали, как переговариваются звери и птицы. Только в эту ночь они могли узнать от зверей тайны будущего. Так что будущее, хотя и в сугубо субъективном, личном плане, все-таки занимало жителей Руха, и уж точно – молодых девушек.

Под утро девушки возвращались домой, прижимая к груди иванов цветок, и сразу начинали обрывать лепестки. Свадьба, крестины, похороны, любит не любит, свадьба, крестины, похороны, любит не любит, свадьба, крестины, похороны, лепестки падают на мокрую от росы юбку, девушки бледнеют, краснеют, хихикают, охают и ахают, хватаясь за сердце, а потом заплетают нервными пальцами косу и еще с открытыми глазами, завороженно вглядываясь в будущее, погружаются в сон.

Мы едем по этому будущему в автобусе. Вот уже виднеется почерневший заплатанный шпиль белой церкви, а под ним кладбищенские кущи. Сразу за кладбищем поворот на Спокойную улицу, но автобус едет прямо, по бетонному мосту с дырой в ограде на самом углу Спокойной улицы. Под нами Белая речка. За мостом уже начинается Советская улица, которая через пару сотен метров расширяется в некое подобие площади, безымянной, но, наверное, тоже Советской. С одной стороны площади – автобусная станция. Пористые стены из красного кирпича, навес над заплеванным полом и две обшарпанные скамейки без спинок, но с алкоголиками. Напротив – двухэтажное кирпичное здание серого цвета. На первом этаже «Продтовары», на втором – ресторан под названием «Ресторан». Около магазина никого, значит, либо товар еще не привезли, либо все уже раскуплено. Работает ли в этом году ресторан, мы пока не знаем.

Перед магазином какой-то богач, скорее всего эстонец, садится в желтые «жигули». Когда он уезжает, на площади не остается ни одной машины, кроме нашего автобуса. Я

выпрыгиваю из вонючего салона. Меня еще мутит, но на этот раз хоть не вырвало. Мы сидели на первом ряду, где не так воняет бензином, и я весь путь, не отрываясь, смотрела вперед, чтобы не докучать своему вестибулярному аппарату. За мной выходят мама и сестра и какие-то незнакомые люди из Таллинна. Теперь я могу крутить головой сколько угодно. В Руха в воздухе разлиты йод и сосновая смола, так что он, как говорит мама, буквально напоен морем и лесом. Она уже на станции начинает глубоко вдыхать в себя целебные вещества, готовится, нам же еще с чемоданами до больницы тащиться, где нам в этом году Кульюс выделил комнату.

«Дышите глубже, девочки», – повторяет мама и справедливо, по старшинству распределяет между нами сумки и чемоданы. Пока она делает из трех пакетов один, засовывает свитера в чемодан и достает из большой сумки судки, набитые плавленными сырками, солью, сахаром, спичками и еще чем-то, я кручу головой, не жалея вестибулярного аппарата. Меня опять начинает подташнивать, но я продолжаю крутить головой во все стороны и на всякий случай даже поворачиваюсь вокруг своей оси на триста шестьдесят градусов, чтобы ничего не пропустить. Ни кирпичные красные стены, ни облупленные скамейки под навесом с тихими алкоголиками, ни покосившийся зеленый забор, за которым начинается школьная территория, где командует Кульюс, ни ресторан с тяжелыми деревянными дверями на первом этаже, где мы в прошлом году один раз ели куриные котлеты с поджаристой корочкой, ни стеклянные двери магазина, куда по утрам бежим занимать очередь за сметаной и молоком. Если бы не надо было сразу идти в эту больницу, то я сначала точно побежала бы к ресторанному крыльцу. Там, сразу за углом, течет Белая речка, а на другом берегу раскинулся яблоневый сад, в глубине которого покачивается всегда пустой гамак. Мама сует мне в руки судки и сумку с дождевиками и резиновыми сапогами. Надо шевелиться.

Но я уже успела поприветствовать Руха, наше настоящее с чужим, неизвестным нам прошлым, запрятанным на кладбище и в белой церкви на Спокойной улице, в дальнем и близком лесу, в улицах и тропинках, ведущих к морю, в отрешенной улыбке и морщинистых лицах стариков Руха.

У нас прошлого нет, могилы отцов далеко, либо их прах давно пропал без вести. Мы живем в настоящем, вместе с жителями бывшего курорта, а теперь рабочего поселка Руха, куда приезжаем на каникулы каждое лето. В том самом настоящем, на предсказание которого жителям маленького приморского курорта когда-то не хватило ни лепестков ромашек, сорванных в ночь летнего солнцестояния, ни фантазии, а местным умникам – ума,

чтобы понять, о чем переговаривались звери и птицы в волшебную ночь. А если бы и поняли, все равно бы не поверили. Ведь ни в Руха, ни в ближайших окрестностях, ни в их уезде, ни даже в столице никому и в голову не могло прийти, что самым востребованным материалом для будущего здания мира, а вернее, для его базиса, станут кирпичи уникального образца, замешанные на телах и душах жителей Руха и других курортов, хуторов, деревень, уездов и городов их маленькой страны.

Мама, сестра и я идем по этому настоящему, с его пыльным, избитым заводскими самосвалами асфальтом. Мы идем по Советской улице, без прошлого, но с тяжелыми чемоданами и сумками, ручки которых больно врезаются в ладони, и дружно вдыхаем напоенный лесом и морем воздух. Справа тянется зеленый забор школьной территории. Там, где он кончается, растут акации, а за ними виднеется розовый дом, где мы когда-то отдыхали в большом классе на пятнадцать человек. Мы поставили чемоданы на траву, чтобы немного отдышаться. Перед розовым домом белеет широкая лестница, где сидела Марис, когда мы ночью шли к дому черного капитана. Сейчас там никого, только на скамейке под акациями толстая женщина в панаме читает книгу. Наверное, учительница, как и мама, и отдыхает в одном из классов розового дома. А нам Кульюс уже в прошлом году обещал что-нибудь устроить, чтобы нам не жить в школе, и сдержал свое обещание. Поэтому мы сейчас идем в больницу, которая то ли на Лесной, то ли на Сосновой улице за Белой речкой.

На улице пусто, как и на автобусной станции. Все отдыхающие – на пляже или стоят в очереди в рабочей столовой, а местные просто так по улицам не ходят в середине дня. Мама уже впереди шагает, а мы с сестрой еле плетемся. Вот мама остановилась, с кем-то поздоровалась и сразу дальше пошла спортивным шагом, пример нам подает своей бодростью. Мы ее догнали, а она нам говорит, что это была тетя Зина, банщица и несчастный человек. Я тетю Зину тоже знаю, ее все отдыхающие в поселке знают, даже те москвичи, которые на Спокойной улице комнаты снимают. Она маленькая и худая, с волосами мелким бесом, отбеленными перекисью водорода, и с черным пробором посередине, на злых тонких губах – ярко-красная помада. Она, когда в моечное отделение заходит шайки считать, всегда кричит визгливым голосом, что нечего в парилке так долго сидеть. А еще от нее после обеда водкой пахнет.

Когда я была маленькая, я думала, что тетя Зина живет в бане. А потом оказалось, что у нее с сыном в бараке за Советской улицей две комнаты. Через этого сына она и стала несчастным человеком и прославилась на весь поселок. Он в пьяной драке

убил человека и теперь в тюрьме сидит. «Ему еще шестнадцать лет осталось, – говорит мама, когда мы начинаем спускаться по горке к мостику, и качает головой. – Детей надо хотеть и любить, а не заводить, как кошек подзаборных. Вот я всегда знала, что у меня будут две хорошие, умные дочки. Дышите полной грудью, девочки, вбирайте в себя море и сосны».

Больница – это старый деревянный дом с облупленной белой краской и с большой верандой, недалеко от Пионерской улицы, где живет Кульюс. Он нам объяснил, что в районе строят новую больницу, а эта пустует, и ее по знакомству иногда сдают дачникам. У нас здесь своя комната с тремя железными больничными кроватями. Мы хотели жить на веранде, тогда у нас было бы много света и свой вход, но сюда приедут другие люди, не через Кульюса, а через школьного бухгалтера.

Здесь лучше, чем в школе, и ближе к морю и лесу. И есть почти новая электрическая плитка, а около каждой кровати тумбочка, и свет вполне приличный, можно читать вечером. Но я мечтаю о Спокойной улице. Об ее тихих запущенных садах со старыми яблонями, об уютных деревянных домиках со стеклянными верандами, где целый день можно пить чай, о Белой речке, которая течет прямо за домами и которую слышно, если не гудит ветер в соснах. А в садах там вместо каминов и шикарных стульев-шезлонгов для загорания, как на богатой улице, мшистые валуны ледникового периода, которым миллионы лет. И люди там не надменные и превозносящиеся, а какие-то печальные. И не видно их почти, как будто они в своих домах прячутся и в тени сада, не хотят лик свой обращать к настоящему, скрывают его, как красивый Томас от черной капитанши.

Я раньше Спокойной улицы боялась из-за кладбища. Мама мне говорила, что живых надо бояться больше, чем мертвых, но мне все равно было страшно проходить мимо низкой плитняковой ограды, за которой торчали кресты и надгробные камни. Особенно вечером, когда на свежих могилах горели свечки. А потом мне кто-то сказал, что это для астрального тела, которое первое время после смерти витает над могилой. И чтобы ему было не так страшно скоро навсегда расстаться со своей земной оболочкой, ему зажигают огоньки. И мне стало еще страшнее, но и интереснее. С тех пор я уже не поворачивала голову в другую сторону, когда мы вечером шли мимо кладбища, а наоборот, смотрела за ограду, не витает ли где-нибудь над могилой астральное тело. Пока мне опять не объяснили, что астральное тело – это что-то вроде души, то есть оно невидимое, и что нет, сердце – это одно, это анатомия, оно – часть тела, а душа – это совершенно другое. И что вот раньше были люди,

которые верили в первичность души, а другие, наоборот, говорили, что бытие определяет сознание, попросту говоря, все начинается с тела и им же кончается, и между этими – начальной и конечной точками – телу надо есть, пить, защищаться от других тел, таких же голодных и жаждущих, и размножаться, чтобы количество превратилось в качество, и что эти другие в конце концов победили, и у нас теперь ни души, ни тела, ни материального благополучия. Так вот мы и стоим на мировом сквозняке, прикрытые лишь своим бренным, да еще и плохо одетым телом, по выражению одного забытого и совершенно замечательного писателя.

А кто-то из нашей компании начал говорить, что нечего ребенку голову морочить смесью вульгарного материализма и Шопенгауэра.

«Вы еще скажите, что я этому ребенку, не такой уж она и ребенок, между прочим, советскую мораль должен прививать в свободное от учебы время», – ответил мой просветитель, на что его оппонент возразил, что советской морали меня и в школе научат, а вот как насчет мирового разума как разумного начала всех наших мыслей и действий? Тут мой первый просветитель, это был один из москвичей, снимавших комнаты на Спокойной улице, вскричал, что гегельянцем, слава богу, никогда не был, и вообще, дражайший, посмотрите вокруг, нет, здесь крутить головой нечего, на этой улице эстонцы живут, цивилизованный народ, а вы посмотрите, что за Советской улицей творится. Да та же банщица тетя Зина, вот вам пожалуйста, воплощение мирового разума во всей своей красе. И уж точно логически постигаемого, вполне в духе идеалистического рационализма, можно сказать, его классический пример. Приехала откуда-то из Магадана, ну хорошо, пусть будет из Тульской области, разницы же здесь никакой нет, дражайший, для нашего с вами дискурса. Вот приехала сюда, уж наверное, лет двадцать назад, не меньше, комнату ей здесь пообещали в общежитии барачного типа. А почему не поехать? У нее на этом Магадане или в Тульской области ни кола ни двора, родители или в войну или сами знаете, где сгинули или спились, а тут на Запад ехать предлагают, в Эстонию. А заодно и дружбу народов укреплять, вот вам и интернационализм в чистом виде. Ну приехала сюда, без традиций, без корней, ребенка ей сразу в пьянке заляпали, кто – неизвестно, по-эстонски три слова выучила за двадцать лет: курат, курат и курат. А теперь сын загремел в тюрьму, года на двадцать два, и что с нее возьмешь, бедной? Да таких в одном этом поселки сотни, а по всей стране… а вот эстонцы, между прочим, что, не бедные? Вот вам и мировой разум, плод

кабинетных абстракций бесполой немчуры, в конкретном исполнении, вполне постигаемый, это уж точно, но, к сожалению, по форме и содержанию не такой прекрасный, как хотелось бы, а вы говорите.

Они уже про меня давно забыли, тут уже кто-то и третий подключился, стал рассуждать про мир как юдоль плача, воздыханий и скрежета зубовного, где тети Зины и им подобные движутся по орбите слепых биологических мотиваций, а чем мы, собственно, лучше, ведь мы все без исключения рабы мировой воли, но все же различие между материализмом и идеализмом надо рассматривать шире, так как сознание и духовные ценности в конце концов – продукт деятельности нашего материального мозга. А оппонент моего просветителя стал опять возражать про мировой разум, что его не так поняли и что имелась в виду не диалектика, а понятие умозрения и рассудка, который способен оперировать категориями формальной логики.

«Ну вот вам и опять тетя Зина с ее вполне ограниченным рассудком, не способным выйти за пределы его содержания, а именно классовой борьбы и интернационализма, категорий формальной логики нашего пролетарского государства», – парировал мой просветитель.

Так за разговорами мы дошли до угла Спокойной улицы, где в темноте белела кладбищенская церковь, но потом повернули обратно, потому что еще не доспорили. Дошли до конца кладбища на середине улицы и опять повернули, но, дойдя до того же угла, снова решили пройтись еще чуть-чуть назад, чтобы договорить о высшей форме диалектического развития государства, а именно о его отмирании, но теперь уже точно в последний раз.

Так что и у нас, современных дачников, тоже возникали свои традиции, а, значит, и прошлое, как и у жителей Руха. Например, после гостей мы всегда провожали друг друга домой. Мы ведь встречались раз в год летом, и нам было необходимо наговориться на прошедший и предстоящие годы. Поэтому всегда было трудно расставаться, и проводы иногда затягивались до глубокой ночи. Провожать шли всей компанией, сначала тех, кто жил дальше всех, а потом по мере сокращения радиуса. Шли обычно со Спокойной улицы, где снимали комнаты самые красноречивые и просвещенные дачники, из Москвы.

Иногда кто-то вспоминал, что на Спокойной улице все уже давно спят, и что мы все-таки в Европе находимся, и здесь свои обычаи, которые нужно уважать, а мы тут горланим под их окнами и тем самым подтверждаем образ варваров с восточного побережья. Тогда мы останавливались где-нибудь в самом начале

улицы, где напротив кладбища еще не было домов, и все опять начинали спорить, просвещать более легковерных и ругать советскую власть.

Здесь, на пересечении шоссе, по которому автобус привозил нас в Руха, и Спокойной улицы, на том самом углу, где стояла белая церковь с заплатанным темно-зеленым шпилем, я впервые услышала слово «тоталитарный». Как раз, когда повернулась лицом к крестам, изо всех сил вглядываясь в темный воздух и пытаясь различить в нем контуры астрального тела.

«Да, дамы и господа, и вы, дражайший поклонник мирового разума, это печально, но факт, мы живем при тоталитарном режиме, и чем раньше наши дети поймут это, тем лучше. А вы, дорогие дети, вот вам и сказочка на ночь про доброго царя, который так любит свой народ, что объявил себя мировым разумом, правда, пока в пределах одной страны, на его же благо, чтобы народ не страдал от горя от ума, а заодно отменил и свободу воли, и прочие свободы, которые только мешают бескорыстно жить, строить и работать, и трех богатырей себе завел, верных до гроба, – бесстрашных чекистов, доблестную армию и любимую партию, – чтобы неусыпно заботились о народном счастье, охраняя его и день и ночь проверяя, счастлив ли каждый гражданин этого прекрасной страны и, самое главное, правильно ли его счастье»…

Только я отвлеклась от поисков астрального тела – теперь, когда я узнала, что оно невидимое, во мне взыграло упрямство, с которым я продолжала высматривать его над крестами, – и стала слушать про это новое и странное слово «тоталитаризм», как рыжая учительница из Ленинграда, которая с детьми отдыхала в школе, начала дергать оратора со Спокойной улицы за рукав свитера. И, заметно волнуясь, заговорила, что муж у нее военный и уже двадцать лет верно служит родине, и что ведь родину не выбирают, и да, есть, конечно, недостатки в нашей стране, но ведь тот не ошибается, кто ничего не делает, и несмотря на то, что ее мать безвинно пострадала во время, ну вы знаете, какие тогда были времена, а что касается других, кто пострадал, это она не знает, но все-таки дыма без огня не бывает, а ее мать была кристально честной коммунисткой, тут уж она голову дает на отсечение. Вся компания загудела, а я опять повернулась к крестам, потому что мне стало скучно слушать рыжую учительницу, хотя она и говорила горячо и искренне.

«Ну, голубушка, насчет дыма и огня – это из той же оперы, что лес рубят, щепки летят. Так вот что я вам хочу сказать по этому поводу: как раз кристально чистых-то коммунистов, так называемых дворян революции, и пожирали в первую очередь по

закону самой революции, ну и, конечно, чтобы генералиссимус Ус мог начать переделывать историю на собственный лад и вкус», – начал мой просветитель, но учительница опять перебила его и сказала, что она рада, что ее дети остались дома и не слышат всей этой клеветы и иностранных слов, которые не имеют никакого отношения к нашей стране, и что у нее богатый педагогический опыт и она, хотя и преподает английский язык, на каждом уроке, даже когда разбирает герундий или плюсквамперфект, старается прививать своим ученикам любовь к родине, которую, между прочим, как мать, не выбирают.

Мне стало интересно, что же теперь ответит наш просветитель. Но тут вмешалась его жена, которая сказала, что вообще-то уже поздно и, наверное, пора расходиться, а то всю улицу перебудим.

– Да, кстати, а кто-нибудь черную капитаншу в этом году уже видел? – вдруг спросил кто-то на прощание. – У нее сын, говорят, совсем от рук отбился.

– Это который?

– Да красивый этот, с волчьими глазами.

– Тот, что на черного капитана похож, – это уже я выпалила, и все одновременно на меня уставились.

– А ты-то откуда знаешь? Его ж не видел никто.

Тут я совсем осмелела:

– Она его у себя в погребе прячет.

– Ну ты даешь. Еще скажи, она его там на цепи держит.

– Она у себя тоталитарный режим развела, всех мучает и работать заставляет на свой дом. А Томас не хочет, он гордый и страдает, у него на лбу знак мучений черного капитана.

– Ты смотри, какая просвещенная. Тоталитарный режим, хухры-мухры. В школе только не показывай, что такая умная, а то папе с мамой не поздоровится, – сказал один дачник, тоже из Москвы, и прибавил: – Прямо демон какой-то этот твой Томас. Ты что, влюбилась в него, что ли?

– Да не демон он, а дитя Брежнева, наше будущее поколение, – ответила жена нашего оратора. – Поколение ноль без палочки. Чего вы от них хотите?

А рыжая учительница подошла к моей маме и стала ей что-то с возмущением говорить, но та молчала и только внимательно смотрела на меня.

– А почему не влюбиться? – крикнул кто-то. – Влюбиться – это хорошо. Любви все возрасты покорны, а что не так?

Тут опять начался спор, в каком возрасте положено влюбляться. Вон Джульетте было всего двенадцать, а какая любовь космического масштаба.

– Совсем с ума сошли, двенадцать лет, – закричали дачницы. – Пускай сначала школу закончат, высшее образование получат, кандидатскую защитят, а потом уже о любви думают, а то будут как тети Зины.

Но тот дачник, который начал про Джульетту, стал трясти рукой перед животом, дергаться всем телом, вилять бедрами, а потом запел во все горло полуподпольного, знаменитого не по телевизору и радио барда: «Не хочу учиться, а хочу жениться».

Все захохотали, даже рыжая учительница, совершенно забыв и про меня, и про Томаса, и про черного капитана, и про то, что мы в конце концов находимся почти в Европе их мечтаний, где уважают чужой сон, частную собственность и могилы отцов и где настоящее вытекает из прошлого, медленно и плавно, как змея, по весне сбрасывающая кожу, а поэтому жители, ложась спать, знают, что они утром проснутся в своей постели.

Спокойная улица молчала своим затаенным прошлым, молчали кладбище и белая церковь, молчали запущенные сады и деревянные дома с темными верандами и их обитатели, лежащие в постелях и бежавшие в свои сны от настоящего, молчали их собаки, и яблони, и кусты красной смородины, и клумбы с ромашками и ноготками, как будто они всё еще приходили в себя после чудовищного смерча, перенесшего их в одно мгновение в будущее, где они перестали узнавать себя и друг друга и так и жили, ничего не ожидая и не веря ни себе, ни другим.

Молчал и Томас, неподвижно стоящий перед вопившей капитаншей, нездешний по своей красоте, но как будто связанный незримыми нитями с этим затаенным прошлым, неизвестным и не очень-то интересным большинству дачников, которые раз в год летом приезжали сюда восстанавливать здоровье и заготавливать на зиму грибы и ягоды. Дачники любили Руха и чувствовали себя здесь как дома. Ведь Руха – это была их собственная, карманная Европа, где им к тому же все было понятно, потому что жители Руха научились говорить на их языке.

В этой культурной и чистенькой Европе с уютными домиками и прекрасными дорогами дачники отдыхали от запустения и бессмыслицы, все больше заполнявших просторы их огромной страны. Они прямо-таки возрождались на этом воздухе, напоенном морем, соснами и остатками европейской свободы, а поэтому постоянно хохотали, спорили, вели бесконечные разговоры, критиковали советскую власть, подражали знаменитому барду и опять начинали смеяться во все горло.

Всё вокруг молчало, только журчала Белая речка, убаюкивая Спокойную улицу и как будто утешая ее. В садах, между яблонями и березами, чернели древние валуны, миллионы лет

пребывающие в покое после бурных странствий. За это время небо над Руха бывало то ясным, то мрачным.

За прошедший год капитанша отстроила себе сауну и еще больше раздалась. Из-за того, что лицо у нее потолстело, глаза совсем сузились, и поэтому казалось, что она все время улыбается. Когда она рассказывала о еще не распакованной югославской темно-коричневой полированной спальне с большим зеркалом, где она будет спать с черным капитаном осенью, то в этой улыбке участвовали и ее губы.

В гостиной мебель была уже расставлена, и одна ее знакомая, муж которой работал на фанерно-мебельном комбинате в Таллинне, обещала подобрать ей два польских пуфика под цвет гарнитура.

Ни мальчишек, ни обезьянки капитанша уже не боялась, и поэтому улыбка продолжала играть на ее губах. Мальчишки выросли, а Томас, так тот вообще на второй этаж не поднимается, да и в гостиную заходил всего два раза. А про обезьянку она им так прямо и сказала, что она ей сразу шею свернет, вот и думайте сами дальше. Так что гарнитур у нее теперь в полной безопасности, и за чешский хрусталь в серванте душа у нее тоже больше не болит, с тех пор как мальчишки по дому перестали носиться.

Тут Эрика стала поджимать губы, и на лице у нее изобразилось что-то вроде смущения. Вспомнила, видно, что уже который год нас к себе в гости зовет на голубой финский унитаз посмотреть, который она достала через свой колхоз, и на югославский гарнитур, и на спальню, хоть она еще и запакованная, ну и вообще, дом показать, в котором она с черным капитаном для своих мальчишек будущее строит.

А потом на лице у нее вдруг появилось плаксивое выражение, и она стала говорить, что отдает все свои силы и здоровье на дом и на сад, чтобы ее дети жили не хуже, чем дети на богатой улице, а им плевать на нее, как будто она им не мать родная, а пьяница тетя Зина.

Вот Мати, если его не подгонять все время, целыми днями будет в постели валяться, а Томас вообще с ней перестал разговаривать, курит в открытую и пропадает где-то. Его уже и за Советской улицей видели, а один раз он даже ночевать не пришел, и все бесполезно. И Кульюс с ним ничего не может поделать. Томас молчит как могила, и никто не знает, что у него на уме. И откуда он сигареты достает, неизвестно.

Ну чего ему не хватает, ведь дом у них – полная чаша, вот уже и сауну построили, и машину собираются покупать. А когда

мама у нее спросила, что их отец по этому поводу думает, капитанша только рукой махнула, верхную губу прикусила и глаза у нее еще больше сузились.

Так и непонятно, что она этим хотела сказать, и, чтобы ее не расстраивать, мы больше ничего не стали спрашивать, а попрощались и пошли дальше, на Спокойную улицу, где мы собирались у москвичей, снимавших там в самом конце две комнаты и веранду. И капитанша пошла по своим делам, в сторону универмага, а потом нас опять окликнула:

– Вы про Виктора-то слышали?

А когда мы спросили, про какого Виктора, и что нет, ничего не знаем, то Эрика, которая уже дошла до будки с мороженым, стала кричать, чтобы нам лучше было слышно. Оказывается, этот Виктор с улицы Ленина за Советской улицей, там, где дома двухэтажные напротив завода, вчера вернулся из армии, а сегодня ночью уже то ли утонул, то ли его ножом пырнули, никто точно не знает. А компания, с которой он праздновал свое возвращение, только просыпается, так что допрашивать пока тоже некого.

– Ну ничего, вот очухаются, допросят их и посадят, кого надо, – прокричала капитанша и отправилась дальше.

Мы шли по богатой улице, пытаясь вспомнить Виктора, которого никто из нас никогда не видел, а если и видел, то не мог знать, что это он. Мы ведь за Советскую улицу только в баню ходим, бодрым шагом туда и обратно. Мама это место не любит, хотя мы татары и по крови ближе к русским, чем эстонцы, которые теперь по-братски делят свое настоящее с дальними народами с восточного побережья.

Мама говорит, там пьянство и мерзость запустения, но что люди не виноваты, их такими сделали, а вот эстонцы этой жизни уж никак не заслужили, они ведь не такие, они раньше в Европе жили.

Нет, мы его точно не видели, этого Виктора. Он же в армии был два года, а вернулся только вчера, и вот уже лег где-то утопленником или с ножевой раной в сердце и ждет теперь, пока его не повезут на Спокойную улицу. И пока не ляжет он там рядом со старыми мертвыми Руха, рядом с их гробами, перевязанными красной шерстяной ниткой или под подгнившим осиновым колом в земле. И даже если ему не достанется места около белой церкви под сенью старых деревьев, поближе к райским кущам, и его положат на новую часть, там, где раньше было пастбище, под православным крестом или конусообразным бетонным памятником с советской звездой наверху, куда вставят его круглую черно-белую фотографию в светлой рубашке с открытым воротом, это если его родители коммунисты и против

креста, то он все равно станет частью прошлого жителей Руха, как и все другие новые мертвые, сыновья, дочери и внуки дальних народов, которые все шире раздвигают своими телами границы старого кладбища, так что скоро придется рубить и лес за пастбищем, чтобы вместить сюда новое прошлое Руха.

А сразу после похорон над могилой неизвестного Виктора будет витать его астральное тело, недоумевая, что же случилось с его земной оболочкой, которая лежит теперь в земле, не отвечая на его вопросы. Бедное астральное тело Виктора с улицы Ленина, в двадцать лет по пьянке сгинувшего в карьере за Советской улицей или погибшего от удара ножом, да так быстро, что оно ничего и заметить не успело. Бедная его глупая душа. Вот она парит над свежим холмиком земли, куда исчезла земная оболочка, к которой она успела привыкнуть за двадцать лет, с ужасом чувствуя, что на нее уже не действует закон тяготения и что скоро она навсегда покинет землю, так и не поняв, что произошло. Огни земных свечек на могиле всё дальше отдаляются от ее размытого слезами взгляда, холод вселенной, освещенной мириадами звезд, проникает в ее бесплотность и всасывает ее в себя.

– Ребят, да какая разница, что мы этого Виктора в глаза не видели, – говорил наш друг Михаил, снимавший с женой и дочерью комнаты и веранду в конце Спокойной улицы, то ли приветствуя нас, то ли продолжая разговор, начатый в доме, где уже сидела вся компания. Несмотря на летаргию, в которой пребывала Спокойная улица, новости доходили до нее мгновенно.

– Абсолютно никакой, учитывая, что мы прекрасно знаем, кто он, этот Виктор, даже ни разу не взглянув на него, да?

«Униженный и оскорбленный советской цивилизации!», «Жертва алкогольной политики компартии вкупе с винно-водочной промышленностью!», «Косвенная жертва империалистической национальной политики СССР!», «Прямая жертва токсикоза русского генофонда!» – наперебой закричали из комнаты.

– Несчастный мальчишка, сын таких же несчастных родителей, родившихся в несчастной стране, – сказала Ирина, жена Михаила, которая вышла в коридор с сигаретой и чайником. – Проходите, проходите, сейчас чай будем пить с пирогом. Олька испекла, с малиной.

– Вот именно, несчастный мальчишка, – подтвердил Михаил.

– И все-таки, кто виноват? – спросила мама. – Родители, школа, друзья, сам Виктор?

Как учительнице, ей всегда хотелось довести любую проблему до логического завершения, чтобы получилась некая

формула, величины которой находились с друг другом в причинно-следственной связи. Тогда дело сразу бы приняло конкретный оборот, и можно было бы приложить к нему руки. Например, провести воспитательную беседу с родителями, или отчитать виновного, а то и принять более строгие меры, отправив его к директору, или, наоборот, начать неформально и горячо участвовать в его судьбе, строча длинные письма по воспитанию чувств, что моя мама иногда и делала с теми учениками, которых еще надеялась спасти.

– Кто виноват, милочка, это извечный проклятый русский вопрос, над ним бьются столетиями, достаточно безрезультатно, но это отнюдь не значит, что мы должны отказаться от него. Если его пырнули ножом, то посадят всю компанию на всякий случай. Никто же не будет разбираться, кто его конкретно прикончил, – сказал Олег, московский приятель Михаила, который на прошлой неделе поселился у них на веранде. – Да и поди разберись там, кто кого, а раз по пьянке, то по четвертаку дадут, не меньше. Отягчающие обстоятельства. Ну может, лет восемнадцать, если судья совестливый попадется. Вот тебе и виновные. Жратва государства, и жертва.

– А если утонул? – спросила хрупкая Наташа с коротко стриженными серебристыми волосами и крупными висячими серьгами, подруга Олега, с которой он жил на веранде.

Мама Наташу недолюбливала. Во-первых, потому что она не была женой Олега. Жена Олега приезжала в Руха в прошлом году, мы тогда с ней у Михаила познакомились, а в этом году она осталась в Москве поддерживать дочь, которая сдавала вступительные экзамены в университет. Во-вторых, маме не нравилось, что Наташа красила ногти на ногах ярко-красным лаком. А в третьих, мама считала Наташу легкомысленной и хищницей и не понимала, как Михаил с Ириной соглашались терпеть такое поведение на веранде прямо у себя под носом.

Но у Михаила с Ириной был свой кодекс законов. Они, в частности, глубоко чтили законы гостеприимства. В их маленьком и, как они называли его, антитоталитарном, вольнодумно-просвещенном государстве, состоящем из Михаила, Ирины, их дочери Анны, постоянно живущей у них подруги, помощницы и экономки Ольги и двух котов Кински и Киссинджера, друг всегда оставался другом и в любую погоду мог без всяких объяснений найти у них приют.

Олег слегка хлопнул Наташу по гладкой загорелой ноге, и та благоговейно посмотрела на него снизу вверх, кокетливо раскачивая на пальцах с блестящими красными ногтями затейливый, розово-золотой индийский шлепанец, которые были

в моде в Москве.

– А если утонул, шер Натали, то все равно посадят, чтоб другим было неповадно. Но дадут поменьше. В районе десятки.

– А как же презумпция невиновности? – опять спросила Наташа, вскинув глаза на Олега.

– Люблю умных девушек. Но, шер Натали, презумпция невиновности – это все сухая теория, а древо жизни, как нам известно, зеленеет пышно. Так что на практике у нас как раз презумпция виновности, ну, сами посудите, разве у нас на Руси могут быть невиновные? Великий красный юрист товарищ Вышинский уже в начале тридцатых писал, что главное доказательство вины – это признание обвиняемого. Ну, что-что, а здесь у нас дело хорошо поставлено. Там кто хошь во всем что хошь признается, да хоть что сын японского императора или, скажем, сидя в Урюпинске, хотел взорвать Кремль. Богатый исторический опыт. Как говорится, был бы человек, а статья найдется. Ну а всякие там презумпции невиновности, разделение властей, независимость судей и прочие буржуазные штучки для защиты граждан от государства – это все для гнилого Запада. Так что, шер Натали, вот вам мой добрый, чисто отеческий совет. Пейте водку в умеренном количестве и не связывайтесь с сомнительными компаниями, а то не дай бог… и нашим прелестным пальчикам будет уже не до лаков и золотых туфелек. Советский пенитенциарий – это вам не старорежимные тюрьмы. Уж поверьте мне, старому псу, которому не раз в жизни ломали бока.

– Брр… – поежилась Наташа и перестала болтать ногой.

– Да ладно тебе, Олег, детей пугать…

Все уже разместились на стульях, табуретках, продавленном диване и подоконниках, кто на веранде, кто в комнате с круглым столом, а кто на кухне, которую эстонцы со Спокойной улицы, в виде исключения и особого расположения, сдавали Михаилу и Ирине, и Ирина начала разливать чай. Сама она почти никогда не сидела, все время хлопотала, ходила туда-сюда с неизменной сигаретой в зубах и при этом успевала следить за всеми и принимать самое живое участие в разговоре.

– Это называется не пугать, а просвещать, моя дражайшая Марфа-Мария, – сказал Михаил, как он иногда называл Ирину, подчеркивая ее совершенство, – чтобы дети учились соображать, да? Все правильно, Олег. Будем называть вещи своими именами в духе коммунистического манифеста.

Сегодня на Спокойной улице собралась избранная компания. Рыжей учительницы из Ленинграда и других более или менее случайных или уж слишком правоверных попутчиков на чай не

звали.

А друзья и подруги проверенных друзей и подруг, где бы они в данный момент ни находились – в Москве, Ленинграде, Таллинне, в ссылке где-нибудь в Казахстане, в деревне под Оленегорском, или в одном из Челябинсков, либо в Америке, Израиле или в Вене по пути в Израиль, – всегда пользовались неограниченным доверием, даже если они этих друзей и подруг раньше и в глаза не видели. Как например, Соню и Володю, друзей эмигрировавшего в США художника Полякова, или ту же самую Наташу с модными серебряными волосами, подругу подпольного поэта и по совместительству фарцовщика Олега.

Поэтому Ирина сейчас была больше озабочена, чтобы всем хватило чашек и Ольгиного пирога с малиной, чем красноречием Михаила, достигавшим особенно опасных высот, когда он начинал ругать советскую власть.

Советскую власть Михаил ругал со вкусом, вдохновенно, можно сказать, с любовью. Если по необходимости и употреблял нецензурные слова, то всегда осмысленно, интегрируя их в емкие сложноподчиненные предложения с причастными и деепричастными оборотами, по образцу русской классической литературы, так что получалось академически-изысканно и в то же время как-то прочувственно, близко к слушателю. При этом Михаил почти никогда не злился – наоборот, на лице у него играла мягкая улыбочка, как будто советская власть за все время их совместного существования стала для него чем-то вроде члена семьи, угрюмо и прочно расположившегося прямо посреди большой комнаты и отбрасывающего черные тени на потолки и стены малогабаритной квартиры.

Этот неизбежный, всемогущий и беспощадный родственник мог сделать с Михаилом все то, на что жителям Руха когда-то не хватило ни лепестков ромашек, ни фантазии. Кроме одного – обмануть его. Какие бы уловки советская власть ни придумывала, чтобы скрыть от него свое истинное лицо, Михаила было не провести.

За это она ненавидела его, следила за всеми его действиями, лишала его средств к существованию, а он все продолжал улыбаться такой вот своей мягкой и всепроникающей, как у Чеширского кота, улыбкой.

Михаил знал советскую власть насквозь, так же, как и жители Руха, бывшей раньше пусть и скромным, но вполне светским курортом, а теперь – заводским поселком, где поселились дальние народы, которые рожают детей, как подзаборных кошек, а потом эти дети спиваются или погибают в пьяных драках.

Но жители Руха молча несли в себе это знание, так же молча

передавая его своим детям, а иногда шепотом рассказывая им о стихийном бедствии, которое когда-то постигло их поселение и всю их маленькую страну, после чего в Руха появилась Советская улица, где на пыльном, избитом заводскими самосвалами асфальте шаги их детей и внуков сплетались с шагами детей и внуков дальних народов, образуя гордиев узел.

Жители Руха еще не успели изжить свой страх, который все еще понижал их голос до шепота, заставлял опускать взгляд долу и, огибая настоящее, устремлять его в прошлое, затаившееся в безмолвии тенистых садов, в журчании Белой речки, в мерцании белой церкви. Проблему души жители Руха разрешили, растворившись в своем ландшафте, застыв и приняв на время облик камней, деревьев и воды, которым издавна верили больше, чем занесенному немецкими рыцарями верховному существу, и втайне надеясь, что небо над валунами в их садах, повидавшими все на своем веку, опять когда-нибудь прояснится.

Михаил же казался свободным от страха и всех тех человеческих проявлений, которыми, как паутиной, были опутаны другие люди. Как будто самое главное в его жизни подчинялось лишь одному этому знанию, а все остальное просто терпелось как досадное приложение к досадному и обидному производному нашего духа – телу. Так что смех Михаила предназначался, кроме советской власти, еще одному противнику, смеющему претендовать на его бессмертный дух, – нашей трусливой и ненасытной, беспрерывно пожирающей и опорожняющейся бренной оболочке.

Поэтому он и не думал молчать, а постоянно завораживал и обезвреживал свое тело, размышляя, рассуждая, объясняя, анализируя, убеждая, споря и просвещая всех без исключения, переступавших порог его дома в Москве или в Руха.

Быть может, он надеялся, что мы, дети его друзей, передадим это знание нашим детям и друзьям, а те – своим детям и друзьям, все расширяя и расширяя магический круг, по принципу противления злу добром истины, пока не возникнет что-то вроде цепной реакции, в результате чего все это знание в виде огромного облака, сконденсированного из тысячи и тысячи идей, воспарит над нашими телами и разольется наконец в тот разрыв памяти, который произошел между нашим прошлым и будущим, превратив настоящее в мерзость запустения, от которой люди спасаются в пьяном угаре, голубых финских унитазах и превознесенных домах.

Пока же до идеалистической революции еще было далеко. Поэтому Михаил уселся за столом на кухне, наблюдая, как Ольга, маленькая женщина неопределенного возраста с добрым лицом и

копной кудрявых волос, разрезала пирог с малиной, и рассуждая о советской юстиции.

– А то, что этим мальчишкам в лучшем случае влепят по десятке, если Виктор утонул, так это вполне марксистско-ленинский подход, да? У нас ведь законы основаны на обществе, а не наоборот. Законы – это все фантазии юристов, как говаривал Маркс, а вот настоящий закон должен быть выражением общих интересов и потребностей общества, вытекающих из данного материального способа производства. А какие потребности могут быть у общества, по существу находящегося в состоянии затянувшейся войны, которая все время меняет форму и окраску? Ленина надо почаще читать на сон грядущий, да? Теперь эта война приняла образ и форму узаконенного террора, который осуществляется через наше законодательство и судопроизводство. Так что, ребята, не имеет ровно никакого значения, кто кого пырнул или толкнул в воду, Иван Петра или Петр Василия, главное, что скоро свершится акт правосудия, виновные будут наказаны, и народ будет доволен. А адвокаты тут вообще ни при чем. Какие могут быть здесь нахер адвокаты, когда всё в руках пролетариата, высшим выразителем интересов которого является партия, которая лучше самих масс знает, каковы их истинные интересы… А вот и Лембит, здравствуйте, здравствуйте.

Михаил встал со стула и пожал руку высокому худому старику с обветренным лицом, хозяину дома, который, постучавшись в открытую дверь, вошел в кухню из сада, распространяя вокруг себя запах салаки, табака и ветра.

– Пирог будете? – спросила Ольга, но Лембит только заулыбался в ответ и замахал руками.

– Лембиту надо что-нибудь покрепче, Марфа-Мария, он у нас ветеран Освободительной войны, – сказал Михаил, но Ирина уже сама вытаскивала из буфета бутылку.

– В субботу баня топить, – сказал Лембит, – потому пришел.

– Ну раз пришли, надо выпить, – сказал Михаил, подмигнув, и вытащил пару стопок. – А баня – это хорошо.

Лембит засмеялся и сел на табуретку.

– Я на минутку, Эльза прислал.

– А как Эльза поживает? Помогает ей лекарство?

– Очень хорошо, – закивал Лембит и чокнулся с Михаилом. – Хорошо помогает.

Когда Лембит и Михаил общались, лица их смягчались, как будто они были старинными друзьями, которые когда-то пережили что-то вместе и теперь им сразу все понятно друг про друга.

Иногда Михаил мог увести Лембита куда-нибудь в сторону от

вечно галдящей компании, посадить на стул, самому сесть напротив и долго расспрашивать его о чем-то, а потом, потирая руки, ходить по комнате с довольным видом, узнав, например, что Лембит участвовал в Освободительной войне 1918 года, которую замалчивали все наши учебники истории, чтобы не бросать тень на солнечные пейзажи дружбы народов, а также чтоб никто вдруг не подумал, что некое маленькое, получухонское племя на западной окраине империи могло претендовать на свою собственную историю, существующую вне воли и представления великого соседнего народа.

Хотя Лембит так и не научился хорошо говорить по-русски, а Михаил не знал эстонского, они понимали друг друга каким-то внутренним чутьем и симпатией.

Старый рыбак Лембит застенчиво улыбался, его большие костистые руки ерзали на коленях, страдая от своей ненужности, ему был явно странен и приятен такой интерес к своей персоне, о которой он сам, судя по всему, особенно не ломал голову.

Михаил же чуть ли не хлопал себя по бокам от восторга, созерцая живой экспонат тайной истории и пополняя свой клад еще одной крупинкой золота, добытой на этой бедной кухне без горячей воды, и тем самым хотя бы на миллиметр приближая вожделенную идеалистическую революцию, которая когда-нибудь обязательно спасет его несчастную землю, и будет она отдыхать, покоиться и восклицать от радости под кипарисами и кедрами, ибо наполнится наконец ведением, как воды наполняют море.

На обратном пути мы снова встретили капитаншу. Она уже издали замахала нам рукой, поднимаясь по горке к богатой улице, чтобы мы не поворачивали на Морскую, а ждали ее там на углу. Вот она дошла, со вздохом приставила две тяжелые сумки к ногам и с таким видом, будто ей бесплатно привезли еще один финский унитаз небесно-голубого цвета, объявила:

– А Виктора-то все-таки ножом пырнули.

Мама покачала головой и промолчала, переваривая сообщение.

– Вы там пока языком чесали, милиция во всем разобралась.

Мама опять ничего не сказала, а решила подождать, пока Эрика не расскажет, в чем разобралась милиция. Но Эрика почему-то тоже замолчала.

– Так они же спали еще утром, – сказала мама.

– Это утром было, а следователь днем приехал из райцентра.

– И что?

– А то, что душ для чего? Не только ведь для гигиены. Их раз – под холодный душ, вот они сразу и очухались, и заговорили,

как миленькие.

– И?

– А что «и»? Признались, значит, сразу в своих преступлениях.

– Как же все произошло? Что, уже и доказательства есть?

– А что доказательства? И так все ясно. Это девка его во всем виновата.

– Какая девка?

– Да Осипова Танька. Невеста его.

– Это что, она Виктора ножом ударила, получается?

– Зачем она? Она его после армии обещала ждать, а сама с другом его спуталась.

– Какое же это преступление?

– Так у нее брюхо теперь, он-то не знал, думал, она его ждала. А она вон как, брюхо себе отрастила, только он сначала не знал, у ней еще не так видно.

Эрика прищурила глаза и стала ждать, что скажет мама. А поскольку мама молчала, капитанша опять заговорила, сменив легкое злорадство, от которого рдело ее лицо, пока она говорила о брюхе Тани Осиповой, на сочувственное выражение, направленное, правда, не на Виктора и его невесту, а на маму, женщину с высшим образованием, никак не понимавшую самых простых жизненных вещей.

– Так они сначала напились, а потом он уже узнал, то ли она ему сама по пьянке проболталась, когда они уже у карьера были, то ли друг этот выступил, ну и началась драка, а кто его точно ножом ударил, а потом в воду сбросил, чтобы следы скрыть, сам черт не узнает. Они же все вдрызг пьяные были, но главное-то, что признались, вот что.

– А девушка эта? Она же беременная. Им адвокат нужен.

– И она, говорят, призналась. А что? Она больше всех и виновата. Раньше надо было думать, тогда и брюха бы не было, ну ничего, в тюрьме поумнеют, алкоголики они все, туда им и дорога. А что с того, что беременная? Что она теперь, из-за этого чудо-юдо какое? Не она первая, не она последняя. Ничего, и в тюрьме рожают, а если что, так государство воспитает, не хуже ее. А адвокат-то зачем? Чего ему их защищать, когда и так все ясно, только деньги государственные переводить. Алкоголики они все, я ж говорю, поселковые эти. А у меня вот за Томаса душа болит, нет, не за Мати, он ленивый, ему лишь бы поспать да покушать, а Томас в отца, беспокойный, гордый, тоже днями может не есть, чем живет, не знаю, и ничего ему не нужно. Ни дом, ни сад, ни сауна, ни гарнитур югославский. Другой бы радовался на его месте, что все заграничное, красивое, не хуже, чем у соседей, а он

плюет на наш базис, на наши пот и кровь, обезьянку ему, видишь ли, подавай, чтобы она мне все в доме изгадила. Может, когда машину купим, то повеселеет наконец, а, как вы думаете? Вы его случайно не видели? Нет? И я не видела, и вчера тоже нет, я его сегодня уже целый день ищу, вы думаете, он в лесу ножик свой метает? Нет, он его давно забросил, все ему скучно, я уж весь поселок исходила, думала, может он с компанией какой связался, ну ладно, дальше пошла искать… Томас, Тоомас, ТООМААС! ТООМААС!

Так мы и разошлись на углу богатой и Морской улиц. Черная капитанша медленно потопала со своими сумками в сторону моря, озираясь и выкрикивая имя сына, а мы стали спускаться к мостику, который уже почти слился с сумеречным воздухом.

Я тоже смотрела по сторонам и, куда бы ни упирался мой взгляд – в смурной малинник, пустые качели в саду, ветки яблони, гнущиеся под тяжестью плодов, тускло-желтый свет окон или в черную дыру еще распахнутой двери, – передо мной все время всплывало лицо с зелеными глазами, твердыми молчаливыми губами и с трагическим знаком черного капитана, не похожее ни на одно лицо, виденное мною, наяву или во сне.

«ТООМААС! ТООМААС!» – все кричала капитанша, как будто искала сбежавшую собаку, и мне стало смешно, что вот, он везде, а она его не видит.

Дом

Никто точно не знает, когда в Руха проложили Советскую улицу.

«Какая разница, – говорили местные эстонцы, – прошлого-то уже не вернешь. Да когда эту махину построили, тогда и проложили, наверное».

И, не оборачиваясь, тыкали большим пальцем за плечо, указывая на махину. В какой бы точке поселка они ни находились, они всегда умудрялись оставлять ее за спиной. Хотя завод, растянувшийся вдоль моря, как горная цепь из грязно-серой породы, запер большую часть залива, он все время ускользал из их поля зрения.

Потом эстонцы махали рукой – «жить-то надо» – и двигались дальше. Дачникам же было неинтересно, да и некогда думать о прошлом любимого европейского курорта, в который они ездили каждое лето. Они и так были заняты с утра до вечера, добывая продукты в магазине у автобусной станции на полноценный обед с супом, грея в баках на плите воду для стирки, чтобы их дети ходили в Европе в чистых носках, и часами болтая и помешивая в кипящих кастрюлях с черникой и грибами. А у жителей восточного побережья было как-то неохота спрашивать про Советскую улицу. Как будто в этом вопросе таился намек, что, мол, срок истек и пора возвращаться, откуда приехали.

И все-таки. Когда бы ее ни проложили, казалось, что Советская улица лежала в Руха всегда. Было в ней что-то от вечности, но не от того пугающего, беззвездного, черного пространства, где становится неуютно даже человеческой мысли. Нет, Советская улица находилась в другом ее отделе. В том сером, обыденном, но в таком же до ужаса беззвездном пространстве, где побывал человек. Оставив после себя безжизненность и пыль, которую ветер теперь разносил по окрестностям и которая таким же безжизненным слоем ложилась на дома, деревья и лица людей.

Иногда, как и полагается вечности, она раскрывала пасть и поглощала случайных прохожих. Так, однажды в конце Советской улицы, почти у входа на территорию завода, самосвал, не удержавшись на повороте, вдавил в бетонный забор ученицу седьмого класса. Никто так и не узнал, пьян ли был заводской шофер, посадили ли его или обошлись выговором. Вечность не любила выдавать свои тайны.

Иногда на этой улице тихо пропадали алкоголики. Или утром в кустах напротив кинотеатра «Заря» находили безжизненное

тело кого-то из местной шпаны, на что жители Руха обоих побережий резонно замечали, что теперь хоть ненадолго, но будет потише.

Сейчас на Советской улице буянил отец Виктора. В мешковатом черном костюме, на лацкане которого болтались два ордена Красной звезды, и в белой, застегнутой до горла рубашке, еще с похорон, он бегал по улице и орал, что подонков надо к стенке и суку эту вместе с ними. И что он ветеран, и дошел до Берлина, и там таких сволочей расстреливали на месте.

Его забирала милиция, а он опять возвращался в том же костюме с бряцающими медалями и в той же замусоленной рубашке, небритый и шатающийся от водки и ярости. И начинал кричать, что они освободили Эстонию от фашистской чумы и кости его товарищей гниют в чужой земле.

Мужики уводили его, но отец Виктора снова возвращался, шатаясь, теперь уже от слабости, в жеваном, посеревшем от пыли костюме. Он уже не кричал, а спрашивал, а потом слезливо молил прохожих, не видели ли они его Виктора. От него шарахались, но он не отставал и все повторял, что, вот, поймите, ребята, он же не может уйти, вдруг сын сюда вернется, а его нет, кто же его тогда домой приведет.

Тогда Пааво, эстонец из букинистического магазина, вышел на улицу и сказал, что он будет смотреть, не идет ли Виктор. У него же окна выходят прямо на Советскую улицу, а ты пойди поспи пока, я тебя сразу предупрежу, когда он появится. Но отец Виктора захихикал и погрозил Пааво черным пальцем. А потом заплакал и сказал, что теперь только он сможет узнать Виктора после всего, что произошло. И поэтому не имеет право оставить свой пост. Сказал и перекрестился.

Скоро на него перестали обращать внимание. Но какую-то еду приносили и ставили на скамейку перед «Зарей». Отец Виктора все бродил по Советской улице, то крестясь, то грозя кулаком небу. А когда у него не стало сил ни на то, ни на другое, он просто шаркал туда-сюда по избитому асфальту, как будто все ждал, что вечность поглотит его так же, как и Виктора. И тогда его астральное тело еще успеет притулиться к душе сына. Сколько все это продолжалось, никто точно не знает, но известно одно – отец Виктора уложился в срок. Топиться в карьере, где утонул Виктор, он не хотел, а машины его не брали, хотя по ночам он бродил по самой середине улицы. Но все автомобилисты в округе уже знали про него и поэтому проезжали через Руха пешим ходом. Тогда, видимо, испугавшись, что он не успеет и Виктор отправится во вселенское путешествие в одиночку, отец добрался до ворот завода, откуда рано утром

выезжали самосвалы, груженные бетоном, и лег перед ними, с головой накрывшись пиджаком.

Это нам уже следующим летом, почесывая голову, рассказал Пааво из букинистического магазина, местный эстонец с длинными, всегда жирноватыми волосами:

– Двадцать три дня прошло. Я считал. Нервный стал, ужас. Я ему: куда спешить, сорок дней будут долго идти. Думал, в себя придет. А он наоборот. Потом мне уже не верил. Врешь, говорит, фриц, вы же с ними заодно были, а мои товарищи теперь в болоте вашем чухонском гниют. Говори правду, сколько дней осталось? У него ведь уже свое время пошло. А так в Руха всё как всегда, – сказал Пааво, без выражения глядя в окно, – то есть как было, есть и будет, пока он, – тут Пааво провел указательным пальцем круг в воздухе, подтверждая его, великого вождя, вездесущность, – жил, жив и будет жить.

И так и оставался у окна, пока мы не ушли. Позже, проходя мимо магазина, мы часто видели, как Пааво стоял перед окном, как будто поджидая кого-то. Значит, все-таки что-то изменилось в Руха со смерти Виктора?

Народ потом все еще качал головой, проходя по Советской улице, где двадцать три дня бушевал отец Виктора. Русские – с сочувствием, а эстонцы, кроме Пааво, – недоумевая, как будто жители восточного побережья опять задали им очередную загадку. Даже какая-то обида сквозила в их глазах на своих беспутных сожителей, мечущихся между смутной от водки и мерзости памятью о своем боге и пылью Советской улицы. Они даже умереть не могли прилично, в собственной постели или хотя бы в хронологическом порядке, по старшинству, и не выворачивая нутро в общественном месте, пугая прохожих.

«А все-таки нам легче, наверное», – как-то сказал Пааво, задумчиво глядя в окно. Что он имел в виду? Но Пааво только пожал плечами и стал заворачивать в газету томик Александра Блока. Может, то, что эстонцы блюли свое нутро и хоть и ненадолго, но могли спрятать свои тела от мирового сквозняка в родных деревьях, камнях и море? В том самом чухонском ландшафте, который за все эти годы так и не научились любить пришельцы с восточного побережья. За каждым кустом им до сих пор мерещился недобитый враг, а в своих бедно одетых, настоенных на спирту телах русские, не доверяя местной земле, как в кунсткамерских банках, вечно хранили кости своих погибших за правое дело товарищей.

Советская улица еще задолго до смерти Виктора и его отца и задолго до того, как я узнала эти слова, внушала мне страх и трепет. Ее пыльное русло очерчивало границы знакомого и

родного бытия, которое, к моему ужасу, вдруг оказалось конечным.

Советская улица серым горизонтом упала откуда-то сверху и придавила зеленую землю. За этим горизонтом начиналось неведомое и страшное. Оттуда даже в самый жаркий день веяло холодом.

По Советской улице русские пешим шагом везли свои гробы в открытых грузовиках с восточного побережья на кладбище. Гробы тоже были открыты, и над головами идущих на глазах разрасталось безысходное пространство, где, задрав нос к небу, белели профили мертвецов. Сильно пахло елью. Вой духового оркестра бился в ушах зубовным скрежетом. Я крепко сжала мамину руку, чтобы меня не унесло ветром непостижимого пространства.

Люди в черных мешковатых костюмах и в черных платьях, в шляпах, кепках и платках на опущенных головах медленно двигались вниз к кладбищу. Некоторые несли в руках ядовито-розовые и желто-лиловые букеты или авоськи с едой и бутылками, чтобы помянуть мертвецов у могилы. На лицах, где осела безжизненная пыль, не было ни ужаса, ни отчаяния, как у отца Виктора. С неутомимой покорностью, как косяк рыб, они скользили по течению в заданном направлении, к смертной воронке, которая вот-вот поглотит грузовик с мертвецом и шофером и всю эту черную процессию с гнусавыми трубами, жеваным красным флагом над кабиной, пластмассовыми цветами и набитыми продуктами авоськами.

Как только процессия исчезла за автобусной станцией, откуда-то сразу появились дачники в панамах и с пляжными сумками. Сначала они еще тихо переговаривались между собой, но по мере удаления оркестра голоса их раздавались все громче, утверждая себе и окружающим, что опять можно, а главное, нужно жить дальше.

Дачники даже казались шумнее обычного, какая-то праздничная возбужденность пронизывала их речь, как будто, всю жизнь с успехом преодолевая бесчисленные очереди, они все не могли нарадоваться, что эта их очередь еще не подошла. Их тела и взгляды наливались благодарностью и силой. На глазах дачницы распрямлялись и начинали зычно призывать своих детей не горбиться: жизнь слишком коротка и прекрасна, чтобы пройти через нее с сутулой спиной. Или с косолапыми ногами. Они выуживали из сумок книги и клали на голову детям вместо панамок, одновременно заставляя их выворачивать носки ног в первую балетную позицию, не забывая между делом обмениваться новыми рецептами и полезными советами:

– Как, вы не знали? В Москве уже все давно пьют яблочный уксус, по столовой ложке в день, утром на голодный желудок. А у нас в Питере уже сто лет никто не ест мясо с картошкой, их ни в коем случае нельзя совмещать, сочетание углеводов с белками – это чистый яд. У нас практически все перешли на раздельное питание. Мясо едим только с овощами, бобы – только с рисом, если едим овощи с углеводами, то исключаем белки, а хлеб исключаем полностью. Я вам сейчас все объясню, что, с чем и как, слушайте и запоминайте. А потом запишу, если хотите.

А про это вы слышали? Да неужели? А что такого? В деревнях народ так веками делает. Поэтому и живут до ста лет. Ведь человек – это бесценный кладезь животворных веществ. Мы эту простую истину, к сожалению, давно забыли в наших городах. Полстакана свеженькой утренней мочи на голодный желудок, и все как рукой снимает. Абсолютно все, я вам говорю, да, и нейродермит у вашей девочки тоже. Сколько же можно ее гормонами травить? Только она обязательно свою мочу должна пить. Я, между прочим, давно себе так лицо мою, вот, потрогайте, какая кожа, как у младенца. Да трогайте, трогайте, не бойтесь. А всего делов-то – встал утром, пописал в баночку, сразу лицо помыл – и готово.

Мишенька, ну кому говорят, не сутулься. И не чешись, а то загноится. Да, ему осенью тринадцать будет. А у него спина вон какая, скоро уже горб вырастет. Я бы его на спорт отдала, но у нас пролапс митрального клапана. А у Юрочки вашего все еще хронический цистит? Что ж вы ему тогда разрешаете купаться? Вы что, инвалида из него хотите сделать? Ему же в море ни в коем случае нельзя. А вон и капитанша. И чего это она на другую сторону перешла?

– Вы что, не знаете? Она выпила, наверное, вот и не хочет компрометироваться.

– Эрика? Не может быть! С каких это пор она пьет?

– Да с ней черный капитан больше спать не хочет. Мне Валве рассказала. А для женщины это самое большое унижение. Они на богатой улице все в курсе. Эрика себе югославский гарнитур поставила, с шикарной спальней. Она его вам, может, показывала? Толку теперь от этой кровати!

– А Томас?

– Нет, тот не пьет. Там хуже. Я вам вот что скажу, милочка. Держите от него подальше своих девочек.

– Да что вы?

Последних слов уже не слышно. Дачницы вдруг засуетились, быстро и одновременно, как по команде, сняли книги с голов детей, побросали их в сумки и снова натянули им панамки. И

бодрым шагом зашагали в сторону универмага.

Над Советской улицей опять повисла томительная тишина, изредка прерываемая шмелиным гудением со стороны Белой речки, текущей внизу под обрывом. Сладко запахло липовым цветом со школьной территории. По следам дачников понуро бежала собака с пыльными лапами и свалявшейся шерстью под животом. Непривычно было видеть Эрику с пустыми руками. Она шла, пошатываясь, и в конце концов схватилась рукой за школьный забор. Вот почему она перешла на другую сторону. Чтобы было за что держаться, плевать она хотела на этих дачников. Сначала она еще как-то пыталась двигаться дальше, но потом, видимо, решила, что с нее хватит. Эрика стала медленно сползать на землю вдоль забора, пока, привалившись к нему всем телом, прочно не уселась прямо в пыль. Она икнула, а может, крякнула от удовольствия, что не нужно тащить свое тело дальше и что место отдыха, как на заказ, получилось для такого жаркого дня просто идеальное. Под сенью школьной липы в цвету. Теперь можно было и глаза прикрыть, здесь ее никто не обидит, да и брать с нее нечего, кроме пропотевшего кримпленового платья и стоптанных босоножек. Эрика вытянула затекшие ноги, скрестила руки на животе и стала ждать.

Собака, трусившая вслед за дачниками по другой стороне Советской улицы, перебежала через дорогу. Остановилась перед Эрикой и, обнюхав ее, приткнулась рядом, положив ей морду на ляжку. Не открывая глаз, Эрика провела рукой по собачьей шерсти, да так и оставила ее на пегой кудлатой башке.

Этим летом у Томаса появились американские джинсы. С яркой оранжевой бирочкой леви штраус вдоль заднего кармана. В передние карманы втиснуты большие пальцы, остальные небрежно висят на стройных бедрах. Глаза Томас спрятал под узкими солнечными очками, изо рта у него торчит травинка. На нем белая майка без рукавов, на ногах вьетнамки.

Когда он первый раз прошел по Советской улице мимо дачников, все сразу замолчали, а потом долго оглядывались ему вслед. Томас уже исчез за тополями у ресторана, а они всё еще качали головой, негодуя и восхищаясь. Первой спохватилась рыжая учительница из Ленинграда:

– Лена! Лена! Ты где? А ну-ка иди сюда!

Все тут же занервничали и начали собирать рассыпавшихся по оврагу и улице дочек в панамках и в сарафанах с узкими бретельками на голых плечах.

– А Нина где? Вы ее не видели?

– Да она уже давно вперед ушла.

– Вы точно знаете? Ну я ей покажу сейчас!

– А вот и Лена, ты где пропадала? Ты же знаешь, что у меня больное сердце и мне нельзя волноваться.

Томас уже прошел мимо ресторана и свернул за угол у крыльца с деревянной входной дверью. Не останавливаясь, сбежал по склону вниз к Белой речке, скинул вьетнамки и в три шага по подводным камням перепрыгнул на другой берег прямо в яблоневый сад. Там он бросил вьетнамки на траву и, побродив по саду с задранной головой, сорвал яблоко и улегся в гамак.

Пока он покачивался, хрустя яблоком, и время от времени разгибая локоть и скривив губы, рассматривал через солнечные очки сочащийся, убывающий плод, дачницы, опомнившись и снова отправив дочек вперед, делились впечатлениями от встречи с сыном черного капитана.

Томас и их дочки пребывали в опасном возрасте. Эрика запила, а черный капитан, как всегда летом, пропадал в море, так что прививать моральные устои Томасу было некому, да, судя по всему, капитана мораль и не волновала. На Кульюса тоже не приходилось рассчитывать, у него у самого дочка курила и сидела в обнимку с парнями в новом прибрежном кафе «Анкур». Нет, дачницы не были ханжами, ни в коем случае, более того, они уважали и ценили европейский дух и культуру быта самой западной республики в империи. Но все же, стоило ли привозить ребенку в столь опасном и нежном возрасте американские джинсы, тем более если никто не занимается его воспитанием? Ведь не исключено, что, надев их, Томас стал думать, что ему все позволено, так же, как и молодежи в стране их, джинс, происхождения. Дачницы вздыхали и сокрушались, что Руха теряет свою невинность и им теперь, кроме очередей, готовки и стирки, прибавилась лишняя забота. Они тревожно смотрели на загорелые голени своих дочек, на их хрупкие плечи под бретельками сарафана и чуть сутулые спины, которыми они пытались задержать или хотя бы сделать менее заметным непрерывное набухание молочных желез, и на глаза им наворачивалась легкая слеза.

Собака подняла морду и вяло тявкнула. Капитанша поворошила рукой по собачьей шерсти и утерла слюну, скопившуюся в углу рта. Приоткрыла глаза, слегка потрясла головой, приходя в себя, и увидела Томаса.

Он стоял на другой стороне Советской улицы и, не снимая солнечных очков, смотрел на Эрику. Губы у него были плотно сжаты, как в детстве, когда капитанша в саду требовала от него признания и, так не получив, ударила его. Она приложила

свободную от собаки руку к лицу, припоминая, по правой или левой щеке она ему тогда дала. В глазах у нее туманилось, то ли от слез, то ли от винных паров. Эрика опять закрыла глаза, моля, чтобы, когда она их снова откроет, Томаса уже не было.

Он ненавидел, когда она ходила по Руха пьяная. Почти не раздвигая губ, цедил, что только русские, напиваясь, шатаются по улице. Зря она, что ли, строила такой большой дом, а теперь вместо того, чтобы быть там, бродит по поселку в свинском виде. Вон Лембит с Эльзой тоже не прочь выпить, и дети их, а все вместе смирно сидят у себя в доме, пока не протрезвеют. Не открывая глаз, она чувствовала, что сын все еще стоит на обочине.

Эрика захихикала. Да, наконец-то она добилась своего. Томас стал с ней разговаривать. Это были не те признания, которых она ждала, но зато она слышала его голос, видела движение его губ, пускай презрительное, но обращенное к ней, к Эрике.

И она отвечала ему, разговаривала со своим сыном, которому она никак не могла объяснить, что она не шаталась по Руха, а искала его, своего сына.

На секунду Эрику переполнило чувство гордости, что вот, они с сыном теперь тоже ведут беседу в гостиной, как в фильмах про правильные семьи. Она – сидя на польском пуфике, а Томас – шагая по комнате, кусая губы и иногда присаживаясь на край югославского дивана и сразу вскакивая с него, как ужаленный. Тем временем она все ближе придвигала пуфик к середине комнаты, незаметно, как она думала, чтобы как бы невзначай дотронуться до него, когда он будет проходить мимо, и сказать ему, что не нужно ее стыдиться – ведь она просто очень волнуется за него, вот почему ей не сидится дома. Тут у Эрики заныло сердце. Ей так и не удалось сказать это своему сыну, да он и не давал приблизиться к себе, просекал все ее уловки и, хлопая дверью, уходил из комнаты и из дома, который она строила для него с черным капитаном.

При мысли о том, что будет с Томасом в будущем, Эрика почти протрезвела. Откинула голову назад к забору, не открывая глаз, чтобы не видеть сына, от чьей красоты у нее так болело сердце. Странно все-таки, что сейчас, с закрытыми глазами, она гораздо лучше видела его, чем когда стояла с ним лицом к лицу и кричала на него, требуя признания. Вот Мати. Год назад уехал в Таллинн учиться на автослесаря. Дядя помог. Если потом устроится в автосервис, зарабатывать будет больше профессора. А Томас и слышать ничего не желал. Ни про Таллинн, ни про автосервис, ни про мореходку, ни вообще про учебу. Даже Кульюс его перестал перевоспитывать и уже не строго, а сочувственно

смотрел на Эрику из своего сада, больше не подбегая к забору и не заговаривая с ней о старшем сыне. Томас теперь и дома носил солнечные очки, чтобы не встречаться с ней взглядом. Ему привез их из Марокко черный капитан, вместе с американскими джинсами, а сам только плечами пожимал, когда Эрика жаловалась на сына. И спать ложился в Матиной комнате на втором этаже, а днем так яростно стучал молотком и сверлил, что по всему дому летели щепки, как будто он ненавидел его и хотел своротить с лица земли. Дом, который они своими руками строили больше пятнадцати лет и который должен был защитить их от всех штормов, теперь сам терпел кораблекрушение.

Иногда, выпив, Эрика чувствовала, как под ее ногами качается пол, а под ним стонет и мечется бездна, которая вот-вот прорвется наверх через доски. Но по-настоящему она испугалась, когда пол стал оседать под ней, и она, вместо того чтобы выбежать из дому, упала и, вцепившись в пушистый зеленый финский ковролин под цвет гарнитура, громко завыла. Ей даже показалась, что она на минуту потеряла сознание, а потом пришла в себя от ужаса, что ведь сегодня еще не выпила ни капли, кроме кружки растворимого бразильского кофе на завтрак. Набравшись смелости, она подошла к мужу, который, размахивая молотком, укреплял рамы на кухне, и сказала ему об этом, а он коротко бросил ей, что надо меньше пить. Разозленная Эрика, не обращая внимания на занесенный вверх молоток, обошла мужа и что есть силы дыхнула ему в лицо. И отшатнулась, увидев страх в его глазах: «И ты?» Но он опять яростно замахал молотком, зажав между губами гвозди. Значит, я не схожу с ума, значит, он тоже знает, значит, дом и вправду тонет.

Эрика застонала и провела пальцами по собачьей башке. Та заерзала и лизнула ее в ладонь. Мати уехал в Таллинн, а черный капитан ушел в Северную Африку.

Значит, тонут она и Томас. Они вдвоем сидят в тонущем доме, и он ненавидит ее. За что? Сначала она думала, что он связался с плохой компанией. Поэтому она постоянно искала его по всей Руха и за Советской улицей. С детьми с богатой улицы он никогда не дружил, разве что один раз подбил их на плевательный конкурс. Откуда было взяться плохому влиянию, если у Томаса вообще не было друзей. А вот теперь до нее стали доходить слухи про каких-то девочек с восточного побережья и даже про каких-то дачниц. Раньше она могла спрятаться от слухов в доме, но теперь это стало невозможно. Дом тонул, вместе со всеми богатствами, которые они накопили с черным капитаном за пятнадцать лет. Вдруг ей захотелось попросить прощения у сына, но не было сил подняться. На нее накатила такая усталость, что

она даже глаз не могла открыть. Над ней заколыхался воздух, но собака молчала. Это Томас перешел через дорогу и, нагнувшись над матерью, натянул ей на колено задравшийся подол платья.

Томас никогда не приводил никого к себе домой. Раньше мать не разрешала, боялась, что дети поцарапают мебель, разобьют что-нибудь из чешского хрусталя в серванте или помоют руки немецким мылом «Люкс». Она не любила детей, потому что дети любили трогать чужие вещи, не зная этим вещам цену.

Когда Томасу было лет семь, к нему после школы пришла девочка из класса. Он хотел показать ей, как горит спирт в стакане, взвиваясь синим пламенем к потолку огненным выдохом дракона. Он не успел зажечь спичку, как на кухню вошла мать. Она сразу увидела коричневую каемку на губах девочки и, схватив ее за плечо, стала спрашивать, кто разрешил ей взять батончик. Пока девочка испуганно молчала, Томас быстро спрятал спички в карман и убрал под шкаф банку со спиртом. Эрика все трясла ее за плечо и говорила, что в чужом доме без спросу нельзя ничего брать, ничего и никогда. Потом девочка ушла, так и не увидев дыхания дракона, а Эрика отправилась в гостиную и стала аккуратно раскладывать конфеты в хрустальной вазе.

Томасу нравилась эта девочка. Она была беленькая и чуть косолапая, с тонкими ногами. Ему нравилось сидеть рядом с ней, слышать, как она сглатывает слюну и пошмыгивает носом, смотреть, как она вертит головой и болтает ногами в красных лакированных сандаликах, а за одним, кажется, правым, ремешком тянется порванный хвостик. Вскоре она уехала из Руха, и у Томаса сразу перестало ныть в желудке, как раньше, каждый раз, когда он видел ее. Он знал, что предал девочку, не сказав матери, что это он привел ее в гостиную и угостил конфетой из хрустальной вазы. Не сказал, потому что боялся Эрику. Но вместе с девочкой из его жизни пропал и страх, который он испытывал перед матерью. Он теперь просто отключался, когда она ругала его, представляя себя на палубе корабля, с мокрым от соленых брызг лицом, а на плече у него обезьянка с красным платком на шее строит рожи океану. Тогда ему становилось смешно, а Эрика, думая, что он издевается над ней, начинала еще пуще кричать, размахивая руками и даже как-то раз здорово ударила его по лицу.

Отца он не боялся, да тот почти и не разговаривал с ним и Мати. Когда приезжал домой, то раздавал подарки, которые Эрика сразу прятала в шкафах, и на следующий же день начинал заниматься домом. И почему его в поселке называли черным

капитаном? Он как-то спросил об этом отца, но тот только рукой махнул: пускай трепятся, – и пошел дальше утеплять стены стекловатой.

Матери Томас избегал, отца не понимал, брата презирал, а дом ненавидел. Хотя у дома не было зубов, он был алчным и прожорливым, поглощая не только стройматериалы, кирпичи, доски, бетон, стекло, песок, черепицу, но и те незримые вещества, из которых когда-то состояли мать с отцом, их смех, мягкость рук, тепло и жалость, все реже проскальзывающие в их взгляде.

Чем выше рос дом, чем больше толстели его стены, тем молчаливее и сумрачнее становился отец и угрюмее – взгляд матери, как будто они приносили себя в жертву, добровольно кладя головы на огромную черную плаху, очертания которой дом принимал ночью. Хотя дом был совсем новым и они были первыми его жильцами, Томасу казалось, что в нем уже умерли сотни человек, которые, как в склепе, разлагаются во всей этой темно-коричневой, почти черной мебели, которой мать набивала комнаты. Он боялся дома, боялся спать в нем и, когда стал постарше, вечером часто прокрадывался на улицу и ночевал в сауне или в лесу.

Он знал, что в поселке им завидовали, и просто бесился от идиотизма людей. Больше всего ему хотелось привести их сюда и втолкнуть в дом, наглухо закрыв за ними дверь, чтобы они сами почувствовали, как он воняет. Прокисшими огурцами, грязными носками Мати и всеми этими мертвецами, гниющими в полированном югославском склепе матери. Например, ту белобрысую девчонку-дачницу в очках, которая несколько лет подряд часто торчала у дома, чего-то высматривая. Она была немного похожа на девочку, которой он когда-то хотел показать на кухне выдох дракона. Чуть косолапая, с такими же тонкими, длинными ногами, она обычно в одиночестве плелась за шумной компанией дачников со Спокойной улицы. У дома она притормаживала. Он слышал, как от напряжения у нее почти останавливалось дыхание, когда она начинала шарить глазами по фасаду и окнам, будто искала что-то.

Однажды он увидел ее в малиннике за валунами с девочкой постарше, которая собирала ягоды. Белобрысая подошла к калитке и долго стояла там, не сводя взгляда с двери. Лицо у нее было просительное, она даже руки прижала к груди, и ему вдруг показалось, что она вот-вот заплачет. Наверх она не смотрела, сейчас ее интересовала только дверь, так что он мог спокойно наблюдать за ней из комнаты Мати со второго этажа. Потом он услышал голос матери, к девочке подбежала ее подруга и стала тянуть за руку. Мать еще раз закричала, что нечего здесь

шататься, вон там весь лес в их распоряжении, и тогда они ушли, а он спустился вниз, встал на том же месте перед домом и тоже стал смотреть на дверь. Что она искала в доме, который он уже тогда начинал ненавидеть, о чем просила, сжав кулаки? Какую тайну хранил дом? Что бы она нашла, если бы он впустил ее сюда?

Потом Томас забыл о ней а, увидев пару лет спустя на Советской улице, не сразу узнал. Она была без очков, и вместо шорт вокруг ее тонких ног на ветру развевалась полупрозрачная бордовая юбка. Они прошли мимо друг друга, не здороваясь. Глаза у нее оказались золотистого цвета.

Теперь Томас мог приводить домой кого угодно. Хоть все восточное побережье. Мати уехал, отец все чаще пропадал в море, а мать была половину времени на работе, половину в беспамятстве. Из колхоза ее по старой памяти не выгоняли. Только сняли с доски почета ее фотографию. Какое-то время о ней еще говорили в прошедшем времени: «какие у Эрики были руки, форель чистила быстрее всех», «как она себя не жалела для дома и для детей», постепенно вытесняя Эрику из речи, заменяя ее безличными конструкциями «какая это была образцовая семья и хозяйство, а теперь вот всем курицам шеи свернули», «сколько сил положили на дом», «что бы им не жить?», еще что-то в этом роде, пока о ней не перестали говорить вообще.

Первой в дом попала Люда, которая жила за Советской улицей. Она была с крупными веснушками, с щербинкой между передними зубами и широко расставленными, нагловатыми коричневыми глазами. Мать ее работала в горячем цеху, а отца она не помнила, он уже давно где-то сгинул. Томас мог бы запросто привести ее в дом, даже в спальню, мать уже намертво рухнула в коридоре – теперь будет дрыхнуть до утра – а Люде не терпелось поглазеть на богатства черного капитана. Но вместо этого он потащил ее в сауну, где, стукаясь о деревянные полки, они быстро стащили с себя в нужных местах одежду. Потом, хихикая, Люда стала приводить себя в порядок и заныла, что хочет курить, а Томас вышел на улицу и закрыл входную дверь в дом, чтобы не слышать его запаха, который портил воздух в саду. Он не спешил обратно, времени было достаточно, и он мог спокойно досмотреть, как закатывается луна за сосны, пока воздух почти не слился с черным лесом, и дом, утратив рельефность и детали, при свете делающие его домом, снова не стал похож на плаху.

Люда все звала его и все ныла, что если нет сигарет, то в таком богатом доме уж точно найдется какая-нибудь выпивка.

Пока он, размышляя, стоял лицом к лесу, Люда, разлегшись на полке в сауне, говорила, что, если бы она знала, что он такой жадный, она бы взяла с собой бутылку и что у его матери наверняка есть везде заначки и от пары глотков она уж точно не обеднеет. Томас все стоял и думал, ничего не отвечая, к тому же ему было неохота напрягать мозги по-русски. Он и так потратил кучу серых клеток, чтобы дать ей понять, что она ему нравится и он не прочь развлечься с ней. Сначала до нее все никак не доходило, чего самый красивый мальчик в Руха, сын черного капитана, хочет от нее, а когда она наконец поняла, то все пошло как по маслу. Когда они шагали к богатой улице через приморский лес, чтобы не привлекать внимания, Люда все глупо улыбалась, не веря своему счастью. Она еле поспевала за Томасом, прыгающим через кочки, ему, видно, совсем было невтерпеж. Конечно, она предпочла бы побаловаться с ним в самом доме, тогда бы она первая из поселка побывала в знаменитом доме черного капитана, но на этот раз и сауна сойдет, тем более что обычно Люда встречалась с парнями под открытым небом или в школьной раздевалке.

Томас опять вспомнил, как мать орала на него, требуя рассказать, где он прячет мавританский ножик, который отец привез ему из Андалузии. Так он ей и сказал, дурища. Вдруг он подумал, что единственный человек, кому он показал бы нож, была белобрысая дачница, у которой за очками оказались золотистые глаза. Вокруг стояла такая тишина – даже собаки заглохли, – что хотелось заорать во все горло, разбудить в людях то, что пожирали в них богатые дома и нищие бараки, превращая их в бесчувственных уродов. Но кричать было нельзя и неразумно. Люда все бубнила за его спиной, но он не слышал ее. Она уже сливалась с пейзажем, с ельником за сауной, с валунами в малиннике, с приморским сосновым бором, за который закатилась луна, пока совсем не растворилась в черном воздухе, повисшем вокруг дома-плахи. Наконец он повернулся и пошел к сауне.

Люда исчезла, так же внезапно и почти неожиданно для него, как и та девочка, которая так и не увидела горящего спирта. Уехала наверное, судачили в поселке, ведь кроме матери, с которой она постоянно ссорилась, у Люды здесь никого не было. Поехала, видно, искать счастье в другом месте, страна-то большая, не всю же жизнь молодежи в Руха торчать. Так что особо Люду никто не искал, а ее мать, пряча злые слезы, говорила, что вот дочь нагуляется и прибежит обратно, как миленькая, когда кушать захочется.

С Людой стыд за мать не исчез, но как-то притупился,

утратив ту жгучесть, от которой по утрам ныло нутро. Еще появилась брезгливая жалость к ее глупости, когда Эрика, ненадолго придя в себя, пыталась воспитывать его. Сидя посреди своего склепа, она приводила ему в пример Мати и говорила, что нужно учиться дальше, и что Кульюс тоже так считает, и, если он хочет, она попросит московских интеллигентов со Спокойной улицы поднатаскать его по математике и литературе, а он, движимый этой странной жалостью, изо всех сил сжимал зубы, чтобы не расхохотаться ей в лицо. Порой он не выдерживал и выбегал из дому в сауну, где с разбега падал на полок и начинал хохотать как сумасшедший.

Теперь Томас иногда соглашался сидеть с ней в одной комнате и чаще бывал дома, и Эрика несколько сократила свои пьяные блуждания по поселку.

Если он давал ей дотронуться до себя, то ее лицо принимало совершенно идиотское выражение, и вся его жалость сразу испарялась. Так он никогда и не признался Эрике, что не уезжает из Руха вслед за Мати только из-за нее и из-за их проклятого дома, что это она виновата в том, что у него здесь теперь куча дел.

Потом в дом попала девчонка из Таллинна. Она приехала в Руха с компанией на машине, но, поссорившись со своим парнем, откололась от нее. Томас подцепил ее на пляже, когда все дачники ушли на обед. За дюнами под соснами сидели еще какие-то люди, но это были не местные, те в будни на пляж ходили редко. Так что по дороге к дому он не встретил никого из знакомых. А последний участок пути он повел ее лесом.

Девчонка, ее звали Ирина, была уже под хмельком и тоже все время хихикала, как и Люда. Матери дома не было, она сегодня выбралась на работу, и Томас решил, что Ирину можно повести прямо в дом. В гостиной она сразу уселась на пуфик, на котором любила сидеть Эрика, и закинула ногу на ногу. Сначала они выпили «Чинзано», а когда Ирина после двух стаканчиков стала пищать, что у нее горько во рту, он уже стаскивал с нее трусы.

Потом она заснула, а он еще какое-то время стоял у открытого окна и смотрел на сосны, за которыми сегодня было слышно море. Ирина похрапывала, под ногами у него между зелеными ворсинками белел песок, который они занесли с улицы, и он подумал, что потом нужно будет хорошенько прибраться, на всякий случай. Было светло, только под соснами на валунах лежали густые черные тени. Ирининых знакомых он так и не увидел, они наверняка уехали, не дождавшись ее, как это часто бывало с наспех собранными компаниями, да они его и не

интересовали. Он еще прошелся по Советской улице, народ как раз группками тянулся с обеда по пыльной обочине. Было жарко, и дачницы шли в легких сарафанах на тонких бретельках. Об Ирине помнили только его коленки – еще около часа назад, ползая по коридору и лестнице, он собирал в мокрую тряпку песок, потому что слишком долго не мог найти веник.

Мимо опять прошла девочка с золотистыми глазами. Вид у нее был скучающий и немного несчастный. Она вообще часто так смотрела. Но сейчас она не входила в его планы. Ему надо было думать дальше, и он перевел взгляд на другую дачницу, скорее всего, из Москвы. С длинной светлой косой, плотного телосложения, она была не в его вкусе, но для дома это не имело значения. Зато у нее, в отличие от других приличных девочек, были круглые зрелые плечи, и смотрела она по-другому, не смущенно, а чуть прищурившись, как будто прицениваясь. Смотрела прямо в его солнечные очки, а потом обернулась, одновременно с ним. Рядом с ней тащился долговязый бесцветный парень в очках, лет шестнадцати. Хотя нет, для дома она, наверное, все-таки не годилась, уж слишком следила за ней ее мамаша. Но Томас и не думал расстраиваться, в Руха было полно подходящих девиц, а в случае чего всегда можно было переключиться на однодневок из Таллинна, как эта Ирина. Так, наверное, даже удобнее, да и надежнее.

Все-таки Томас остановился и, обернувшись еще раз, увидел, как на перекрестке вся компания повернула налево, а с ними и девочка с золотистыми глазами. Там, напротив деревянного ларька, где по субботам иногда продавали мороженое, находился Дом моряка, на двери которого вместе ручки был приделан железный якорь натуральной величины.

На следующий день москвичка сама нашла его. Он как раз лежал в гамаке в саду за рестораном, доедая яблоко. Он повернул голову на свист и увидел ее за Белой речкой. Она помахала ему рукой и крикнула: «Не помешаю?»

Томас ничего не ответил, рот у него был забит яблоком, и тоже помахал рукой. Она еще чуть постояла у речки, видимо, рассчитывая, что он поможет ей, но, так и не дождавшись, сама перебралась через нее, сначала перекинув сандалии на тот берег.

Подошла к нему и сказала: «Привет, как дела?»

Он только пожал плечами, размахнулся и метнул огрызок в кирпичную стену.

Москвичка кивнула в сторону дома и вопросительно посмотрела на него.

Томас покачал головой: «Они здесь не живут, только в субботу-воскресенье».

Москвичка опять кивнула и, заложив руки за спину, стала ходить между яблонями, искоса поглядывая на него. Томас все раскачивался в гамаке, наблюдая за ней из-под полузакрытых век; лежа ему лучше думалось. Нет, с этой девицей серьезно связываться не стоило, слишком опасно. Неожиданно для себя Томас немного расстроился. Для дома она бы очень даже подошла: во-первых, сама к нему лезла, а во-вторых, ни в чем не уступала, а может, даже и превосходила тех первых девиц по степени непристойности. Те хоть не притворялись, а эта, держась за стволы, кружилась вокруг яблонь с романтическим видом. Москвичка как будто почувствовала, что он принял решение, и, опустив глаза, медленно зашагала к нему, нарочито глубоко сгибая колени: «У тебя?»

У Томаса опять заныло в груди от сожаления. Если бы они сейчас пошли к дому по последнему отрезку Советской улицы, то их в этот мертвый час никто бы не увидел. А потом он повел бы ее тропинкой мимо кладбища со стороны луга и привел бы к себе через лес за Спокойной улицей. Чисто и никаких следов.

– Ко мне нельзя.

– Я твою мать сейчас на улице видела, – сказала москвичка без тени смущения. – И как ты с ней уживаешься?

– Не твое дело. Ну и что, что видела? В дом все равно нельзя.

Он начал злиться, но старался не показывать виду. Москвичка обвела глазами сад и сказала:

– Ну ладно, с милым и в шалаше рай.

Он не понял ее слов, но стал сползать с гамака и, спрыгнув на землю, пошел к дому и скрылся за ним. Москвичка тоже обошла дом, и, осмотревшись, кивнула. Взяла его за руку и потянула за собой на траву.

– Ты здесь долго будешь? – спросил Томас, расстегивая молнию.

– Еще три недели.

Пока он обрабатывал ее и она, как ошалелая, мотала головой, впившись зубами в красную нижнюю губу, он думал, что если не сейчас, то за три недели уж точно успеет заделать ей ребенка. И от этой мысли досада, что ему не удастся скормить ее дому, немного улеглась.

В промежутках между москвичкой, которая каждый день после обеда приходила в яблоневый сад, он все-таки сумел выполнить часть своей программы. К тому времени мысль, что он зря тратит свои силы, стала почти невыносимой, а главное, могла навредить делу. Он слишком часто стал вымещать раздражение на москвичке, а один раз так сильно сжал ей горло, что та

сначала расплакалась, а потом раскричалась, что ему место в психушке. Томас и сам испугался и быстро постарался превратить все в шутку. Матери она бы, конечно, ничего не рассказала, та думала, что дочь ходит к подруге на школьную территорию, но вполне могла проболтаться долговязому юнцу, с которым, как она говорила, ее связывали платонические отношения.

Впервые Томас занервничал. Он чувствовал, как дом ждет, как давит на него, видел, какими алчущими становятся его очертания ночью, и стыдливо отводил глаза. А в последнее время дом и днем стал преображаться в плаху, как будто ему не терпелось выполнить свое назначение и он теперь постоянно напоминал об этом Томасу.

Томас понял, что изменился, когда, зайдя однажды в гостиную-склеп, почувствовал, как ему здесь покойно, можно сказать, почти уютно. Даже присутствие матери больше не портило ему настроение. Наоборот, ведь это благодаря именно ей дом превратился в самое себя, обнажив свою истинную сущность, в которой он, Томас, наконец нашел себе пристанище.

С тех пор Томас часто захаживал сюда и подолгу стоял у окна, боковым зрением вбирая в себя еще недавно похрапывавшую здесь на диване Ирину. Люда же в его памяти навсегда осталась в сауне, а сауна, хоть и была частью дома, все же существовала отдельно от него. Поэтому дом был вправе укорять Томаса в медлительности.

Видимо, удача все-таки была на его стороне. На этот раз девчонка приехала в Руха одна, на попутке из Раквере. Как она сказала, в гости к парню, который якобы работал в «Анкуре». Но там его не оказалось, и его вообще там никто не знал. Так что Света, рассчитывавшая хорошо развлечься, сильно разозлилась. Томас перехватил ее в приморском лесу, через который она возвращалась в поселок. Перехватил вовремя: она еще не дошла до богатой улицы, а значит, никто ее толком не видел. За «Анкур» он не беспокоился, мало ли какие и сколько девчонок заходили туда летом в поисках парня.

Они повернули обратно, и уже через десять минут Света очутилась в доме. В отличие от Ирины, в гостиной ей не понравилось – слишком мрачно, но выпить она не отказалась. Мать отлеживалась в Матиной комнате, где теперь спал черный капитан, когда возвращался из рейса.

После водки, которую капитанша держала на кухне, они распили белый портвейн из полированного серванта, и гостиная уже показалась Свете повеселее. Когда они упали на диван, она сперва завизжала, а потом запрокинула голову и шумно задышала через по-дурацки раскрытый рот.

Так она и осталась в его памяти с разинутым ртом и зажмуренными глазами, с комочками туши на ресницах. Запомнилось и ощущение лихорадочности – на руках, в висках, во всем теле, – которое как-то не вязалось с торжественностью, по окончании заполнившей дом и хоть на время вытравившей из него вонь грязных носков и малосольных огурцов, навеки вьевшуюся в стены. Но Томасу нужно было спешить. Не из-за матери – та до вечера не очухается, – а из-за москвички, которая будет ждать Томаса под яблонями и, не дождавшись, чего доброго, притащится сюда.

Но пока все шло лучше не бывает. Во-первых, его оберегал дом, во-вторых, на всех девиц у него уходило равное количество времени, ведь кроме цвета волос и глаз они ничем не отличались друг от друга, а поэтому никаких сюрпризов не преподносили. Они даже пахли одинаково, распаленным от алкоголя и бесстыдства телом.

Закрыв за собой калитку, он не сразу пошел дальше, а обернулся и еще раз внимательно посмотрел на дом. Белобрысая дачница в очках была права: дом черного капитана и вправду хранил в себе тайну, и знал ее только он, Томас. А значит, и ключи от дома были только у него. Так что, если разобраться, черному капитану здесь скоро нечего будет делать. Он уже сделал свое дело, заложив фундамент и отстроив стены, а потом поставив на них крышу, чтобы мать могла забивать нутро дома мебелью, хрусталем и финской сантехникой. Теперь очередь была за Томасом. Посвистывая, он двинул дальше, по богатой улице в сторону приморского леса, где всего три часа назад встретил Свету.

Лето подходило к концу, море похолодало, все чаще шли дожди, прибивавшие пыль Советской улицы, в магазин у автостанции завозили все меньше продуктов, рабочая столовая теперь кормила приезжих только три раза в неделю, дачники разъезжались, а оставшиеся, помешивая на общих кухнях супы и брусничное варенье, жаловались, что Руха теряет невинность буквально на глазах. Москвичи, многозначительно глядя друг на друга, рассказывали, что по приезде домой нескольким девочкам пришлось ненадолго лечь в больницу. А недавно в венерическом диспансере кто-то из таллиннских видел дочку Кульюса, которая в больничном халате курила на скамейке около корпуса.

Еще несколько девушек из бараков за Советской улицей так и загуляли где-то, правда, их особо и не искали, только один раз милиция приезжала, но все равно, даже если исходить из предельно низкого уровня их нравственности, сам факт их

исчезновения что-то говорил об общем моральном облике Руха. Конечно, что происходило с Эрикой, в моральном смысле тоже было страшно, но она ведь взрослый человек, а душа болит за молодежь. Вот, скажем, Томас. Чем он занимается? Какие у него идеалы? Какие личные и общественные интересы? Как он будет вносить свой вклад в наше общее дело? Как будет осуществлять великую мечту? Да никак, ему бы только по Руха пижонить в американских джинсах да девочкам голову кружить. Между прочим, в тот раз милиция с ним тоже разговаривала.

– Да что мы все трясемся, – сказал кто-то. – Просто наши дети выросли и они другие: свободнее, смелее, раскованнее. А что бы вы хотели? Сколько можно зажимать им рот, дурить голову прогрессом; да они всё прекрасно видят, не волнуйтесь. Времена-то изменились.

– Какие такие времена? Да что вы такое несете, что они, по-вашему, видят, а?

– Да хотя бы нас с вами. А что касается Томаса, так наши девочки ему сами глазки строят.

Тут все покидали свои поварешки в кастрюли и, уперев руки в боки, закричали, что нечего порочить наших детей всякими грязными намеками, и что у некоторых уже совсем ничего не осталось святого, а что, наоборот, надо беречь и лелеять и что мы сами лучше знаем, слава богу, и не то видали на своем веку.

Когда дом затих, Эрика перевернулась на бок, спустила ноги на пол и стала медленно подниматься. Оказавшись в сидячем положении, она, потеряв равновесие, чуть не грохнулась вперед, но удержалась, крепко вцепившись пальцами в край кровати. Она покрутила головой, во рту было противно. Обвела мутным взглядом комнату и увидела стакан воды на тумбочке. Томас, ее сын, поставил его туда. Эрика начала медленно продвигаться задницей по кровати в сторону тумбочки, пока стакан не очутился в поле досягаемости.

Зубы залязгали по стеклу, по подбородку потекла вода, а может быть, слезы, потому что взгляд у нее затуманился еще больше. Эрика поставила стакан и прислушалась.

Дом молчал, а Эрика слушала его. На душе у нее было покойно, так покойно, что хотелось улыбнуться. Она растянула губы и подумала: как хорошо, что дом теперь тонет тихо, спокойно, что ощущение беснующейся бездны под полом исчезло, что дом просто медленно погружается в бездонную заводь, вместе со всеми их трудами и добром, страхами за сына и странными слухами о нем и девочках из поселка. А ей ничуть не страшно, как будто так и должно быть, как будто у нее теперь одна дорога

– вниз, где ей больше ни перед кем не надо оправдываться. От этой мысли у Эрики прибавилось сил. Опершись руками о кровать Мати, она приподнялась и зашаркала к окну. У забора стоял ее сын, еще красивее, чем обычно, и внимательно смотрел на дом, не видя ее в окне на втором этаже. Потом Томас повернулся и пошел в сторону богатой улицы.

Сегодня девочка с золотистыми глазами надела новую юбку. Из бордового ситца с большими белыми цветами и широким воланом. В этом году все носили длинные юбки с воланом. Она немного волновалась, закрывая за собой тяжелую дверь с якорем. Маме она сказала, что пойдет посмотрит, не привезли ли в приморский магазин свежий хлеб. Та сунула ей в руки авоську и опять уткнулась в какой-то иностранный роман, который сейчас все читали.

Сначала она на всякий случай решила пройти по Советской улице. Дошла до автобусной станции, а потом повернула обратно. Навстречу ей попалась блондинка из Москвы с длинной косой и толстыми плечами, которая тоже отдыхала в Доме моряка. Блондинка смотрела по сторонам, как будто искала кого-то, а поравнявшись с девочкой, с надменным видом прошла мимо. У ларька девочка повернула налево, к Белой речке. Перейдя через мостик, она решила пойти в приморский лес, а уже потом по Пионерской выйти на богатую улицу. В приморском лесу тоже никого не было, все еще обедали. У девочки опять заколотилось сердце, но теперь к волнению примешалась радость от новой юбки, и она поспешила дальше. Только она прошла мимо баскетбольной площадки, вдали между соснами уже синело море, как увидела Томаса. Его узкая спина и ноги, затянутые в американские джинсы, быстро мелькали между деревьями, как будто он торопился. Во рту у нее мгновенно пересохло. Она прибавила шагу и вдруг увидела, что он не один. Рядом с ним шла девушка, старше ее, лет шестнадцати, с белыми волосами, в которых просвечивали черные пряди. Девушка была незнакомая, в Руха она ее ни разу не встречала, и совсем другая, чем она, – опытная. Это сразу было видно. Между Томасом и ею что-то происходило, что-то очень важное, хотя они шли на расстоянии, не прикасаясь к друг другу, как чужие, и, кажется, молча. Правда, один раз девушка что-то сказала и сама же засмеялась, резко закинув голову назад, но Томас, не посмотрев на нее, все шел, почти бежал дальше. Потом они повернули в сторону богатой улицы и исчезли.

SOS

Мати не любил приезжать домой на каникулы. В доме всегда плохо пахло, сильно похудевшая мать бродила по нему, как привидение. Ее когда-то узковатые глаза расширились и напряженно вглядывались в пространство дома. Она явно чего-то ждала, ощупывая стены и внимательно осматривая потолок, принюхиваясь к чему-то или вдруг опускаясь на колени и прикладывая к полу ухо. Бывало, она пьяная заваливалась к нему ночью и плашмя падала на постель. Тогда приходилось выволакивать ее из комнаты, но иногда она засыпала у него прямо на руках, и он опускал ее на коврик перед кроватью и накрывал детским шерстяным одеялом.

Томас смотрел на него так же, как когда они были маленькие, и Мати так же, как и тогда, краснел и начинал ненавидеть свои бледные рыхлые ноги и узковатые, как у матери, глаза. Он никогда не злился на брата, ведь Томас ничего не делал нарочно, как другие мальчики, которые дразнили его за неуклюжее, бесцветное уродство. Просто Томас видел его насквозь и не скрывал своего презрения. Мати знал, что, даже если он когда-нибудь разбогатеет, как дядя Калле, и будет приезжать в Руха на собственных «жигулях», брат будет смотреть на него точно так же.

Отец почти всегда был в море, а если и приезжал домой, то целыми днями занимался только домом, не обращая ни на кого внимания. Иногда рядом с ним оказывалась мать. Трезвая, она могла часами наблюдать за мужем, тихо следуя за ним, как тень, и жалостливо улыбаясь и покачивая головой, как будто смотрела на глупого ребенка, строящего замок из песка. Потом она так же внезапно исчезала, и появлялась уже пьяная, и с лихорадочным взглядом начинала осматривать сделанную отцом работу. Однажды Мати увидел, как она всем телом повисла на двери, которую только что починил отец, пытаясь сорвать ее с петель.

На каникулах Мати спал, катался по Руха на велосипеде, а купаться предпочитал в плохую погоду, чтобы никто не видел его ног, и наблюдал за девушками. С Томасом он встречался только на кухне или в саду, когда уходил из дома, и понятия не имел, чем тот занимается целыми днями. Как-то раз он застал брата в гостиной. Просто шел мимо по коридору и увидел в полуоткрытую дверь Томаса, тот разлегся на югославском диване, чуть скривив губы и рассматривая что-то блестящее. Мати остановился и стал смотреть на брата. Томас перевернулся набок, а потом на живот, полежал так лицом вниз с трясущимися плечами, то ли всхлипывая, то ли хохоча, и опять перекатился

набок, и так несколько раз. Под ногами Мати скрипнула половица, но Томас ничего не заметил, продолжая свое странное занятие, пока вдруг резко не замер, перевалившись на спину. Мати не сразу понял, что произошло, а когда понял, то пугаться уже было поздно. Узкое лезвие просвистело мимо его уха и вонзилось в дверь. Дрожа всем телом, Мати сбежал по лестнице и выскочил из дома.

Если погода была пляжная, то Мати шел к морю, но никогда не снимал там тренировочных адидасовских штанов, которые ему принес дядя Калле из гаража.

Сначала он еще попытался устроиться в «Анкур», модный приморский бар-кафе, которое недавно построили в Руха, продавать фанту и яблочный сок, но все места уже были заняты таллиннскими. Просто так сидеть в кафе, где целый день торчали друзья таллиннских и дети с богатой улицы, ему не хотелось, да и денег было жалко.

В «Анкуре» пахло просмоленным деревом, канализацией, соснами и морем. За стеклянными стенами все время шла какая-то непонятная для Мати игра. По неуловимым сигналам в «Анкуре», как на шахматной доске, происходили перетасовки, перемещения, тайные и явные перестановки сил. Еще вчера дочка Кульюса Марика сидела в обнимку с парнем в вельветовых адидасах, сегодня она уже красовалась у бара и тянула из соломинки фанту, улыбаясь длинному бармену, а на вельветовых коленях устроилась кудрявая девица в желтой майке. Потом вместо бармена сок и бутерброды стала продавать кудрявая девица, а Марика ей помогала. У бара расположилась новая модная компания, в центре которой сидел парень в вельветовых адидасах, бармен же в голубых джинсах целовался в углу с девушкой, у которой были видны только ноги и рука с красными ногтями, впившаяся в барменовское плечо. Мальчики и девочки бесшумно скользили по «Анкуру», на ходу изобретая схемы ритуальных танцев, как бы между прочим обнюхивая друг друга, как собаки, быстро образуя парочки и так же быстро расходясь.

Как только Мати нашел себе подходящее место в дюнах, игры в «Анкуре» перестали занимать его. Наблюдая за идущими в кафе девушками, целиком перемещаясь в их нежные полуголые тела, он забывал про собственное уродство, а все телодвижения за стеклянными стенами представлялись ему такими же нереальными, как на экране финского телевизора в доме у дяди Калле.

Теперь «Анкур» интересовал его лишь как средоточие центростремительних сил, что притягивали к себе юных дачниц.

Это было единственное место на всем побережье, где можно было не только купить фанту, пепси-колу или сок, но и шикарно выпить их из длинных стаканов с соломинкой, и поэтому рано или поздно все девушки проходили мимо Мати, устроившегося в ложбинке у «Анкура». Так ни разу и не заметив его.

Они были слишком очарованы «Анкуром», заполненным до головокружения свободными и такими прекрасными и недоступными в своей свободе девочками и мальчиками из европейского мира, чтобы заметить угрюмого парня с узковатыми глазами на бледном лице. Так что место он себе выбрал просто гениальное. Пока девушки групками шли к «Анкуру», размахивая вьетнамками и затихая по мере приближения к кафе, Мати успевал переместиться в каждую из них. Ему нравилось качаться в их мягкой, томящейся плоти, он почти не замечал, как переплывал из одного тела в другое. Все они были связаны между собой, как волны в его любимом море, все они текли из одного волшебного источника, который когда-нибудь обязательно материализуется и перевесит тот мир, где непомерным грузом лежали его дом, русские бараки в поселке и серые военные суда за заводом, сторожившие горизонт в Руха.

Но для начала Мати нужно было разбогатеть и купить машину, как дядя Калле.

Представляя себя в джинсовом костюме и в белой нейлоновой финской водолазке, Мати закрывал глаза. Тогда ему сразу вспоминался брат, тонкий и красивый, но он пока так и не решил, завидовать тому или нет. Конечно, Томас мог познакомиться с любой девочкой в «Анкуре» или из приезжих, но смог бы он, как Мати, заплыть в нее, не повредив нежной ткани? И потом нырять в теплые глубины, не задевая животворных органов? Иногда Мати начинал стесняться своих мыслей и опять прикрывал глаза или поворачивался в другую сторону, делая вид, что ему нет ни до кого дела.

Ноги в тренировочных штанах потели и чесались. Мати вылезал из своей ложбинки и долго шел вдоль моря лесом, пока за спиной не оставались большой пляж и кусок побережья, где загорали иссохшие от солнца коричневые голые мужчины. Там он пересекал дюнную полосу и, обдирая ноги об острую осоку, бежал к морю. Сбрасывал с себя штаны и окунался, а потом долго сидел на мокром песке и смотрел, как море пенистым языком облизывает его голые ноги.

Интересно, что сейчас делает Томас? Мати всего один раз видел его на побережье. Томас стоял в тени сосен недалеко от «Анкура», как будто оказался здесь случайно и не хотел привлекать к себе внимания. Мати он, кажется, не заметил, и,

пока тот выкарабкивался из своей ямы, он уже исчез. Если раньше брат существовал, только чтобы напоминать Мати о его уродстве, то после случая с ножом он стал думать о нем. Это было странно. Ведь Мати так давно знал Томаса. Они ели одну пищу, когда были маленькие, спали в одной комнате, пока строился дом, их шпыняла мать, которую они молча ненавидели двойной ненавистью, так что думать о нем как о чем-то отдельном от себя было непривычно. Непривычно было и то, что брат, оказывается, тоже думал о нем, метнув нож в десяти сантиметрах от его уха. Теперь к мыслям о Томасе примешивался страх.

Горизонт на диком пляже был чистый, русские военные суда были видны только боковым зрением. Глядя на синий горизонт, Мати знал, что, пока в Руха есть море, он будет приезжать сюда, несмотря на вонь в доме, пьяную мать и старшего брата, который валялся на диване в гостиной, развлекаясь мавританским ножиком.

Девочка с золотистыми глазами так больше никогда и не увидела девушку, с который Томас шел тогда через приморский лес. Она повернула вслед за ними в сторону богатой улицы, но те уже исчезли из виду. Наверное, они пошли к дому черного капитана наперерез. Почему-то девочка была уверена, что они идут именно туда.

Если бы ее спросили, как выглядела эта девушка, она бы толком не смогла описать ее. Видела-то она ее только со спины. Сказала бы, что на ней была темная узкая юбка чуть выше колен и белая майка с короткими рукавами и что волосы у нее были до плеч, желтоватые вперемешку с темными прядями. И что вид у нее был не дачный, а деловой, как будто она вместе с Томасом шла к какой-то цели, оставляя за спиной море и залитые солнцем белые дюны, как будто впереди у нее было что-то поважнее этого прекрасного летнего дня с температурой воды аж до двадцати четырех градусов.

Томас тоже спешил, не отвлекаясь на разговоры, видимо, уже обо всем договорившись с незнакомкой. Один раз, переходя через Пионерскую улицу, он обернулся, но, кажется, не заметил девочку. Кивнув своей спутнице, он повернул налево в сторону богатой улицы, и, не доходя до домов, пригнулся и, как в пещеру, нырнул в густой ельник. Та что-то сказала и засмеялась, закинув голову назад, и, придерживая над головой ветки, последовала за ним. Вот и все.

Но с тех пор девочка внимательно смотрела на всех незнакомых девушек, гуляющих по Руха, пытаясь отгадать в них спутницу Томаса. Почему-то она была уверена, что сразу узнает

ее, несмотря на то, что видела ее только сзади.

Теперь, проходя мимо дома черного капитана, она вглядывалась в него, ища ее следы. Белую майку на бельевой веревке, силуэт с откинутой головой в тени елок у сауны, синие лодочки на лестнице перед входной дверью, смех из открытого окна на втором этаже. Но старалась делать это как можно незаметнее, не обращая на себя внимания. Почему-то ей казалось, что она единственная в Руха, кроме Томаса, кто вообще знал о существовании девушки, и что пока так и должно быть. Она сама не понимала почему. Но дом, с тех пор как запила Эрика, хранил молчание.

Ясно было лишь одно. Теперь ее с Томасом связывала тайна. Поэтому она перестала отводить глаза в сторону, встречаясь с ним. Они по-прежнему не здоровались, но нацеливались друг на друга уже издали, и он заранее сдвигал на лоб солнечные очки, открывая ей навстречу глаза. Каждый раз, глядя на него, она молча спрашивала его об этой девушке, и каждый раз он отвечал ей непроницаемым темным взглядом, и, пройдя мимо, снова опускал очки на нос.

Скоро она поняла, что сама выдала себя, приблизившись к нему. Ведь тогда, спеша со своей спутницей по приморскому лесу, Томас наверняка не заметил ее. А теперь уже было поздно, их стало как бы трое, и от этого знания глаза его становились все темнее, как черные дыры между корнями упавшей сосны в лесу.

Иногда она замечала на себе его взгляд, еще не видя его самого, как один раз, проходя мимо дома черного капитана. Впервые за долгое время у дома что-то происходило, какое-то движение, намекающее на жизнь. В саду кто-то возился у картофельных грядок. Девочка заприметила это у платинового дома замдиректора, на углу Морской. От волнения у нее заныло в желудке. Это не могла быть капитанша. Эрику она только что видела около универмага, где та дремала на скамейке, опустив голову на грудь. Под ногами у нее пристроилась пыльная собака со смешной квадратной мордой.

Подойдя поближе, девочка увидела толстого мальчика лет шестнадцати в зеленой майке и в длинных тренировочных штанах. Нагнувшись, он вырывал сорняки, яростно швыряя их в сторону. Он поднял голову и сказал: «Тере». Девочка тоже поздоровалась. Мати. Она давно не видела его, но он почти не изменился. Только еще больше подурнел. Ей почему-то стало жалко его, и, чтобы показать, что он ей не противен, она чуть замедлила шаг, глядя на его руки, шарящие в грядке, и вдруг увидела Томаса. Тот стоял у ельника около сауны в своей обычной позе, засунув большие пальцы в карманы джинс, и

смотрел на нее. В первый раз он увидел ее раньше, чем она его, и от этого у нее опять сильно заныло в желудке. Томас стал вразвалочку приближаться к забору, как будто отгоняя или предостерегая ее.

Нечего тебе здесь делать, все равно ничего не найдешь, ни на веранде с иллюминаторами, ни в подвале, где раньше метровыми рядами стояли соленья, ни в полированном югославском склепе, ни под зеленым ковролином, а если и найдешь, то не то, что ищешь. Так что давай, двигай дальше, это мой дом, и вход тебе сюда заказан. Пока, а там посмотрим. Теперь, между прочим, твоя очередь ждать знака.

Потом Томас повернулся и так же медленно зашагал обратно. Мати, ничего не замечая, продолжал полоть картошку, но, когда девочка обернулась, он стоял, утирая пот с лица, и смотрел ей вслед.

Дом уже остался позади, но не отпускал ее, давя на нее всей своей тяжестью. Не оборачиваясь, она чувствовала, как дом вытягивается, разрастается и расползается во все стороны, надвигаясь на нее огромной волной и подминая под себя все на своем пути: валуны, малинник, старые доски, наваленные на обочине, сосны и березы. Теперь уже она сама шла по этому огромному, бесконечному дому, где хранились сокровища, накопленные черным капитаном и его женой. Но их самих в доме уже не было. Черный капитан, которого из дачников так никто и не видел, плавал где-то в далеких морях, его жена бродила по Советской улице или отсыпалась, напрочь отключив зрение и слух, а Мати лишь изредка приезжал из Таллинна в Руха наблюдать у моря за девушками. Хозяином в доме теперь был Томас.

В этом доме пахло плесенью и еще чем-то резким, вроде рыбы, может, это была форель, навсегда вьевшаяся в стены, на лицо липла паутина, ноги у девочки отяжелели, словно она шла вверх по крутой лестнице, в ушах застучало – это оказались ее собственные шаги, но теперь их стук прорезал странный звук, словно кто-то поскуливал, не в силах выдавить из себя ни слова. Потом все затихло, только где-то вдалеке, в самом отдаленном углу, еще раздавались еле слышные вздохи.

Девочка побежала еще быстрее, а затем, зажав ладонями уши, ринулась вперед, не разбирая дороги. Она перевела дух, только когда за ней захлопнулась тяжелая дверь с железным якорем.

В Доме моряка второй день шла пьянка. Было воскресенье. В воздухе клубились винно-водочные пары. Над лестницами звенел мат. Уже подбегая к дому, девочка видела свисающих из окон

моряков. Наспех глотнув свежего воздуха, они тут же исчезали внутри, чтобы заправиться. Оттуда тоже доносились крики, ругань и самый разнообразный стук.

За неделю дачники не то чтобы привыкли к морякам, но уже более философски смотрели на происходящее. Действительно, чем было еще заниматься в выходной день молодым здоровым мужикам, приехавшим в Руха на стажировку? Директор Дома моряка и так проявил изрядную чуткость, поселив сорок моряков отдельно от дачников, на втором этаже. Правда, иногда они спьяну забредали в женскую уборную на первом этаже и, выкладывая свои петухи в раковину, долго и задумчиво мочились, но за этим уже директор уследить никак не мог. В конце концов, для чего существовала партийная организация завода, где моряки проходили стажировку?

Слух о сорока моряках всколыхнул организмы незамужней части населения Руха. В день их приезда Советскую улицу перед Домом моряка заполнили девушки в мини-юбках и с распущенными русалочьими волосами. Они медленно двигались под ручку, бросая взгляды в окна гостиницы. Дойдя до закрытого ларька, девушки поворачивали и шли обратно. Теперь окна на втором этаже облепили мужские фигуры, наблюдавшие за движением на улице. Воздух между фасадом и женскими шеренгами густел и наливался электричеством, как перед грозой. Из окна раздался и тут же смолк сиротливый свист, за которым ничего не последовало. Девушки продолжали так же медленно вышагивать, пока их не поглотил мрак и в темном воздухе не замерцали белые пятна их праздничных блузок. За их чинной, размеренной поступью стремительно созревали планы активных боевых действий. Как за месяц поймать в свои сети рыбок, курсантов мореходного рыболовного училища. Или хотя бы хорошенько развлечься, по возможности никуда не заляпавшись по женской части.

«Сорок морячков, сорок смелых морячков», – повторял про себя Томас, чувствуя, как у него улучшается настроение и в жилах опять начинает весело играть кровь, уже успевшая застыть после встречи с ракверской девицей. Он даже на какое-то время забыл про девочку с золотистыми глазами, которая повергала его в непривычное для него тревожное состояние.

Как всегда, конкретного плана у него не было. Томас считал, что все должно происходить само собой, естественным образом. Только так было возможно достичь полного слияния со своими действиями, только так все движения приобретали непрерывную и безусловную плавность, гарантирующую от ляпов. Пока все

планеты двигались по своим орбитам, его космосу, в центре которого находился дом, ничего не угрожало. А значит, и он сам был в полной безопасности. Практика каждый раз доказывала его правоту. Однако все прошлые разы на его стороне еще была и удача. Но можно ли было полагаться на нее всегда?

Как раз поэтому Томасу теперь позарез были нужны условия. Сорок моряков приехали в Руха, как по заказу. Сорок моряков, заряжающих воздух Руха необходимой для Томаса животной энергией. Сорок молодых мужских тел, настраивающих женские струны в Руха на многообещающий для Томаса лад. Сорок русских моряков, выделяющих вещества, от которых даже у расплывшихся дачных матрон начинало бродить под длинными до пят юбками. Сорок одурманенных водкой тел, которые дом уже затягивал в свое гравитационное поле, создавая условия Томасу.

Он усмехнулся, наблюдая за гуляньями на Советской улице. Самые смелые девицы уже сидели в окруженном акациями скверике при Доме моряка на скамейках поближе к открытым окнам. Кажется, там шли какие-то переговоры, сопровождаемые матом и хихиканьем.

Да, условия были просто оптимальные. Сорок моряков и куча поселковых девиц, жаждавших одного и того же. Энное количество тел, помноженное на энное количество похоти, обеспечивало приличный хаос в поселке. А уж из него Томас как-нибудь сумеет извлечь нужный корень. Впереди у него был целый месяц. Томас повернулся и пошел вниз к мостику. Сегодня он мог спокойно смотреть в лицо дому.

Девочка с золотистыми глазами хотела поскорее пробежать вверх по лестнице, но не успела. Дорогу ей загородил рыжий моряк, тот самый, который слишком часто встречался ей с чайником в коридоре на первом этаже, рассыпаясь в спину всякими нежностями вроде «ласточки» и «березки». Он растопырил руки, лицо растянулось в довольной ухмылке. На всякий случай он и ноги расставил пошире, чтобы она не вздумала проскочить мимо него вдоль стенки.

– Куда спешим, красавица?

– А вам какое дело? – ответила девочка неестественно грубым голосом. Сердце у нее опять заколотилось. Куда ей теперь было бежать? За дверью с якорем ее подстерегал дом Томаса. А здесь на нее надвигались бледные, покрытые рыжей шерстью огромные ручищи. За обтянутым тельняшкой торсом глаза девочки уперлись в закрытую дверь прямо напротив входа, туда, где обычно сидел директор или дежурная.

– А тетя Шура сегодня отдыхает, – сообщил моряк радостным тоном, проследив за ее взглядом.

– Молодой человек, пожалуйста, вы не могли бы пропустить меня? – вежливо, как ее учила мама, попросила девочка.

– Ой, а мы на «вы», культурные, значит, – еще больше обрадовался моряк. – Уважаю таких. А я за тобой давно слежу, между прочим, миль пардон.

– Меня мама ждет. – Девочка сделала вид, что не расслышала его слов.

– Ты че, целка, что ли? – удивился моряк. – Да ты не боись, я счас корешей попрошу удалиться, мы с тобой водочки тяпнем и того, ты и глазом не успеешь моргнуть…

– Володя, Волоодя! – раздался женский голос со второго этажа. По лестнице застучали каблуки. – Ты куда смылся?

Задрав голову, Володя ругнулся, но рук не опустил. Тогда девочка, согнувшись в три погибели, перескочила через ступеньки и прошмыгнула на свободу через спасательный круг широко расставленных моряцких ног.

Валя выпрыгнула из автобуса и огляделась. Знойная пустая площадь с расплывающимся от жары, залатанным асфальтом. В глубине невысокое здание из красного обсыпающегося кирпича. Под навесом скамейки с алкоголиками. Напротив серый двухэтажный дом с магазином на первом этаже.

«Ну и дыра», – подумала Валя. И как ее сюда занесло? Торчать здесь придется битый час. Автобус в Мересалу придет только в три, сказал шофер.

Она уже пожалела, что не поехала с лейтенантиком на «жигулях», но потом вспомнила, как он, целуясь, больно впивался в ее губы, и сожаление сразу улетучилось. Да и «жигули» были не его, а друга, но все равно с ветерком и комфортнее, чем в этом затхлом автобусе. Здесь даже присесть было негде. Не рядом же с этими алкашами. Валя пересекла площадь и увидела под тополями пустые рыночные ряды. Она вскарабкалась на прилавок и стала ждать.

Если бы она утром не послала лейтенантика на три буквы, уже давно была бы у подруги в Мересалу, в пансионате, где отдыхали классные ребята из Москвы. С другой стороны, не тащиться же ей было туда с лейтенантиком. Он бы ей там весь кайф испортил. Валя потрогала губы. Педераст несчастный. Лейтенантик уже в подъезде накинулся на нее и стал совать ей пальцы под юбку. Вот деревня, хоть и из Ленинграда. И что отец его так любит, прямо мечтает, чтобы она замуж за него вышла, военную династию продолжать. Уроды они все, эти военные.

Интересно, лейтенантик сразу побежал докладывать отцу, что она смылась, или пошел сначала раны зализывать? Она вспомнила, какое у него было красное злое лицо и как он потом заюлил и заканючил, испугался, что больше не даст, кретин. Но и она дура, села со злости не в тот автобус и теперь тут мух давит, пока Катя с москвичами развлекается. С досады Валя соскочила с прилавка и прошлась к автостанции и обратно. Просто так, чтобы стряхнуть злость. На площади по-прежнему ни души. У магазина прочитала объявление про стеклотару, которую здесь временно не принимали. Потом прошла вдоль фасада до крыльца на углу и дернула деревянную ресторанную дверь. Закрыто. Блин, еще даже двух часов нет. И жара такая, что сдохнуть можно.

Тут она услышала журчание. Валя обогнула угол и очутилась на зеленом склоне, под которым текла речка. Она спустилась и увидела сад со старыми раскидистыми яблонями. И никакого забора. От сада веяло прохладой и вечностью, которая вмиг вобрала в себя лейтенантика вместе с Катькой и ее классными москвичами. Злость как рукой сняло, и Валя вдруг вспомнила детскую книжку про мальчика, который проснулся однажды утром и обнаружил, что все люди исчезли и он остался один на всем свете. Но Валя была не одна, в глубине сада кто-то качался в гамаке. Пока она, еще на этом берегу, напряженно вглядывалась в зеленый сад, с гамака соскочил мальчик и медленно пошел в ее сторону. На нем были американские джинсы, белая майка, а между большим и указательным пальцем зажата сигарета. Он был такой красивый, что она опешила.

– Тере, – сказал мальчик и помахал ей рукой, приглашая в сад.

– Тере, – ответила она, сожалея, что плохо говорит по-эстонски, нагнулась и стала снимать сандалии.

Стояла такая жара, что даже мальчики и девочки в «Анкуре» расползлись по углам и плавились там, как сонные рыбы, не в силах прикоснуться друг к другу. День сегодня был не самый удачный. То ли всех сморила жара, то ли мамаши решили не раскошеливаться, но девушки в «Анкур» почти не шли, за исключением парочки не самых привлекательных. Мати и сам чуть не заснул в своей ложбинке, но испугался, что вдруг пропустит девочку с золотистыми глазами, и несколько раз больно ущипнул себя за руку. Она еще ни разу не прошла мимо его наблюдательного пункта.

Мати так мечтал увидеть ее в купальнике, что не выдержал и изменил своей привычке. Впав в отчаяние, что до отъезда ему так и не удастся вплыть в ее полуголое, теплое тело, а будущим

летом она может уже не приехать, он решил пойти искать ее по пляжу.

Он шел, опустив голову, как будто потерял что-то в песке, чтобы никто не заподозрил его.

Все побережье было усыпано телами, некоторые лениво приподнимались, оглядывая его, но девочки с золотистыми глазами пока нигде не было видно. Он опять вспомнил ее вопросительный взгляд, когда она замедлила шаг, проходя мимо их дома. Вдруг она нахмурилась, но не из-за его уродства, она была не такая, а из-за Томаса, который внезапно появился в саду, и быстро пошла дальше, а потом побежала. Между ними явно что-то происходило. При мысли об этом у него захватило дух и он подумал, что ищет девочку не для себя. Ему нужно было обязательно предупредить ее, чтобы она не связывалась с Томасом. Поняв это, он успокоился. Теперь ему было не в чем себя подозревать и он смелее пошел искать ее дальше.

Девочка лежала на животе, положив голову на скрещенные руки. Она, видимо, только что вышла из воды, на теле у нее блестели капельки, и Мати еле удержался, чтобы не нагнуться и не слизнуть море с острых плеч и нежной ложбинки между лопатками, а потом пройтись языком по спине, приплюснутым ляжкам, вытянутым загорелым голеням и припасть ртом к чуть сморщенным розовым пяткам. У ее головы лежала открытая книжка, а рядом сидела смуглая женщина в панаме, низко надвинутой на лоб, и читала журнал. Мати опять застыдился своих мыслей, своего неуклюжего тела и толстых ног, хотя он был в длинных штанах и никто не обращал на него никакого внимания. Он посмотрел по сторонам и, удостоверившись, что Томаса здесь нет, расслабился. Значит, с его девочкой пока не могло ничего случиться, она просто лежала и загорала здесь рядом с мамой.

Хотя он весь взмок, он так и не решился снять штаны, а тащиться на дикий пляж ему сейчас было неохота. Он еще немного постоял у кромки, чувствуя себя все более неловко без своей ложбины, где он мог смотреть на девушек, не привлекая внимания. На секунду ему стало ужасно обидно, что вот, он нашел свою девочку, но даже не может рассмотреть ее как следует, а не то чтобы переместиться в нее и покачаться в ее легких волнах. Ему расхотелось идти обратно на свое место под соснами, и он ушел раньше обычного.

В дом он заходить не стал. В гостиной ему больше не нравилось, особенно с тех пор, как брат метнул в дверь нож, хотя она и была богато обставлена, почти так же шикарно, как у дяди Калле, и Томас в последнее время держал ее в образцовом

порядке. Есть ему не хотелось, да на кухне толком ничего и не было, кроме холодной картошки и хлеба. А в его комнате наверняка еще отсыпалась мать, которая опять привалила к нему ночью.

Мати перетащил стул в тень и сел на него. Закрыв глаза, он сразу увидел перед собой море и свою девочку, плескавшуюся в волнах. Горизонт был чистый, без серых военных судов, как будто в Руха не было никакого завода, и теперь девочка плыла к самому краю моря, оставляя за собой пляж с дачниками, мать с журналом, приморский лес, «Анкур», всю Руха с ее старыми домами и кладбищем с белой церквушкой на Спокойной улице и с вознесенными особняками на богатой, с бараками и с безжизненной пылью Советской улицы, и с Домом моряка, где сорок моряков пировали с поселковыми девицами, а главное – девочка все дальше уплывала от Томаса и их дома. Ему было жаль отпускать ее, навсегда, быть может, но ему все равно хотелось, чтобы она уплыла как можно дальше, к этому искрящемуся горизонту, где ее никогда не догонит Томас.

Сбоку повеяло ветерком, и Мати открыл глаза. Мимо бесшумно прошел Томас.

Он появился со стороны сауны. Что он там, интересно, делал? Когда Мати пришел домой, Томаса нигде не было видно, а теперь тот преспокойно шагал к дому, на ходу снимая майку и отряхивая джинсы. Мати повернул голову в сторону сауны. За ней начинался темный густой ельник, где они играли в прятки, когда были маленькие. С тех пор Мати туда не ходил, да и что там было делать? Только колоться об острые иголки да спотыкаться о корни и пни. Мати не любил лес.

– Ты чего, стирать будешь? – крикнул он в спину брата.

– А тебе-то что?

– А то, что не забудь и мои носки постирать.

Томас развернулся и медленно направился к Мати, похлопывая майкой по колену. Мати увидел, что она была в темных разводах. Лицо и голое тело брата блестели от пота, как будто он дрова рубил.

– Тебе что, вставить некуда?

Мати сделал вид, что не расслышал. Он уже пожалел, что стал задирать брата, и молча ждал, когда тот уйдет. Но Томас и не думал уходить, наоборот, лицо у него внезапно оживилось.

– Мне тут Марика жаловалась, что у «Анкура» какой-то урод сидит и девушек пугает. Ты случайно не знаешь, кто это?

Мати опять промолчал, чувствуя, как заливается краской. Вдруг брат нагнулся и похлопал его по колену.

– Да ты не расстраивайся, ну некуда вставить, ну и что,

подумаешь, это не главное. Главное – это… – Тут Томас махнул майкой в сторону дома. – А помнишь, мы с тобой обезьянку хотели, а мать запретила. Она спит?

Мати пожал плечами.

– Не знаю, не смотрел.

Томас подумал о чем-то, глядя на дом, и спросил:

– Ты когда в Таллинн? Уже? Так быстро? Оставайся еще, вон какая погода, чего тебе в городе торчать в такую жару? А Марике я скажу, чтобы не ныла. Какое ее дело, кто где сидит и на что смотрит. Да, вчера в Доме моряка чуть кого-то не зарезали, не слышал? Из-за какой-то девицы. Ну ладно, отдыхай.

Теперь рыжий Володя подчеркнуто вежливо здоровался с девочкой. Хотя при этом он в упор смотрел на нее светлыми выпуклыми глазами, в его взгляде, разбавляя наглость, появилась легкая сумятица, которую он пытался скрыть, видимо, сам не понимая ее происхождения. Однажды она встретила его по дороге в библиотеку и он, вежливо поздоровавшись, остановился, а потом вдруг пошел за ней, предлагая как-нибудь вечером прогуляться у моря. В койку он ее уже не звал. Не оборачиваясь, девочка ускорила шаг, радуясь, что навстречу шла компания знакомых москвичей.

Потом он как-то подкараулил ее при выходе и опять стал что-то мямлить о море и луне, но тут из дома вышла мама, с которой он тоже вежливо поздоровался, после чего быстро ретировался. Мама многозначительно посмотрела на девочку и сказала, что и среди моряков попадаются хорошо воспитанные молодые люди.

Стояли жаркие дни, в точности как предсказал народный мудрец из Южной Эстонии по цвету рябины прошлой осенью. Девочка с мамой договорились встретиться с москвичами за мостиком, чтобы вместе пойти на пляж. Когда они поворачивали налево у закрытого ларька, по Советской улице проехал милицейский уазик.

В последний раз милиция приезжала в Руха, когда загуляли несколько девушек из заводских бараков за Советской улицей. Одну из них, кажется, звали Люда. Никто точно не знал, нашлись они в конце концов или нет. Раньше-то дачников в курсе держала Эрика, а теперь от нее ни слова было не добиться, не то что какой-то вразумительной информации, да и разило от нее за километр, так что и не подойти.

Опять проехал уазик, теперь в другую сторону. Мама пожала плечами. И кого они здесь собираются ловить? Поселковых девушек, которые крутились около Дома моряка или сидели на скамейках в скверике, поджидая моряков? Девушки были,

конечно, низкого пошиба, ни стыда ни гордости, сами бросались на парней, но за это даже у нас пока еще не сажают.

Встретившись за мостиком с москвичами, мама стала дальше обсуждать с ними ситуацию в Руха. С приездом сорока моряков здесь стало намного беспокойнее. Мало того, что они устраивали наверху попойки с поножовщиной и писали в рукомойник, мало того, что местные девушки ночью сидели под окнами и вокруг дома стоял свист, визг и мат, они, кстати, и в окно к морячкам залезали на второй этаж, так те парни, которые не нашли себе подружку или им было мало одной, в подпитии бродили по всему поселку, приставая к порядочным девушкам. Тут один раз ленинградские в приморский лес чернику пошли собирать и наткнулись на парочку, которая, ну сами знаете что… мерзость какая. Вот уже до чего дошли. Так что вечером нашим девочкам надо быть поосторожнее и не выходить одним на улицу, мало ли что.

Томас опять куда-то исчез, матери тоже не было. Мати вышел из дома, дожевывая картошку, в руке у него болталась бутылка пепси. Он приставил горлышко к краю перил и уже собирался двинуть ребром ладони по крышке, как вдруг услышал шум мотора. По улице медленно ехал милицейский уазик. Подъехав к забору, машина остановилась, и из нее вышли двое. Они не смотрели на Мати, но, прислонившись к калитке, что-то обсуждали, показывая на дом. А потом, не спросив разрешения, толкнули калитку, вошли в сад и направились к нему.

– Колу пьем? – спросил старший, невысокий полноватый мужчина с бархатистыми темными глазами на одутловатом лице. – Хорошо живем.

– Это пепси, – ответил Мати, держа бутылку за горлышко.

– Ну, значит, даже еще лучше живем, почти как в братской Финляндии, правда, товарищ лейтенант? – подмигнул милицинер своему коллеге и опять перевел взгляд на Мати. – А ты молодец, что по-русски говоришь. Все понимаешь?

Мати неопределенно хмыкнул.

– Да все, все, я ж по глазам вижу. Умные, как у собаки.

Майор обвел глазами сад и посмотрел на дом.

– Так это и есть дом черного капитана? Да, не хило. Брат-то дома?

Мати покачал головой.

– А где он и когда будет, тоже не знаешь? Ну ладно, раз его нет, мы с тобой побалакаем. Не зря ж мы сюда ехали.

Лейтенант уже успел пройтись по всему саду и теперь заглядывал в сауну.

– Там ничего не видать, товарищ майор.

– А ты в дом глянь, Игорек, пока мы тут потолкуем. Ты мне вот что скажи, Мати. Тебя же Мати зовут? Ты в четверг что делал? Как это ничего? Так не бывает. Ну давай еще раз. Что ты делал в четверг между часом и двумя? Думай, думай, парень. Сидел на пляже? Один? Без друзей? И что ты там делал? Просто сидел? Бывает, бывает. А где твои часы, Мати? В комнате? Значит, ты без часов живешь, вот счастливчик. Откуда же ты тогда знаешь, что сидел на пляже между часом и двумя, а не между одиннадцатью или двенадцатью или, например, между тремя и четырьмя? Тоже просто так? Почему я это спрашиваю? Скоро узнаешь, а пока отвечай на вопросы. Значит, тебя там видели? Кто? Твои друзья? Ты ведь только что сказал, что у тебя нет друзей. А вот врать некрасиво, Мати, очень некрасиво. Советский человек никогда не врет. Ты же советский человек, а значит, не имеешь права врать. Согласен? Как это нет? А, так ты не врешь, говоришь? А как зовут твоих друзей? Марика, Калев, Андрес, Эпп. Ты, получается, только с эстонцами дружишь? Ну ладно, ладно… А теперь смотри сюда хорошенько. Ты эту девушку видел, когда на пляже сидел? Нет? Точно знаешь? А, может, ты ее тогда где-нибудь в другом месте видел? Тоже нет? Как же это так, Мати? Ты нас что, за дураков считаешь? Ну что там, Игорек? Все чисто? Ничего не нашел? Да, они порядок любят. А теперь слушай дальше, Мати. Я вижу, ты парень упрямый и себе на уме, да и приврать любишь, а вот мозгами шевелить не очень. Поэтому мы с тобой сейчас поедем кой-куда и поговорим, как советский человек с советским человеком, как мужик с мужиком, может, ты тогда кое-что и вспомнишь, а мы тебе поможем, ну, пошли, пошли, нечего артачиться, и бутылку свою можешь с собой взять, а то что добру пропадать, мы что, не люди, что ли, не понимаем…

Оказывается, милиция искала какую-то девушку, которая приехала из Таллинна. Она собиралась дальше поехать к подружке в Мересалу, но та ее так и не дождалась. На трехчасовом автобусе Руха – Мересалу ее никто не видел. И около трех на автостанции ее тоже не было, сказал шофер. Его автобус как раз стоял там по расписанию десять минут. Значит, она осталась в Руха. Но здесь ее тоже не видели. В обеденное время на автостанции никого не было, ресторан не работал, а магазин был закрыт на обед. Алкоголик, который сидел на скамейке под навесом, все это время спал. Он не просыхал уже третьи сутки, так что милиция так ничего и не добилась от него.

Милиция уже несколько раз приезжала в Руха и в первый раз забрала с собой четырех моряков. А во второй раз они поехали к

дому черного капитана и увезли с собой Мати. Дачники раскололись на два лагеря. Одни говорили, что в это дело были замешаны моряки, которые устроили бордель в Руха, а Мати был хороший мальчик и учился в Таллинне на автослесаря и что здесь точно какая-то ошибка. А другие утверждали, что просто так у нас никого не забирают, но все-таки виноват не один Мати, но и Эрика, которая воспитала чудовище, и что хватит черному капитану шататься по морям, пора наводить порядок в доме. И вообще, зачем морякам ввязываться в такое дело, у них и так отбою не было от местных девиц. Оба лагеря сходились на том, что эта девушка наверняка тоже загуляла, как и те поселковые, которых, кстати, милиция толком и не искала.

Дни тянулись, но девушку так и не нашли. Потом поползли слухи, что двух моряков выпустили, а вместо них забрали другого, то ли грузина, то ли армянина. Теперь на кухне дачники рассказывали разные истории про порядочных девушек из Москвы и Ленинграда, за которыми на кавказских курортах охотились местные джигиты. А кто-то, подливая масло в огонь, непременно начинал возражать, что эти ваши порядочные девушки и сами были не прочь развлечься с горячими местными парнями, и споры разгорались еще жарче.

Про Мати пока ничего не было слышно. Говорили только, что к Эрике на красных «жигулях» приезжал брат из Таллинна и что черный капитан, который находился в Индии, собирался досрочно вернуться домой. А еще ходили слухи, что пропавшая девушка – дочь высокопоставленного военного, вот милиция и бегает теперь, высунув язык.

Девочке с золотистыми глазами было жалко Мати с его толстыми ногами, которые он так старательно прятал в адидасовых штанах. Этим летом она видела его всего пару раз, у картофельных грядок и на пляже, когда он крутился вокруг нее, а она, чтобы не смущать его, делала вид, что загорает. К Мати совсем не подходило слово «чудовище». Для этого у него были слишком мягкие глаза, которые странно смотрелись на его некрасивом лице. А еще она думала о девушке с крашеными волосами и в белой майке, которую она видела с Томасом в приморском лесу. Ее никто не искал, про нее никто не спрашивал, как будто ее никогда и не было. Но если она была не местная, значит, она откуда-то приехала. А может, она правда просто вернулась домой и девочка зря так волновалась? Ей было не у кого спросить, ведь никто не видел ее тогда в лесу, кроме Томаса, с которым она шла в сторону его дома. К тому же тогда она выдала бы тайну, связывавшую ее с Томасом.

Когда Томас вдруг поздоровался с ней около универмага, она

ответила на его приветствие и быстро прошла мимо. Уже вечером она поняла, что это был знак. Ему было что-то нужно от нее. Почему-то она была уверена, что теперь была ее очередь действовать, что Томас больше не проявит инициативы. До отъезда ей нужно было во что бы то ни стало встретиться с ним, чтобы спросить у него про девушку в белой майке и сказать, что она не верит, что его брат – чудовище.

Сегодня по Руха опять прошли слухи, что всех моряков, кроме грузина или армянина, выпустили за недостаточностью улик, но пока в Руха их еще не видели, зато несколько девиц всё еще ходили по поселку с зареванными глазами. Дежурная тетя Шура повторяла, что ничего не знает и что со всеми вопросами обращайтесь к директору, который уже неделю не появлялся в Доме моряка.

Рыжая учительница сидела на чемоданах и говорила, что впервые уезжает из Руха не с сожалением, а с облегчением. Пока все, поддакивая ей, в очередной раз обсуждали сложившуюся ситуацию, девочка выскользнула из кухни и вышла на улицу.

Перейдя через мостик, она почувствовала, что у нее сильно забилось сердце, как в тот самый раз, когда она в новой юбке с воланом искала Томаса. Ей казалось, будто она уже переступила порог дома. Стараясь не вспоминать, как совсем недавно она бежала оттуда, она поднялась по горке и зашла в приморский лес. Навстречу ей попались несколько обгоревших дачников с набитыми пляжными сумками.

Вот уже между соснами заблестело море. Девочка остановилась, пытаясь разглядеть зыбкий горизонт и чувствуя, как у нее от страха и нежности сжимается сердце. Потом она повернула налево и через Пионерскую вышла на богатую улицу. Не глядя по сторонам, она пересекла Морскую и быстро дошла до дома черного капитана.

Толкнула калитку и впервые очутилась в саду, мимо которого проходила столько раз. Что-то сразу поразило ее, и, уже подходя к дому, она поняла, что это была тишина. Будто в саду замерли все звуки, еще секунду назад заполнявшие Руха. За калиткой остались и ветер, и стрекот кузнечиков, и вечно визгливая соседская пила, и даже жужжание ос, наводнивших Руха этим августом. Обойдя дом и чуть не споткнувшись о лопату, прислоненную к стене напротив сауны, она подошла к веранде и, встав на цыпочки, заглянула в иллюминатор. Внутри было тихо и темно, как на морском дне.

Огибая угол веранды, девочка сильно двинула кулаком по стене, придавая себе смелости и отвлекаясь от страха болью, и,

быстро перескочив через ступеньки на крыльцо, чтобы не передумать и не убежать, открыла дверь.

Войдя в дом, она огляделась. Квадратный холл с тремя закрытыми дверями и лестница, ведущая наверх. Раздумывая, куда ей идти, она снова поразилась странной тишине и, подумав, решила, что, наверное, в доме нет часов или они остановились, потому что здесь умерло время. Она все еще топталась в нерешительности, когда услышала шаги.

– Тере, – сказал Томас, сбегая с лестницы, будто ждал ее. Увидев, что она вздрогнула, он усмехнулся. – Да ты не бойся. Я тебе сейчас дом покажу.

Пройдя совсем рядом, почти прикасаясь к ней, он открыл первую дверь.

– Здесь кухня. Видишь, какие красивые стены. Финский кафель. Нравится?

В его голосе не было ни тени хвастовства или гордости. Потом он легонько подхватил ее под локоть и подвел ко второй двери.

– А тут наш знаменитый голубой унитаз. Смотри и любуйся. Он один такой во всей Руха. Уж мать старалась. А теперь пошли наверх.

Она остановилась перед третьей дверью, вопросительно взглянув на него, но он только махнул рукой.

– Веранда, ерунда, ничего особенного. Один хлам.

Когда девочка осторожно поднялась за ним по лестнице, Томас распахнул перед ней следующую дверь.

– Это спальня из Югославии, еще совсем новая, во как блестит. Орех. А зеркало какое. А теперь идем в гостиную, там тоже красота, югославская стенка, и ковролин из Финляндии, и еще польские пуфики, мать все по цвету подбирала.

В гостиной Томас подвел ее к серванту. Не открывая стеклянных дверок, он сначала показал ей набор из чешского хрусталя, а потом кивнул на диван.

– Садись. Выпить хочешь?

Не дожидаясь ответа, он достал из серванта бутылку с блестящей яркой этикеткой и тряхнул ее.

– «Чинзано». Любишь?

– Не знаю, не пила.

Девочка крепко сдвинула колени и посмотрела на Томаса.

– Та девушка в белой майке. Где она?

– Сначала надо выпить.

Томас разлил «Чинзано» в две рюмки, сунул ей одну в руку и уселся рядом.

– За нашу юность и за светлое будущее без тунеядцев,

дармоедов и пессимистов, как говорит Кульюс.

«Чинзано» было горьким и противным, но девочка храбро выпила полрюмки.

– А теперь за нас с тобой. Нет, серьезно. Ты молодец, что пришла. Домой когда едешь? Завтра? Правильно, здесь уже нечего делать. Скоро дожди пойдут. Да у вас еще и моряки буянят. А у меня для тебя что-то есть. Потом дам. А та девушка… Ты за нее не волнуйся. Такие, как она, только землю загаживают, а значит, и наше светлое будущее. Она, кстати, получила, что хотела.

– Где она, Томас?

– Ты думаешь, ее кто-то будет искать? Да кому она нужна. Загуляла, вот и все. Такая за бутылку и за это самое на край света пойдет, только пальцем помани.

– А Мати?

– Мати – это да. Вляпался. Но ты за него не переживай. У дяди Калле связи ого-го. На самом высшем уровне. У него знаешь, кто машины чинит? Так что, как только найдут Мати замену, так сразу и выпустят.

Томас встал и вдруг, резко нагнувшись, вытащил из-под дивана пакет и положил ей его на колени.

– Это тебе на хранение. Мог бы, конечно, и в лесу закопать, но так веселее. Да и как-то скучно одному. Считай, что это тайна дома черного капитана. Ты же ее не выдашь, правда?

Теперь он, улыбаясь, смотрел ей прямо в глаза.

– Правда?

Его глаза переливались, как море ночью, когда они купались с москвичами со Спокойной улицы, а их вылавливали пограничники с автоматами, чтобы они ненароком не переплыли в Финляндию. Потом Томас, как бы случайно, тихонько провел пальцами по ее ноге и обвел взглядом гостиную.

– Раньше ненавидел этот дом, а теперь… не знаю уже. Не то чтобы привык, а как-то…

Он усмехнулся и, запрокинув голову, влил себе в рот остатки «Чинзано». Когда девочка встала, держа в руках продолговатый предмет, завернутый в тряпку, он опять вышел и вернулся с целлофановым пакетом.

– Клади сюда, так надежнее. И иди скорее.

Мама так зачиталась, что и не заметила ее прихода. Но девочка на всякий случай прошла подальше от нее, чтобы та не почувствовала запаха алкоголя. Она засунула пакет в свою сумку и задвинула ее обратно под кровать, подальше в угол. Девочка знала, что будет хорошо хранить его, пока не разворачивая, – не

потому, что боялась, но затем, чтобы не выдать Томаса, увидев содержимое. Вдруг она не выдержит. А ему нужно было жить дальше. И ей. Им всем нужно было жить дальше. Несмотря ни на что – ни на страшный дом черного капитана, ни на вечно пьяную капитаншу, ни на несчастного Мати, влипнувшего в такое дерьмо, ни на девушек с крашеными волосами, готовых за бутылку отдаться первому встречному, ни на безжизненную пыль Советской улицы, по которой русские в открытых гробах везли своих мертвых под гнусавое дребезжание духового оркестра, ни на свинцовые силуэты русских военных судов, закрывших искрящийся горизонт.

Девочка подошла к окну. На березе уже мелькали желтые листья. Лето кончалось. Завтра они тоже уедут из Руха.

Книга 2
Нежное сердце

«Блеск звезды, в которую переходит наша душа после смерти, состоит из блеска глаз съеденных нами людей».

Древнее дикарское поверье

Еще не зима

В ноябре город темнел уже к четырем. С разбухших от дождей деревьев капало, лютеранские шпили вонзались в скучное небо, серый воздух смазывал лица прохожих, а в мутных волнах Финского залива тонула на глазах великая альтернативная мечта слинять наконец в землю сексуальной свободы и самой качественной в мире сантехники.

Уповали на морозы. Прошлой зимой, например, залив замерз до уже упомянутых обетованных берегов, образовав дорогу жизни, по интенсивности чаяний не уступавшей той самой, исторической, на Ладожском озере, и несколько юных смельчаков решили реализовать свои дерзкие мечты. Где-то на седьмом километре, полузамерзших, их перехватили пограничники.

А пока по заливу три раза в неделю плавал белый корабль, переправляя туда и обратно жителей тех, других, счастливых берегов, с карманами, набитыми жевательной резинкой, которую они раздавали местным детям, караулившим их у порта и гостиниц. Нажевавшись, дети, раздувая щеки, пускали из жвачки пузыри, все еще пахнувшие клубникой, бананами и счастьем.

В ноябре в городе резко повышалась преступность. В вечерней газете на жителей города смотрели уменьшенные до размера марки черно-белые лица жертв и предполагаемых преступников. По городу ползли слухи о пропавших детях. Ноябрь лишь наступил, а все уже взахлеб говорили о двухлетней девочке, чье поруганное тельце было найдено в подвале новостройки у черты города. В последний раз ее видели в троллейбусе, плачущей на коленях у мужчины в низко надвинутой на лоб кепке. Он гладил девочку по шапочке и все повторял, что сейчас они приедут к маме. Когда двери троллейбуса распахнулись на безлюдной остановке, мужчина неожиданно сиганул в темноту с девочкой на руках. И все. Вот тебе и красная шапочка. А мать куда смотрела? Девочка-то исчезла, дожидаясь ее у магазина. Та, конечно, в очереди стояла за югославскими сапогами. Их как раз выкинули к праздникам в обувном магазине у площади Победы. Мужчина, кстати, говорил по-эстонски без акцента. Девочка тоже была эстонка. Так что национальные мотивы здесь были ни при чем.

Все сходились на том, что в городе происходило что-то чрезвычайное. Как будто какая-то неведомая сила решила смешать карты, по которым жители города годами играли свою жизнь.

Эта сила переместила и привычное место преступления. Если

издавна детей находили в лесу за чертой города, то в этом году убийства стали происходить в городских подвалах. Словно город не хотел отпускать детей из-под своей власти, расправляясь с ними в черном, провонявшем кошками и страхом подполье, которое все расширяло свои владения, соперничая с бледным балтийским небом.

Она же, дьявольская сила, и подняла руку на двухлетнего ребенка, почти младенца. После этого библейского избиения убийства и изнасилования детей постарше уже стали казаться вполне логичным явлением.

Когда в подвале собственного дома нашли восьмилетнюю Ирочку Кулагину, в городе, конечно, опять ужаснулись. Но уже как неотвратимому факту жизни, от которого нет и не будет спасения.

Итак, ее обнаружили задушенной в подвале собственного дома. Просто идеальное место для преступления. А что еще делать в бесхозных темных подвалах, куда может зайти первый встречный? Петь песни? Организовывать тайные сходки? Изобретать новую религию? Убийцу, правда, на этот раз нашли почти сразу. Уже через несколько дней он пришел в этот же двор, подошел к играющим детям, долго и ласково смотрел на них, а потом поманил к себе одну девочку. Она покорно пошла за ним, как собачка, они спустились в подвал, и он уже стал стаскивать с нее штаны, как она громко разревелась. Ее услышал сосед с первого этажа. Зажимая нос, он побежал вниз и увидел солидного мужчину в длинном пальто и в шляпе, стоявшего на коленях перед полураздетой девочкой. Тут же рядом к стенке аккуратно был приставлен его портфель. Неведомая сила обрела лицо и тело, но осталась безгласной. Мужчина оказался глухонемым, а может, притворялся.

Пока ехала милиция, он, не предпринимая попыток к бегству, мыча и жестикулируя, все что-то с волнением объяснял соседу. Так никто и не понял, чем он мог соблазнить шестилетнюю девочку. От нее самой, насмерть перепуганной, невозможно было ничего добиться.

Глухонемого забрала милиция. Потом сказали, что и Ирочка Кулагина – его рук дело, а также и та девочка, которую нашли в подвале в октябре, в микрорайоне над старым зоопарком. Так что теперь одним подвальным убийцей стало меньше. Но город был начеку.

Ведь число подвалов неуклонно росло вместе со строительством микрорайонов для новых жителей, прибывающих сюда из разных концов империи. А значит, такими же ударными темпами росли и шансы рождения нового подвального убийцы

под беззвездным ноябрьским небом, не сулившим ничего хорошего. Родители пилили детей, чтобы те ни в коем случае не спускались в подвалы и не заходили в подъезды и лифты с чужими дядями, пугая их страшилками о злодеях и заживо съеденных детях.

Убийцу двухлетней девочки всё еще искали. Ночь поглощала день, город мучился тревогой, жаждав возмездия. Никто из пойманных злодеев не признавался в содеянном, милиция молчала, возмездие затягивалось. Но когда надежда уже почти исчезла, город, неожиданно для себя, вдруг вздохнул с облегчением.

Ведь теперь убийцу, вероятно, уже не найдут, и он никогда не примет человеческого облика. Никто не будет разглядывать его глаза, рот, нос, его страшные руки, ужасаясь и признавая в нем представителя своего, и значит, высшего вида, венца творения. Благо, несколько человек, видевших его тогда в автобусе, запомнили только низко надвинутую на лоб кепку и воспаленный шепот, которым он утешал свою жертву. У дьявола не оказалось лица и, честно говоря, слава богу, и потом, разве такое не в порядке вещей в подлунном мире, а значит, и в их маленьком приморском городе. А на тех, кто говорил, что это гораздо хуже, ведь тогда им может оказаться любой из нас, только шикали и просили переменить тему разговора.

Дьявол просто-напросто растаял в ноябрьской мгле и сгинул, будто его и не было. Вот и все дела. А осталась маленькая, невинно убиенная мученица, которая, взяв на себя наши грехи, вместо возмездия подарила городу спасение. Яблока-то ведь она не успела вкусить, и значит, не было на ней никакой вины. Так что, может быть, в ее смерти таился какой-то недоступный и оттого еще более великий смысл.

Теперь люди, поднимая голову вверх и немного стыдясь себя, с надеждой смотрели в черное небо, пытаясь распознать там некий знак, новую звезду, которая укажет им путь в ноябрьской темноте.

Но в городе исчезали и взрослые, по большей части женщины, но иногда и мужчины. Здесь, кроме подвалов, еще было куда сгинуть.

С севера-запада город упирался в море. Заморский берег, где когда-то чухонец жидким неводом ловил свою рыбу, купался теперь в свете рекламы и сексуальной свободы. На юго-востоке же город был окружен безмолвными, темными новостройками, лесом и пустырями. Вот здесь-то как раз и находили использованные по разным нуждам и брошенные за ненадобностью тела, а также

разрозненные предметы женского туалета, вроде лифчиков, маек и колготок.

Таким образом, глаза города были напряженно устремлены к берегам великой мечты, которая по вечерам рассыпалась на телеэкранах звездным дождем ослепительных унитазов, шампуней, гигиенических прокладок, дезодорантов, кукол с женскими телами, безупречных кружочков копченой колбасы, тогда как за хвост его крепко держала зубастая темнота, которая только и ждала своего часа, время от времени для профилактики заглатывая случайных граждан.

В этом неудобном, можно сказать, трагическом положении несчастного, привязанного руками и ногами к двум коням, которые вот-вот раздерут его пополам, город пребывал уже десятилетия. За это время его тело как-то приспособилось к этой позе, благо больше хоть не было слышно хруста костей, который, однако, еще отдавался в ушах коренных жителей со времен ломки хребта.

Некоренным же жителям эта поза особого неудобства не доставляла. Большинство просто не замечало ее. То ли они уже родились беспозвоночными, то ли хребет их достиг такой степени эластичности, что, как ни растягивай, не пикнут даже. Близость свободы не вызывала у них никаких воспоминаний, а поэтому и не причиняла боли, как коренным жителям. Те всё еще не могли успокоиться, всё еще думали о чем-то на своем языке, мучаясь зудом и мнимыми болями от пустоты на месте ампутированного органа, о котором они и не ведали, пока он был частью их организма.

А так, впрочем, жизнь в городе для всех шла своим чередом. Вот уже опять на носу была зима. Но сначала надо было пережить ноябрь. Теперь в городе заговорили о некоей Потаповой. Это было странно. Ведь она ничем не выделялась из безликой армии рабочих лошадок.

Потапова не была ни молодой, ни красивой, и, судя по фотографии, уж точно ни фигуристой – не обладала, в общем, теми признаками, которые обычно отличали пропавших женщин. Если бы она еще ходила в импортной одежде и в золоте или, скажем, на ней был бы ярко-красный финский плащ и лакированные чулки-сапоги, как, например, на той сорокалетней моднице, что исчезла год назад и которую потом в одних колготках нашли у карьера к югу от города, то ее исчезновение можно было бы как-то объяснить. Убийцы сорокалетней женщины, кстати, потом засветились, пытаясь продать фарцовщикам ее финские шмотки. По возрасту и внешности Потапова скорее подходила под категорию жертв ограбления,

пьяной драки, несчастного случая или дорожно-транспортного происшествия. Ну кому была нужна сорокавосьмилетняя баба с тяжелым подбородком, унылой стрижкой и глубокими носогубными складками? И на маленькой газетной фотке, и на увеличенном ее варианте по телевизору Потапова выглядела как самая обычная, расплывшаяся, усталая женщина среднего возраста, замужем уже лет тридцать и после работы, как часы, бегущая в ближайший гастроном за вареной колбасой и кефиром. Последний раз ее видели на автобусной остановке в трехстах метрах от больницы, где она работала. Вот и все.

Странной, однако, была та настойчивость, с какой милиция напоминала горожанам о Потаповой. Почти ежедневно в газетах появлялась ее фотография. Потапова висела на городских стендах вместе с уголовниками в бегах. Потапова мелькала по телевизору, а недавно газета, а потом сразу и телевизор, призвали всех граждан, видевших в районе Тию 3 ноября ехавшие на большой скорости белые «жигули», сообщить об этом. Казалось, милиция, в ущерб плану, бросила все свои силы на это, с первого взгляда, такое безнадежное и скучное дело.

Как это часто бывает, никто уже потом точно не мог вспомнить, кто, где и когда приурочил дату исчезновения Потаповой к ноябрьским праздникам. Затем сумму этих слагаемых возвели в степень милицейской рьяности, и из достаточно бессмысленной материи был извлечен корень. И вот тогда вдруг заговорили о политическом убийстве. Сначала шепотом, а чуть позже, когда слух облетел полгорода, уже во весь голос, но, конечно, только в своем кругу. В том, что ее не было в живых, никто не сомневался. И самое интересное, что благодаря этим слухам обычная предпраздничная суета, когда народ, как угорелый, носился по магазинам, запасаясь выпивкой и жратвой – к годовщине революции в городе всегда выбрасывали что-нибудь интересное, типа польских бройлерных кур, венгерских индюков или полезного для сердечно-сосудистой системы чешского ликера из лекарственных трав, – стала приобретать иной, возвышенный, можно сказать, почти революционный накал. Даже стояние в очередях стало казаться людям чем-то благородным, вроде жертвоприношения. Теперь вместе с радужной форелью в масле и «Чинзано» перед ними словно замаячила смутная, но истинно великая цель, которую из-под пласта времени раскопало дерзкое словосочетание «политическое убийство». Люди чувствовали себя членами какого-то тайного, но могучего общества, лишь по капризу судьбы вынужденными атаковать прилавки, которые теперь представлялись им чуть ли не баррикадами. Неизвестно только, по какую сторону этих баррикад они находились. Но

разве это было важно?

Выходя из магазина с авоськами, набитыми консервами и бутылками, люди, как всегда, испытывали удовлетворение. Но теперь к нему примешивались два других, противоречивых чувства. Гордости и тревоги. Причем оба они были явно вызваны делом Потаповой.

Гордости – за то, что жива еще, оказывается, та великая цель, за которую отдали свои жизни миллионы и миллионы. А тревоги – по прямо противоположным причинам. Если еще жива эта мечта, какую бы конкретную форму она ни приобрела в силу исторической необходимости, то о каком политическом убийстве тогда может быть речь? Тем более здесь, на краю империи, где в мире и согласии живет не менее дюжины братских народов.

В недоумении, а то и в сердцах пожимая плечами, люди шлепали по лужам домой, с вожделением переключая мысли на булькающие в авоське напитки и теплые домашние тапочки. Находились, конечно, и такие, кому вся их жизнь вдруг представлялась каким-то странным и мелким недоразумением, которое, как ни диалектируй, ни по масштабу, ни по полету мысли, ни по степени героизма наконец никак не соотносилось с великой целью. К счастью, такие настроения длились недолго. Их пресекала сама жизнь. То на ногу наступят, то в бок пихнут, то обругают, то с неба что-то посыплется – не то снег, не то дождь, а дома жена давай пилить, что надо было все пять банок брать и почему курица такая синюшная. Это что касается некоренного населения. А коренные жители, как всегда, выжидали, затаившись и воздерживаясь от комментариев.

Но тут дело Потаповой заглохло. Само собой или было дано указание свыше – неясно. Правда, всплыл еще вдруг в какой-то связи остров Сааремаа – то ли там что-то нашли, то ли она там провела детство. Однако продолжения не последовало, и слухи так же быстро улетучились.

А потом внезапно арестовали трех студентов политехнического института. За спекуляцию и тесные связи с иностранцами. Но некоторые утверждали, что студенты были замешаны в дело прибалтийских диссидентов, пославших апелляцию на самые верха, где требовали объявить недействительным какой-то совершенно неизвестный большинству довоенный пакт. Никто понятия не имел, каким образом эти студенты были связаны с Потаповой, но и апелляция, и диссиденты, и неведомый пакт, и иностранцы, и сначала рьяность, а потом вдруг замалчивание дела Потаповой почему-то сливались в сознании жителей маленькой республики в единое целое, производя в нем невидимые, но уже каким-то первобытным

чутьем ощущаемые сдвиги.

Все эти события, заставлявшие людей хоть на миг стряхнуть с себя чары заколдованного круга их жизней, были отголосками большой и тайной политики центра империи, которая, как обычно, профильтровывалась через десятки, если не сотни кабинетов, изливаясь на людские головы истерически-оптимистическими лозунгами. Кто знает, было бы в Кремле все спокойно, Потапова, может, бегала бы себе вместе со всеми по магазинам, живая и здоровая, закупая продукты на праздники, и студенты, развалившись кто на чем, балдели бы себе в клубах дыма под «Роллинг Стоунз», которые им привозили финны, а диссиденты все еще только обсуждали бы на тайной явке текст антисоветской апелляции.

Но уже кончался 1979 год. Уже произошла революция в Афганистане. Уже был задушен председатель Революционного совета Афганистана и генеральный секретарь Тараки, а Бабрак Кармаль уже успел встретиться в Москве с напичканным лекарствами Брежневым. Правда, голова бывшего любимого советника, а теперь убийцы Тараки, новоиспеченного генсека Хафизуллы Амина после четырех покушений еще прочно сидела у него на плечах. И не успел еще выстрелить пистолет, подаренный Амином заместителю министра внутренних дел Папутину. До зимы оставалось совсем недолго.

А в нашем городе школы, заводы, предприятия и все другие учреждения уже успели пройти с лозунгами и портретами коммунистических лидеров мимо трибуны на площади Победы, во все горло славя партию и народ, как и во всех остальных городах империи.

Потапову так и не нашли, и после праздников все уже успели забыть о ней. Студентов, кажется, выпустили, а нескольких диссидентов опять посадили. Народ снова тащился на работу по утренней тьме, тоскуя по следующим праздникам. Ноябрь, казалось, никогда не кончится, как не кончится и мрак, наползающий на город сверху и снизу, из черных, сырых подвалов, которыми родители пугали детей.

Но жители города, погруженные в двойную темноту, не сдавались. Они ждали тайного знака в черном небе, который наконец укажет им путь, снега, который осветит черноту земли, мороза, который, глядишь, и в этом году заледенит море, и тогда наконец можно будет дернуть к колбасе и свободе, ждали импортных шмоток и продуктов, которые обычно выкидывали к Новому году, елок, в конце концов, которые они, чертыхаясь, но втайне ликуя, сначала будут тащить по улицам, а потом по

лестнице, потому что они, как всегда, не влезут в тесный лифт.

Ученица девятого класса английской школы Вера Ковалева тоже ждала. Конца четверти и новогоднего вечера, где будет решаться ее судьба.

В мае Петров выгнал Веру с вечера. Ну ладно бы просто выгнал, а то закатил целый скандал. Разорался, как она посмела явиться в советскую школу в таком виде – в американских джинсах, да еще с заплатками на заднице. Он вытащил ее на середину зала. Так они и стояли там у всех на обозрении, как на лобном месте. Все больше распаляясь, директор школы и преподаватель русского языка и литературы уже срывался с крика на визг. Зал молчал.

Сначала Вера еще пыталась что-то сказать, а потом отключилась, надеясь, что ему скоро надоест надрываться. Уже успел накричаться за весь день. Но Петров не унимался. Что он, зря вошел в такой раж… Он все вопил о позоре, о попранной комсомольской чести, потом опять о советской школе в целом и об их советской школе с английским уклоном в частности. Тут он наконец замолчал и впился глазами в девчонок, смирно сидящих на длинной скамье за Вериной спиной.

– Тихонова, подойди сюда.

Катя Тихонова поднялась с места.

– Я сказал, подойди сюда, Тихонова.

Не глядя на Веру, Катя подошла к Петрову.

– А теперь, Ковалева, внимательно посмотри на Тихонову. Нет, не так смотри, а внимательно. И… какие будут выводы?

Вера пожала плечами. Тихонова как Тихонова. Рыхлая, скучная, с толстой косой до попы, в белой блузке и длинной малиновой бархатной юбке, явно бабушкиного производства.

– Видишь разницу, Ковалева?

Вера кивнула и посмотрела на Петрова. Тот уже немного успокоился, кровь схлынула с лица, на котором теперь появилось страдание. За поруганную комсомольскую честь, за учениц, на глазах теряющих гордость и подражающих Западу, нахально подмигивающему им с другого конца залива и с телеэкранов. За себя, наконец, отдающего все силы на воспитание чистых и верных великим идеалам школьников. Пойди, попробуй, сохрани и передай эти идеалы новому поколению наперекор повальному моральному разложению в городе и при неуклонном росте материализма и цинизма граждан. Можно сказать, в условиях войны, невидимой и оттого еще более опасной.

И Катя Тихонова страдала. От своего унылого тела, от длинных жестких волос, в которых ломались все расчески и

которые они раз в десять дней мыли вместе с бабушкой, громко вздыхавшей, что внучка слишком худая. И оттого, что опять просидит весь вечер у стенки, и даже невзрачный еврейчик Штейн не позарится на нее, а пригласит танцевать Клюеву из 9 «Б».

– Видеть-то видишь, Ковалева, но не осознаёшь, – сказал Петров. – Меня не обманешь. У меня на это дело чутье. Вот ты у меня сейчас повернешься на сто восемьдесят градусов и шагом марш домой. Там ты все прочувствуешь, сделаешь соответствующие выводы, а перед следующим вечером сначала зайдешь ко мне лично в кабинет. Все, вольно, разрешите откланяться.

Петров махнул Тихоновой, что свободна, и широким жестом указал Вере на дверь. Сам же довел ее до выхода, чтобы не вздумала спрятаться по дороге в туалете и тайком вернуться в зал.

Вера разрыдалась уже на улице. Так и прорыдала до самого дома. Около гостиницы за ней увязался какой-то мужик в белом плаще, финн или швед, но, увидев ее лицо, сразу слинял. Слава богу, отца дома не было. Он пришел минут через десять от своей бабы и, увидев ее зареванное лицо, спросил, в чем дело. Вера ответила, чтобы отцепился, а отец поморщился и сказал, что у нее одни тряпки на уме и что надо быть выше всего этого, при этом он стал тыкать пальцем вверх. От него, как всегда, несло алкоголем.

– Да, именно, всего этого, на что вы все молитесь. – Теперь он пошел описывать руками круги в воздухе. – Ну молодежь пошла. Ты, Верка, не дури, учись, а то потом поздно будет. Давай-давай, не зря ж я тебя в английскую школу перевел. У тебя еще вся жизнь впереди, между прочим. Успеешь наплясаться. Вот и я говорю, жить надо другими, как это, моральными, ценностями.

Дальше она слушать этот бред не стала. Только огрызнулась, что, между прочим, сама себя перевела в английскую школу, но он уже и не слушал; пошла к себе и села на кровать. Всхлипнула пару раз, переживая унижение, а потом разозлилась и заволновалась. Слезы сразу высохли. С кем будет танцевать или уже танцует Юра Симм из 10 «Б», мечта всех девочек английской школы? С Чернышевой, которая уже с прошлого лета не была девушкой? С Олькой Лебедевой? У этой мать работала на складе и шикарно ее одевала. Или с хорошенькой, пушистенькой, как котенок, Леной Зонтовой, которая в последнее время так и липла к нему?

На прошлом новогоднем вечере Юра на глазах у всей школы пригласил Веру танцевать в самом начале, когда все еще жались по стенкам. Медленно пересек зал, остановился перед ней и

поклонился. Она еще не успела опомниться, как он взял ее за руку и вывел на середину зала. Вера поверила своему счастью, только когда увидела оскорбленные лица девчонок. Некоторые, вроде Оли Лебедевой и Лены Зонтовой, смотрели на нее с возмущением. До ненависти не снисходили.

А Вера качалась по сладким волнам «Отеля Калифорнии», повернув голову налево, чтобы Юра не увидел прыщик с правой стороны носа, с которым она сегодня тщетно боролась весь день. Но настоящее чудо было еще впереди. Когда последние звуки «Калифорнии» уже таяли в воздухе и Вера, замирая сердцем, предвкушала, как она сейчас, озаренная славой, красотой и недосягаемостью Юры Симма, пойдет обратно к своему месту, легко и небрежно, как и положено избраннице короля школы, Юра приблизил губы к ее уху и что-то зашептал. Она так ошалела, что сначала даже не поняла, что он хочет танцевать с ней до конца вечера.

Жаркий шепот Симма опять зашуршал у нее в ухе, так же приятно и странно щекоча внутренности, как будто все это происходило с ней прямо сейчас, в их двухкомнатной хрущевке. Вера потянулась и взяла с полки зеркало. Изучая себя, подумала, что пора подкоротить челку. Нет, брови она пока выщипывать не будет. А вот волосы надо опять чуть подкрасить фиолетовым. Вера вытянула дудочкой припухшие губы, чуть прищурила глаза и просидела так, пока не занемела рука с зеркалом.

Уже потом она узнала, что Юра пришел на вечер позже, когда началась светомузыка. Протанцевал танец с Чернышевой, а потом исчез вместе с компанией Леши Коломийцева. И что ему понадобилось от этого Коломийцева, который дружил со всей местной шпаной? Он и учился-то в простом классе, с часом английского в неделю, а в их школу попал по месту жительства. После девятого класса его таки выгнали из школы, чтобы не позорил. Теперь он, наверно, в ПТУ пошел, на слесаря-водопроводчика.

Никто потом не рассказал Вере, что ее весь вечер искал Игорь Гладков по прозвищу Умник, Верин одноклассник и чемпион всех городских и республиканских олимпиад по математике. Не рассказали не потому, что хотели скрыть, а просто потому, что не заметили. Никто никогда не замечал Умника вне математики.

А Умник замечал все. Все замечать – это преимущество некрасивых, и Умник беззастенчиво пользовался им. Ему иногда даже самому становилось страшно, что он видел то, чего другим и в голову не могло прийти. К тому же его не воспринимали всерьез, а поэтому, хотя он и не входил ни в какие компании,

никого особо не сдерживало его присутствие – ни в физкультурной раздевалке, ни в туалете, ни в заляпанных и засранных закоулках и подвалах, где иногда собирались мальчишки после школы и куда, кроме алкашей, не заглядывали взрослые.

Там они курили, а иногда и выпивали, обсуждая девчонок, учителей, школу, впавшего в полный маразм Брежнева и хвастаясь своими победами и заработками родителей. Умнику, если тот случайно оказывался рядом, не предлагали ни покурить, ни выпить. Умник не вписывался в их жизнь – не в школьную, конечно, где он решал им задачки на контрольных, а в ту, настоящую, которую они, дрожа от нетерпения, предчувствовали всеми своими внутренностями, жилами, нервами. Подпирая одной ногой грязную стену, сплевывая и отпуская крепкие словечки, они не замечали ни лихорадочного блеска своих глаз, ни сжатых кулаков, готовых дать по зубам кому угодно, ни странного, почти волчьего оскала, когда ржали над кем-нибудь, разевая хриплые пасти.

А Умник с недоумением, а иногда с ужасом замечал, как даже в самых отъявленных, еще пухловатых маменькиных сыночках просыпалось что-то звериное, как что-то безжалостное и в то же время раболепное звучало в мелковатом смешке, которым они привечали шутки лидеров, вроде Леши Коломийцева. Ему казалось, что он один видит это, а значит, этого не видит никто – ведь Умника не существовало в природе внешкольных, внематематических пространств накуренных, полутемных подвалов, как на евклидовой плоскости не существовало второй параллельной прямой, которую можно было провести через точку, не лежащую на данной.

Игорь Гладков проявлялся только во время контрольных по алгебре и геометрии. Он легко и охотно выполнял предназначенную ему в классе роль Умника. За пятнадцать минут решив все задачи, остальные тридцать он строчил шпаргалки и рассылал их по классу. Все настолько привыкли к этому, что после урока его уже давно перестали грубовато хлопать по плечу. А Умник и не ждал никакой благодарности. Он просто считал, что знание принадлежит всем людям, независимо от того, умеют они им пользоваться или нет. И потом, ведь талант к математике не был его личной заслугой, и поэтому он должен был помогать обделенным, щедро делясь им. В этом смысле ему нравилась формула коммунизма «от каждого по способностям, каждому по потребностям». В ней заключалась высшая справедливость, и Умник втайне гордился тем, что хотя бы и косвенно помогает реализовать этот принцип. Таким образом, та внематематическая

жизнь, которая беспрерывно воспроизводила себя по законам, понятным, казалось, всем, кроме него, на какое-то время приобретала ясность и смысл и даже как-то облагораживалась.

Изредка, как правило, после важной контрольной работы в конце четверти, у Умника вдруг проскальзывала мысль, что этот высший смысл как-то совпадает с интересами математички, не замечавшей круговорота шпаргалок по классу, а может, и с интересами всей английской школы. И что теперь дирекция самой престижной русскоязычной школы в городе, и лично Иван Иванович Петров, может не волноваться за результаты своих учащихся, а значит, и за репутацию школы. Но Умник быстро отгонял ее от себя как недостойную формулы высшей справедливости и, чтобы отвлечься от этой мысли, поскорее углублялся в книгу Норберта Винера по кибернетике, которая интересовала его в последнее время. Ведь он же был не Штейн из параллельного класса, который давал списывать только избранным, например, Лене Зонтовой, самой красивой девочке из класса, и нескольким мальчишкам, друзьям Леши Коломийцева. Теперь, правда, Коломийцев вроде бы учился в ПТУ, но постоянно околачивался возле школы и, если поблизости не было Петрова, заходил и внутрь потрепаться. Он в открытую курил, носил то джинсовую, то кожаную куртку, и его по-прежнему уважали и побаивались.

Штейна же не любили, считали единоличником, называли жлобом, но не трогали. И хотя он помогал парням из компании Коломийцева, вход в подвал, где после уроков собирались ученики английской школы, ему был заказан. Но Штейну плевать было на грязный подвал, любовь одноклассников и высшую справедливость. Говорили, что жизнь у него уже была разложена по полочкам. Его родители хлопотали об эмиграции в Израиль, чтобы потом, конечно, перебраться в Америку, где Штейн собирался учиться на банкира. Зря его, что ли, в английскую школу отдали. Сам Штейн держал об этих планах язык за зубами, но все были абсолютно уверены, что он обязательно будет банкиром. К тому же его дядя уже пять лет жил в Америке, работая там зубным врачом, а его жена и дочь, всего на два года старше Штейна, уже имели собственные машины.

На том самом прошлом вечере в мае, когда Умник искал Веру Ковалеву – он еще не знал, что ее выгнал Петров, – он совсем отчаялся. Тем более что и Юра Симм тоже куда-то исчез. В зале уже погасили свет, началась светомузыка, а Вера все не появлялась. Спотыкаясь о стулья и ноги, Умник обследовал весь зал по периметру. Так и шел вдоль ряда стульев, где сидели

невостребованные девочки, напряженно вглядываясь в темные, резко выхватываемые прожектором силуэты. На задних рядах жались парочки.

Девочки в надежде вскидывали голову на проходящего Умника, но, узнав его, разочарованно отворачивались. А Умник все не решался спросить, не видел ли кто-нибудь здесь Веру Ковалеву. Ведь ему не положено было задавать вопросы о девочках.

Обследовав зал, Умник, перед тем как пойти по второму кругу, присел на стул и стал смотреть на танцующие парочки. Как раз шел медленный танец. Нет, Веры среди прилипших друг к другу парочек не было. Он бы сразу увидел ее, вернее – почувствовал, как всегда чувствовал в недрах мозга решение сложной задачи, еще только приступая к ней. Но сейчас его голова молчала: ни вспышки света, ни даже слабого намека на него.

Умник чуть расслабился и прислонился к спинке стула. Сзади что-то прошелестело. Потом еще раз и погромче. Ему не хотелось отвлекаться от мыслей о Вере, даже таких тревожных, как сейчас, но он все-таки обернулся – и увидел белую блузку, над которой маячила голова Кати Тихоновой.

Она сидела, опершись локтями на колени, и тоскливо смотрела мимо него в зал. Вокруг нее чернела яма пустых стульев. Умник отвернулся. Он не знал, что делать с девочками, тем более несчастными.

– Эй, ты, привет, – вдруг сказала Катя ему в спину. Умник так удивился, что снова повернулся. Теперь Катя смотрела ему в глаза. Умнику стало неудобно, и он уже было собрался встать и уйти, как услышал: – Давай потанцуем.

От испуга Умник застыл на месте.

– С тобой?

Катя пожала плечами и посмотрела в сторону. Умнику стало жалко ее. Он даже сам не понял, почему. Чтобы разобраться, он снова сел на стул и задумался.

– Ну так да или нет?

Пока Умник мялся и пожимал плечами, Катя, загремев стулом, уже взяла его за руку, подняла и, закинув руки ему за шею, прижалась всем телом, и вот они уже топтались на краю танцплощадки. Вот Катя, посапывая, уже спрятала свое лицо у него на плече. Время от времени она поднимала голову, вопросительно смотрела на него туманным взглядом и со вздохом закрывала глаза. Умник ловил на себе насмешливые взгляды, но ему было плевать. Сейчас его, как обычно, спасала не математика, а Вера, которая с того момента, как он впервые по-настоящему

увидел ее, поселилась в его голове рядом с формулами и теоремами. 11 ноября она подстриглась, и теперь волосы обрамляли ее тонкое лицо золотистым пушистым венчиком, лампочкой светившимся в полусумеречных коридорах школы. С короткими волосами Вера стала похожей на только что вылупившегося, жадно разевающего клюв птенца. Может, потому, что она все время вертела головой, как бы вбирая в себя воздух и свет, которых ей, казалось, постоянно не хватало. Когда она представала перед Умником такой, чуть растерянно и в то же время требовательно озирающейся по сторонам, ему каждый раз хотелось сложить ладони в гнездышко и посадить ее туда. Когда он впервые увидел Веру, он понял, что Норберт Винер неправ, что не слиться живой материи с мертвой, пока в ней неуемным сердцем бьется Верина энергия.

Замечтавшись, Умник задвигал руками по теплой Катиной талии, стараясь поймать Веру. Катя захихикала и оторвала лицо от его плеча.

– Ты чего?

– Извини, это у меня непроизвольно.

– Это ты со всеми девочками так?

Умник промолчал.

– Ты правда в Москву едешь на Олимпиаду?

– Да вроде.

– Ну ты даешь, Гладков.

Умник опять промолчал.

– Ой, что сегодня было, – сказала Катя. – Ужас.

Умник с непониманием посмотрел на нее.

– Ты что, ничего не знаешь? Всё задачки сидишь решаешь, от коллектива отрываешься.

Умник молчал. Поняв, что толку от него не будет, Катя продолжила:

– Вера Ковалева в джинсах пришла, а Петров такое устроил, что стены дрожали, в общем, в своем репертуаре.

– И что?

– Что «что»? Выгнал он ее с треском, вот и все, сказал, что она в советской школе учится, а не в борделе. Были бы хоть джинсы еще нормальные, а то все в заплатках, как у нищенки на Западе.

Катя со вздохом опять положила ему голову на плечо. Голова была тяжелая и пахла аптечной ромашкой.

– А Вера?

Не отрываясь от плеча Умника, Катя проговорила, что у Золушки задрожали губки, покраснел и заострился носик, а из глазок стали капать слезки. Как все некрасивые, Тихонова

блистала даром наблюдательности, который она приправляла женским злорадством. Умник усмехнулся, думая о Вере, о ее легкой, почти прозрачной фигурке, которая тоже светилась, как и ее волосы. Как будто кровь у нее была не красной, как у всех, а золотого цвета. Пока он смотрел на Веру, которая сияла в его памяти, как будто она шла ему навстречу в школьном коридоре, голова Тихоновой скатилась ему на грудь.

«Спит, что ли», – встревожился Умник, но в это время Катя подняла голову.

– Сама виновата. Я с Петровым согласна. Это пускай они в эстонских школах в джинсах ходят. А мы не такие. Правильно Петров говорит. Я, например, никогда в жизни джинсы не надену. Даже если бы они у меня были, не надену и всё. Она думает, если в джинсах пришла, то Симм ее опять пригласит танцевать. Так она ему и нужна. Он сегодня с Коломийцевым приходил, протанцевал один танец и ушел. У них, в подвале, поинтереснее, чем здесь, Чернышева однажды знаешь, что рассказывала, она там один раз была, так у них там…

Тихонова бубнила что-то, сопя от возбуждения, но Умник от счастья уже не мог разобрать ни единого слова, да и не старался. Какая разница, что там болтала Катя Тихонова, если его Вера, его самая совершенная математическая формула, с таинственными знаками, до которых никак не мог докопаться его ум с того самого момента, как он по-настоящему увидел ее, не пребывала сейчас в объятиях Юры Симма, а мерцала себе где-то в одиночестве, простым числом.

Вера перешла в английскую школу в этом году. Раньше она училась в районной, где английский преподавали один раз в неделю. 2 сентября в класс вошла классная руководительница, математичка Руднева, а за ней – незнакомая девочка. Руднева представила новенькую, сказала, чтобы любили и жаловали и, окинув класс профилактически-строгим взглядом, вышла. Новенькую посадили на пятую парту, где пустовало место рядом с Яковлевой. Она была худенькая, со светлыми волосами до плеч и упрямым острым подбородком, который она подперла кулачком, сразу замерев, как немецкая фарфоровая пастушка, доставшаяся родителям Умника в наследство от бабушки. Тогда Умник еще не увидел ее по-настоящему, подумал только, что теперь в их классе будет нечетное число учеников. Потом она попадалась ему на глаза в коридорах, но уже не одна, как в начале, а в середине нечетного числа. С рыжей Мариной Стоговой и беленькой Рахимовой по бокам.

Умник понятия не имел, кто пользовался его шпаргалками на

контрольных. Он просто рассылал их по заказу, помогая человечеству, никогда не задаваясь бессмысленными и мещанскими вопросами, недостойными формулы коммунизма. Поэтому, когда 12 ноября после контрольной по алгебре к нему подошла Вера, он очень удивился. Терпеливо подождав, пока он соберет портфель, она поблагодарила его; он даже не понял, за что. А когда понял, то опять очень удивился и только рукой махнул. Вера, с розовыми от волнения щеками, все что-то говорила.

Народ уже вовсю шумел, двигал стульями, и Умник разобрал только, что она ужасно боится алгебры, что у нее от всех этих формул темнеет в глазах и начинает биться сердце. Вера приложила руку к груди, и тут Умник увидел еле заметный и от этого еще более нежный бугорок под зеленой форменной рубашкой. Он так смутился, что не заметил, как Вера повернулась и ушла, а он сам с портфелем под мышкой так и остался стоять в узком проходе, и одноклассники толкали и обзывали его чурбаном, начисто позабыв, что он только что спас честь образцово-показательного класса их школы.

Кто-то подтолкнул его сзади, и вот Умник уже вместе со всеми двигался по течению, не разбирая направления, а перед глазами у него плыл таинственный бугорок, прячущийся за тонкой тканью и совершенно непохожий на ту часть тела, которая возбужденно обсуждалась в заплеванном, сумрачном подвале в подъезде дома с магазином «Продукты» на первом этаже. Теперь эта никак не соотносящаяся с Верой и оттого неодушевленная часть тела, которую парни во главе с Коломийцевым вымазывали грязными ухмылками и понятными всем, кроме Умника, похабными комментариями, стала казаться ему еще страннее и чужероднее.

После этого случая Умник не то чтобы испугался, но как бы осознал, что ему впервые в жизни не помогла математика. Сначала он даже рассердился на нее, как на друга, который всегда был рядом и вдруг, не сказав ни слова, развернулся и ушел. А потом понял, что дело было в нем самом, что он сам забыл про нее, сам предал ее, и тогда на него накатилась неведомая и стесняющая все его движения тоска. Как будто его посадили в громадный чан, наподобие градирни на окраине города, но наполненный пустотой, из которой он не мог выползти по скользким стенам. И эта тоскливая пустота наваливалась, и давила, и сжимала его все крепче и крепче.

А потом все как-то само собой определилось и встало на свои места. Вера больше не подходила к нему, но теперь, рассылая шпаргалки, он представлял себе, как она раскручивает свернутую

трубочкой бумажку и, хмуря брови, силится разобрать его почерк, и сердце у нее прямо под этим нежным бугорком начинает колотиться все сильнее, пока наконец не успокаивается, и Вера усердно не переписывает решения задач на чистый лист бумаги. Оглядываясь назад, он видел, что лицо у нее точь-в-точь такое, как он и думал, и от этого у него сжималось горло. Теперь, передавая шпаргалки в первый ряд, где на пятой парте сидела Вера, Умник старался писать разборчивее, чтобы Вера, не мучаясь, сразу могла все переписать.

Так Вера, пыхтя и нервничая над его шпаргалками, вошла в его жизнь. Умник повеселел и расслабился. То, что она боялась и ненавидела математику, нисколько не удручало его. Наоборот, именно так должен был выглядеть закон единства и борьбы противоположностей, по которому двигался и познавал себя мир. Ведь, отрицая математику, которая была ключом ко всем наукам, Вера одновременно предполагала и утверждала ее, а значит, и его, Умника, владеющего этим ключом и тихо рассылающего свои знания на благо человечества. Да, именно так создавалась диалектика, двигающая вперед его с Верой, весь их образцово-показательный класс, английскую школу во главе с Петровым, родиной которого был город революции Ленинград, и их город, приткнувшийся у моря на краю их страны, и саму страну, и весь мир.

А потом, 29 декабря, в зале фанерно-мебельного комбината был праздничный школьный концерт. Уже успели сыграть «Бременских музыкантов», уже пропрыгала в лиловом купальнике, выводя красной лентой воздушные узоры, свой номер гимнастка из 8 «А», и выплеснула на скучающий зал весь свой молоткастый серпастый пыл Стогова, как вдруг из-за бархатной шторы появилась Вера. Умник замер. Вера мелкими шажками прошла на середину сцены, остановилась и подняла глаза в зал. На ней были белая шелковая блузка и короткая плиссированная юбка, а под ней – невообразимой стройности тоненькие ноги, тоже в белых колготках. Вера сделала что-то вроде книксена и запела знаменитую песню о Золушке.

Только теперь Умник увидел ее по-настоящему. И ему стало так страшно, что он чуть не закричал, чтобы проснуться и стряхнуть с себя наваждение, совсем как в том сне, что преследовал его в последнее время. Там за ним по лестнице гнался безлицый мужик, и он знал, что пропадает, потому что бежит на месте, и вся сила утекает из его ног, как песок в песочных часах. Чтобы не увязнуть в лестнице, которая затягивала его в себя, как болото, Умник всегда кричал и

просыпался. Он знал, что находится под этой лестницей, хотя не мог подобрать к этому ни слов, ни формул. Вход туда был заказан, а выхода вообще не было. И Умник прекрасно понимал это и поэтому в заданный час, когда земля под ногами уже начинала разверзаться, он всегда кричал и просыпался. Иногда он еще успевал подумать о безлицем мужике, удивляясь, куда тот каждый раз исчезает, пока не понял, что тот нужен только для того, чтобы загнать его, как в капкан, на эту лестницу, под которой творились неведомые дела, к которым не смогла бы подобрать ключ никакая математика.

Плотно сжав губы, Умник смотрел на Веру. Ей тоже снился сон, который она сейчас звонким голоском пела всему залу. В этом чудесном сне вокруг нее скакал принц на серебряном коне, а она, не веря своему счастью, смотрела на него сверху вниз, сжав маленькие кулачки на белой шелковой груди, как раз над этими нежными бугорками, от которых у Умника перехватывало дыхание. Принц скакал все быстрее и быстрее, серебряный конь сверкал и вздымался на дыбы, торопя принца, сверкала золотая сбруя, сверкали золотая корона и белоснежная принцева улыбка, сверкали и развевались его драгоценные одежды, и вот он уже нагнулся и протянул свою царственную руку, чтобы подхватить Веру и навсегда увезти ее с собой во дворец, – как тут Вера очнулась. Еще ослепленная монаршим блеском, она моргала, озиралась и недоуменно смотрела в зал, привыкая к обычному миру, как вдруг ее глаза вспыхнули восторженным блеском, а нежнейший, как колокольчик, голосок уже воспевал залу два хрустальных башмачка, что остались стоять на окне ее спаленки. Створка окна, в котором исчез принц, все стучала о подоконник, и колыхалась на ветру хвостиком волшебного сна девственно-белая занавеска. Чудо свершилось, сказка таки стала былью.

Пока в воздухе замирал ее голос, Умник с ужасом видел, как маленькая Вера своими сияющими глазами, невинными бугорками под шелковой блузкой, острыми коленками и серебряным голоском, ни о чем не подозревая, безжалостно крушит и ломает всю его диалектику, сметает хрупким телом весь его правильный и точный мир, где они уже так славно успели разместиться рядом, и летит в непонятные, бесформульные пространства, а он несется за ней сломя голову неведомо куда, неведомо зачем.

Золотой мальчик

В это же время в этом же зале, сидя на третьем ряду рядом с математичкой Рудневой, Юра Симм с тоской думал о подвале, куда его сегодня зазывал Леша Коломийцев. Тот обещал привести туда каких-то девок. Юра немного оживился, когда на сцену выбежала гимнастка из 8 «А» в лиловом нейлоновом купальнике. Пока она, размахивая красной лентой и голыми белыми ногами, кружилась и прыгала по сцене, он все старался вычислить, есть ли у нее под купальником трусы. Приплюснутая тугим трико гимнасткина грудь интересовала его сейчас почему-то меньше. Иногда он косился на Рудневу, которая с одобрением качала головой в такт музыке, и представлял себе эту старую корову в таком же бледно-лиловом купальнике и с лентой в руке.

Нет, кажется, все-таки нет, во всяком случае, из-под лилового ничего не торчало. По рельефу же тела не угадаешь. Слишком плотная ткань. Теперь он уже жалел, что не сел на первый ряд, где у него был бы оптимальный обзор задницы гимнастки. Но там сидел Петров.

Интересно, а Коломийцев бы разгадал? Жалко, что вход ему сюда был заказан. На лифчики у Коломийцева был глаз-алмаз, а вот на трусы можно было бы и поспорить на десять сигарет. Как будто прочитав его мысли, к нему вдруг повернула голову Руднева. Только он раздвинул губы, как увидел, что та с блаженной улыбкой смотрит куда-то сквозь него влажным туманным взглядом. Вспоминает, наверно, свою боевую комсомольскую юность, подумал Симм, когда маршировала на парадах славной родины, поднимая на девяносто градусов ноги в белых носках и теннисках. Или застывала в пирамиде на чьей-нибудь ляжке или плече с задранной вверх ногой, в коротких физкультурных штанах, а может, даже и в шаловливой белой юбочке. Юра улыбнулся старой корове, и Руднева опять уперлась взглядом на сцену.

После гимнастки началась мутотень про советский паспорт. Стогова, конечно, кто еще. Великая чтица английской школы. Хорошо хоть, что грудь у нее была здоровая, как у настоящей бабы, хоть какое-то развлечение. Юра вспомнил, что еще год назад Стогова была, как все девчонки, а после лета пришла в школу с такими буферами, что обалдеть можно. Юбка сегодня на Стоговой была чуть ли не до колен, ни ляжек, ничего не видно, наверное, чтобы советский паспорт не позорить, а могла бы и покороче надеть, между прочим, идиотка принципиальная, посчитаться с интересами коллектива в общем и отдельных

членов комитета комсомола в частности. Не отрывая глаз от стоговской груди, Юра вяло внимал Маяковскому. Когда Стогова взмахнула рукой и стала тыкать в лицо капиталистическому таможеннику воображаемым паспортом, да не каким-нибудь там шведским или прочим, а краснорожим, серпастым и молоткастым, Юрины мысли переключились на Штейна. У того, по слухам, скоро будет израильский паспорт, а потом и американский. Отец говорил, они все так делают. Сначала на историческую родину по еврейской линии, а потом в Америку зубными врачами и банкирами. По песку-то родной пустыни кому на брюхе охота ползать, да еще с автоматом в зубах, это пускай местные делают, если им так приспичило. Жить будет Штейн в своей Америке, как у Христа за пазухой. Они все там устраиваются, будь здоров.

А Юра Симм и здесь не пропадет. У него, между прочим, тоже планы на будущее. Они с родителями еще точно не решили, в какой институт, но уж в Москву точно. Он здесь прозябать не собирается. На дипломата пойдет или на журналиста-международника, а если выйдет прокол с республиканским местом, то будет научный коммунизм изучать в университете. С научным коммунизмом можно еще какую карьеру сделать. Вон материн одноклассник теперь начальник отдела пропаганды и агитации ЦК комсомола. У него под Москвой такая дача – закачаешься. Березовая роща вокруг, баня ого-го, там весь ЦК косточки может погреть. Даже отец позавидовал, хотя у них сауна тоже ничего. А мать, как всегда, весело глядя на отца, заявила, что в России масштаб любят и широту, а не мелочатся, как эстонцы.

Тут Юра опять так затосковал по подвалу, по Лешкиным девицам, по запаху дыма, портвейна и свободы, даже по той кошачьей вони и запаху плесени, которые ударяли в нос сразу при входе в подъезд, зазывая и затягивая вниз, под заветную лестницу, в хмельные подвальные часы, что совсем не заметил, как Стогова выпалила последние строки, и захлопал, уже только когда Руднева недоуменно покосилась на него.

А потом, когда на сцену вышла девочка в короткой плиссированной юбке, он даже не понял, в чем дело. Просто сглотнул пару раз от неожиданности, а потом стал довольно глупо озираться, как бы ища подтверждения у зала, что происходящее на сцене было явью. Что девочка была настоящая, и настоящими были ее светлые волосы, сияющим венчиком обрамляющие бледное лицо с острым подбородком, и хрупкие длинные ноги в белых колготках, при взгляде на которые ему почему-то пришло в голову словосочетание «сахарный тростник»,

такие они были сладкие и гибкие, тоже были настоящими, и что из маленького розового рта серебряным ручейком, прямо как в этой идиотской детской песенке про дружбу, лился самый настоящий человеческий голос. Чуть опомнившись, он прислушался к мелодии. Ну конечно, «Золушка», знаменитая песня, которую по телевизору еженедельно исполняла знаменитая певица и которой еженедельно умилялись безмужние девы всех возрастов и мастей их бескрайней родины, впившись в экран глазами, влажными от томления и надежды, которая, естественно, всегда умирает последней. Даже его железная матушка, урожденная москвичка без провинциального сентиментальничания, и то, проходя мимо телека, иногда замедляла шаги, а потом шла дальше, как говорится, без комментариев.

Но знаменитая певица была пышная и белая, с яблочными щеками, абсолютно коровьими, хотя и голубыми, глазами и с отбеленными локонами до попы. Она уже годами исполняла эту песню, ублажая алчущих дев. За это время у нее вырос второй подбородок, а пухнувшие с каждым годом предплечья уже еле втискивались в кружевные рукава фонариком. Принцу надо было немало попыхтеть, чтобы взвалить эту перезрелую Золушку на серебряного коня, смеялся отец.

Девочка на сцене все пела, глядя восторженными глазами в зал, но взгляд у нее был невидящий, ослепленный мечтой. И все-таки, в какой-то момент Юре Симму вдруг показалось, что она смотрит прямо на него, и от этого самый красивый и популярный мальчик английской школы смутился и даже чуть-чуть покраснел, чего с ним никогда прежде не бывало. Ведь и отец золотого мальчика, эстонец Индрек Симм, начальник милиции южного района их города, и его мать, Елена Белозубова-Симм, урожденная москвичка и ведущая журналистка крупной республиканской газеты, воспитывали своего единственного сына свободным и раскрепощенным, без разных там советских комплексов, под которыми, как под первородным грехом где-нибудь в суровой кальвинистской деревне, мыкалась остальная часть населения.

Как же он мог прозевать эту новенькую? Ведь она ходила в их школу уже с сентября. Юра почти ничего не знал о ней, кроме того, что ее звали Вера Ковалева и что она перешла в их школу из обычной районной. Чернышева, которая училась с ней в одном классе, говорила, что отец у нее работал на целлюлозном комбинате, а мать – вроде на фанерно-мебельном. Чернышева пожимала плечами, а Оля Лебедева задумчиво кивала и смотрела

в конец коридора с таким видом, будто именно там ей могли объяснить, что вообще такие девочки потеряли здесь, в их английской школе.

Вот и все, что Юра смог узнать о ней, сохраняя имидж и не задавая лишних вопросов. Правда, ему еще сообщили, что ноги у Золушки Веры были как спички, ходила она все время в одних и тех же туфлях, сама шила себе юбки, по-английски говорила с совершенно ужасным произношением, а подруги у нее были фанатичка Стогова и мечтательная тихоня Рахимова. А потом кто-то из парней сказал, что жила она недалеко от кинотеатра «Заря» и домой ходила всегда одна, распрощавшись со Стоговой и Рахимовой на трамвайной остановке.

Так что пока Юра Симм понятия не имел, что делать с этой новенькой, которая по неизвестным причинам появилась в их школе и, прикинувшись Золушкой, сбила его с толку, надсмеявшись серебряным голоском над ним вместе с предназначенным ему блестящим будущим. В этом будущем не было места ни чуду, ни великим мечтаниям о счастливом обществе, ни шизоидным героям, бросавшимся на амбразуру, ни всем этим сказочкам, которыми дурили голову населению. Хватит, не в те времена живем. Это все для Петровых, Стоговых и Умников. Пускай они мечтают, борются, бросаются на амбразуры и строят на благо человечества. А у него, золотого мальчика, другие планы. Его будущее планомерно выстраивалось из реального, а значит, свободного от морали отношения к жизни, спасибо матери с отцом, оптимальной адаптации к существующим условиям, эффективному использованию человеческого материала и специфических особенностей системы. По этим кирпичикам, как по ступенькам, он должен был кратчайшим путем дойти до намеченной цели, которая в отличие от того, что думали Умники и ему подобные, заключалась не в истине и всеобщем благе, а в свободе. Но такой свободе, которая этим наивным дурачкам не являлась ни в одной их великой мечте.

Юра подумал о подвале, вдохнул его дурманящий запах, и его снова потянуло туда, вниз, где после школы и по вечерам собиралась компания Леши Коломийцева. Подвал был в кирпичном доме с магазином на первом этаже.

Сразу под лестницей начинался коридор, там по бокам тянулись отсеки, где жители дома, которые редко спускались сюда, все еще хранили старые санки, лыжи и поломанную мебель. Теперь за криво висящими на петлях, сколоченными из досок дверьми зияла зловонная чернота, откуда иногда, как из омута, выплывали томные худосочные кошки с русалочьими глазами. По

склизкому полу пулей проносились крысы. В первый раз, почувствовав вдоль брючины ветерок, Юра Симм вскрикнул от гадливости. Коломийцев рассмеялся и похлопал его по плечу: «Вот, маменькин сынок, так и живем. Что, не нравится?»

Юра вспыхнул и, прикусив язык, заклялся не издать здесь больше ни одного звука, недостойного подвала. В конце коридора, за скрипучей деревянной дверью, располагалось большое помещение. Здесь и начиналось их подполье. По заданию Коломийцева кто-то на всякий случай повесил снаружи на дверь замок, чтобы жителям дома неповадно было сюда соваться. Из зарешеченного окошка под низким потолком, которое выходило во двор, свет освещал заплеванный, в окурках, пол, стены с потными разводами, голую железную кровать в углу – ее приволокли сюда из чьего-то сарая, тройку старых табуреток да колченогий стул с разодранной оранжевой обивкой.

Осенью, когда рано темнело, зажигали свечку, и тогда подполье превращалось в пещеру, и жители ее скользили по ней, сливаясь со своими и чужими тенями. Здесь спасались от серого надземного мира, оплевывая и заклиная его грязными ругательствами, вместе с вонючим, едким дымом выкуривая из себя жалость и слюнтяйство и закаляя еще мягкие глотки дешевым портвейном. Здесь взрослели, вдыхая в себя воздух подполья и зверинца, тот самый запах свободы, от которого голова кружилась в сто раз сильнее, чем от алкоголя и сигарет. Потом кто-то вкрутил в потолок лампочку, и таинственность пещеры исчезла, а все остальное осталось, первобытное, неистребимое и вечное в своей обыденной повторяемости. Запах зверинца, смутные и необузданные желания, здоровые тела в предчувствии вседозволенности, которая наливалась и крепла в стенах подполья, как южные плоды в царской теплице.

У Юры Симма заныло под ложечкой – как всегда, когда он вспоминал подвал и усмешку Коломийцева, сразу раскусившего его. Эта усмешка преследовала его. Она уже давно отделилась от своего владельца и теперь кружилась вокруг Юры, с каждым витком сужая радиус своего действия, пока в один прекрасный день не влетела ему в голову, устроившись там, как у себя дома, и пристально следя за всеми его мыслями.

– А Чижик-то этот ничего, – сказал Коломийцев и, выпустив дым в потолок, посмотрел на Юру.

– Чижик?

– Ну да.

– Что за Чижик-то?

Юра тут же пожалел о своих словах, но было поздно. Гул

замер, все звуки куда-то подевались, даже алкаши, которые только что переругивались во дворе, вдруг заткнулись, и в подвале наступила благоговейная тишина, преступить которую теперь мог только лидер. «Вот идиот, – подумал Юра, – опять засветился». Он, чемпион адаптации, никак не мог приспособиться к Коломийцеву. Тот все время обыгрывал его, жонглируя словами и на глазах меняя личину. Ведь знал же, придурок, каждое слово его – капкан, так и норовит вцепиться железной пастью в горло, знал, и опять попался. Коломийцев молчал, выпуская колечки. Потом опять задумчиво посмотрел на Юру и кивнул головой влево, где стоял Миша из 10 «Б». Тот ухмыльнулся:

– А Чижик тебя даже очень хорошо знает, Симм. Да, Леш?

Коломийцев оттолкнулся ногой от стенки и медленно двинулся к углу, где стояла кровать. Надавил рукой на железные пружины, как бы проверяя прочность, разогнулся и пошел обратно.

– Да, Леш? – переспросил Миша. Он недавно попал в подвал и очень старался. – Чижик-то, а хочет, наверное, еще лучше узнать.

Только сейчас до Юры дошло, кто был этим Чижиком.

– А ты, оказывается, единоличник, Юрик. Или, как это теперь говорят, – индивидуалист. Скрытничаешь все, делиться не хочешь с коллективом.

Это уже Коломийцев сказал, сделав расстроенное лицо и качая головой.

– Видишь, ребята волнуются. Мы хоть и черненькие, а правду любим. Нам правда, может, дороже жизни, а ты… Как ты считаешь, Миш, нехорошо?

– Ай-ай-ай, – сказал Миша.

– Вот и я так считаю.

– Да че я? Да ты о чем, Леш? Я ж просто не понял сразу, гад буду.

В подполье все эти «че», «гад» и приблатненные словечки, которые так ненавидела мать, сами так и катились у Юры изо рта.

– Может, не понял, а может, не хотел понять.

– Да не понял я, сукой буду.

– А это, между прочим, большая разница, да, ребят?

Замерший подвал снова зашевелился, из его черных углов и расщелин поднялся обиженный гул.

– Да честное слово, да я…

– Да ты не нервничай, Юрик, – улыбнулся Леша. – Ребят, есть у кого посмолить, поддержать товарища?

Кто-то невидимый отделился от стены и ткнул Симму в

дрожащие пальцы сигарету.

– Миш, – кивнул Леша, и Миша зажег спичку и поднес ее в ладонях лодочкой Симму. А Коломийцев похлопал Юру по плечу.

– Вот ты думаешь, Юрик, ты такой умный, и правильно думаешь, между прочим. Мы тоже так думаем, да? У тебя вон какие планы на будущее, ты, наверное, дипломатом станешь или партийной шишкой. Не хуже нашего Штейна будешь жить, а может, и лучше, на родине все-таки и стены помогают, и березки. Да-а, славненько будешь жить, не то что мы, простые работяги. Но ведь и мы не унываем. Мы же будущий рабочий класс, а это звучит гордо. Ну да дело не в этом. Дело в правде, Юрик, да? Ты согласен?

Леша подождал, пока Юра не кивнул, и заговорил дальше:

– Вот ты к нам уже сколько ходишь, и я, хоть и не такой умный, как ты, все думаю: а чего ты здесь потерял, Юрик? У тебя вон какие мама с папой, и друзья у вас, наверное, все интересные, интеллигентные, и разговоры на самом высоком культурном уровне, а Юрика все равно к нам сюда тянет, вниз. И чего тебе там у них не хватает, а? Не знаешь, говоришь? Так я тебе скажу, а ты меня поправь, если врать буду. Правды тебе не хватает, да не этой вашей чистенькой да вылизанной, а настоящей, от которой так яйца чешутся, что выть хочется по-волчьи, мордой вверх, и потроха пылают, как в огне-пламени, и так серой разит, что нет спасу, так или не так, Юрик? Но нет, есть он, спас-то, как нет, вот здесь и спасаемся, и тебе даем, между прочим, мы не жадные, мы ж понимаем.

Обычно тусклые глаза Коломийцева блестели в темноте, как начищенные.

– А Чижик этот очень ничего. Так что ты нас тоже пойми и не подведи, Юрик, видишь, коллектив тебе доверяет, хоть ты у нас и беленький. Ну да это дело не спешное, пускай попоет еще, а мы пока подождем, чай, не гордые.

Больше Коломийцев о Чижике не заговаривал. И подполье тоже помалкивало. И этот, и все следующие разы. Всю зиму и всю весну. В мае Юра с компанией Коломийцева сходил на вечер, но Чижика там не было. Юра протанцевал один танец с Чернышевой, которая все тянула его руку вниз, к своей заднице, а потом, когда в зале появился Петров, они ушли.

В конце года Лешу Коломийцева за неуспеваемость выгнали из школы и он устроился в какое-то училище. Теперь он ходил в черной кожаной куртке и еще чаще похлопывал Юру по плечу, ласково заглядывая ему в глаза, когда тот спускался к ним. Он знал, что летом Юра Симм навсегда покинет подполье, чтобы уехать в Москву учиться на дипломата. А Юра Симм знал, что

Леша Коломийцев не забыл Чижика, и каждый раз, идя по склизкому полу к их двери, боялся, что за ней опять прозвучит ее имя и забьется сразу перепуганной птицей в темном подполье с одним зарешеченным окошком. И еще он знал, что просто так сюда никто не ходит, а тем более не выходит, а тем более он, золотой мальчик, белая кость. Что за свободу подполья с его сладковатым, тлетворным запахом, одуряющими парами и грубым смехом накрашенных девиц как-то, чем-то и когда-то придется платить. Но уже наступил ноябрь, а Коломийцев молчал. Только один раз, в очередной раз похлопав Юру по плечу, посмотрел куда-то в сторону и сказал как бы самому себе:

– Месье, уже падают листья. Но еще не зима.

Около четырех родители уже были дома. Мать вообще жила по свободному графику, а у отца, видимо, что-то произошло на работе. Оба сидели на кухне, где по московской маминой привычке обсуждались все серьезные дела.

Когда Юра зашел туда, они замолчали, а мать шлепнула его по заднице и кивнула в сторону плиты с кастрюльками. Между пальцами у нее была зажата сигарета – значит, нервничала. Юра приподнял крышку и сразу закрыл ее. Есть было неохота, и он вышел. Отец встал было закрыть дверь, но мать сказала:

– Индрек, он уже не ребенок.

Отец ничего не ответил, и дверь так и осталась открытой. Пока Юра в ванной, дверь нараспашку, мыл руки и лицо, смывая с себя ноябрьскую мглу и запах подполья, они опять заговорили.

– А почему тогда не в марте, Индрек?

– Ты что, сама не понимаешь?

– Значит, провокация.

– И все-таки, Елка, дети за родителей не отвечают.

Отец думал вслух о чем-то своем.

– Да они же нас ненавидят.

– Нас…

– Ну, меня и мне подобных… И что там было на этот прекрасном острове?

– Это они юбилей справляют, тридцатилетие.

– Они…

– Ну, мы, что я могу сказать, Елка. Я уже сам не знаю, кто я, ведь у меня отец ты знаешь где, воевал, а я… Если власть переменится, они меня на первой же сосне повесят.

– Тогда уж на первом фонарном столбе, друг мой. Ан нет, вот тогда-то тебя папенькин немецкий мундир и спасет, – засмеялась мать и, помолчав, прибавила: – Не преувеличивай свое значение, Индрек. Ты же не в гэбэшных войсках служишь. И потом, ты что,

серьезно о перемене власти?

– Ну не в гэбэшных, но форму-то я ношу оккупационную. Значит, я часть насильственного аппарата диктатуры пролетариата, как говорил ваш классик.

В кухне что-то стукнуло. Видимо, мать резко встала со стула.

– А теперь он и ваш классик, – сказала она негромко.

Юра хорошо знал этот сдержанный тон. Она всегда говорила так, когда раздражалась.

– Ты знаешь, как я ненавижу такие разговоры, Индрек.

Она подошла к окну, ее голос звучал приглушенно и в то же время очень отчетливо. Мать как бы впечатывала свои слова тем самым газетным шрифтом, черным по белому, которым выходили ее статьи.

– Они безвкусны и провинциальны. Почему ты так принижаешь себя? Или ты предпочел бы пасти свиней у немецкого барона, чем носить милицейскую форму? Я, кажется, знаю, в чем дело. Ты просто никак не можешь избавиться от комплекса неполноценности, вы все тут этим страдаете, а у истории, между прочим, свои законы, и если ты не хочешь, чтобы она тебя перемолола, то возьми себя в руки и посмотри в лицо реальности.

– А я и так это делаю, Елка. Всю жизнь. И в общем, и в частности. И, скажу тебе честно, легче мне от этого не становится, хотя пока все кости и целы.

Отца не так-то просто было разозлить.

– А то, что сейчас произошло… еще пять лет назад это было бы совершенно невозможно, да что я говорю, еще год назад никто не посмел бы сделать такое, это я тебе насчет власти. И насчет реальности.

– Да-да, ты еще скажи: «Все прогнило в Датском королевстве».

– Дальше и гнить некуда. Все это знают – и ваши, и наши. Но дело не в этом. Главное – что-то происходит… может быть, стало меньше страха, все-таки новое поколение.

– Да просто какие-то пьяные идиоты решили поиздеваться над женщиной. В первый раз, что ли? А ты приплел сюда политику, подумаешь, диссидент нашелся.

– Ты хоть сама-то себе веришь, товарищ корреспондент? Летописец времени или как вас там еще называют? К нам, между прочим, уже гэбэшники наведывались.

Мать молчала.

– Март сорок девятого, мне было тогда тринадцать. Да, кстати, отец Потаповой, кто бы он мог быть из этих, интересно?

– Прекрати говорить загадками, Индрек. Остров, юбилей, эти, отец Потаповой. Я предполагаю, им был товарищ Потапов… Ты

мне еще толком не рассказал, что произошло на этом вашем прекрасном острове. Да, кстати, когда мы поедем туда? Там, говорят, такой сладкий воздух…

В коридоре раздалось мычание. Юра отошел от кухонной двери и пошел в комнату, в которую вел коридорчик слева от ванной. В нос ему, как всегда, ударил запах лекарств и больного тела. Но сейчас сюда примешивался дух школьной раздевалки после баскетбола или соревнований по бегу. Видимо, напряжение молодых, здоровых тел пахло так же, как и те усилия, которые прилагало дотлевающее тело, чтобы оставаться в той нише, которую оно, как в матрасе, успело продавить себе в мировом пространстве. Приветствуя входящего, замычали громче. До того как бабушку окончательно разбил паралич, она стучала клюкой по полу. Теперь же она лежала в кровати, хлопая глазами и время от времени мыча, зато матери не нужно было постоянно разбираться с соседями, которые раньше в знак протеста сразу же начинали бить железякой по батареям.

– Привет, – сказал Юра и присел на край кровати.

Бабушка замотала головой и сморщила лицо, как будто собиралась заплакать.

Если бы не эта высохшая голова, то казалось, что под одеялом ничего не было. Иногда Юра осторожно приподнимал кончик, чтобы удостовериться, что ее тело еще в целости и сохранности. Но бабушка не заплакала, а стала таращиться на него, словно пыталась узнать.

– Это я, Юра.

Тут бабушка вдруг выпятила подбородок и сощурила глаза. Какое-то время она опять изучала его, а потом, решив, что, видимо, достаточно, вернула голову в изначальное положение, сжала губы и высунула кончик языка, как будто собиралась плюнуть; потом расправила лицо и снова замычала.

– Бабуль, ты чего? Ты, наверное, пить хочешь?

Юра набрал в чайную ложку сок из стакана на тумбочке и осторожно поднес ее к бабушкиным губам, которые она тут же плотно сомкнула. Он поставил все обратно на тумбочку и встал.

– У тебя сегодня плохой день. Ну ладно, я пойду.

Но бабушкин взгляд не отпускал его, к тому же она стала мычать еще громче, требовательным и почти оскорбленным тоном. Тогда Юра опять сел на кровать и тоже стал смотреть на нее, вспоминая ту бабушку, которая раньше ждала его из школы и слушала его болтовню, сочувственно качая головой или подперев рукой щеку, пока он уплетал ее блинчики и котлеты. Когда он был маленький, она читала ему на ночь сказки и гладила его по голове, всегда жалея за что-то – у матери с отцом на это не было

времени, да и принципы не позволяли. Когда ее разбил инсульт, он почти год отказывался заходить в ее комнату. Все это время он ненавидел родителей за то, что они не отдали ее в дом престарелых, и мечтал, что в один прекрасный день она просто исчезнет из их квартиры. Каждое утро он с бьющимся сердцем на цыпочках крался к ее комнате и, проверяя, тихонько приоткрывал дверь, но чуда не происходило.

А потом он зашел в ее комнату, уже прекрасно зная, что она никуда не делась, а все лежит и томится там в своей тюрьме-кровати, и не успел даже переступить порога, как у него из глаз вдруг хлынули слезы. Он так и стоял посреди комнаты, ничего не видя и не слыша из-за рыданий, а когда чуть успокоился и его глаза немного привыкли к ее жалкому, как сдувшийся воздушный шарик, лицу, то увидел, что она шевелит губами.

– Гу-гу-гу, – гудела бабушка, глядя на него неподвижными глазами, где живыми казались только вздрагивающие мотыльками ресницы.

Он подошел поближе и нагнулся к ней.

– Гу-гу-гу, – все гудела бабушка, не отрывая от него взгляда. – Гу-гу-гу.

– Это я, – зачем-то сказал он, – это я, Юра.

А она все продолжала гудеть-дудеть, настойчиво и верно, в том самом ровном, завораживающем ритме, в каком она раньше месила тесто для пирогов, гладила рубашки, вытирала пыль с мебели, шаркала ногами по их роскошной четырехкомнатной квартире, а еще раньше – баюкала его перед сном, пока до него наконец не дошло, что это она жалеет его, своего золотого мальчика, который почти год не заходил к ней и каждый день проверял, не исчезла ли эта страшная старуха из их квартиры. Жалеет его, потому что понимает, что он делал это из любви к ней, что все это время, приоткрывая дверь ее комнаты, он искал ее и до тошноты боялся и ненавидел это чужое полумертвое тело, которое заняло место его бабушки. И еще потому, что он весь год мучился, нервничал и стыдился самого себя, и даже похудел на два килограмма. А главное, она жалеет его за то, что больше его некому пожалеть, если ему плохо, – ведь дочь у нее для этого слишком умная и образованная и воспитывает сына соответственно, то бишь современным, а посему свободным от всяких комплексов и сентиментальных предрассудков человеком, ну а зятя, как любого эстонца, вообще не поймешь, он вроде и хороший, но виду не показывает, и хоть и не пьет и зарабатывает хорошо, но сердце в себе таит крепко, по-русски уже говорит, как русский, и шутит, и компанейский, но внутри у него все равно эстонская погода, как будто дождик моросит…

Пока бабушка гудела, и ворожила, и колдовала, жалея его и прося прощения за свое ненужное тело, которое занимало целую комнату в их квартире, все опять вставало на свои места. Слезы высыхали, и ужасный год бесследно и блаженно растворялся в этом гудении вместе со стыдом и раскаянием.

Только теперь, спустя два года, когда бабушка почти сравнялась с одеялом, но все еще дышала, хлопала глазами, морщила и расправляла лицо, ела, пила, испражнялась и мычала, напрягая иссохший рот, Юра понял, что произошло в этой комнате. Здесь остановилось время, вернее, оно остановило то, другое, время, в котором жили он, мать с отцом, их друзья, английская школа, весь их город и страна.

Стоило ему зайти к бабушке и закрыть за собой дверь, как в силу вступали неизвестные законы, которые он даже и не пытался понять, – слишком ему становилось хорошо и покойно. Он мог молча просидеть здесь целый час, забывая о себе и обо всех своих планах, а потом ему казалось, что кто-то все это время слушал его. Он никому не рассказывал об этом, ни матери, ни отцу, да они и не спрашивали.

Когда он начал ходить вниз к Коломийцеву, и дурманящий запах подвала стал будоражить ему голову, то в этой отрезанной и отрешенной от времени комнате он снова чувствовал себя маленьким и непричастным к тому смутному, заманчиво-жутковатому миру, который он предчувствовал в потаенном страхе и который все больше проникал в него. Он никогда специально не думал об этом, и если бы кто-нибудь попытался рассказать ему о его состоянии, он, наверное, просто ничего бы не понял – ведь та свобода от жизни за порогом бабушкиной комнаты, в которую он здесь блаженно погружался, была совсем не похожа на свободу подвала и никак не входила в его планы на будущее, а значит, как бы не имела права на существование. И все-таки, не признавая этой неведомой силы, он был уверен, что, пока будет приходить сюда, она как-то будет охранять его.

Но сегодня что-то изменилось. Бабушка все мычала, будто сильно мучилась. Потом она прикрыла глаза, но продолжала смотреть на него из-под век, учащенно дыша. Юра понюхал руки. Может, на них еще остался запах подполья? Но от них пахло только немецким мылом «Люкс». Он приоткрыл окно, но и это не помогло. Почему-то не хотелось звать мать. Она бы только навредила своей деловитостью. Юра опять поднес к ее губам ложечку с соком, но бабушка плотно сжала их и сморщилась. Никто не знал, хорошо ли слышит бабушка и слышит ли вообще. Она давно перестала реагировать на вопросы и только морщилась и мычала невпопад, а может, так она разговаривала с собой или с

кем-то в своих снах, в которых она теперь пребывала большую часть суток.

Юра посмотрел на часы. Через полчаса придет мать, чтобы перевернуть бабушку на бок. Теперь он знал, что ему делать, и времени было предостаточно.

– Ты знаешь, баб, ко мне тут сегодня вдруг подошел Умник, весь бледный, с кругами под глазами, как будто всю ночь задачки решал. Его вообще-то Игорь Гладков зовут, но все его Умником называют, он у нас гениальный математик, честь школы. Он в девятом учится, в одном классе с Верой Ковалевой. Я тебе про нее потом расскажу…

Бабушка задышала ровнее и закрыла глаза. Из угла рта у нее текла слюна. Юра вытер ей рот платком и наклонился поближе, чтобы ей было лучше слышно.

Умник сильно нервничал. Он даже стал немного заикаться, когда во второй раз сказал в спину Юры, что им надо поговорить. Но когда тот оглянулся, то Умник смотрел ему прямо в глаза. Юра бросил взгляд на часы и сказал, что у него есть три минуты. Умник странно хмыкнул, перекосив лицо, видимо, от нервов, и кивнул головой в сторону окна. Черные форменные брюки на нем были слишком короткие, на ногах – стариковские домашние тапочки. Пока они шли к окну, он молчал. Юра прислонился спиной к подоконнику и опять посмотрел на часы, а потом на Умника. Тот же вдруг повернул голову в сторону и сказал, чтобы Юра оставил в покое Веру Ковалеву. Юра сначала подумал, что ослышался. Но Умник, опять глядя Юре в глаза, повторил слово в слово, чтобы он, Юра Симм, не трогал Веру Ковалеву, потому что у нее нежное сердце и она этого не выдержит. Так и сказал, на одном дыхании, а потом уже стал дух переводить. Ведь Умник не привык так много говорить, он предпочитал думать.

Юра так удивился, что даже не сразу послал его. Особенно поразило его то, как Умник выразился про Верино сердце. Ему вдруг стало весело.

– Я что-то не совсем понял, – сказал он. – Так какое у Веры Ковалевой сердце, ты говоришь?

Он уже забыл про время и с любопытством смотрел на Умника, который, не меняя интонации, без запинки дословно повторил все от начала до конца, будто вызубрил эту фразу наизусть.

– Нежное, значит. А ты откуда знаешь? Ты что, трогал его, вернее, ее?

Тут Умник покраснел, как будто Юра спросил что-то неприличное. Он покачал головой и посмотрел под ноги. Юра, сдерживая смех, разглядывал коричневые войлочные тапочки

Умника.

– Трогал, трогал, раз так уверен. Смотри, какой ты прыткий, кто бы мог подумать. Я думал, у тебя одни задачки в голове, а ты, оказывается… ну молодец.

Юра похлопал Умника по плечу и задумался.

– Но как член комитета комсомола и старший товарищ, я не имею права промолчать об одном твоем недостатке. Сердце Веры – не твоя собственность. Она вправе распоряжаться им, как хочет. Не забывай, что мы живем в самой свободной стране в мире. Твое заявление сильно отдает эгоизмом и собственническим инстинктом. А это, между прочим, буржуазные пороки, принципиально чуждые нашему обществу. Мы же хотим дышать вольно. И я, и Вера, и ты.

Юре стало еще смешнее. Он видел, что Умник совершенно не ожидал такого поворота. Он вообще ничего не ожидал, этот наивный придурок, только выучил наизусть свою дурацкую фразу и сразу почувствовал себя героем, защитником прекрасной дамы. Юра, конечно, просто мог послать его подальше, но это было бы скучно. Поэтому ему вдруг захотелось унизить Умника с его короткими петушиными штанами с пузырями на коленях, стариковскими тапочками и длинной челкой, прикрывавшей прыщавый лоб.

– И вообще, я, может, тоже романтик, хотя и в джинсах. А ты думаешь, романтики только в старых брюках и в дедушкиных тапочках обязаны ходить? – Он выразительно посмотрел на ноги Умника, выдержал паузу, как он всегда делал перед очередной риторической фразой, выступая на комсомольских собраниях, и затем продолжил: – Вот ты, оказывается, все знаешь про ее сердце. А я, между прочим, нет, и мне, между прочим, тоже очень интересно, какое оно по степени нежности. Мы же материалисты, и чувственный опыт для нас – это главный источник познания. Так что не будь эгоистом, друг.

Умник пытался еще что-то сказать, но как раз в этот момент Юре в голову пришла блестящая мысль

– Ну ладно, слушай. На большой перемене на этом же месте спросим у Веры, с кем она в воскресенье пойдет в кино. Со мной или с тобой. А теперь отчаливай. А то я на физру опоздаю.

Больше Юра Умника не видел. Где-то около столовой промелькнула Вера – и сразу исчезла. Он не стал ее искать на виду у всей школы. Зачем лишние разговоры? У него был ее телефон, если что, позвонит. Потом он вспомнил, что говорил ему Умник в конце разговора. Он все тупо повторял, что Вера не такая, как все, и зачем она нужна ему, если он и так может менять девочек, как перчатки.

– Представляешь, бабушка, как перчатки. А я и не знал, что я такой. Вот какой у тебя внук. А Вера… я тебе про нее обещал рассказать. Она недавно подстриглась. Я вообще-то ее не сразу заметил, она новенькая. И какая-то не такая, это Умник правильно сказал. Она…

Юра посмотрел на бабушку. Рот у нее был сухой, и дышала она ровно, а глаза были все так же полуоткрыты.

– Она… – повторил Юра и замолчал, а потом встал и подошел к окну. На улице было темно, а как еще может быть в ноябре? Бабушкино окно выходило во двор, а там вообще чернота. Где-то подвывала собака, но как-то робко, будто стеснялась, ей явно не хватало луны, чтобы разойтись инстинктом. Маячили силуэты, алкаши конечно, бутылки ищут, им свет не нужен, у них на это нюх. Завтра с утра, как бледные часовые, будут стоять с авоськами в руках у подвала, где принимают стеклотару, чтоб побыстрее опохмелиться. Кто-то, правда, шел вполне целенаправленно, таким шагом обычно ведро выносят. И правда, загремела крышка контейнера.

Вдруг потянуло подвалом. Юра резко обернулся. Дверь была закрыта. Он пожал плечами и опять понюхал руки. Все тот же «Люкс». Почувствовал, как забилось сердце. Самое странное, что он не очень бы и удивился, если бы в комнату сейчас просто так взял и вошел Коломийцев. Вразвалочку и с этой своей усмешечкой на губах. Он еще раз обернулся. Никого, естественно. Наверное, подвальный запах остался в волосах или в свитере. Юра вдруг понял, что сегодня ничего не сможет рассказать бабушке о Вере Ковалевой. И не из-за того, что через десять минут придет мать. Он-то думал, что, рассказывая ей о Вере, может, что-то поймет про нее сам. Но он только смотрел в темноту, не в силах вымолвить ни слова. Все знакомые слова как-то не подходили к ней. И потом, что он знал о ней, кроме того, что она была вся какая-то золотистая и струящаяся, и еще вся какая-то неопределенная и неопределимая, как будто она еще сама не решила, в какую форму ей вылиться, а еще она как бы существовала сама по себе простым числом, не сливаясь с окружающим миром, и в этом смысле она была похожа на Умника, и это одновременно притягивало и отталкивало его, и еще почему-то внушало ему страх. Да, в этой маленькой Вере с ее нежным сердцем таилась какая-то опасность, хотя бы уже потому, что она разрушала привычные связи с тем миром, в котором он, золотой мальчик, чувствовал себя как рыба в воде. Он чуял эту опасность, как алкаши в темном ноябрьском дворе чуют запах пустых бутылок, за которыми они охотятся, чтобы обменять их на пару грошей или, если выбрать сравнение поблагороднее, как

греческие солдаты сердцем чуяли запах моря, блуждая в персидской пустыне. Опять потянуло подвалом. Прислонившись лбом к стеклу, Юра пытался разглядеть тени, снующие за окном.

– Давай я тебе лучше про Коломийцева расскажу, – сказал он, не оборачиваясь. – Он не то что мой друг, но мы теперь иногда видимся, даже не знаю, почему я к нему хожу, с ним не соскучишься, это точно, и он ничего не боится, как будто он свободнее нас всех и давно решил, что ему все пофиг…

В комнату вошла мать.

– А, вот ты где. Ну как она?

– Да вроде ничего.

Мать подошла к кровати, подтянула одеяло и рассеянно стала водить рукой по спинке стула. Он видел, что ей опять ужасно хочется закурить.

– Что там с отцом?

Мать покачала головой.

– Щепетильничает. Ты же знаешь, на него иногда находит. А тут и повод нашелся. Его внутренняя эмиграция перестала удовлетворять. Помнишь весь этот шум с пропавшей Потаповой? Так вот, ее наконец нашли. В очень неприглядном виде, не буду вдаваться в подробности. Да не где-нибудь за городом или в подвале, как обычно, а на Сааремаа, в районе старого порта. И чего им вдруг приспичило?

– Кому?

Мать наконец посмотрела на него, словно очнулась.

– Ты у меня уже взрослый и понимаешь, что все не так просто, как вам на уроках истории рассказывают…

Юра усмехнулся:

– Мам, а можно без прелюдий? Я же не дурак, ты меня вроде как сама воспитывала. Ты о братской дружбе, что ли?

– В том числе.

– Так что там с братской дружбой и при чем здесь Потапова?

– Кто-то через нее сводит счеты тридцатилетней давности.

– Это когда зарождалась великая дружба между народами?

Мать хмыкнула:

– Тогда она уже она цвела пышным цветом, милый мой. Ну, в общем, отца от этого дела отстраняют, нашли-то ее уже не в его районе, но главное, чекисты ею тоже интересуются. А он уперся, даже на Сааремаа хочет поехать. Ему, видишь ли, это надо, не только как профессионалу, но и как человеку. Прямо по Горькому, Человеку с большой буквы. А сам говорит, что наших классиков не любит. Ему уже намекнули, чтобы он особенно не трепыхался, и без него разберутся, а пока все должно быть тихо-спокойно, зачем зря панику поднимать, наводить людей на

лишние мысли. Все, больше ничего не знаю. Тьфу, черт побери, и чего им не хватает, здесь у каждого сурка машина и сауна. Посмотрели бы, как в России народ живет.

– А чего им туда смотреть, мать? Нам Финляндия пример. Там копченой колбаской так пахнет, что и нам с того берега слышно. И девушки у них без комплексов.

– Прямо как ты, – опять хмыкнула мать. – Здесь тоже можно прекрасно жить, между прочим. Икру есть ложками, а это тебе не копченая колбаса. Надо только знать как…

Тут замычала бабушка, и мать вспомнила, зачем она зашла. Она кивнула сыну, сдернула с нее одеяло и, опустив глаза, стала переворачивать усохшее тело на бок. Потом прикрыла его одеялом, погасила большой свет, и они вышли из комнаты.

Почти все в своей семнадцатилетней жизни золотой мальчик делал по плану. В конце концов, он жил в стране с плановой экономикой. Годам к тринадцати он хорошо усвоил, что для достижения цели нужно просчитывать свои поступки минимум на три шага вперед, скрывать свои мысли, для душевного равновесия запасшись изрядной долей иронии, и не светиться. Только так можно было выстроить себе светлое будущее. Раз уж невозможно построить социализм во всем мире, чтобы у всех на завтрак была сырокопченая колбаса, говорила мама, то надо строить его в отдельно взятой стране. Вот так же и со светлым будущим, которого на всех точно не хватит, ну так пускай оно хоть у кого-то будет в этой… несчастной стране. Мы должны учиться у истории.

В светлом будущем на зеленом берегу синей реки белели дома с каминами и саунами, там, в просторных комнатах с африканскими масками на стенах, играл джаз, а в садах, на деревянных шезлонгах с золотым логотипом, ели мясо, которое не нужно было варить часами, чтобы можно было прокусить, – достаточно было лишь быстро обжарить его с двух сторон, а затем покрутить над дымящимся куском французскую перечницу и выжать пару капель лимона.

У белых домов стояли машины, по ночам там пели соловьи, тихо журчала река и обсуждались последние сплетни из Парижа и Лондона, а грязную посуду там молча уносили подвязанные платками женщины с опущенными глазами и в фартуках. В светлом будущем на длинных, как у знаменитой американской куклы, ногах разгуливали надменные юные девушки, то ли дочери, то ли подруги, а какая вообще разница, сказала мама отцу, все мы здесь, слава богу, взрослые, мыслящие люди, свободные от ханжества и предрассудков. Одна такая дочка-

подруга голая с визгом плескалась в синей реке, а потом, по грудь обернувшись в мохнатое бордовое полотенце, босиком ходила между гостями и все норовила сесть кому-нибудь на колени, пока хозяин белого дома не прикрикнул на нее, чтобы она натянула на себя что-нибудь посолиднее. Тогда она медленно пошла к дому и через пять минут вернулась в мужской рубашке небесно-голубого цвета, и Юра, даже не посмотрев на голубой кусок ткани между ее животом и ляжками, по одной ее походке понял, что под рубашкой у нее ничего нет, а вернее, что там как раз и находится самое главное, та самая тайная и оттого еще более умопомрачительная свобода, которая была возможна только на отдельно взятых участках их необъятной родины и которая, тут же, в душистом сосновом бору вокруг белого дома, обернувшись сочным ароматным мясом, бесчисленными бутылками с иностранными наклейками, горами черной икры в хрустальных вазочках на белоснежной накрахмаленной скатерти, молчаливой, почти невидимой прислугой, парижскими сплетнями и туманом над синей рекой, застилавшим весь остальной, серый мир, крепко повязывала всех присутствующих, делая из них союзников, если не братьев по крови.

Как только он понял это, сразу расслабился и повеселел, перестал стесняться и начал смотреть на окружающих таким же заговорщически-иронично-равнодушным взглядом, каким они все здесь смотрели друг на друга. Теперь он знал, как выглядит свобода, акциями которой, по ценности прямо пропорциональными их статусу, владели гости хозяина. Сам он занимал высокий пост в ЦК комсомола. Эта свобода и была тем самым светлым будущим, вход в которое был строго ограничен. Чтобы попасть туда, нужно было войти в долю с избранными, и тогда тайна, пока еще скрывавшаяся под голубой рубашкой, открылась бы и ему.

Юра долго не мог заснуть в ту ночь, сильно взволнованный давешним открытием. Так прекрасна была только что увиденная им жизнь, что жалко было расставаться с ней даже на ночь. Перед глазами вокруг манящего, небесно-голубого светила кружились яркие картинки свободы, которая теперь казалась доступной и ему. От них шло такое сияние, что Юра зажмурил глаза. Но, несмотря на возбуждение, голова его работала четко. Теперь он знал, чего хотел, а это самое главное.

Именно тогда, в Москве, в доме маминого однокурсника, он решил, что тоже станет свободным, будет жить у синей реки и сможет засовывать руку под любую рубашку.

Юре тогда исполнилось пятнадцать. Самый подходящий возраст для приобщения к реальной жизни, говорила мать отцу.

В этом году ему исполнилось семнадцать. Он хорошо учился, был членом школьного комитета комсомола и успешно избавился от сексуальных комплексов на одной из белых дач, где его всему, чему надо, научила веселая рыжая аспирантка института иностранных языков. Она приехала в белый дом со своим другом, иностранным корреспондентом, не только работавшим в Париже, но и связанным с нашими бравыми чекистами, как мать объяснила отцу. Корреспондент, выйдя из машины, сразу потребовал у хозяина виски и беспробудно пил три дня подряд, чему никто особенно не воспрепятствовал. Во-первых, здесь собиралась исключительно свободомыслящая публика, а во-вторых, все предпочитали пьяного в доску чекиста трезвому. Ему выделили комнату, куда литрами поставляли горячительное, и время от времени он вопил на всю территорию, чтобы его подруга немедленно пришла и утешила его. Все остальное время аспирантка ходила невостребованная, пока не решила заняться воспитанием Юры. Она спросила, сколько ему лет и знает ли, он что такое суасант неф, а когда он, обмирая, помотал головой, просто взяла его за руку, привела в комнату друга, который храпел на кровати в алкогольных парах, и ловко провела на свободном диване первый урок, после которого быстро последовали второй, третий и так далее. В самых разных местах просторного дома, а также леса, окружающего дом. Больше он никогда не видел аспирантку, но навсегда запомнил солоноватый вкус ее длинного русалочьего тела.

Как член комитета комсомола Юра часто выступал на собраниях, а иногда на городских и даже республиканских комсомольских съездах, куда Петров посылал его от школы как лучшего оратора. Никто не умел так зажигательно выступать, как Юра Симм. Осуждал ли он американскую политику размещения ядерных боеголовок, вмешательство империалистических сил в дело исламской революции в Иране, агрессивную американо-сионистскую политику на Ближнем Востоке или просто требовал мира во всем мире и прекращения эксплуатации трудящихся – все эти речи звучали одинаково горячо и с той долей искренней взволнованности, которая стряхивала сон со слушателей и начинала резонировать в их груди, приобщая тем самым к борьбе за мир и придавая их незначительным жизням высокий смысл, а также лишний раз доказывая, что они не зря протирают штаны на плюшевых креслах, в то время как их коллеги паяют, варят, пашут, доят, штукатурят и добывают горючий сланец.

Победной риторике его учила мать, которая говорила, что главное не «что», а «как».

– Запомни это, друг мой, и ты будешь непобедим. Любое

утверждение можно подать в таком соусе, что тебе поверят и за тобой пойдут. Я не буду приводить тебе примеры из отечественной истории, хотя они не только доказывают мою правоту на доброе тысячелетие вперед, но и до сих пор поражают воображение и разум, да-да, именно своим размахом. Что бы об этом ни говорили вполне здравомыслящие люди, мы не должны забывать, что в государстве такого масштаба и не могло быть иначе. Это воля истории, и ее надо уважать. Сейчас у нас другие времена, конечно, но принцип существенно не изменился. Не хватает только огня, вышел весь. А это серьезнее, чем ты думаешь. Как сделать так, чтобы тебе поверили. Ну не все, конечно, а та часть населения, которая необходима нашему государству для его дальнейшего существования. Ну, ты понимаешь, о чем речь. В любой стране должен быть маленький процент людей, так сказать, посвященных, который бы знал, как дело обстоит на самом деле. Процент побольше, но не намного, может понимать истинное положение вещей, ну скажем, наполовину. Эта категория людей является наиболее открытой системой с более или менее условными границами, что делает ее чувствительной к осмосу, ну помнишь, как в физике, когда в один раствор через мембрану медленно проникает растворитель, а это в свою очередь способствует движению по вертикали, в нашем случае либо вниз – к дуракам, либо вверх – к посвященным. Ведь даже нашему обществу нужна хоть какая, но динамика. Ну а все остальные должны просто верить. Но как, если нет огня? Верят-то сердцем, голова тут ни при чем. Именно это облегчает и одновременно усложняет задачу, требуя весьма тонкого подхода. Как журналист могу сказать, что газеты – это, конечно, великое дело, ведь там все черным по белому, а у русского народа, который еще совсем недавно был безграмотен на девяносто процентов, есть еще почтение и трепет к печатному слову. Но вот устные выступления у нас ни на что не похожи. Позор. Совсем обленились, идиоты, думают, им терять нечего. А есть что, еще как, ого-го. Все по бумажке, монотонно, бубнят, как будто сами себе не верят, ну что за пример населению… И дело ведь не в том, веришь ли ты сам или нет, а в том, чтобы передать эту веру тому самому подавляющему большинству, базису нашего государства. Да и самому населению эта вера нужна как воздух, без нее им худо и разврат. Вера как чудо, вместе с тайной и авторитетом. Достоевского надо читать, товарищи дорогие. И сеять, сеять. Наш народ – плодородная почва. Я даю голову на отсечение, что если постоянно, повсеместно и с надлежащим пылом повторять, что снег – это холодный хлопок, то через какое-то время в это поверят даже узбеки.

На комсомольских пленумах Юра, в перерывах бродя по переполненным коридорам, каждый раз поражался, как легко было вычислить в участниках три сорта людей, на которые мать как бы между прочим поделила общество. По тому заговорщически-иронично-равнодушному взгляду, который он вынес пока еще из чужого светлого будущего, он сразу определял себе подобных, затаившихся и пламенных, с железными челюстями и алчущими той же свободы, что и он. Некоторые из них, совсем незнакомые, подходили к нему, протягивая и пожимая ему руку пониже локтя, как бы признавая в нем своего, и, тихо улыбаясь, говорили что-нибудь совершенно незначительное и именно в этой незначительности понятное им обоим.

Правда, разница между первой и второй категорией, что еще одной ногой стояла в базисе, не всегда была столь явной. Некоторые экземпляры требовали более пристального наблюдения. В конце концов Юра пришел к выводу, что отличительный признак избранного меньшинства был чисто физический. Необыкновенная легкость движений, никак не связанная с весом или телосложением. Эту легкость невозможно было сымитировать, так как она была продолжением той абсолютной, внутренней свободы, которая только и ждала своего часа, чтобы вырваться наружу.

Зато с третьим сортом проблем не было. Чуть ли не тревожный, даже нервный блеск глаз или, наоборот, чрезмерная суровость взгляда, как будто бы от их присутствия здесь впрямую зависела судьба мира во всем мире, а также всех тех миллионов безработных в капиталистических странах, которые спали в коробках на улице. Те не расставались со своими папками, щеки их горели, и с ними решительно ни о чем невозможно было говорить. Иногда он, томясь от скуки, наблюдал за ними во время заседаний и со смехом отмечал, как они хмурили брови и жевали губами, совершенно искренне пытаясь вникнуть во весь тот бред, который несся с трибуны. Впрочем, большинство большинства имело вид квело-отсутствующий, они пребывали здесь в качестве массовки, и Юра не сомневался, что те редкие мысли, которые еще не успели испариться из их мозгов, уже давно приняли форму бутылки.

Здесь они с матерью, правда, немного расходились во мнениях. Юра считал, что веру большинству большинства прекрасно заменяли хоккей и водка. Почему-то он был уверен в этом, то ли ему приснился вещий сон, то ли он додумал чью-то мысль, а скорее всего, он просто услышал это в одном из домов над синей рекой, куда привозила его мать в целях воспитания. У

матери же на это были не столько моральные, сколько прагматические возражения.

– Если хочешь народ уморить, то да. А работать кто тогда будет?

Отец, не участвовавший в их политических дискуссиях, начинал тыкать пальцем в сына, а когда в доме поднимался оглушительный хохот, ядовито спрашивал у жены, почему она не стимулирует сына стать частью рабочего класса, о котором сама пишет такие славные, светлые статьи под названиями типа «Если я для себя, то зачем же я», «Сталевар – самая прекрасная профессия на свете», «Иду на завод, как в родной дом» или «Хочу ощущать себя в гуще жизни, где люди, как металл».

Мать всегда отвечала на это одинаково и совершенно серьезно:

– Мой золотой мальчик? Нет уж, милый мой, у нас с ним другие планы на будущее.

Однажды – это уже было, когда в Юрину жизнь занесло и Веру, и Умника, и Коломийцева с его подвалом, и конечно, эта мысль возникла у него в комнате бабушки, где остановилось время, – он вдруг подумал, что не знает, какой он на самом деле. Юра даже встал со стула и подошел к окну – так поразила его эта неизвестно откуда взявшаяся мысль.

Под учащенное дыхание бабушки он всматривался во двор, скользил взглядом по голым мокрым каштанам, по пустой побуревшей песочнице и облезлым, когда-то желтым скамейкам, потом перевел взгляд на небо, где осенний ветер носил облака и птиц. Внутри у него стало сиротливо и пусто, ведь до долгожданной свободы, которая по ночам заполняла его тело радостным возбуждением, было еще далеко, а те мысли, которые он скрывал от мира, – о хоккее, водке и других играх для оболваненного населения, обо всей их давно прогнившей системе, в которой можно было выжить только обманом, – были не его. Он занимал их у матери, у ее друзей, у всего их круга хорошо информированных, просвещенных представителей первой и второй категории, синхронно впитывая из воздуха, который выдыхали эти люди. А те слова, которые он лил в мир на собраниях и которые, несмотря на свою тяжеловесность, были лишь невидимыми ступеньками в светлое будущее, ему с легкого пера сочиняла мать или он целиком переписывал их из других докладов, меняя империалистов на американцев и сионистов или одну социалистическую братскую республику на другую.

Он подумал, что если бы он сейчас открыл окно и сел с ногами на подоконник, то его, наверное, как воздушный шарик

подхватил бы ветер и он бы стал кувыркаться в воздухе вместе с облаками и птицами, приговоренный к вечной невесомости. Между его мыслями и словами зияла такая пустота, что у Юры закружилась голова, и он присел на край кровати. Чтобы отвлечься, он повернулся к бабушке. Ее дыхание стало ровнее. Глаза у нее были приоткрыты, но было неясно, видела ли она его. Он взял ее руку, лежащую поверх одеяла. Рука был горячая, но неподвижная. Почему-то ему ужасно захотелось, чтобы бабушка как-то ответила на его пожатие, признав его присутствие здесь и вообще на этом свете. Но как он ни сжимал и ни гладил ее сухие пальцы, рука оставалась такой же безучастной.

Когда в комнату вошла мать, она удивленно посмотрела на него.

– Ты чего, ребенок? Что-нибудь случилось?

Она редко называла его так, и это было высшим проявлением ее любви к нему. Юра помотал головой, и уже потом, когда они переворачивали бабушку на другой бок, как бы между прочим, спросил у нее, что она думает о раздвоении личности.

– Ты о чем? Я что-то не пойму. Поясни, пожалуйста.

– А что тут непонятного? Это когда говорят одно, а думают и делают совершенно, ну совершенно противоположное.

– А, вот ты о чем… – Мать с облегчением засмеялась. – Да с одинаковыми полюсами ни одна лампочка бы не загорелась. То, что ты называешь раздвоением личности, это, между прочим, мой друг, первое и единственное условие достижения свободы, по крайней мере, в наших географических широтах. А некоторые даже называют такую жизненную установку, то, что ты называешь раздвоением личности, актом пассивного гражданского неповиновения. Так что тебе не страдать надо, ребенок, а гордиться и радоваться. Не каждый, к слову сказать, на это способен.

Юра ничего не ответил, его мысли переключились на Веру, Умника и Коломийцева с его подвалом, запах которого уже, казалось, окутывал Юру и дома. Как будто Коломийцев давал понять ему, что он всегда рядом, а еще, что он, простой пэтэушник, ближе золотому мальчику, чем его мама, и папа, и все их друзья и знакомые, а поэтому и знает о нем самое главное. И у Юры опять слегка закружилась голова, но теперь уже от пугающего и сладкого предчувствия, что именно в подполье он поймет, кто же он на самом деле. Потом он вспомнил, что собирался позвонить Вере и пригласить ее в кино.

Портрет Веры в юности

Умник быстро прижался к стене, как это делали резиденты из шпионских фильмов, в длинных плащах и с лицами, скрытыми в тени глубоко надвинутой на лоб шляпы. Умнику было немного стыдно, что он уподобился западному шпиону, но другого выхода не было. Если бы Вера заметила его, она бы рассердилась, и ему пришлось бы бросить ее одну. Она уже один раз засекла его и, конечно, сразу поняла, что он идет за ней. Вместо того, чтобы как ни в чем не бывало подойти к ней – ну, просто случайно шел в ту же сторону, подумаешь, что здесь такого, – Умник повернулся и побежал к трамвайной остановке. На следующий день в школе она как-то специально не смотрела на него, и тогда он понял, какое у Веры нежное сердце. Она не смотрела на него, чтобы не смущать.

Из-за того, что он уже раз попался, Умник никак не мог позволить себе еще одну промашку. Ведь если бы ему пришлось оставить ее одну, даже на день, с ней могло случиться все что угодно. От этой мысли сердце его разрывалось, и он начинал чувствовать за спиной тяжелое дыхание безлицего мужика, который по ночам загонял его под лестницу. Раньше Умнику было все равно когда жить – летом, зимой, осенью или весной. Ведь математика существовала в его голове или в книгах сама по себе, никак не соотносясь с солнцем, ветром, снегом, слякотью, осенним дождем или весенними грозами. Но когда в его жизни появилась Вера, все изменилось.

Во-первых, он стал чаще думать о себе со стороны, и теперь, представляя себя в длинном, до колен, зимнем пальто, которое сшила ему мамина знакомая портниха и в котором он спокойно проходил всю прошлую зиму, он вдруг стал ощущать разницу между собой и другими. Другие – это был Юра Симм из 10 «А», который ходил в модной, надутой, как скафандр, короткой куртке. Суконное пальто, которого Умник раньше вообще не замечал, так же как и коричневых войлочных тапочек или едва доходивших до щиколоток форменных брюк с пузырями на коленах – он просто надевал и снимал их, не о чем не думая, – стало раздражать его своей неуклюжей бесформенностью. На лестнице он яростно запихивал в портфель шапку-ушанку, которую ему с утра совала мать и которую он возненавидел так же, как и это стариковское пальто. Выйдя на улицу, он подставлял голову ледяному ветру, в надежде, что он выдует из нее все мысли о Вере и весь его страх за нее.

А еще он стал ненавидеть ноябрь. Эта ненависть разгоралась

в нем все сильнее, как будто хотела компенсировать то равнодушие, с которым он до Веры относился ко всему, что не касалось математики, и поэтому было лишено любого смысла. Ноябрь был самый темный месяц в году и оттого слепой в своей жестокости. Этот месяц заглатывал в себя женщин и детей, выплевывая их останки на черные задворки, которые еще не успел побелить снег. А в этом году у ноября прорезались черные глотки-подвалы, в которые затаскивали невинных детей.

Иногда же люди просто растворялись в позднеосенней мгле, чтобы никогда не вернуться. Как, например, эта Потапова. Правда, о ней уже давно ничего не было слышно, и город стал слегка подзабывать эту странную историю, о которой ходили слухи, что она как-то приурочена к празднику революции. Умник вспомнил ее черно-белое, насупленное лицо на квадратике газетной бумаги. А потом на уроке истории Штейн вдруг поднял руку и спросил, может ли он задать вопрос. Историчка, остролицая, правильная партийная дама, которая год назад приехала в их город со своим мужем-военным то ли из Мурманска, то ли из Северодвинска, в общем, откуда-то из края подводных лодок, подозрительно посмотрела на него, но сказала – пожалуйста. Тогда Штейн встал и с невинным лицом спросил, бывают ли в СССР политические убийства. Историчка сначала похлопала глазами от такой дерзости, а потом, наверное, подумала: что взять с еврея, который не сегодня-завтра слиняет отсюда, заодно очистив воздух их родины, – и ответила, что в нашей стране, безусловно, есть политическая работа и политическое просвещение, направленное на массовое изучение марксизма-ленинизма и укрепление политического сознания. А что касается политических убийств, то они имеют место быть только в капиталистических государствах. Там, где продолжается классовая борьба, а также борьба за власть внутри класса эксплуататоров, как это было, например, в случае с Джоном Кеннеди. Она еще долго говорила о советском народе, который идет по дороге правды и свободы, и о деятельности партии, устремления которой направлены на то, чтобы сделать все необходимое для блага человека и во имя человека, что абсолютно исключает какую-либо политическую борьбу, которая в корне чужда природе социалистического общества, где братские народы объединены высочайшей гуманной целью строительства коммунизма, но все уже давно занимались своими делами, благодаря Штейну, который с довольным видом сидел на своем месте. Ведь он поднял свою популярность в классе без ущерба для себя, терять-то ему было нечего как будущему отщепенцу. И историчка сияла, получив шанс провести дополнительную

идеологическую работу среди слишком уж свободно мыслящей молодежи, жившей в самой западной точке их родины.

Мать Умника тоже приносила какие-то слухи о Потаповой. Она преподавала английский язык на курсах, где работало много эстонцев. Там говорили, что отец Потаповой был военным и много лет назад отдавал приказы, из-за чего погибли люди. А теперь дети этих людей мстили ему через его дочь.

Мысли о Потаповой отвлекали Умника от страха за Веру. Если бы Потапова исчезла из жизни по политическим причинам, то Умнику стало бы спокойнее за Веру. Он понятия не имел, в какую политику могли быть замешаны люди в их городе, слово «политика» ему вообще мало что говорило, просто Умник не любил необъяснимых, а значит, и бессмысленных явлений. Вот, Потапова шла себе с работы домой и даже стояла на автобусной остановке, где ее видели несколько человек, а потом вдруг взяла и бесследно исчезла. Правда, мама слышала, что где-то на островах нашли изувеченный труп женщины, якобы похожий на нее, но газеты об этом ничего не сообщали, как будто решили забыть про нее.

Больше всего Умник боялся, что Вера исчезнет, так же, как и Потапова, и уже через несколько недель все забудут о ней, как будто ее никогда и в природе не было. Поэтому Умник уверял себя, что Потапова исчезла не просто так, а по каким-то таинственным, хотя бы и политическим причинам, о которых умалчивали газеты и историчка. Ведь тогда ее исчезновение сразу приобретало какой-то смысл, который имел отношение только к ней, Потаповой, а значит, исключал Веру из теории вероятности бессмысленных исчезновений. Он даже стал спрашивать об этом мать, но та только отмахивалась и говорила, что сама ничего не знает и что всё это сложные вещи, а может, и политика, в которую им лучше не лезть.

Умник осторожно оторвался от стены и пошел дальше, почти прижимаясь к дому спиной, чтобы сразу слиться с фасадом, если Вера вдруг обернется. Она как всегда крутила головой, как будто впервые видела улицу, по которой ходила каждый день. Под темно-зеленым пальто и синей юбкой он угадывал ее неутомимые тонкие ноги, утонувшие в длинных, до колен, сапогах. Вериным ногам не терпелось вырваться из этой улицы, из этого пакостного, мрачного месяца, который окутал весь город тяжелой мглой и через который она шла такой легкой, летней и дерзкой походкой, что прохожие, качая головой, оглядывались на нее, как будто она делала что-то непристойное.

У Умника опять сжалось сердце. Кажется, теперь он начинал понимать, почему он так боится за Веру. Она шла по темному

миру с таким видом, как будто он был залит солнцем, не ведая страха, не замечая налитых тяжелыми желаниями взглядов такого же цвета, как и этот мир, вся такая светящаяся, легкомысленная и открытая ноябрьской мгле. Своей нежной, акварельной красотой она бросала вызов ноябрю, его убожеству и уродству, так что единственным способом восстановить мрачное равновесие было заставить ее исчезнуть или же слиться с этим миром, что, по существу, означало одно и то же. Даже он, Умник, не мог не признать неоспоримую логику такого действа, и, пожалуй, это-то и пугало его больше всего.

Ему вдруг захотелось подбежать к ней и как-то укрыть ее от темноты, где прятались и скользили безлицые хищные тени, похожие на мужика, который гнался за ним по ночам. Но Умник сдержал себя. Он понимал, что время еще не пришло и что защиту надо выстраивать медленно и постепенно, как решение сложной задачи.

Вера уже перешла через дорогу и повернула направо, к дому. Если бы она сейчас посмотрела в сторону, она бы сразу увидела его. Но Вера смотрела вперед, и Умник успокоился.

Предпоследний участок пути был самый открытый, а поэтому и самый опасный для него. Здесь Умник всегда поднимал воротник и вжимал голову в плечи, притворяясь невидимым, и чуть расслаблялся, только доходя до угла ее улицы. Теперь оставалось метров двести, здесь снова начинались дома, и он мог быстро нырнуть в подъезд. Вот она уже дошла до своего подъезда, открыла дверь и исчезла, а Умник все еще стоял, ожидая, пока в ее окне не зажжется свет, и уже ни о чем не думая, а лишь переваривая пустоту, которую она оставила в нем после себя.

Когда у Веры умерла мама, ей было четырнадцать. Мать болела недолго, всего два месяца, и все это время отец беспробудно пил, поэтому Вере пришлось самой разговаривать с онкологом, худым рыжим мужчиной с прокуренным голосом и в несвежем белом халате. Он сразу сказал ей, что надежды нет и надо готовиться к худшему, и, когда Вера заплакала, стоя в его кабинете, он сначала немного помолчал, а потом стал говорить, что смерть – это такой же естественный процесс, как и жизнь, и что в онкологическом отделении сейчас мало коек, поэтому маму надо будет забрать домой, ведь помочь ей уже ничем нельзя. Она еще чуть постояла перед его столом, но он уже уткнулся в свои бумаги, и Вера поняла, что разговор окончен.

Вера знала, почему заболела мама и почему она сначала вся пожелтела, из-за чего отец, который говорил, что от нее стало странно пахнуть, больше не мог спать с ней в одной кровати и

ставил себе раскладушку в большой комнате. Когда ей об этом сообщил онколог, Вера уже сама давно успела догадаться, что мама заболела раком, потому что двадцать лет проработала на фанерно-мебельном комбинате, ежедневно вдыхая ядовитые пары лака, которым полировали мебель.

Еще до того, как у мамы открылась смертельная болезнь, Вера твердо знала, что у нее будет совсем другая жизнь. Об этом ей своим безропотным, изможденным видом молча говорила рано постаревшая женщина, с той же железной последовательностью, с какой радио и телевизор каждый день оповещали Веру о том, как они все счастливы, что родились в такой прекрасной стране, единственной в мире, где граждане живут в дружбе и подлинной свободе.

По утрам, когда мама еще была здорова, Вера старалась не заходить на кухню, где и одному-то негде было развернуться и где с семи часов утра орало радио, вытесняя все остальные звуки и освобождая их от обязанности что-то говорить друг другу. Она презирала отца, сидящего за столом в одной майке и тыкающего вилкой в жареную картошку, оставшуюся с вечера, но еще сильнее она презирала мать, сидящую рядом с ним и каждый раз, встречая сумрачный Верин взгляд, жалко улыбавшуюся ей, как бы оправдываясь за то, что от картошки и макарон у нее давно исчезла талия, а глаза, как заношенная одежда, стерлись от серых стен полировочного цеха и всего того грязно-серого мира, в центре которого мужик, не отрывая брезгливо-равнодушного взгляда от жареной картошки и уже не стараясь перекричать радио, одним коротким движением головы велит подать то соль, то горчицу, то пепельницу.

Вера твердо знала, что где-то за стенами этого мира, где женщины старились и выцветали к тридцати пяти, а мужчины наливались нездоровой краснотой и злобой, есть совсем другая жизнь, яркая и легкая, как одежда, в которой ходили туристы, спускающиеся в их город с огромного и белого, как облако, корабля. Куски этой жизни Вера иногда видела по телевизору у подруги, когда там между передачами рекламировали стиральный порошок, плавленые сырки, джинсы, кремы, шампуни и еще какие-то ослепительно-белые предметы, которые она уже не могла различить затуманенным от мечты взглядом. Да и какая разница, что это было? Главное, что люди в этой другой, счастливой жизни были так же красивы, как и их вещи, и, судя по их сияющим, всегда улыбающимся лицам, уже давно жили в том светлом будущем, куда всё шли и шли Вера со своими родителями и другими жителями их страны.

Вера пока не знала, как попасть в ту светлую и счастливую

жизнь. Иногда они с подружками ходили гулять к гостинице в центре города, и те, что были понаглее, подходили к финнам и по-фински клянчили у них жвачку. Но Вере было стыдно попрошайничать, и она, стоя в стороне, смотрела, как финны, смеясь, раздают девчонкам маленькие яркие пакетики.

С мамой ей давно не о чем было разговаривать, а теперь, когда она погрузилась в мечту о другой жизни, та еще больше стала раздражать ее, своим видом оскорбляя и отпугивая все прекрасное, что ожидало Веру в будущем.

А потом у мамы стала желтеть кожа, и отец стал приходить домой только на ночь, уже в доску пьяный. Мама ни о чем не спрашивала его, ей и так было стыдно за свою болезнь, и он молча ставил раскладушку в большой комнате, где спала Вера. По утрам на кухне все так же орало радио, но теперь он сидел за столом один, так как у мамы не было сил встать.

После больницы у мамы по всему телу пошла экзема, но она была даже рада этому, потому что нестерпимый зуд пересиливал боль в желудке и спине. Когда ей становилось совсем невмоготу, она наливала горячую ванну и часами лежала в ней.

Позже, когда Вера вспоминала это время, перед глазами у нее вставала закрытая дверь вечно занятой ванной, и у нее опять начинало ныть плечо, о которое опиралось обернутое простыней распаренное мамино тело, когда Вера тащила ее в спальню.

Иногда Вере становилось так страшно от невидимых сил, разрушавших мамин организм, что у нее вдруг начинали сильно стучать зубы, и она засовывала в рот полотенце, чтобы хоть как-то утихомирить их. Она почти не плакала, только тогда, один раз, у рыжего онколога, но иногда, по ночам, просыпалась с мокрым лицом, а потом долго лежала, прислушиваясь к двери спальни и стараясь угадать, жива мама или ее уже нет.

Один раз мама позвала ее и, сунув обручальное кольцо, сказала, чтобы Вера сделала из него сережки-гвоздики, а когда та поблагодарила и повернулась, чтобы уйти, попросила еще немного остаться. Вера не умела быть в ее комнате просто так, ничего не делая. Вцепившись в дверную ручку, она стояла и томилась, но мама все молчала, а потом подозвала, чтобы сказать что-то важное. Вера неохотно отпустила ручку и осторожно сделала два шага, а мама сказала, чтобы она не сердилась, что все так сложилось, и что, когда она умрет, с похоронами поможет ее коллега Татьяна Иванова, и чтобы не сердилась на отца – ведь ему сейчас очень трудно, и ей, Вере, тоже, конечно, очень трудно, но надо еще немного потерпеть, и что отец хороший человек, а то, что пьет, так это все мужики, и что пускай не волнуется, Татьяна Иванова обязательно поможет, если отец будет не в состоянии, –

она это клятвенно обещала, а на Татьяну можно положиться, она у них была бригадиром, а сейчас работает по партийной линии, так что слов на ветер не бросает.

Вера видела, что ей тяжело говорить, но мама все шевелила распухшими от экземы губами, извлекая из своего больного тела новые и новые ничего не значащие фразы, и речь ее становилась все менее членораздельной, пока Вера совсем не перестала понимать ее. Уже потом, много лет спустя, она поняла, зачем мама так долго держала ее у себя в комнате и улыбалась такой же извиняющейся улыбкой, как раньше по утрам на кухне, обслуживая угрюмого мужа, зачем просила подойти еще поближе или хотя бы, если противен ее запах, встать к свету у окна.

Вера хмурилась и отводила глаза от настойчивого маминого взгляда – ей было все равно, какой та запомнит ее перед тем, как насовсем исчезнуть. Кивая, она опять тихо дошла до двери и быстро выскользнула из комнаты, моля только об одном – чтобы мама так ослабла, что уже не могла позвать ее обратно.

А потом были похороны, и приходила Татьяна Иванова с комбината, обнимала Веру и называла ее сиротинушкой, не обращая никакого внимания на отца. Она распорядилась насчет гроба и грузчиков, а также еловых веток, которые разбросали перед дверью на лестничной площадке и перед подъездом. Где-то через месяц Татьяна Иванова пришла еще раз и сказала, чтобы Вера хорошо училась и что в нашем государстве никто не пропадет, если не боится работы. Потом спросила, не хочет ли Вера пойти работать к ним на комбинат, и уехала. Больше Вера ее не видела.

В школе о смерти Вериной матери узнали уже после похорон. Ее мать там никто не видел, она ходила на родительские собрания только когда Вера была маленькая, а потом Вера запретила, потому что стеснялась ее. Тогда она еще училась в простой, не английской школе, и другие мамы пользовались косметикой, красили волосы в белый или рыжий цвет, а некоторые даже ходили в лакированных чулках-сапогах. Верина же мама с ее старым, тусклым лицом и оплывшей фигурой больше походила на бабушку, да и вообще было непонятно, какое отношение она имеет к красивой худенькой Вере.

Когда Вера после похорон пришла в класс, все сразу перестали болтать и с любопытством уставились на нее. Ведь у них в классе еще ни у кого не умирала мама. Вера села на свое место, вытащила учебник и сделала вид, что читает. Потом к ней подошла классная руководительница, географичка, которая всегда ходила в сиреневом парике, так что никто не знал, какого цвета у нее волосы, и сказала, что у Веры, слава богу, остался

отец и что она никогда не должна забывать, что растет в самой гуманной стране в мире, где люди отзывчивы к чужой беде и радости.

А через год Вера перешла в английскую школу, где девочки фыркали, оглядывая ее с ног до головы и комментируя собственноручно сшитые юбки. Так никто и не понял, как она попала сюда. Говорили, что об этом лично позаботился Петров, тоже пролетарского происхождения. Он же организовал для нее дополнительные уроки английского. В новой школе почти никто не знал, что у нее нет матери. Вера никому об этом не рассказывала. Мать осталась где-то далеко, в прошлой жизни, когда Вера еще ходила в обычную районную школу, где высшей мечтой девчонок было выйти замуж за моряка заграничного плавания, который бы привозил им импортные тряпки, не работать, разбогатеть и поскорее завести ребенка, чтобы накрепко привязать к себе мужа.

Воспоминания о матери, ее умирающем теле и извиняющемся лице – сначала жизнь, а потом болезнь вытеснили с него все другие выражения, – с которым она, превозмогая зуд и боль и с трудом держа глаза открытыми, смотрела на Веру в последние дни жизни, были слишком невыносимы, чтобы хранить их.

Так же, как и другое, странное, как сон, воспоминание, когда отец ночью после похорон вдруг сел на диван, где Вера лежала, и стал гладить ее по голове, повторяя, чтобы она не плакала. А она и не думала плакать, в голове у нее было пусто и сухо, ни слезинки, и она по привычке все прислушивалась к двери в спальню, но там было тихо, а в уши ей лилось горячее бормотание отца, что они теперь остались одни, и им надо дружить, и теперь он будет воспитывать и лелеять ее, как он и обещал матери, что бы там ни думала эта сука Татьяна Иванова. Вере было неприятно его тяжелое, пьяное дыхание, она отодвигалась от него, а он все ловил ее ноги под одеялом и говорил, что это не дело, такие холодные, как ледышки, ноги, и что он их сейчас согреет, и она сильно двинула его локтем и попала в лицо, потому что он схватился за нос, пьяно хихикнул, а потом встал и, ничего не сказав, пошел спать на свою раскладушку.

На следующий день Вера перетащила свои вещи в спальню и поставила замок на дверь. Она выскоблила полы и вымыла окна, выбросила все постельное белье, на котором лежала мама, и купила новое на деньги с маминой сберкнижки. Отец не вредничал, легко согласившись спать в большой комнате, а уже через пару месяцев у него появилась женщина с квартирой в новом микрорайоне, где он часто оставался ночевать. Приходя

домой, обычно в подпитии, он всегда говорил одно и то же: что Вера должна хорошо учиться и блюсти себя и что он теперь отвечает за нее во имя светлой памяти жены.

Директор английской школы, Петров, высокий мужчина с военной выправкой и зачесанными назад волосами, учитель литературы и специалист по соцреализму, тоже считал своим долгом заботиться о моральном облике Веры Ковалевой, которая потеряла мать в столь опасном возрасте. Поэтому он так сильно переживал тот факт, что она явилась на майский вечер в джинсах. Такое поведение нужно было пресечь в корне, тем более что в их городе и так хромала идеологическая работа по воспитанию молодежи. Чтобы оградить Веру от вредного влияния Запада, ему пришлось выгнать ее с вечера, и, хотя при виде ее несчастного лица ему стало жаль ее, он знал, что действовал для ее же блага, а значит, поступил правильно.

Сегодня Умник чуть не изменил себе и не подошел к Вере, после того как она простилась с Рахимовой и Стоговой на трамвайной остановке, но в последний момент пересилил себя. Правда, он так волновался, что совсем забыл о мерах предосторожности и почти открыто шел за ней по улице, но она, кажется, не увидела его. Вчера все те центростремительные силы, которые грозились смять Веру или заново создать ее по образу и подобию того темного мира, который породил их, вдруг предстали перед ним с предельной ясностью. Он даже оторопел от этой ясности, в которой, помимо неумолимости, было закодировано и то совершенное слияние различных сил-слагаемых, генерированных волями различных людей, что если бы дело касалось не Веры, то Умник наверняка бы просто пришел в восторг от этого идеального, почти математического совпадения. Самое же загадочное было то, что весь этот сложный и беспощадный расклад сил укладывался в одно смешное детское слово – «чижик».

Умник услышал его вчера, спустившись в подвал во время большой перемены, опять притворившись невидимым, что, кстати, удавалось ему в последнее время все хуже, потому что из-за Веры он потерял свою непосредственность в общении с компанией Коломийцева. Теперь ему что-то было нужно от них, и он понимал, что это недолго останется незамеченным. У Коломийцева было дьявольское чутье на тайные помыслы любого, даже случайно примкнувшего к ним. Ведь в подвале все тайное становилось явным, отчего в воздухе там чувствовалось какое-то особое напряжение, дрожь предвкушения, которая передавалась всем присутствующим. Эта дрожь роднила и повязывала их друг с

другом, пугала и манила, дразня воображение и обещая им неизвестные и невообразимые в занудном надподвальном мире ощущения.

Пока еще пользуясь своей невидимостью и скоро предстоящей контрольной по математике, Умник спустился в подвал вместе с другими парнями и, как всегда, примостился в углу под зарешеченным окном. Для Коломийцева еще было рано, поэтому пока роль лидера взял на себя его фаворит, Миша из 10 «Б». Имитируя Коломийцева, он не делал ничего особенного, лишь время от времени, слегка прищурившись и изобразив на губах легкую усмешку, окидывал подвал взглядом, точно так же, как это делал Коломийцев, как бы давая понять, что все они у него как на ладони. И смазливый Панин, с томными голубыми глазами, который любил девушек постарше за то, что они любили его, и кудрявый веснушчатый еврейчик Слава Миллерман, сын учительницы английского, и полуэстонец Петя Янес, не отличавшийся ничем особенным, кроме роста выше среднего и крепкого телосложения, и длинный флегматичный Дима Пронин, отец которого был какой-то шишкой в рыботорговле, и все другие, жаждущие глотка свободы по вечерам и в перерыве между уроками, а также он, Игорь Гладков, по прозвищу Умник, в коротковатых брюках и с челкой, прикрывающей прыщавый лоб, победитель республиканской олимпиады по математике и кандидат на всесоюзную.

Мише нравилась его роль еще и потому, что ему ничего не надо было придумывать, а только как можно точнее копировать Лешу Коломийцева. К тому же задачу облегчало и то, что сейчас здесь не было Юры Симма, которого с Лешей связывали какие-то зыбкие и потому недоступные для Миши отношения. Когда в подвале появлялся Юра, Миша начинал заметно нервничать. Он чувствовал, что Юра в последнее время как-то очень интересует Лешу, гораздо больше, чем он, Миша, который так старался угодить ему, в награду получая лишь пару небрежно-одобрительных хлопков по плечу. Правда, неизвестно было, стоит ли завидовать повышенному интересу Леши к Юре, успокаивал себя Миша, – ведь Лешу ничего не интересовало просто так. Те, что просто так, говорил он, пусть марки собирают или коллекционируют бабочек, а у нас свои, серьезные интересы, мы не дилетанты.

Откуда-то он выучил это слово, наверное, от Симма с его интеллектуальной мамашей, и теперь часто и с удовольствием повторял его.

Миша неплохо справлялся с ролью лидера, но все равно никто не принимал его всерьез, хотя и презрения особого не

выказывал – все-таки любимчик, с ним лучше не портить отношения. Но с прошлого раза, когда в подвале первый раз прозвучало слово «чижик», Миша заметно воспрянул. Зависть сразу улетучилась, и он даже повеселел от собственной глупости. Как же он раньше не догадался, что Леша плетет свою, серьезную и совершенно не дилетантскую паутину вокруг этого красавчика и карьериста Симма.

Наблюдая за Мишей из своего угла, Умник так напрягся, что не заметил, как Слава Миллерман протягивает ему сигарету. Он вдохнул в себя дым, подержал во рту и опять выдохнул, не сводя глаз с Миши, который теперь уселся на железные пружины кровати. Как он и предполагал, в отсутствие Коломийцева Миша работал над своей исключительностью, демонстрируя причастность к тайне, пока связывающей только его и лидера.

– А почему Чижик? – спросил его Петя Янес.

– У Лехи на это свои причины, – загадочно отвечал Миша, сплевывая и растирая плевок ботинком. А после многозначительного молчания спросил у всего подвала как можно более равнодушным тоном. – А что, маменькиного сыночка сегодня нет? – и всем сразу стало ясно, что Симм тоже имеет отношение к тайне с Чижиком.

Слава вопросительно посмотрел на Умника и, не ожидая от него ответа, сразу повернулся в другую сторону.

– Ты в курсе?

Умник помотал головой и, чтобы заглушить чувство ужаса, по-настоящему затянулся, закашлялся и еще долго продолжал кашлять под дружное ржание подвала.

Вера отошла от окна. Так она и знала. Игорь Гладков, по прозвищу Умник, опять торчал перед ее подъездом. Как и вчера, и позавчера, и предыдущие две недели. Он шел за ней из школы, прижимаясь к фасадам и ныряя в подъезды, думая, что она не видит его. Дурак. Она сразу заметила Умника в его длинном нелепом пальто, но просто не хотела связываться с ним. Ведь если бы она дала понять, что видит его, ей пришлось бы подойти к нему и спрашивать, что ему надо от нее, или говорить, чтобы он отвязался и не смел ходить за ней, как собака, а главное, все это время стоять напротив него и смотреть в его восторженные глаза, от чего ей становилось не по себе. Глаза Умника почему-то напоминали ей глаза мамы, как будто он тоже болел какой-то тайной, разрушительной болезнью, которая отделяла его от всего прочего мира.

Поэтому она делала вид, что ничего не замечает, и уже скоро так привыкла к этому, что почти забыла про него, а иногда,

вспомнив, от скуки, чтобы подразнить, резко оборачивалась и видела, как он быстро прыгает в сторону, вдавливаясь в стену дома. В школе Умник несколько раз подходил к ней и спрашивал, не нужна ли ей помощь в математике. А один раз, когда она, покачав головой, быстро хотела смыться, стал горячо говорить, что математика не так страшна, как кажется, что надо только преодолеть первый страх, как во взлетающем самолете, и тогда, с этой высоты, все сразу будет видно, все одновременно, и все кусочки, которые на уровне глаз кажутся случайными и разрозненными, совпадут и сольются в прекрасные узоры, а Вера стояла и мучилась, не в силах повернуться и уйти, и все думала, что конечно, если бы не Умник, она бы не сдала ни одной контрольной по математике, и что теперь он писал шпаргалки идеально разборчивым почерком, специально для нее, но она не понимает ни одного его слова и просто не может выносить его взгляда, который слишком напоминает ей о маме. Ее спасла Маня Рахимова, как раз проходившая мимо: она что-то спросила у Умника, а потом взяла Веру под руку и они вместе вышли из класса.

– Да он просто влюбился в тебя, – сказала Маня и добавила: – А что, ты думаешь, если некрасивый и не от мира сего, то у него и чувств не может быть?

– Да не нужны мне его чувства, Маня. У меня от них депресняк и в ногах тяжело.

Она помолчала, раздумывая, объявить ли Мане большую новость, а потом вдруг выпалила.

– А меня Юра в кино пригласил.

– Тот самый?

Вера кивнула.

– Ну смотри, Верка, как бы тебе Чернышева с Лебедевой глаза не выцарапали.

– А у меня теперь рыцарь есть, он меня охраняет. Каждый день до двери провожает. – засмеялась Вера.

– Это Умник, что ли?

Вера кивнула.

– Ты только Стоговой про Симма не говори, она его не любит.

– Не может быть. Симма все обожают, даже Руднева.

– А вот Стогова нет. Она ему не доверяет, Маня. Говорит, он не такой, какой на самом деле.

– А что в этом такого, Вера? – усмехнулась Маня. – Кто вообще знает, какие мы на самом деле? Вот ты, Вера, какая ты на самом деле?

– Да ну тебя, Маня, ты прямо как на комсомольском собрании.

Держась под ручку, они медленно шли вниз по лестнице на первый этаж, где обитала химичка. Мимо них пробегала мелюзга, задевая и толкая их со всех сторон, но, поглощенные друг другом, они ничего не замечали.

– Ты не увиливай, Вера, ты на вопрос отвечай.

– Ну ладно, так и быть, скажу тебе, как лучшей подруге. Я, Маня, обожаю индийские орешки в шоколаде, а они дефицит. Я их в последний раз год назад ела. Так вот, я готова за них на что угодно. Ну, почти. А еще я балдею от американских джинсов и шампуня «Керастас». Его мне как-то тетка из Москвы привезла. Прелесть, Маня. От него волосы становятся такие шелковистые и пахнут так, если ими тряхнуть, так… ну, красивой жизнью, что ли, вот и я хочу, чтобы в моей жизни тоже все так пахло и чтобы все там было такое белое и сверкающее, ну или розовое, тоже можно…

– Что все? Ты давай поконкретнее, – перебила ее Маня, но Вера только пожала плечами и отмахнулась.

– Да иди ты, Мань, со своими расспросами… Пошли скорее, на урок опоздаем.

Только Маня Рахимова умела задавать вопросы, на которые не было ответа. Ее интересовали вещи, до которых никому в классе вообще не было никакого дела. Например, что думал о себе такой умный человек, как Игорь Гладков, который все знал о математике? Или верила ли Марина Стогова в коммунизм вообще и в частности, когда она, как настоящая артистка, декламировала стихи Маяковского о Ленине, а Петров – в то, что человек, воспитанный на литературе социалистического реализма, не может быть плохим? Однажды она даже спросила у Веры и Марины, думают ли они, что Брежнев верит в то, что в СССР создан новый человек и что скоро наступит коммунизм. Вера тогда просто покрутила пальцем у виска, а Марина Стогова сказала, что это провокационный вопрос, на который она не будет отвечать.

А еще Маню Рахимову очень интересовало, кто какой на самом деле и как долго человек может притворяться хорошим, если он плохой, а главное, знает ли он об этом сам, или характер не является чем-то постоянным, а раскрывается по ходу жизни, а значит, он есть непредсказуемая величина и для самого его носителя.

И почему Ленин называл Толстого зеркалом русской революции, тогда как Толстой был против насилия и говорил, что если тебя ударят по одной щеке, то надо, наоборот, подставить вторую.

Когда она на уроке литературы спросила об этом Петрова, тот задумался, а потом ответил, что под революцией Ленин понимал освободительную войну, в которой было оправдано насилие, и что, если бы Толстой дожил до революции, он бы временно отказался от своего пацифизма на благо народа.

Маня Рахимова также хотела знать, на самом ли деле раскаялся Раскольников после убийства или только сделал вид, потому что этого от него требовало общество. А если раскаяться ему помогла религия, то значит, она была не только опиумом для народа, а еще чем-то важным, без чего людям было трудно найти прощение. Тогда Петров стал говорить, что дело здесь совсем не в прощении, а в предпосылках, и что, если бы Раскольников жил при социализме, ему бы и в голову не пришла мысль убить человека, так как у него бы не было на это объективной необходимости, это во-первых. Ведь в нашем обществе у всех людей есть право на работу, а значит, и средства к существованию. К тому же Раскольникову просто было бы некого убивать, так как при социализме профессия старухи-процентщицы уже давно отмерла. А во-вторых, крайний индивидуализм и эгоизм, присущий членам буржуазного общества в общем, а Раскольникову в частности, в корне чужд социалистическому сознанию. А в-третьих, Петров предупредил Маню, чтобы та не обольщалась насчет религии и больше читала великих мастеров соцреализма, а если у нее и возникали какие-то вопросы, то обязательно обращалась бы к нему, а не шла в церковь, которая только и ждала, чтобы поймать в свои сети и одурманить неокрепшие умы.

Но в последнее время Маню не интересовали ни литература, ни религия. В ноябре, когда весь город говорил о Потаповой, а Штейн даже спросил о политическом убийстве на уроке истории, Маня приносила слухи из дома и делилась ими с Верой, а иногда и с Мариной Стоговой. Оказывается, Потаповой за что-то отомстили эстонцы, и это было очень жестоко, так как сама она была ни при чем, а дело было в ее отце, который тридцать лет назад, в сорок девятом году, отправлял эстонцев в Сибирь. Стогова стала кричать, что этого не может быть и что все эстонцы сразу приняли советскую власть, потому что в буржуазной Эстонии были голод и эксплуатация, и в парках там стояли отдельные скамейки для русских, как сейчас в ЮАР для негров, а в Сибирь на перевоспитание посылали только лесных братьев. Вере же было, в общем-то, все равно, хотя и жутко слушать про пропавших людей, а особенно про детей, почти младенцев, которых неуловимые убийцы увозили в лес или заманивали в подвалы. Но сейчас Веру больше всего волновало, в какой цвет ей

подкрасить волосы к новогоднему вечеру – в фиолетовый или пепельный.

– Это ты у Юры Симма спроси, а мое мнение насчет крашеных девушек ты знаешь, – говорила Маня, – кстати, я его сегодня опять с Коломийцевым видела у школы. Они теперь лучшие друзья. Он ходит к нему в подвал.

И Маня смотрела на Веру так, как будто что-то знала о Юре, или, может быть, только догадывалась. Почему-то Вера была уверена, что Маня тоже не любит его, но не так, как его не любила Марина Стогова, которая втайне и безнадежно была влюблена в золотого мальчика, как и все девочки, и, чтобы отвести от себя подозрения и мстя ему за свою безответную любовь, грубо отзывалась о нем.

– Ну и что, туда все ходят, Маня, даже Умник.

– И что Умник там нашел?

И Маня задумчиво качала головой, всерьез думая о подвале, компании Коломийцева и Умнике, которого ей в последнее время было жалко.

– С каких пор он тебя так интересует?

Маня опять рассеянно пожимала плечами, а Вера думала: какая все-таки странная у нее подруга. Она, например, толком не знала, влюблена ли в кого-нибудь беленькая, с глазами янтарного цвета, Маня. В школе ей, кажется, никто не нравился, а когда Вера в начале их дружбы спросила, есть ли у нее мальчик, то Маня сказала, что прошлым летом, когда Вера еще не училась в их школе, ей нравился один мальчик-эстонец, но потом лето кончилось и все прошло, и теперь надо жить дальше, несмотря ни на что. А когда Вера удивленно посмотрела на нее и спросила, не делала ли она случайно аборт, а что, в их старой школе и не такое бывало, то Маня обозвала ее идиоткой и сказала, что все гораздо хуже, что она сама толком ничего не знает и что она еще, между прочим, девочка. А потом лицо ее как бы сдвинулось куда-то и ослепло, словно Маня отказывалась или не могла смотреть вовнутрь себя, и больше Вере не удалось выжать из нее ни слова. Как будто Маня Рахимова решила так крепко стеречь какую-то тайну, что даже на всякий случай скрывала ее от себя, а если эта тайна вдруг каким-то образом все-таки прорывалась наружу, то она в своих мыслях пыталась убежать от нее как можно дальше.

Но все-таки это тайное знание было как-то написано у нее на лице и проявлялось в странных вопросах, которые она задавала себе, подругам и учителям, и в жалости к Умнику и еще почему-то к Вере, что немного ту раздражало. А один раз, когда Маня с Верой шли из школы, навстречу им попался парень лет двадцати, очень симпатичный, с шальными черными глазами. Когда он

увидел Маню, то остановился, шлепнул ее по попе, как маленькую, расхохотался, когда она громко фыркнула, и спросил, не прогуливает ли она часом школу, а то он все маме расскажет, а потом повернулся и пошел себе дальше, посмеиваясь.

Маня сказала, что это сын подруги ее матери, и все рдела, пока они шли по улице. А еще она сказала, что он скоро женится и что будет большая свадьба, но прозвучало это как-то странно, почти грустно, как будто она была не рада его счастью.

– Ты что, влюблена в него? – спросила Вера.

– Не говори ерунды, – ответила Маня, опять покраснела, и Вере стало сразу все понятно и даже немного жалко Маню.

Маня была первым человеком в английской школе, кому Вера рассказала, что у нее умерла мама, а потом, уже в ноябре, что она так влюблена в Юру Симма, что не боится боли или забеременеть и готова переспать с ним в любое время и в любом месте.

В квартире у Юры Симма пахло красивой жизнью, как в финском телевидении, если бы оно имело запах. Легкий букет кофе, заграничного мыла, сигаретного дыма, ванили, – всё в этой большой четырехкомнатной квартире в сталинском доме на одной из центральных улиц города было пропитано этим головокружительным ароматом. Казалось, из-за стеклянных дверц его источали даже книги и бутылки с иностранными наклейками. Вера прошлась по гостиной, озираясь и толком не зная, куда себя деть. Ей пришло в голову, что основным ингредиентом букета красивой жизни было не конкретное вещество, а что-то нематериальное и посему недосягаемое. Так, наверное, пахла мечта. Все остальное – и кофе, и заграничное мыло, и сигареты, и бутылки, и книги – можно было купить, имея нужные связи, а вот мечта просто так, за деньги, не давалась, к ней нужен был тонкий подход. До нее как во сне издалека донесся Юрин голос.

– Да ты не бойся, предки в гостях, полная свобода действий. Кофе будешь с коньяком?

Вера кивнула и, чтобы отвлечься от себя, склонила голову набок и стала читать корешки книг. Эрнест Хемингуэй, Джек Лондон, Скотт Фитцджеральд, Юрий Трифонов, Борис Пильняк…

– И с каких это пор красивые девочки интересуются литературой?

Вера замерла. Голова Юры лежала у нее на плече. Она не слышала, как он зашел в комнату, и теперь боялась пошевельнуться, чтобы не смущать его. Но Юра и не думал смущаться, а поудобнее устроил подбородок на ее плече, почти прикасаясь губами к ее уху, и она так и осталась стоять с изогнутой шеей.

– Ну ладно, давай вместе смотреть, духовно развиваться, так сказать. Короче, Трифонова мы все знаем, даже Петров, он его уважает, хотя и не всегда одобряет, там имеют место пессимистические настроения, ну и всякие там рефлексии, недостойные советского человека, а вот Пильняк – его бы Петров точно не одобрил, это тебе не социалистический реализм и даже не Трифонов с Бондаревым, а вот мать его любит, она говорит – он изображает жизнь не в ее положительном, а в ее стихийном развитии, и главный герой у него – это слепая воля истории, и побеждает в этой жизни самый сильный, ловкий и умный. Ей Пильняка бывший однокурсник достал, в «Березке» купил, за валюту, а мать говорит – правильно, что его в «Березке» продают, нечего народ такими книгами с толку сбивать; и потом, они ведь и не поймут ничего. Пильняк – это только для первой категории, ну, может, еще чуть-чуть для второй, ой, Вер, извини, ты не в курсе, ну, в общем, у них своя литература, пускай читают соцреализм, Гладкова там, Шолохова с Фадеевым, короче, как Петров учит. Слушай, а ну их к черту, все эти книги, пошли кофе пить, а то остынет…

Юра убрал подбородок с ее плеча и вытащил из-за стеклянной дверцы бутылку коньяка. Разлил по кофейным чашкам, сел на диван и пару раз похлопал по нему, призывая Веру сесть рядом. Потом вдруг опять вскочил, выбежал из гостиной и вернулся с коробкой конфет.

– Какой праздник без шоколада?

Вера сунула в рот конфету, отпила кофе, поперхнулась коньяком и засмеялась.

– Ну, как тебе фильм?

– Вери гуд, – сказал Юра, – особенно конец.

– Это когда их яйцом кормят с ложечки?

И Вера опять засмеялась. Польская комедия была про планету женщин, во главе которой стояли три феминистки-инквизиторши. Мужчинам туда вход был воспрещен под страхом смертной казни. Но трое смельчаков в женской одежде проникли на планету и в конце концов свергли инквизиторский триумвират, после чего занялись перевоспитанием женщин, открывая им всевозможные радости жизни. В финальной сцене три героя учили девушек правильно есть сваренные всмятку яйца.

– А теперь возьмем чуть-чуть сливочного масла, щепотку соли, соединим это все с нежнейшим, мягчайшим желтком, положим в ротик и м-м-м, получится большое удовольствие, – сказал Юра, глотнул кофе и сразу плеснул в чашку коньяка.

– А как старые крысы завизжали, когда у этого рыжего сполз парик? – давясь от смеха, сказала Вера.

Юра кивнул и поставил на журнальный столик пустую чашку.

– А фильм-то серьезный, между прочим. Ведь он о свободе, а это… За нее миллионы гибли и будут гибнуть, но никто толком и не знает, что это такое. Вот все кричат: «Требуем свободу, давайте нам свободу, мы самые свободные люди на земле», как будто это что-то прекрасное, возвышенное… а вдруг это наоборот, мерзопакость какая-нибудь типа чертика в шкатулке – нажимаешь на кнопку, ждешь и думаешь, сейчас выскочит что-то красивое, интересное, а оттуда вдруг р-раз – и страшенная рожа с рогами, и серой воняет, как в аду…

Он уже перестал смеяться и теперь пристально смотрел на Веру. Глаза его блестели странным блеском. Ей стало не по себе. Она хотела хлебнуть коньяка, но в чашке ничего не оказалось.

– Вот ты, Вера, считаешь себя свободной?

– Я? А как же? У нас в стране все свободны, значит, и я.

– Нет, ты мне не штампами отвечай, мы не у Петрова на уроке. Вот, я например, еще не свободен, но обязательно буду. Только все это не так просто, понимаешь, я имею в виду, просто так никто свободным не станет, для этого нужно чем-то пожертвовать, ну типа, мы за ценой не постоим, но уже за свою личную, индивидуальную свободу, без которой превращаешься в раба. Как ты думаешь?

– Да не знаю я, что ты вообще имеешь в виду.

– Ну хорошо, а ты веришь, что свободными могут быть все? Или, скажем, что все ее достойны? Вот я, например, не верю. Я вообще думаю, что большинству эта самая свобода пофиг, им лишь бы пожрать, выпить и телик посмотреть, ну и хорошо, нам же ее больше останется… – Вдруг Юра засмеялся, как будто только сейчас увидел растерянное Верино лицо, и хлопнул ее по коленке. – Ну ладно, не буду тебя больше мучить, Чижик. Давай лучше покормлю тебя, как в фильме.

– Чижик? – Вера опять засмеялась.

– Ну ты так здорово поешь. Вот был аншлаг, когда ты Золушку изображала.

Он вытащил из коробки круглую шоколадку и поднес ее к Вериным губам. Она отшатнулась, но он шутливо провел конфетой по ее губам и, улыбаясь, сказал:

– Откройте ротик, расслабьтесь, и вы получите большое удовольствие. Ну, вот и молодец, умница, давай за маму… учись наслаждаться жизнью, Чижик.

Конфета уже расплавилась, и шоколад потек в горло, а Юрины пальцы все ерзали вокруг ее языка. Он тяжело задышал, и на его красивом лице появилось страдальческое выражение. Когда он сильно надавил ей пальцем на язык и стал водить им по

нему, Вера замотала головой, а он засмеялся.

– А ты кусни, не бойся, давай, покажи свои зубки, Чижик, я тебе еще конфетку дам.

Тогда она осторожно сжала зубы, чтобы не сделать ему больно, и куснула его, и он сразу замолчал, прикрыв глаза, а потом сунул ей в рот шоколадку и вдруг она почувствовала его пальцы у себя под юбкой, и он стал валить ее на диван. Он больно, почти злобно прижимался ртом к ее шоколадным губам, пальцы под юбкой поползли наверх, оттянули колготки и подступились к трусам, залезли под них и стали ощупывать ее. Грубо, как будто проверяли на прочность.

– Мне больно, Юра, пусти.

Но он уже резко сунул в нее палец, так что она вскрикнула от боли.

– Да тише ты.

– Здесь же никого нет. Ой, Юра, я еще ни разу…

– Ты же сама хочешь, Чижик…

– Хочу, но не так.

– Не так, значит, ну тогда…

Он вытащил палец и стал стаскивать с нее трусы; боль отпустила, и она приподняла попу, чтобы помочь ему.

– Осторожно, Юра, пожалуйста…

Он молча возился с джинсами, опустив голову, волосы свисали, так что она не видела выражения его лица, как вдруг из коридора донеслось громкое мычание. Вера вскочила и судорожно натянула на коленки юбку.

– Что это???

Не отвечая и не глядя на нее, Юра торопливо застегивал джинсы и уже бежал к двери. Прежде чем закрыть ее за собой, он оглянулся.

– Сиди здесь, я сейчас приду.

Где-то в коридоре хлопнула дверь, она услышала его голос, а потом все затихло.

Вера встала, натянула трусы и колготки, но не села на диван, а осталась стоять у столика. По телу у нее пошла дрожь, хотя лицо пылало от пережитого возбуждения, которое так неожиданно оборвали странные, нечеловеческие звуки. Она взяла коньяк, отпила прямо из бутылки и увидела на стекле коричневые следы. Вера обтерла горлышко и стала лихорадочно вытирать рукой рот, чтобы никто не подумал, что она без спросу съела чужой шоколад в этой красивой и непонятной квартире, где читали загадочные, свободные книги и где она сегодня вечером впервые в жизни услышала запах мечты, который каждый день вдыхал в себя золотой мальчик. Юра все не возвращался, и Вере

стало не по себе. В ушах опять зазвучало давешнее мычание. Она взяла с дивана сумочку и пошла к двери. В коридоре было тихо. Вера хотела позвать Юру, но почему-то не решилась, как будто, громко произнеся его имя, она бы нарушила какое-то неизвестное ей, но очень важное правило, которого придерживались в этом шикарном доме. Поэтому она стала бродить от одной закрытой двери к другой, прикладывая к ним ухо. Наконец за одной из них она услышала какое-то движение, слабое дыхание жизни, почти беззвучное, но явственное. Она стала осторожно опускать ручку двери и так же осторожно приоткрыла ее. Спиной к ней перед кроватью сидел Юра. Она приподнялась на цыпочки, чтобы увидеть, кто лежал на ней, а потом, движимая любопытством, сама не заметив, сделала несколько шагов и очутилась лицом к лицу со страшной старухой в зеленом платочке, которая, повернув голову набок, не отрываясь, таращилась на нее белыми, слепыми глазами. Вера вскрикнула, и Юра обернулся.

– Я же сказал, чтобы сидела и не вылезала, – крикнул он.

Старуха замычала и захлопала глазами, а Юра наклонился к ней и стал гладить ее по платку и рукам, а потом, не оборачиваясь, кинул Вере:

– Вот и познакомились. А теперь иди отсюда.

Вера разрыдалась уже на улице. Юра даже не вышел проводить ее. Она так и не поняла, что случилось, чем она так обидела его. Весь вечер она старалась не разочаровать его, быть такой же раскованной, как Чернышева и ее подруги. Все шло так хорошо, он шутил, и даже придумал ей смешное прозвище Чижик, и кормил ее шоколадками, и целовал до боли и дрожи внизу живота, и уже почти случилось это самое, а потом вдруг замычала эта страшная старуха, и он выставил ее за порог, ничего не объяснив.

«Я же ни в чем не виновата, – думала Вера, – откуда же я знала про его бабушку, теперь все пропало, он больше никогда не захочет меня…»

Кто-то обгонял ее, совсем близко, почти прикасаясь к ней, она отпрянула и ускорила шаг, низко опустив голову, чтобы никто не видел ее слез.

– Вера, подожди, мне нужно что-то сказать тебе…

Она резко остановилась и закричала в лицо Умнику:

– Ну что тебе от меня надо, урод несчастный, что? Ты что, не видишь, как ты мне противен? Так посмотри на себя в зеркало!

Но Умник стоял перед ней, загородив дорогу и даже не думая двигаться с места. На его лице вдруг появилось незнакомое ей упрямое выражение.

– Я посмотрю в зеркало, но сначала послушай меня. Это очень важно. Он что-то замышляет, вместе с Коломийцевым. Будь осторожна, Вера.

Но она сильно толкнула его локтем в грудь и побежала по темной улице, в слезах повторяя про себя: «Я люблю его, идиот, урод несчастный, я люблю его».

Голова Амина

Юра все еще сидел у бабушки, когда вернулись родители. Мать заглянула в комнату, исчезла, а потом заглянула еще раз, чтобы спросить, кто был в гостях.

– Вера, – ответил Юра.

– Вера?

– Вера Ковалева.

– Мы должны знакомиться?

Юра покачал головой, и мать не стала расспрашивать дальше. Она доверяла сыну и к тому же воспитала его так, что ей не надо было волноваться за него. Она точно знала, что он не наделает глупостей, – ведь не зря же она возила его по белым домам, где избранные граждане их страны, не покладая рук, праздновали свободу и где ее золотой мальчик быстро усвоил, какая ему нужна партия. Елена Белозубова-Симм вспомнила рыжую аспирантку и своего сына, который бегал за ней с ошалелым видом, куда-то исчезал, потом опять появлялся, а потом снова исчезал, уже на полночи, и следующим утром она не могла растрясти его, полумертвого от любовных экспериментов. Она усмехнулась, прикрывая за собой дверь. Все шло правильно, как надо, все шло естественным путем без лишних драм и безвкусных страданий. Без всей этой истеричной литературщины, которую так обожали ее соотечественники. Чтобы не терять иллюзий, надо было прежде всего не обзаводиться ими, а позаботиться о том, чтобы до поры до времени под рукой были рыжие аспирантки или веры ковалевы для тушения гормонального пожара. Кажется, ее сыну это неплохо удавалось. Поэтому она была спокойна за него. Теперь ее больше волновал муж.

Когда мать закрыла дверь, Юра облегченно вздохнул. Хотя бабушка уже успокоилась, ему не хотелось выходить отсюда. На пальцах у него еще оставалась беззащитная Верина плоть. Нежное сердце Веры. Она так нравилась ему, что, когда они пришли, ему пришлось тайком выпить на кухне полстакана коньяку, а потом все время подливать его в кофе, чтобы хоть как-то расслабиться. Иначе он не посмел бы даже пальцем к ней прикоснуться. Перед ним всплыло лицо Умника, а сразу за ним ухмылка Коломийцева, сопровождающая слово «чижик». И точная копия этой ухмылки на лице его фаворита Миши, которой он теперь приветствовал Юру в школьном коридоре.

Почему именно Вера? Почему не Чернышева, не Оля Лебедева, не Лена Зонтова или размалеванные девицы, которые

сами приходили в подвал покурить, выпить и побаловаться?

Что за вопрос, как будто он сам не знал почему. Конечно, Коломийцеву нравился Чижик, но еще больше ему нравилось испытывать Юру Симма на прочность материала. В конце концов, это он, золотой мальчик, должен был доказать, что он стоит той свободы, которая разливалась на них божьей благодатью в вонючем черном подвале. Юра попытался вспомнить, когда именно он понял, что обратного пути нет и что все, кроме Чижика, знают об этом и с нетерпением ждут зимы. Наверное, когда он в первый раз услышал слово «чижик» и не сразу догадался, что это Вера, а потом, вместо того чтобы громко объявить на весь подвал, что да, Вера Ковалева отлично поет и что теперь она его девочка, стал мямлить что-то невразумительное, больше всего боясь показаться маменькиным сынком в глазах Коломийцева, пока тот преспокойно вязал его по рукам и ногам на глазах всей опричнины. Именно тогда, краснея, и путаясь в собственных словах, и проклиная невесть откуда взявшееся, бешено стучащее сердце, он продал ее Коломийцеву.

Юра опять увидел взволнованное лицо Веры, когда она зашла в их квартиру, а потом с перепуганными от всего этого чужого богатства глазами тыкалась то к бару, то к книжным полкам, то к окну, изо всех сил стараясь выглядеть непринужденной, еще больше похожая на чижика, чем когда пела. Он щедро, как и себе, подливал ей в чашку коньяк, и в конце концов она успокоилась и даже закинула ногу на ногу, нерешительно сев рядом с ним на диван. Он видел, как она старается понравиться ему, быть такой, как те, другие – смелые и незакомплексованные девочки из английской школы, и ему почему-то захотелось быть честным с ней, быть таким, каким он мог быть только здесь, в бабушкиной комнате. Потом от алкоголя на нее напал неудержимый смех, а у него приятно закружилась голова и сразу полегчало, и он вспомнил, как они с аспиранткой кормили и, голые, мазали друг друга шоколадом, так что он наконец понял, что делать.

А когда замычала бабушка, Юра сразу протрезвел и вдруг увидел Верины голые ноги со спущенными трусами и колготками, а над ними скомканную юбку и ее растерянное и умоляющее лицо, а потом свои дрожащие руки, застегивающие штаны.

У бабушки он немного пришел в себя и теперь хотел только одного – чтобы Вера Ковалева поскорее убралась отсюда, навсегда исчезла из его квартиры, школы и из его жизни, и он опять стал просто золотым мальчиком, любимцем школы и всех девочек, с блестящими перспективами и свободным будущим в белом доме над рекой. В комнату снова ткнулась мать, спросила, все ли в порядке, но он даже не обернулся, и она ушла.

А он все сидел и ждал, что он наконец заплачет, как тогда, когда он в первый раз зашел сюда, через год после того как слегла бабушка. Что из его глаз, как и тогда, польются слезы, а он будет всхлипывать и шмыгать носом, не утирая их ладонью и чувствуя, как у него теплеет и тает в груди, как пробивается в ней что-то живое. А потом вдруг загудит и задудит бабушка, точно как тогда, и все будет ворожить, и жалеть, и утешать его, бессловесно и от этого еще жальче, своего глупого маленького золотого мальчика. Но в глазах у него было сухо, а бабушка недвижно лежала, упершись застывшим взглядом в потолок.

Надежда умирает последней, вдруг пришла ему в голову знаменитая и до тошноты фальшивая фраза из уст настоящего советского человека в очередном шедевре социалистического искусства. Эти диогеновские слова уже давно никто не произносил без смеха или циничного подмигивания. И все-таки это правда: надежда умирает последней, теперь уже вслух повторил Юра, вставая со стула и с неверием чувствуя, как ему полегчало. Ведь хотя уже наступила зима и через две недели был новогодний вечер, которого с упоением ждал весь подвал во главе с Коломийцевым, где-то еще обязательно должна была оставаться хотя бы одна, та самая крошечная крупинка надежды, умирающая последней.

Закрыв глаза, Умник стоял в ванной перед зеркалом. Досчитав до пятидесяти, он открыл их. Сначала он увидел висевшие на веревке полотенца. Умник долго смотрел на них, отмечая про себя, какое из них его и какие – родителей, и все откладывая свое лицо, ждущее его в том же круглом зеркале с пластмассовой белой рамкой. Потом он осторожно перевел взгляд вниз, не глядя в середину зеркала, и увидел толстые губы. Под его взглядом они сжались, стыдясь своей некрасивости. Умник презрительно усмехнулся, заставив их скривиться, отчего они стали еще более уродливыми. Все так же ухмыляясь, Умник долго изучал рыхлый, чересчур широкий у основания нос и невнятные, глубоко посаженные глаза.

Потом он приподнял длинную, до бровей челку и стал считать прыщи на молочно-белом лбу. Когда он опять опустил волосы на лоб, все только что увиденные им в отдельности безобразные черты слились в одутловатое лицо с пухлыми, как у грызуна, щеками. Вот он какой, Игорь Гладков, по прозвищу Умник. Жестокая шутка природы, которая, наделив его даром к самой прекрасной и гармоничной науке, не оставила на его тело ни частички красоты. Умник, не отрываясь, смотрел в зеркало, как ему велела Вера, и, как Вера, проникался все большим

отвращением к этому лицу, к которому его навечно приговорила природа.

Вдруг зеркало покрылось рябью и мерзкое лицо стало размываться, пока все не размазалось по зыбкой серебристой поверхности. Как будто даже зеркалу стало противно отражать его в себе. Умник быстро заморгал, чувствуя, как по щекам у него катятся слезы, и прикрыл глаза, а когда снова открыл их, то увидел Веру.

Она улыбалась, и хотя ее лицо, как под вуалью, лишь мерцало в глубине зеркала за мембраной, он видел, что ее взгляд затуманен мечтой. Сначала ему показалась, что она поет, как тогда, на вечере, когда он впервые по-настоящему увидел ее, грезящую наяву, но, приглядевшись, он понял, что она разговаривает с кем-то, вся нежная и сияющая от надежды.

– Игорь, ты наконец пойдешь ужинать? – спросила мать и стала дергать ручку двери. – Что за идиотская мода запираться в ванной? Ты что, уже в душ собрался?

– Я сейчас приду.

Он слышал, как она громко вздохнула и зашагала на кухню.

Вера исчезла, а Умник присел на край ванны и стал вспоминать сегодняшний день, в центре которого, как и во все прошедшие и еще не наступившие дни, стояла и будет стоять Вера. Но сейчас над ней, в пролете между этажами, склонился Юра Симм и что-то говорил ей, не обращая внимания на то, что уже прозвенел звонок. А потом заговорила Вера, поднимаясь на цыпочки и, как под солнце, подставляя под его взгляд свое лицо. Она обеими руками прижимала к животу портфель. Конечно, она уже все давно простила ему.

На мгновение Умнику стало стыдно своих соплей, а потом на него опять нахлынул ужас, который жил в нем с тех пор, как он впервые услышал в подвале слово «чижик». Из кухни закричала мать. Он ополоснул лицо холодной водой и вышел из ванной.

Завтра он обязательно найдет Коломийцева и все скажет ему. Все то, что давно должен был сказать ему и не сказал тогда в подвале. Что Вера Ковалева – его девушка, и он любит ее, и что если они хотят развлечься под Новый год, то пусть приглашают к себе телок из ПТУ, и что пошли они все подальше… Тут Юра вспомнил, что он уже собирался сказать это Коломийцеву вчера, и позавчера, и три дня назад, и всю эту неделю. Но Коломийцев как в воду провалился, он не появлялся в подвале уже несколько дней. На вопрос, где он, парни только пожимали плечами и нарочито разводили руками. За преувеличенным недоумением, с которым они при этом смотрели друг на друга, Юре мерещилась

ухмылка посвященных в тайное дело, куда ему не было доступа. Подходить же к Мише-фавориту он считал ниже своего достоинства. До 29 декабря оставалась неделя.

Сегодня он после случая с бабушкой впервые подошел к Вере. Просто тронул ее за руку на лестнице и сказал, что хочет поговорить, если она не против. Она вспыхнула и засеменила за ним к окну на лестничной площадке. К животу она крепко прижимала портфель, как будто держалась за него, чтобы не упасть от любви, что выветрила все ее нутро и сделала ее легкой, как перышко. Он что-то плел ей про бабушку, и что жаль, что все так получилось, и что классное было кино, а потом спросил, придет ли она на новогодний вечер. Вера так радостно закивала, отдаваясь ему здесь же, в этом узком пролете между вторым и третьим этажами, что у него заныло под ложечкой, и он опять, как тогда, ужасно захотел, почти взмолился, чтобы она исчезла, навсегда избавив его от себя, от своих золотистых волос, хрупкой шеи, длинных сахарных ног и нежного сердца. Кажется, она еще спросила, ужасно глупо, пойдет ли он тоже, и он, конечно, кивал и все опять что-то говорил, не в силах оторваться от нее, а потом опять назвал ее Чижиком, как тогда, у себя дома, и сразу прикусил губу, а она, вместо того чтобы бежать от него подальше, засмеялась серебристым золушкиным смехом и сказала, что он первый человек, назвавший ее так смешно. На уроке истории, пока историчка бубнила про двадцать пятый съезд КПСС, Юра все никак не мог отвязаться от мысли, что все это время он не находил Коломийцева, просто потому, что плохо искал.

На следующей переменке Юра подошел к Мише и сказал, что нужно поговорить. Тот, ухмыляясь, пошел с ним в туалет на четвертом этаже, где обычно было мало народу. Там уже кто-то успел покурить в окно и чуть прибить запах мочи. Дальше предбанника с раковинами они не пошли.

– Ты Лешу когда видел? – спросил Юра.

– А что? Соскучился?

– У меня к нему дело.

– А ты мне скажи, я ему передам.

– По личному вопросу.

– А-а-а, понятно… – протянул Миша, – не доверяешь, значит.

Удивительно, как быстро он выучился замашкам Коломийцева. Юра вдруг подумал, что уже и не может вспомнить, каким был Миша до того, как стал фаворитом.

– Так где он?

– У дяди.

– У какого дяди?

– Я ж говорю, у дяди. У него к нему дело.

– Ну, ладно, я пошел, а ты передай ему, что я его ищу.

– Ну, может и передам, а ты от нас Чижику привет передавай. Скажи, что мы высоко ценим ее вокальные и прочие данные.

Юра подскочил к нему, но тут вошла Руднева, которая проверяла туалеты на предмет курения. Она с удивлением посмотрела на них и потянула носом.

– Ты что здесь делаешь, Симм?

– Да он тут как член комитета комсомола курильщиков ловит. Вы не волнуйтесь, тут все чисто, – ответил за него Миша, и Юра быстро вышел из туалета.

Видимо, они все-таки что-то учуяли. Скорее всего, его просек фаворит Миша. Для Леши Коломийцева Умник был слишком мелкого калибра, хотя и не исключено, что именно его высочайшее око вычислило Умника, после чего был дан приказ на изгнание из подвала. Врожденный лидер, как Леша Коломийцев, не мог не понимать, что даже самый последний винтик может спровоцировать осечку всего механизма. А может, его заложил Слава Миллерман, стоявший тогда рядом с ним и прочитавший ужас в его глазах, когда Умник зашелся в кашле, хлебнув дыма. Или Умник выдал себя сам, потеряв непосредственность в общении с компанией и тем самым обнаружив свою истинную сущность и выпав из общей цветовой гаммы подвала. Но скорее всего, все было гораздо проще. Просто кто-то увидел, как он каждый день шел за Чижиком из школы, и поделился этой информацией. Хотя Умник и не был посвящен в секретные планы, его непосредственная близость с объектом могла повлиять на их успешную реализацию. Да, впрочем, какая разница почему, главное, что вход в подвал теперь ему был заказан. Когда Умник, притворившись невидимым, хотел проскочить в подвал вместе с другими, перед носом у него, как шлагбаум, вдруг опустилась рука Пети Янеса, шедшего впереди.

Пока шлагбаум поднимался, поштучно пропуская вниз по узкой лестнице всех остальных, Умник ждал своей участи, прижавшись к стене, чтобы не мешать проходящим. Пропустив последнего, Янес снова демонстративно шмякнул ладонью по стене у самого уха Умника, преградив ему спуск.

– А ты, давай, иди готовься к завтрашней контрольной. А то Руднева, говорят, совсем с цепи сорвалась. Задачи придумывает, как в институте. Давай-давай, мы и без тебя справимся.

На обыденном лице Пети Янеса не было ни злорадства, ни усмешки, ни даже того выражения значительности, с которым нижестоящие выполняют указания вышестоящих. Он просто делал то, что было положено, не разбавляя свои действия

личными мотивами. Умнику ничего не оставалось, как повернуться и уйти.

Вера больше не смотрела на него, с тех пор как он заговорил с ней у Юриного дома, а когда он шел за ней из школы, она ни разу не обернулась, хотя он точно понимал, что она знает о нем. Он даже был благодарен ей за это. Иногда ему казалось, что, взгляни она на него, он не выдержит отвращения на ее лице и закричит на всю улицу или вдруг заплачет, как маленький. Но страх потерять ее посреди города, на его уже заснеженных, посветлевших улицах, исчез куда-то вместе с черным ноябрем. Тот страшный темный мир, наполненный безлицыми тенями, затаился и ждал своего часа где-то в другом месте, так же как и страшный мужик с пустотой вместо лица, который гнался за ним по ночам и который вдруг тоже куда-то исчез. Теперь Умник слышал только его дыхание, когда он уже сам, по собственной воле спускался в подвал по той самой лестнице, разверзывающейся под его обессилевшими ногами. Он больше не кричал, зная, что не имеет права выдать себя, что от его молчания зависит жизнь человека, томящегося в этом подвале.

Умник видел, как снежный свет, в декабре покрывший черную землю, слепит Веру, словно сияние серебряного коня, на котором скакал принц. Он видел, как, осчастливленная его улыбкой и красотой, она ждет своего часа, и, казалось, уже издалека слышал, как бьется ее сердце под нежным бугорком, притаившимся под зеленой форменной блузкой, когда она стояла у окна рядом с Юрой Симмом.

На следующий день во время последней в этой четверти контрольной по алгебре Умник, как всегда, разослал по классу шпаргалки, как всегда, решив задачи обоих вариантов. До звонка оставалось еще минут пятнадцать, когда он попросился уйти, сказав, что уже готов. Математичка кивнула, и Маня Рахимова, сидевшая на второй парте в том ряду, где восседала Руднева, подняла голову и увидела, что Умник кладет на учительский стол чистый лист бумаги.

Мать уже несколько дней не разговаривала с отцом. Это был ее проверенный способ, когда она сильно сердилась на него или хотела чего-нибудь добиться. Юра еще хорошо помнил ее молчание, когда ему исполнилось шесть и нужно было решать, в какую школу ему идти. Отец был за эстонскую, но мать и слышать об этом не хотела. Только русскоязычная школа с английским уклоном могла дать ему возможность вырваться из этого милого, но безнадежно провинциального города и построить блестящую карьеру в столице. Отец не уступал. Тогда

она стала кричать, что не даст ему загубить жизнь сына, мало ему того, что она из-за него поставила на себе крест и уже десять лет гниет в этом болоте, клепая продажные статьи в местную газетенку, а потом перешла к тактике тотального молчания.

Все практические дела Елена Белозубова-Симм решала через бабушку, а с Юрой вела себя так, будто ничего не произошло. Он не понимал, в чем дело, ему было все равно, в какую школу идти, и он все хотел сказать об этом родителям, но боялся, что они будут еще больше сердиться на него, и тоже молчал. Бабушка сначала не вмешивалась в дела дочери, только качала головой, но когда Юра стал писаться в кровать, то сказала, что уедет обратно в Москву, если они не прекратят мучить ребенка. Первым сдался Индрек, и первого сентября этого же года Юра Симм, сдав вступительный экзамен, пошел в английскую школу.

Последний раз она молчала года четыре назад, когда отцу дали участок земли не в том кооперативе, где она хотела, с людьми не их круга и дальше от моря, а он наотрез отказывался идти к начальству просить другой, вожделенный. В конце концов она сама организовала обмен через свои связи в горкоме партии.

Сегодня же мать пришла с работы раньше обычного и закурила прямо в гостиной. Услышав в коридоре Юру, она закричала, не дожидаясь, пока он зайдет в комнату.

– С отцом что-то происходит, черт знает что. Сначала я думала, у него любовница, но все гораздо серьезнее.

– Что такое?

Мать придавила окурок в блюдечко, взяла еще одну сигарету и протянула пачку сыну.

– Закури, если хочешь, не стесняйся, я же знаю…

– …что я курю, пью и сплю с девочками, – сказал Юра. – Нет, спасибо.

Усмехнувшись, мать затянулась, но он видел, что ей не до смеха.

– Он хочет погубить нас, вернее, себя, а значит, и нас. Вернее, нет, он хочет спасти свою душу, ни больше ни меньше. Твой отец вдруг печется о душе, ты представляешь? Хоть статью об этом пиши. А что? «Полковник советской милиции заботится о спасении своей души».

– Да что случилось-то?

– Ты помнишь Потапову, Юра?

Он кивнул.

– Так вот, это ее тогда нашли на острове, ровно на том же месте и ровно в тот же день ровно через тридцать лет после того, как оттуда на восток вывозили эстонцев. На трудовое воспитание. Случайность? Как профессиональный журналист скажу тебе – нет.

А как советский журналист скажу так: чистая случайность, уголовщина, мало ли на свете идиотов, и они должны быть наказаны по всей строгости закона. – Она помолчала и прибавила: – Спасибо хоть, ее труп не подкинули на трибуну на площади Победы, скажем, седьмого ноября. А почему бы и нет? Тогда ни у кого бы не возникло сомнений в истинных мотивах. Ну хорошо, они там все с ума посходили на национальной почве, но твой отец всегда был здравомыслящим человеком, конечно, не одобряющим систему, но чтобы так потерять контроль над собой…

Мать встала с дивана и прошла к бару.

– Нет, тут надо что-то покрепче.

За спиной его зазвенело, забулькало, и вот мать уже садилась обратно с хрустальным стаканом в руке.

– А какую он устроил сцену у Галкиных! Конечно, Митя Галкин мерзкий тип, но все же это давно знают. И потом, он же его начальник, черт возьми. Ну, в общем, тот выпил и завел свою любимую песню про малые и великие народы, что кое-кто должен быть кое-кому благодарен, а не качать права, и что, между прочим, наш великий Петр уже триста лет назад выиграл вас в карты у шведского короля, так что налицо историческая необходимость, и тут отец побледнел весь и вдруг говорит мне, громко так, на всю комнату: если историческая необходимость и дружба народов, зачем тогда надо было треть населения острова вывозить… я его таким никогда не видела. Галкин в шоке, только сидит глазами хлопает, но тут, слава богу, его жена, ты, может, помнишь ее, хохлушка, вся в золоте, домохозяйка и полная дурища, он ее откуда-то из Сум вывез супы себе варить, говорит: «Ну что ты, мол, Андрюша, – ей что Индрек, что Андрей, – не понимаешь, что ли, то ж были классовые враги, вот их на перевоспитание и отправили, а потом они все вернулись, а у тех, кто помоложе, там уже и детки успели народиться и стали жить себе потом дальше в дружбе народов, вон какие колхозы построили, гордость всей страны»… Все, конечно, в хохот от такой святой простоты, а я в очередной раз подумала, что Библия все-таки великая книга, блаженны нищие духом.

Мать курила, запивая дым коньяком, потом встала и, приоткрыв пошире форточку, опять прошла мимо бара, захватив бутылку.

– Он ездил на этот проклятый остров, Юра, и не один раз, и ничего мне об этом не сказал. Ни слова. Я это уже потом из него выудила, когда мы от Галкиных возвращались. Ну настоящий эстонец, всё в себе, как их валуны. И что ему там было надо?

– Их поймали, мам?

– А? – Мать очнулась от своих мыслей, посмотрела на него отрешенным взглядом и неопределенно покачала головой. – Так тогда надо весь остров сажать.

– Ты о чем?

– Да о том, что круговая порука, они там наверняка все в этом участвовали, ну, помнишь, как в «Восточном экспрессе» Агаты Кристи, где весь поезд мстит убийце, в общем все, буквально, в том числе и эти самые детки, которые, по словам Галкиной, где-то там народились на Востоке. Потаповой просто не повезло, что ее отец участвовал в операции по выселению. Вот тебе и дети за отцов не отвечают. Еще как отвечают, еще как… Впрочем, все это уже было. А ветеран МГБ Потапов, между прочим, жив… не завидую ему.

– А зачем отец туда все-таки поехал?

Но мать, не слушая его, дальше развивала свою мысль, изрядно помогая себе коньяком.

– Конечно, кого-то посадят, алкоголика какого-нибудь или местную шпану, у нас признания добиться – это в два счета, ну, чтобы народ успокоить, а может, просто замнут дело, уже заминают, кстати. А отец что-то узнал, но молчит; сказал только, что там в порту такое творилось, что и миллиона поклонов не хватит. Его уже предупредили, чтобы не лез дальше, это уже не его, а чекистов дело, а он все никак не успокоится, историческая правда ему понадобилась, душа его, видишь ли, замучила, национальные чувства покоя не дают. Как же это так, что он, чистокровный эстонец, и всю свою сознательную жизнь проработал в карательных органах, которые притесняют его же народ…

У матери уже слегка заплетался язык, и ему было странно и непривычно видеть ее такой – ослабевшей, нервной, плохо знающей, что делать. А еще было странно, что все ее знание жизни, опыт, оптимизм, энергия, честолюбие, ум и связи оказывались бессильными перед чем-то таким неопределенным и незримым, перед тем, что она с презрением, за которым проскальзывала растерянность, называла душой и что не давало покоя отцу, гнало его на этот проклятый остров, заставляя рисковать головой и карьерой.

– …Я для него вдруг чуть ли не враг номер один, ты представляешь? Я! Я, видишь ли, и понятия не имею, что они здесь все пережили, и поэтому не имею права влезать в их дела, а вот еще как имею, еще как, Юр, да ты меня слышишь?

Она поставила стакан на столик и теперь внимательным и совершенно трезвым взглядом смотрела на сына, выпрямившись в кресле.

– Ну, не слышишь и правильно делаешь. Мы с ним сами разберемся. Ты меня знаешь. А ты что, опять у бабушки сидел? Да? Нет, ты, конечно, молодец, что так о ней заботишься, но… как там, кстати, твоя Вера?

Юра повел плечами и поднялся.

– Ковалева. Да ничего вроде.

Мать опять взяла стакан и сказала ему в спину, что если надо, то пусть он приводит ее сюда, никаких проблем, а если очень надо, то они с отцом могут уйти на весь вечер, – но он уже закрывал за собой дверь.

Юра увидел Коломийцева на следующий день, за три дня до вечера. Тот стоял у школьного крыльца и преспокойно курил, как будто никакого Петрова и в помине не было. На нем была бежевая дубленка, шикарная и чуть поношенная, как на фарцовщиках, промышлявших у центральной гостиницы. Он был без шапки, и на его жесткие темные волосы хлопьями падал снег. Коломийцев потряхивал головой и время от времени смотрел наверх, в ослепшее снежное небо. Прежде чем подойти к нему, Юра еще немного помешкал за стеклом в холле. Хотя Леша стоял к нему боком, он был уверен, что тот давно заметил его и теперь терпеливо ждет, великодушно давая ему время собраться. Юра дождался, пока народ не вывалился из дверей и не рассыпался по снежным улицам за школьной оградой, и тогда вышел. Он молча встал рядом с Коломийцевым, и тот, еще не поворачивая головы к нему, сказал:

– Вот и зима.

Юра обвел взглядом школьный двор.

– Здесь будем говорить?

– Почему бы не здесь? Мне скрывать нечего, – ответил Леша, – но если я тебя компрометирую, то можно и в подвал пойти…

Он бросил окурок в снег и вопросительно посмотрел на Юру, который замотал головой.

– Ну как там дядя поживает?

– С дядей все в порядке, – ответил Леша, – ты меня вызывал, чтобы о дядином здоровье говорить?

– Сам знаешь, о чем.

– Ну, допустим, знаю, а ты все-таки напомни на всякий случай.

Юра видел, что Коломийцеву весело вот так стоять здесь, у крыльца школы, откуда его выперли за неуспеваемость и недостойное поведение, в вызывающе шикарной, хоть и поношенной дубленке с плеча заезжего финна, небрежно

помахивая незажженной сигаретой, с поблескивающими от снега волосами. Не дожидаясь ответа, Леша кивнул в сторону холла.

– Ну а как там моя бывшая английская школа поживает? Как наше новое поколение строителей коммунизма, гордость и светлое будущее нашего прекрасного города?

– С английской школой и новым поколением тоже все в порядке.

– А как наш Чижик себя чувствует? Не простудила горлышко?

Леша говорил совершенно серьезно, и на его лице даже появилось озабоченное выражение. Он опять закурил и, стряхивая пепел в снег, то и дело исподлобья поглядывал на Юру шальными глазами.

– Нет, говоришь? Ну слава богу, а то не дай бог заболеет к вечеру, что мы тогда будем делать? Так что ты смотри, береги ее. Если заболит горлышко, давай ей теплое молоко с медом.

Юра огляделся – никого, только какая-то мелюзга около ботанического сада с визгом играла в снежки. Он заметил, что сжимает в кулаке шапку, только когда на его разгоряченный лоб стали падать снежинки. Глядя в лицо Коломийцеву, он мучительно пытался вспомнить что-то, кажется, он даже закрыл глаза, чтобы лучше сконцентрироваться, потому что на один миг и Леша, и школьное крыльцо за его спиной, и холл за стеклом, в котором он сам только что стоял, выжидая удобного момента – все это враз исчезло, а потом он, так ничего и не вспомнив, вдруг услышал свой голос:

– Почему Чижик, Леша?

Леша укоризненно покачал головой. На лице его с той же легкостью, как только что озабоченность о горлышке Чижика, и так же донельзя натуралистично, вмиг нарисовалось недоумение.

– Почему Чижик? Нет, ну ты даешь, мужик… Ты что, правда не сечешь?

Он даже вздохнул и тоже огляделся по сторонам, как бы не в силах переварить такую неимоверную тупость и поэтому ища себе в подмогу свидетелей.

– А еще золотой мальчик, гордость школы, и чему вас там учат нахер, да все уже давно всё поняли, и Сенька, и Митя Пронин, даже Янес и то допер своими телячьими мозгами, все, короче, а он – почему да почему. Я даже уже начинаю жалеть, что ввязался в дело с таким сосунком. Ну как нам тебя после этого уважать, сам подумай, а?

– Вам что, своих телок не хватает?

– Телки телками, а Чижик – это совсем другое дело. Нет, брат, ты нам подлянку не устраивай, раз обещал, надо выполнять, ты же у нас комсомольский вожак и знаешь, что коллектив

подводить – это последнее дело, усек?

– Леш, она…

Но тот не дал ему договорить.

– Погоди-погоди, я, кажется, начинаю просекать. Ты за свою шкуру дрожишь, вот оно что. Как это я сразу не понял, когда ты юлить начал? Ясное дело, с такими блестящими перспективами в штаны сделать ништяк. Ну, значится, так, слушай и запоминай. Ты нам там не нужен нафиг, ты свое дело сделаешь, а потом мы и без тебя справимся. Это одно. А потом, Юрик, что ты так волнуешься? Ничего с твоим Чижиком не будет, подумаешь, от нее не убудет, а ты у нас скоро вообще станешь большим человеком, это я тебе как пролетарий говорю, а у пролетария глаз-алмаз и классовое чутье к тому же. Ты, главное, не забудь, никто ничего не докажет, даже если очень захочет, ведь она сама хотела… Ну все, бывай, я пошел, скоро свидимся.

Коломийцев спрыгнул с крыльца и заскользил по свежему снегу, рассекая его, как полозьями. У ворот он обернулся и, приложив ко рту ладони рупором, прокричал:

– Так что смотри, не подведи коллектив, товарищ Симм!

Юра все стоял на школьном крыльце, сминая шапку в руке. Он знал, что подвал уже давно решил судьбу Веры, с его ведома, а совсем скоро и с его участия. Ведь она сама хотела… Эти четыре простых слова, брошенных ему Коломийцевым в самом конце разговора, слились по велению глагола прошедшего времени в предельно простую формулу, неумолимую, как приговор, в один миг расправившись с той последней крупинкой надежды, которой он еще тешил себя.

С утра повалил мокрый снег, облепляя верхнюю одежду и образуя под ногами серую кашу, но к вечеру обещали похолодание и гололед. Отец уже два дня пропадал у своей знакомой, но днем зашел домой, слегка подвыпивший и с польской бройлерной курицей под мышкой. Он уже в коридоре стиснул дочь в объятиях, шлепнув пару раз по попе, после чего всучил ей авоську с курицей и сказал, чтобы она блюла себя. В носках прошел на кухню – его домашние тапочки уже давно переехали на квартиру к новой сожительнице – и, глядя, как Вера заваривает чай, вдруг прослезился и, перекрестившись, торжественно объявил, что ее мать была хорошей женщиной, царствие ей небесное, имела трудолюбие и настоящую женскую гордость, за что ее и уважал весь рабочий коллектив. Прихлебывая чай, он начал расспрашивать про ее школьные успехи, и как идет английский, догнала ли она свой класс, и Вера что-то отвечала ему, глядя в окно, чтобы не встречаться с ним

взглядом, и думая, когда же наконец прекратится снег, а отец свалит к своей бабе.

Вера покрепче запахнула на себе халат и, не спросив, хочет ли он еще чаю, собрала чашки и стала их мыть. Она повернулась от раковины, только когда услышала, как отец встает из-за стола. Он как-то покорно, как собачка, пошел в коридор и, кряхтя, стал надевать ботинки, а на прощание сказал, что, наверное, надо было бы им познакомиться, а то как-то нехорошо получается. Вера рассеянно кивнула и сказала, что позвонит.

Наконец он ушел, и она сразу побежала в спальню мерить платье, которое ей на сегодняшний новогодний вечер одолжила подруга из ее старой школы. Та уже год гуляла с морячком из торгового флота, который привозил ей разные шмотки. Что-то она перепродавала и покупала у фарцовщиков новые, а что-то носила сама. Вере она по старой дружбе дала на вечер платье, с условием, что с ним ничего не случится, потому что оно было обещано одной девушке из техникума, где они теперь вместе учились.

Вера смотрела на себя в большое мамино зеркало. Казалось, что длинное, до колен, с воланами на груди платье было сшито не из ткани, а из водородных молекул. Серебристо-лиловый материал тек по легкому телу Веры, нежно омывая его, ни одна складка не повторяла другую, и все вместе они, как волны, струились вокруг ее рук, плеч, груди, живота, бедер, ног, сливаясь в одно переливчатое целое. Вера подняла вверх руки, и расширенные книзу, воздушные рукава скатились до плеч, обнажив тонкие бледные руки. Двумя пальцами она приподняла юбку и стала кружиться по спальне, пока, обессилев, не упала на кровать. Ей казалось, что она так тяжело дышит от неимоверного счастья, которое просто не умещалось в ее теле. Оно яростно стучало в ее груди, оповещая о себе всему миру, и так сильно кружило ей голову, что она не могла подняться с кровати. Все еще тяжело дыша, Вера закрыла глаза и увидела Юрино лицо, который сегодня опять подошел к ней в школе и на глазах у Чернышевой со всей ее компанией сказал, что будет ждать ее вечером.

Когда Умник вошел в актовый зал, новогодний вечер уже был в полном разгаре. Он бросил пальто на стул около дверей, чтобы не спускаться в раздевалку, если вдруг придется срочно бежать на улицу. Он уже и так потратил кучу времени, и все напрасно. Прежде чем прибежать сюда, Умник побывал у Вериного дома и долго звонил в ее дверь, а потом, не дожидаясь, пока придет трамвай, сломя голову побежал в подвал, полный самых

страшных предчувствий, несколько раз упав по пути из-за гололеда. Но там было тихо и темно, и только еще больше воняло кошками, чем обычно. Он подергал запертую дверь и, чуть не плача, стал стучать в нее кулаками, но оттуда не раздавалось ни звука, а то, что он принял за дыхание подвала, исходило из его собственной груди.

Немного успокоившись, он побежал в школу и теперь стоял здесь у входа в зал, озираясь и привыкая к светомузыке, резкими лучами разрезающей темноту. Как и в прошлый раз, когда он искал Веру, Умник стал обходить зал по периметру, не сводя глаз с танцующих. Среди них ее не было, и тогда он пошел по новому кругу, но уже вдоль стен, где в два ряда стояли стулья, надеясь найти ее где-нибудь в темном углу в Юриных объятиях. Натыкаясь на тела, он чертыхался и шел дальше, а когда кто-то узнал его и спросил, что он здесь потерял, то Умник с отчаянием ответил, что он потерял Веру Ковалеву.

Он обязательно должен был найти ее – ведь пока она была здесь, рядом с ним, с ней ничего не могло случиться. Но ее нигде не было, а после того как он, бесцельно побродив взад-вперед вдоль сцены, где стояла аппаратура, опять очутился у входа, в зал вошла Маня Рахимова, в мужской фиолетовой рубашке навыпуск и в черных брюках, непохожая на других девочек, и, увидев его, остановилась. Посмотрев на него, она ничего не спросила, а сразу сказала, что Вера полчаса назад ушла с Юрой Симмом.

Сначала они целовались в коридоре нового здания, прямо у кабинета Петрова, и Вера вздрагивала от каждого звука, пока Юра не подергал ручку, убедив ее, что Петрова здесь нет и быть не может. Он пошутил, что, даже если бы Петров и застукал их, он бы только похвалил ее. Ведь сегодня на ней было платье до колен, как и полагается советской девушке, а он, Юра, был председателем комитета комсомола и гордостью английской школы, так что за их моральный облик можно было не беспокоиться.

Потом Юра потащил ее в раздевалку. Там им точно никто не помешает. По дороге они пару раз быстро прижимались к стене, заслышав голоса, а когда Вера уже бежала за Юрой по лестнице, ведущей вниз, она обернулась на громкие шаги, почти топот, и вздрогнула, увидев мчавшегося по коридору Умника. Не заметив ее, он исчез за углом.

В раздевалке было душно, сумрачно и пахло мокрыми шубами. Юра затащил ее в угол и стал больно целовать в губы и шею. От него шел запах алкоголя, как от отца, но сейчас она подумала, что именно так должны пахнуть настоящие мужчины.

Когда он засунул ей руку под платье и потом сразу в нее, она только слегка пискнула, а он оторвался от ее лица и, посмотрев на нее, спросил, хотела ли она тогда. Не понимая, почему он спрашивает это, она закивала головой. А сейчас? Вера опять закивала и сама снова прижалась к его рту, чтобы не видеть его глаз, а он быстро задвигал пальцем туда-сюда. Он часто задышал, как тогда на диване, и она, задрожав, стала ждать, когда же он повалит ее на пол и это наконец случится.

Но вдруг он вынул палец и сказал, что надо искать другое место, что сюда сейчас набежит народ, чтобы выпить и потискаться. Она стала оправлять платье, боясь встретиться с ним взглядом, ей почему-то стало стыдно своего желания.

– Ко мне сегодня нельзя, – сказал Юра, – у нас гости.

Все еще возясь с платьем и не глядя на него, Вера сказала, что они могут пойти к ней. Но он перебил ее.

– Я знаю одно место. Две минуты. Там полная свобода. Давай, бери свое пальто и поехали.

На улице он обнял ее и молча повел в сторону магазина. Увидев кирпичный дом с вывеской «Продукты», Вера прыснула:

– Ну ты придумал, в магазине, что ли, так его сначала взломать надо.

– Да нет, все гораздо проще, Чижик, – засмеялся Юра, но в его голосе теперь звучало напряжение.

Он уже заводил ее в подъезд со слепой лампочкой, потом аккуратно прикрыл за собой дверь и, взяв Веру за руку, потянул вниз. Она чуть замешкалась, вопросительно глядя на него, а он, опять засмеявшись, пожал плечами.

– Почему бы и не здесь? В подвале нам никто не помешает. Не бойся. Чижик, давай, вот сюда, осторожно, не споткнись, тут ступенька отбита, держись рукой за перила, еще чуть-чуть, мы уже почти пришли, сейчас будет свет, вот увидишь.

Когда они наконец спустились в подвальный коридор, что-то быстрым ветерком проскользнуло у их ног. Вера вскрикнула и крепче схватила Юру за руку.

– Кошки, – сказал он, таща ее за собой.

Впереди заскрипела дверь, Вера остановилась и вдруг почувствовала, что Юра отстал от нее и теперь стоит за ее спиной, подталкивая ее вперед. Дверь открылась, и в тускло-желтом мерцании подвала одна за другой появились тени, которые стали обступать ее со всех сторон.

– Я ж говорил, он свой мужик, – услышала она тягучий голос. – С тебя бутылка, Мишок.

На какое-то мгновение Умнику показалось, что это была

спина Юры, но, когда парочка в дальнем углу раздевалки отпрянула друг от друга, услышав его шаги, Умник увидел, что ошибся.

– А ну иди отсюда, – прорычал парень и, отвернувшись, опять взялся за свою девицу.

Но Умник, потея в своем толстом пальто, уже мчался наверх по лестнице. Он успел обежать всю школу, и раздевалка была его последней надеждой, которая только что так же бесславно рухнула, как обваливается побуревший, обсиканный собаками сугроб в последние часы зимы.

Теперь вместо надежды в его груди бушевал ужас, испытанный им в подвале, когда он услышал слово «чижик» и сразу подавился дымом, чтобы скрыть его. Кто-то окликнул его в холле, но он даже не оглянулся, чтобы не терять времени. Пустая улица обдала его колючим холодным воздухом и ослепила темнотой. Когда Умник, перебежав на другую сторону, услышал за спиной шаги, он вдруг обрадовался, как будто бы только что доказал неизвестную теорему, бесспорным доказательством которой был он сам, Умник, сломя голову бегущий по черной улице с безлицым мужиком за спиной, который уже наяву гнал его все дальше и дальше. Если бы Умник не боялся потерять время, то он бы обернулся и помахал мужику рукой, как старому знакомцу, благодарный ему за то, что тот покинул его сны и, обернувшись аксиомой, помог доказать неизбежность происходящего. Но эта мгновенная радость так же внезапно исчезла, испарившись под жаркой ватной подкладкой его пальто. Задыхаясь, Умник подбежал к подъезду кирпичного дома и во второй раз за сегодняшний вечер нырнул в него. Как и в том сне, ноги его сразу же ослабли, шагнув на первую ступеньку, и Умник схватился за перила, чтобы продолжить свой путь. Под лестницей, куда не доходил свет тусклой лампочки, была кромешная тьма. Где-то совсем рядом мяукнула кошка. Но из-за двери подвала в самом конце коридора просачивался свет, оттуда же доносилась музыка из магнитофона, который сюда обычно приносил Дима Пронин. Вдруг Умнику показалось, что он здесь не один, что кроме кошки и крыс в этом темном предбаннике находится еще одно живое существо. Он оглянулся, но, ничего не увидев, пошел дальше к двери. Забарабанив в нее кулаком, он стал дергать за ручку, и она сразу открылась, как будто кто-то стоял за ней. В щель высунулось потное лицо Янеса, который с изумлением воззрился на него.

– Тебе чего?

Ничего не сказав, Умник бросился на него, пытаясь проскочить вовнутрь, но Янес одним движением отбросил его

назад и вышел в коридор, притворив за собой дверь.

– Где Вера?

Петя Янес по-прежнему смотрел на него с изумлением.

– А тебе-то что? Распух, что ли? Ты, может, тоже хочешь?

За дверью что-то прокричали.

– Да это Умник прискакал, говорит, по Чижику соскучился, – ответил Петя, повернув голову к двери.

– Гони его в три шеи, – раздалось из-за двери, и музыка зазвучала еще громче.

– Слышь, че говорят?

Умник опять бросился на Янеса, но тот, теперь уже прицельно, так двинул его в челюсть, что Умник зашатался и хлопнулся затылком об пол…

* * *

Маня Рахимова долго плутала по южному микрорайону. Она уже побывала в центральной больнице, но ей сказали, что Вера Ковалева здесь в списках не значится, и посоветовали съездить в новую больницу.

Оказалось, что она вышла из троллейбуса на две остановки позже, и теперь ей пришлось идти назад через хмурые, скользкие дворы. Один раз ее направили в другую сторону, и большое серое здание, маячившее за жилыми домами, к которому она бесконечно шла по обледенелым дорожкам, оказалось не больницей, а политехническим институтом. Выбравшись к большой дороге, она решила двигаться по маршруту троллейбуса, чтобы не заблудиться. Наконец кто-то показал ей на лесок в глубине сквера, и она опять свернула с большой дороги, на этот раз с успехом.

Большие белые корпуса новой больницы были окружены сиротливыми зимними деревьями. В первом корпусе ей сказали, что информацию о больных дают в корпусе номер три. В третьем корпусе, на краю больничной территории регистраторша, недовольно поглядывая на Маню, долго листала толстый журнал, несколько раз переспрашивая Верину фамилию. Оторвавшись от него, она спросила, кем пациентка приходится Мане, и добавила, что ее уже вряд ли пустят к ней, так как сегодня предпраздничный день с ограниченными часами посещений. Потом она махнула рукой в окно и сказала, что больная Ковалева находится в пятом корпусе, в отделении номер семь гинекологии. При этом она поджимала губы и качала головой.

Только сейчас, когда она убедилась, что Вера жива, Мане

стало страшно. Она не представляла себе, какой будет Вера и что она, Маня, скажет ей после того, что случилось в подвале. Ее бросило в жар после всей этой беготни, и она стянула с себя шапку, еще не дойдя до стеклянной двери пятого корпуса. Чтобы успокоиться, Маня остановилась и подставила разгоряченное лицо морозному ветру, а потом, уже не раздумывая, быстро зашагала к крыльцу.

В холле было пусто и пахло щами и болезнью. К Мане уже спешила медсестра и, выслушав ее, послала на третий этаж, предупредив, что сегодня предпраздничный день и часы посещений ограничены. То же самое ей сказала медсестра на третьем этаже, а потом, повздыхав, все-таки разрешила Мане зайти в палату. Маня засунула ноги в большие больничные тапочки и зашаркала по коридору. Дверь одиннадцатой палаты была приоткрыта, и Маня осторожно заглянула вовнутрь. Она сразу увидела Веру, которая полулежала на кровати у окна, привалившись к подушке. Ее рыжеватые волосы были зачесаны назад, а открытое лицо было такое бледное, будто вся ее кровь прихлынула к сердцу, которому она сейчас, видимо, была нужна больше всего. Маня стала лихорадочно соображать, что сказать Вере, но в голову ей лезла только какая-то ерунда вроде поздравления с Новым годом и новым счастьем. Она бы, наверное, так и простояла за дверью, если бы ее не заметила соседка Веры, русская баба с полным макияжем на лице, которая, приподнявшись на локте, закричала:

– Ты чего там стоишь, как сиротка? Проходи давай, мы гостям рады. Ты к Верке? Вер, к тебе тут подружка пришла…

Вера повернула голову, и тут Маня поняла, что больше всего поразило ее в Вере и отчего она не могла придумать ни одного слова, застыв соляным столбом у дверного косяка. Бледное лицо с заостренными чертами и искусанными, в трещинах, губами больше не принадлежало Вере – теперь за ним пряталась чужая старуха, прожившая длинную и страшную жизнь и с высоты этих лет смотревшая на вошедшую в палату молодую девушку враждебно-пустым взглядом. В эту самую черную брешь, пробитую между ними страшными годами, прожитыми Верой за одну ночь, и сгинули все слова, которые она хотела сказать ей.

– Привет, – сказала Маня.

Вера кивнула и сразу отвернулась к окну, теребя между пальцами завязанную на шее бантиком белую тесемку казенной ночной рубашки.

– А к ей сегодня уже батя приходил, – сообщила словоохотливая соседка. – И еще один мужчина, представительный такой, в солидном костюме.

Маня подошла поближе и села на краешек кровати, изо всех сил пытаясь разглядеть в этом странном, юном старухином лице прежнюю нежную и легкомысленную Веру. Ей казалось, что если у нее это получится, то пропасть между ними исчезнет и сразу вернутся все те дурацкие и смешные слова и привычные нелепые глупости, которые они, давясь от смеха, рассказывали друг другу.

– К тебе папа приходил, да?

Больше ей ничего не могло прийти в голову.

– Ага, – неожиданно охотно откликнулась Вера. – Приходил, вон, мандарины принес. Очень расстраивался, что я себя не соблюла, он же меня предупреждал все время. – Вера усмехнулась и опять отвернулась в окно. – А еще Петров наведывался. Долго здесь сидел, я чуть не заснула. А он все сидел и рассказывал, какая у нас замечательная школа, самая лучшая школа в городе с английским уклоном, и какие там учатся замечательные ребята с блестящими перспективами, в общем, новая смена, которой будет гордиться вся страна, и чтобы я не забывала об этом, и что он прожил длинную жизнь и работал в самых разных коллективах, и чего только не повидал на своем веку хорошего и плохого, но больше хорошего, и что я должна понимать, что скоро выпускные экзамены, самый ответственный момент в жизни школы – ведь после них начинается настоящая трудовая жизнь, а некоторые, самые активные и талантливые ученики, пойдут учиться в лучшие вузы страны, и для этого им нужна хорошая характеристика, ну, я ему сказала, что все понимаю, и он наконец отчалил.

– Вера…

– Я выживу, Маня.

Вера замолчала. Лицо у нее посерело от усталости и еще от того, что было скрыто под байковым одеялом и о чем Маня старалась не думать, глядя ей в лицо.

– Вера, – сказала она еще раз и тоже замолчала, беспомощно посмотрев на соседку, которая, повернувшись к ним спиной, что-то двигала на своей тумбочке.

Маня мучительно перебирала в памяти правильные, глубокомысленные и важные слова, которые она вычитывала в книжках, но никак не могла найти хотя бы одного подходящего, чтобы согнать с Вериного лица это равнодушное и чужое выражение, пока Вера, прочитав ее мысли, вдруг сама не сказала: «А пошла ты со своей жалостью…» – и, прикрыв глаза, откинула голову на подушку.

Маня заплакала, уже переодевая обувь. Она долго возилась с молнией на сапогах, как можно ниже опустив голову, чтобы дежурная медсестра ничего не заметила. Но та все-таки что-то учуяла.

– И чего ты хнычешь? Радоваться надо, что все так хорошо кончилось. Оклемается твоя подруга, куда денется, да еще, может, и замуж кто возьмет, вот только рожать, наверное, уже не сможет.

Успокоив Маню, медсестра с чувством выполненного долга опять уткнулась в журнал, а по Маниным щекам все катились слезы, которые она, всхлипывая, утирала рукавом свитера.

Примостившись на заднем сиденье троллейбуса и не глядя на пассажиров, Маня доехала до одной из центральных площадей города. Она перешла на другую сторону и уже стояла на трамвайной остановке, чтобы ехать домой, как вдруг вспомнила об Умнике и сильно заволновалась. Как же она сразу не подумала о нем? Ведь он ничего не знал о Вере, так же как и она сама еще несколько часов назад, когда, бегая по южному микрорайону в поисках больницы, так боялась, что больше никогда не увидит ее. Она обязательно и как можно скорее должна была сообщить ему, что Вера жива и будет жить дальше, несмотря ни на что. Когда-то, в пятом классе, они ходили к нему делать стенгазету, поэтому она знала, что Умник живет за бульваром Ленина, совсем недалеко отсюда.

Маня опять пересекла площадь и побежала, все быстрее, как будто боялась не успеть. Она вспомнила, как он, зажав под мышкой портфель, выходил из класса, положив на стол Рудневой чистый лист бумаги. На следующий день Маня хотела спросить у него, зачем он сделал это, но забыла. А теперь, обгоняя прохожих и скользя по замерзшим лужам, она поняла, что этот белый лист бумаги, который их математический гений сдал вместо контрольной, означал что-то очень важное. Что-то, что жило в Игоре Гладкове и мучило его вместе с его любовью к Вере, и вместе с его любовью к Вере не умещалось в нем и требовало выхода. Что-то, о чем никто не догадывался, не только потому, что всем было наплевать на Умника до и после контрольных по математике, но и потому, что этому не было ни названия, ни места в жизни английской школы.

И именно поэтому Мане надо было спешить, так же, как и тогда, тем жарким днем в последнее лето прекрасной эпохи, когда она бежала, не разбирая дороги, спасаясь от черных теней вековых елей, под которые никогда не проникало солнце, от жалобного скрипа высоких сосен в синем морском воздухе, от колючего дикого малинника, который в кровь раздирал ее голые ноги и руки, и от большого дома с пустыми окнами, безмолвного, как разбросанные по зеленым садам поселка валуны из ледникового периода, но откуда иногда доносились странные шорохи и где в заброшенном дворе с заросшими грядками

мелькал тонкий, как арабский нож, силуэт.

Правда, под ногами у нее теперь вместо земли, травы и камней стелилась замерзшая ледяная корка, испещренная желтыми крапинками песка, но сердце так же неистово билось, как и тем странным летом, которое навсегда поселилось в ней, тайным, пятым временем года.

Маня уже пробежала памятник Ленину и свернула на широкую улицу, в последний момент вспомнив, что вход в дом Игоря Гладкова был со двора. Она нырнула в темную арку и понеслась вверх по лестнице мимо дверей, обитых черным дерматином. Добежав до третьего этажа и не переводя дыхания, Маня нажала на звонок. Потом еще раз, посильнее и долго держа палец на звонке, пока не поняла, что никто ей не откроет.

Услышав звонок, Умник растерялся. Почему-то ему и в голову не приходило, что кто-то может так просто нарушить его планы. А когда стали звонить еще и еще, он испугался, что вот сейчас жизнь за пределами его тела и разума грубой силой ворвется сюда и не даст ему осуществить задуманное. Надо было торопиться, родители ушли к знакомым, как они сказали, на часок и могли уже скоро вернуться. Он точно знал, что не смог бы ничего сделать, если бы мать ходила по квартире и он бы слышал ее ворчание, что вот, их гениальный сын опять заперся в ванной и что-то происходит с ним в последнее время, но что она может поделать, если он почти перестал разговаривать с ней, только «да» и «нет».

Конечно, еще оставалась ночь, но ему очень не хотелось, чтобы она или отец утром нашли его в ванной. Почему-то ему казалось, что он предаст их так еще сильнее, воспользовавшись их беспомощностью, и что они потом до самой смерти будут казнить себя и друг друга, что не проснулись, оба или поодиночке, в тот момент, когда их единственному сыну было так плохо, или совершенно случайно, от ночного кошмара, жажды или просто от того, что захотели в туалет. Вдруг Умник подумал, что люди не только делают, но и все понимают неправильно. Подумав об этом, он посмотрел на себя в зеркало и увидел, что улыбается. Разве тот, кому так плохо, может улыбаться?

Нет, Умнику не было плохо, просто он больше не хотел быть, не имел права. Поэтому он так и торопился. Конечно, если бы он еще подождал, то сначала наступил бы Новый год, а потом каникулы, а после них ему было бы проще все сделать. У матери бы опять начались занятия в школе языков, а отец и так каждый день ходил на службу.

Но Умник больше не имел права быть, ни одного часа, ни

даже одной минуты. Не имел права, потому что не смог спасти Веру и теперь должен был искупить свою вину.

Заломило затылок, Умник поморщился и легонько погладил его, а потом опять улыбнулся, подумав о полной бессмысленности этого жеста, и тут опять увидел свое отражение в зеркале. От этой улыбки на гадком лице его замутило, а щеки залила розовым волна стыда. Веры больше не было, а он стоял и лыбился, как последний идиот, урод несчастный.

Вера… Умник очнулся в подвале от того, что кто-то ползал по нему. Он в ужасе вскочил на ноги и бросился к двери. Но она была закрыта, и за ней стояла полная тишина, как в могиле, подумал он. На улице он хлебнул морозного воздуха, и его опять зашатало. Он прислонился к стене, прикрыл глаза и услышал вой сирены, сначала вдалеке, а потом все ближе, вой разрастался концентрическими волнами, вбирая в себя весь ночной город и вздымаясь до набухшего снегом мутного неба. Потом, опустившись на землю, сирена стала слабеть и удаляться, растворяясь в черном воздухе и навсегда увозя с собой Веру за город, а потом все дальше и дальше, в неведомое, бесформульное пространство, откуда, как из подвала в его сне, не было выхода.

Умник занервничал и сказал себе, что надо спешить. А то сейчас заявятся родители, и ему опять надо будет жить, двигаться, дышать, ходить по квартире, что-то говорить и, может быть, даже, удлиняя в себе жизнь, есть котлеты, которые сегодня собиралась жарить мать. Не поворачиваясь, Умник стянул с веревки полотенце и быстро повесил его обратно. Только не мамино, она тут ни при чем. Он секунду подержал в руках свое полотенце, тоже китайское, как и у родителей, но с голубой райской птицей и красными иероглифами. Потом залез на табуретку и почему-то потрогал отопительную трубу, перед тем как перекинуть через нее полотенце. Отключив сознание, Умник обмотал полотенце вокруг шеи, завязал узел покрепче и оттолкнул ногами табуретку.

Родители пришли из школы поздно. Отец молчал, а у матери от возбуждения горели глаза и щеки. Зайдя в комнату, она сразу подошла к Юре и обняла его, чего не делала уже много лет, а может, вообще никогда. Во всяком случае, он не помнил, когда она в последний раз так прижимала его к себе. Теперь же мать гладила его по голове, приговаривая слезливым, бабьим голосом, который она так презирала в других женщинах.

– Мой мальчик, будь осторожен, пожалуйста, я тебя очень прошу, ведь ты у меня один.

Он высвободился из ее объятий и сел на диван. Отец стал

молча разливать по стаканам коньяк. Мать тоже села, все продолжая говорить.

– Они ничего не нашли – ни записки, ни письма, ничего… Повесился на трубе в собственной ванной. Несчастная мать. Он у них тоже один, как и ты у нас, Юра. Этот Игорь Гладков, гордость школы, математический гений, я просто не понимаю таких… Говорят, из-за этой девочки, Веры Ковалевой, там была какая-то безобразная история в подвале с местной шпаной, она теперь лежит в больнице, а виновных нет, она, оказывается, сама туда пошла. Так вот, то ли она ему голову крутила, то ли что-то обещала, никто толком ничего не знает, он был очень скрытный, и друзей у него не было. Но чтобы из-за какой-то вертихвостки такую трагедию устроить… Кстати, ваш Петров подошел ко мне и спросил, знаю ли я что-нибудь об этой Вере, может, я ее видела в последнее время, подумать только, какая наглость, я ему так и сказала, что мы к себе в дом не пускаем кого попало…

– Ладно-ладно, хватит, – встрял отец и сунул в руку жене стакан. – У парня, наверное, давно что-то было на душе, а никто не заметил, ни школа, ни родители. И про Веру эту мы тоже ничего не знаем.

Мать посмотрела на Юру, но тот только пожал плечами.

– Я ее с вечера больше не видел. А Умника там, по-моему, вообще не было. Он редко на вечера ходил.

– Да выживет эта Вера. У нас девочки живучие. А Петров только пусть попробует еще на что-нибудь намекнуть, – все возмущалась мать, – я им такую статью накатаю о воспитательной работе и формировании нового человека в лучшей русскоязычной школе в городе, и рука не дрогнет.

– Успокойся, Елка, – голос отца звучал примирительно, – как будто Петрову это нужно больше всех. Ему сейчас школу надо спасать, а не истиной заниматься.

– Все-таки ты иногда говоришь вполне разумные вещи, хоть и эстонец, – сказала мать.

– По-моему, это больше относится к вашему великому народу, Мариванна, – ответил отец, который всегда называл так мать, когда хотел подразнить ее. Если они начинали подкалывать друг друга по национальному признаку, значит, все было в порядке и в доме опять наступала гармония, основанная на единстве и борьбе противоположностей.

– А про самоубийство на самом высшем уровне ты слышал? Кстати, в один день с Игорем Гладковым?

– Это замминистра-то, который скоропостижно скончался?

– Он самый, товарищ Папутин.

– Это как-то связано с Афганистаном?

– А ты как думал? Сейчас все с ним связано.

– Тогда слушайте и внимайте.

Отец встал по стойке смирно и, устремив взгляд на голубые горизонты, стал декламировать:

– Правительство ДРА, принимая во внимание продолжающееся и расширяющееся вмешательство и провокации внешних врагов Афганистана и с целью защиты завоеваний апрельской революции, территориальной целостности и так далее, обратилось к СССР с настоятельной просьбой об оказании срочной политической, моральной, экономической помощи…

– …включая военную помощь, о которой правительство Афганистана ранее неоднократно обращалось к правительству СССР… – подхватила мать таким же газетным тоном и, подняв в воздух стакан, закончила: – И Правительство СССР удовлетворило просьбу афганской стороны. Мы тоже, между прочим, газеты читаем.

– И пишем, Мариванна.

– И пишем тоже.

– Он что, совсем из ума выжил? Ты представляешь, что это значит?

Они уже забыли об Умнике и, усевшись на диване с бутылкой армянского коньяка под рукой, оживленно обсуждали международную обстановку.

– Лёлик? Да он уже давно ничего не решает, Индрек. Он уже еле языком ворочает, а о мозгах и говорить нечего. Да он со своей дачи не вылезает. Там всем тройка управляет. Прям из орехового кабинета.

– Та самая, что присвоила тайную доктрину марксизма?

– Вот-вот, совсем как в Великом инквизиторе. А что все это значит? Почему же, я представляю. Еще одну армию голодранцев будем кормить, мало им Кубы и черномазых.

– Нет, Елка, все серьезнее. Это война.

Мать молча пригубила коньяк.

– Люблю армян, Индрек, хороший у них коньяк. Люблю их почти так же, как эстонцев. А что война, так это точно.

Она посмотрела на Юру, который за все это время не проронил ни слова.

– Ну что, сын, поедешь защищать достижения апрельской революции?

– Если Родина прикажет…

Мать усмехнулась:

– Молодец, правильно мы тебя воспитали. – И, опять посмотрев на отца, добавила: – Там уже резня идет в библейских масштабах. Про Амина читал в «Пульсе планеты»? Кабульское

радио отметило, что революционный суд за преступления против благородного народа Афганистана, в результате которых были уничтожены многие соотечественники, в том числе гражданские и военные члены партии и так далее, приговорил Хафизуллу Амина к смертной казни. Приговор приведен в исполнение. Цитирую слово в слово. Вот что значит железная память советского журналиста-профессионала.

Тут мать опять подняла стакан:

– Итак, да здравствует новый генеральный секретарь ЦК НДПА, председатель ревсовета и премьер-министра ДРА товарищ Бабрак Кармаль! Да, кстати, говорят, этого Амина пять раз пытались прикончить. А он, шайтан его побери, ни в огне не горит, ни в воде не тонет, прямо как Распутин. Но теперь, кажется, всё. Так, Юр, в одно ухо вошло, из другого вылетело, понял, что я имею в виду? Короче, голову этого дикого вождя ассирийского презентовали в Кремле как вещественное доказательство. Везли в специальном пакете.

– А потом голову Амина преподнесли ореховой тройке на блюде, как голову Иоанна Крестителя? – спросил отец.

– А ты думаешь, наши чекисты пляшут хуже Саломеи? Я чувствую, Индрек, в тебе разыгралась солидарность одного малого народа к другому малому народу. Понимаю, но ты уж, пожалуйста, этого язычника ассирийского не жалей, подумаешь, христианин нашелся. Он, между прочим, скольких уже погубил. А еще, по большому секрету: Папутин-то, говорят, застрелился из пистолета, который ему подарил Амин. Они были большими друзьями. Юр, ты куда?

– Я к бабушке, может, ей чего нужно…

– Ну к бабушке, так к бабушке, молодец. Она у нас в последнее время совсем сдала. Врач сказал, у нее вроде опять был микроинсульт… А я знаешь, что подумала, Индрек, вот этот несчастный мальчик Игорь Гладков, ну, умненький такой, весь в математике, один у своей матери и наверняка совсем невинный, не то что мы все, сколько яблок уже скушали… А может, он, ну как тебе сказать, принес себя в жертву что ли, за всех нас, может, на него жребий для отпущения грехов вышел, а он его почувствовал и… – мать черкнула рукой вдоль шеи, – так что его смерть, возможно, совсем не такая бессмысленная, как кажется…

– Нет, ну такое может прийти в голову только пьяной Мариванне, – перебил ее отец. – Вот уже и Христа из него сделала.

– А что? По-моему, очень красивая мысль, и, между прочим, она должна была бы тебе первому прийти в голову, ты же у нас активно душу спасаешь…

– Свою душу – да, и каждому могу это посоветовать, тебе в первую очередь, а этот несчастный мальчик сам не знал, что делал. Может, нервы не выдержали, может, еще что. Сломался, в общем. Ну это же надо… вот она, ваша типично русская черта: из всего разведут философию, и чем извращеннее, тем лучше, интереснее. Жертву им подавай для смысла жизни, а заодно чтобы и от грехов очиститься. По-твоему получается, что и та девочка двухлетняя, которую в ноябре садист убил, нам всем была послана для спасения? Она ведь, между прочим, еще невиннее была, чем этот Игорь. Идеальная мученица, а что убийцу так и не нашли, это уже так, ерунда, мелкие детали, не имеющие отношения к нашей высокой философии. Просто так, видите ли, скучно жить на этом свете, господа… Да ты о родителях его подумала? А?

– Ну ладно-ладно, не заводись, ты мне лучше еще коньячку подлей, уж больно хорош. Давай-ка за дружбу народов, теперь наша коллекция пополнится и дикими ассирийцами со всякими там Навуходоносорами и прочими Олофернами…

Бабушкина дверь осталась приоткрытой, и до Юры еще долго доходили голоса и смех из гостиной. Он сидел на краю кровати, держа бабушку за высохшую руку. Казалось, сожми он ее покрепче, и она рассыплется в прах прямо к нему в ладонь. И все-таки эта рука жила, в ней теплилась жизнь, как в последнем угольке потухшего костра, и Юра стал поглаживать ее, моля об ответном рукопожатии, от которого сейчас, казалось, зависела его жизнь.

Он долго сидел так, сгорбившись; вот уже затихли родительские голоса, замерли звуки двора за окном, только стрелки часов тикали наперегонки с его сердцем. Почему-то он не мог смотреть на бабушку, а когда все-таки поднял глаза, ему привиделась Вера, ошеломленное лицо, которое она повернула к нему, перед тем как за ней захлопнулась дверь подвала. Он тоже смотрел на Веру, как и тогда, не в силах отвести взгляда, пока она не исчезла в подвале, а бабушка, глядя на Юру, вспоминала первый год его жизни, когда они с дочерью на все лето поехали на море по настоянию врачей. Его организму не хватало йода, и Юру надо было каждый день по два часа держать над морской водой, чтобы его тело насыщалось йодом. У местной эстонки они снимали комнату с верандой в большом деревянном доме у самого моря с соснами и мшистыми валунами в саду. С утра они шли на пляж, потом возвращались пообедать и отдохнуть, а пополудни опять спускались к морю лечить Юру.

У дочери начинали быстро затекать руки, и она, утомившись, передавала ей голенького Юру и сама шла на берег читать, а

бабушка нежно брала его и, ни разу не почувствовав усталости, стоя по пояс в воде, держала его над целебным морем, сколько нужно. Иногда она вытягивала руки над головой, и послеполуденное солнце обливало его тельце золотым светом, а он тянулся ручками в небо и улыбался. Ее золотой мальчик. Когда он вырос, она все хотела рассказать ему это, но забывала, а потом ее разбил паралич, и все в ее теле застыло, кроме дыхания. Дочь же воспоминания не очень интересовали, она не любила и не умела ими делиться и считала это бесполезным занятием, предпочитая жить настоящим.

Бабушке казалось, что если Юра сейчас узнает об этом, то ему станет немного легче, и она опять бранила свое бессильное тело, которое после последнего удара даже плакать разучилось. И все-таки она не теряла надежды, что он как-то почувствует, как она любит его, и жалеет, и плачет по нему невидимыми слезами, тоже не зная, как же ему теперь жить дальше, и поэтому, не отрывая от него глаз и напрягаясь изо всех сил, все думала и думала о нем, о своем золотом мальчике, над морем в синем небе, в лучах вечернего солнца.

Книга 3
Перед заходом солнца

Твоя душа не в пустоту
Из бренного упала тела.
Она, сверкая на лету,
В меня, как ласточка, влетела.

И мы вдвоем, и мы – одно,
А мама бьется, мама стонет.
А мы спокойны – нам смешно
Смотреть, как мальчика хоронят.

«Смерть мальчика»
Неизвестный лагерный поэт

Чарли

Уже в машине Андрей пожалел, что не взял с собой собаку. Они как раз проезжали мимо загса, где семь лет назад расписывалась его подруга детства, но пока он вспоминал ее, на пару минут забыв про Чарли, они уже промчались мимо мебельного комбината, и он решил не разворачиваться. Однако досада осталась, и он с раздражением посмотрел в зеркало, где маячила черная морда «ауди».

Чарли начал скулить уже с утра, когда позвонила Наталья назначить время. Пока Андрей брился, одевался, потом завтракал, перебрасываясь словами со Светой и Сашкой, Чарли все вертелся вокруг, не отрывая от него печальных далматинских глаз. А когда Света, выглянув во двор, сказала, что машина подъехала, и тут же заголосил домофон, то собака разнервничалась и заскулила, совсем как в тот раз, когда он впервые пришел домой пьяный. Света стала тыкать Чарли в нос собачьи конфеты, но тот, не удостоив ее взглядом, побежал в коридор и улегся на коврик прямо перед дверью. Тогда Андрей присел на корточки и стал объяснять Чарли, что у него важная встреча и ему очень не хотелось бы опаздывать, что он не любит заставлять людей, даже таких, ждать и сам терпеть не может, когда другие опаздывают. Гладя Чарли по голове, он пообещал, что сегодня вечером сам пойдет с ним гулять, а завтра день рождения отца и они обязательно возьмут его в гости, и будет там Чарли вволю уплетать куриное мясо и радоваться своим собачьим радостям.

Потом он встал и тихонько стал отодвигать обмякшую и не переставшую скулить собаку. Захлопнув за собой дверь, Андрей подумал, что толком не попрощался с дочкой, но побоялся, что если опять зайдет в квартиру, то повторится сцена с Чарли. Он еще чуть постоял в нерешительности, прислушиваясь к скулежу, и двинулся вниз. А может, стоило взять его с собой – побегал бы по лесу, погонял бы зайцев. Ну да ладно, что теперь. Он похлопал себя по карманам. Все было на месте, и ключи и пушка. Белый «Мерседес-Бенц» стоял перед самым подъездом. Славка курил, высунув руку в окно, а Димка, обмотав шею шарфом до самого носа, топтался вокруг машины, ждал хозяина. Андрей кивнул ребятам и перед тем, как сесть в машину, поднял голову, посмотрел на окна. Никого. Сашка, наверное, уже побежала смотреть мультики. Была суббота.

Чтобы не видеть в зеркале черную морду «ауди», Андрей

прикрыл глаза. Машина бесшумно неслась вперед. Слава был отличный шофер, чувствовал машину, как женщину. Как только туземцы пришли к власти три года назад, первым делом стали чинить и строить дороги. А как еще завоюешь народную любовь? Машина теперь – не только роскошь и средство передвижения, но и лучший друг человека.

Димка молчал на заднем сиденье, соображал, наверное. А может, от нервов. Дима был тугодум, но хороший исполнитель, и главное – никогда не задавал лишних вопросов. В армии научили. Вот и весь Димка, ценный кадр. Он попал в дело через тестя, они с Натальей как раз искали надежных людей. А тесть, до развала империи будучи министерским чиновником, сплел за свою службу такую паутину, что отделу кадров слабо. После торжества свободы и демократии тесть сразу стал фирмачом, перепродавал рыбные консервы и все расширялся, а заодно поставлял нужным людям нужные кадры. Он обзавелся белым «мерседесом» раньше Андрея. Димка приехал в столицу из города сланцев и был готов здесь на любую работу. Он снимал комнату в общежитии в районе, куда по вечерам лучше было не соваться. Где-то за заводом силикатов. Там в семидесятые понастроили бараки для лимитчиков. Взяли и понатыкали прямо между старыми эстонскими домами с верандами и яблонями, чтобы те знали, кто здесь хозяин. Они еще, кстати, спасибо должны были сказать, что не под окнами прямо в садах, а все-таки между. Эстонцы ведь на силикате не работали на благо социалистической экономики, как, например, трудящиеся пролетарского, русскоязычного, или, как теперь выражались, иноязычного населения. Гордыня все, гордыня, господа представители маленького народа.

Андрей чувствовал, как у него тяжелеют веки от тепла, от запаха качественной кожи, табака, ласкового ритма рессор и от хронического недосыпания. Какое-то время он еще боролся с дремотой, пытаясь найти в голове достойную мысль, что-нибудь о социальной динамике в переходный период от тоталитаризма к демократии, или об имманентной авторефлексии и историческом комплексе неполноценности русской интеллигенции, ну или, на худой конец, какую-нибудь идейку о народе-богоносце. В общем, что-нибудь на академическом уровне. Но ни идей, ни даже идеек не было. Уже давно, кстати. Он точно не помнил, когда подобные мысли перестали посещать его, но давно, очень давно. Однако не по времени, нет. Всего-то прошло три года, как он пошел в бизнес. А по чему-то другому, но такому же невидимому и неумолимому, как и время. Может, по воздуху, который они теперь вдыхали и выдыхали, заражая друг друга. Короче, сплошная метафизика, – вот тебе и атеистическое воспитание. За

каких-то пару лет они перестали узнавать себя и друг друга. Лица друзей были вроде все те же, но теперь в них что-то скрывалось, как в чемодане с двойным дном. Как бы то ни было, он, кажется, навсегда покончил с этими интеллигентскими штучками, или они покончили с ним. Да какая, к черту, разница? От этой интеллигентщины, которой его кормили всю жизнь, только рыхлеет тело, не говоря уже о мозгах.

Сзади задвигался Димка. Потом кашлянул, но тактично, почти смущаясь, чтобы не привлекать к себе внимания и в то же время давая понять, что на посту я, всё, мол, под контролем, шеф: и дорога, и черная «ауди» на хвосте, и пушка в кармане. Шеф в последнее время легко раздражался. Шеф. Андрей усмехнулся. Философских мыслей не было, но зато ему вспомнилась Димкина жена. Худенькая, прозрачная и с огромным животом, который с трудом умещался в их старом «форде» – «пылесосе», как называл эту развалюху тесть. Она посмотрела на него так испуганно, почти с ужасом, что ему стало смешно. Потом он понял, что это она боялась своего тела. Ей, наверное, и восемнадцати не было. Все время, пока Андрей разговаривал с Димкой, стоя у «пылесоса», она сидела, упершись взглядом в живот и боясь пошевелиться, как будто из него могло выскочить что-то страшное, неведома зверушка, что ли.

Машина мчалась не останавливаясь, словно все встречные светофоры горели зеленым. Андрей приоткрыл глаза и, повернув голову, увидел темный Славкин профиль, потом посмотрел в другую сторону. За окном всё то, к чему они все так стремились и к чему так быстро успели привыкнуть. За окном свобода. Бар, банк, казино, автошины, банк, казино, стройка, платная автостоянка, бар, казино, бюро путешествий, железная ограда автостоянки, опять стройка, потом какие-то пустыри, то есть будущие платные стоянки для лучших друзей человеков, казино, банки, бары… Вдруг все задрожало, куда-то сдвинулось, подернулось дымчатой пленкой, вконец смешалось, померкло и окончательно растворилось в январской мгле. В машине затихли все звуки. В голове, стремительно и бесшумно, как рыба, промелькнула мысль, что у отца завтра день рождения, икру и балык они им уже привезли. Перед тем, как погрузиться в сон, Андрей увидел на блестящем руле с золотым логотипом большие Славкины руки. На всего Славку его уже не хватило. Но напоследок стрельнув вбок, глаз еще успел ухватить стрелку спидометра, резко ползущую вверх. Колеса все быстрее скользили по дороге, пока не оторвались от земли, и «мерседес» взмыл в воздух.

По лицам был разлит румянец, глаза блестели. За здоровье юбиляра было выпито и съедено. Хорошо съедено, как в лучших домах. Блюда с ломтиками нежно-розовой и белоснежной рыбы радовали глаз и веселили сердце не меньше, чем маринованный угорь на хрустале. По бокам фарфоровые вазочки с красной и черной икрой. Хоть ложками ешь. Нажимали все – и родственники, и старые друзья родителей, которых он знал с детства, и новые друзья, которые уже успели стать старыми. Подмигивая, тесть сворачивал в трубочку кружочки сырокопченой колбасы и отправлял их в рот одну за другой. Без хлеба, чтобы вкуснее и не портить фигуру. Теща, как обычно, чинно сидела рядом, время от времени поддакивая общему разговору. От густо посыпанной зеленым луком селедки шел тот дивный пролетарский запах, который так любил Андрей, но сейчас почему-то желудок молчал, и он опять перевел взгляд на гостей, ища Свету и Сашку. За столом их не было. Тогда Андрей заглянул в материну рабочую комнату. Заскучав среди взрослых, Сашка иногда убегала туда разглядывать старинные книги со сказками, но сейчас в комнате у матери было темно и пусто. Все-таки Андрей задержался здесь немного, вспомнив бабушку, которая жила в этой комнате, когда он был маленький. Он увидел, как в зеркале немецкого платяного шкафа развевается занавеска. Мать всегда, даже зимой, держала открытой форточку. Не чувствуя сквозняка, он повернулся, но вместо окна взгляд его уперся в черную стену и Андрей понял, что надо линять.

Сашка и Света все еще не появились. Бедный Чарли. Пообещали куриного мяса и обманули. Вот подлянка. И что Светка думает? Где она, черт возьми, торчит с ребенком и собакой? Тесть-то с тещею давно уже здесь икру наворачивают. Чувствуя, что закипает, и бешенство, которое в последнее время вызывала у него жена, уже поднимается к глазам, затуманивая их, Андрей быстро выхватил взглядом отца. Тот сидел во главе стола, как и положено виновнику торжества, и вовсю разглагольствовал, широко размахивая руками. Между пальцами у него была зажата сигарета. Пепел падал то в балык, то в сырокопченую конину. Другой рукой он проводил по черным с проседью волосам, убирая их с вспотевшего лба, и подливал себе водки. Кажется, речь шла о фирме, которую он открыл с бывшим другом, коллегой и собутыльником, эстонцем с русским именем Сан Саныч. Его, кстати, здесь не было. И не могло быть. Сан Саныч оказался предателем и делягой. Сан Саныч привел в фирму каких-то своих эстонцев, совсем молокососов, пристроил их в правление и стал вытеснять отца из руководства. Отец, конечно, проклинал Сан Саныча с его компанией на чем свет стоит, а заодно и всех

эстонцев, и грозился, что скорее удавится, чем будет сдавать госэкзамен по языку, на котором он уже пятьдесят лет говорит лучше, чем сами туземцы. Тесть, сидевший напротив отца и теперь переключившийся на черную икру, которую Андрей с ребятами привезли родителям накануне прямо со склада, сочувственно кивал и говорил, что все это чистая правда, но не стоит так горячиться. Вот хитрый лис. Но отец горячился еще больше, он даже двинул пару раз кулаком по столу, так что задребезжала посуда, а соседка Алевтина, старинная подруга семьи, примирительно похлопала его по плечу и стала выговаривать ему, как ребенку.

Андрей, забыв про жену, дочку и Чарли, смотрел на отца, как будто тот вдруг предстал перед ним впервые за эти последние годы, когда они все, очумев и словно нарочно ослепнув от свободы, чтобы не видеть друг друга, ринулись делать деньги. Теперь же его взгляд был ясен, и, не замутненный суетой, он зорко следил за отцом.

Тот явно не поспевал за временем. Оно утекало из его рук, как песок в песочных часах, которые нельзя было больше перевернуть, чтобы начать заново. Время пирамидой погребало его под собой. Отец, конечно, рыпался, выпячивал вперед грудь, махал кулаками, метал молнии из глаз, показывал клыки, гремел на всю квартиру охрипшим от табака и выпивки голосом, но никто уже не воспринимал его всерьез. Все эти партийные замашки, на которых еще совсем недавно зиждилось его вполне благополучное существование, на глазах осыпались в прах вместе с прошедшим временем. То ли дело тесть – круглый, обкатанный волнами времени голыш, у которого в любой период, хоть в переходный, хоть в застойный, хоть при царе-батюшке, хоть при генералиссимусе, не будет переводиться на столе икра. Во веки веков верую, Господи, в историческую необходимость, раз ты ее сотворил, значит, будем ей поклоняться. Мы люди маленькие, что с нас возьмешь, да и для здоровья, поди, лучше. Пока отца выпихивали из его же фирмы, тесть все расширялся, плел свою теперь уже капиталистическую паутину – в городе, в стране и за ее пределами. И все это ровненько, спокойненько, добродушно посмеиваясь, не повышая голоса и не снедаемый гордыней, как отец. Кроме рыбных консервов торговал уже и китайскими светильниками, и голландским сыром, и еще чем-то, о чем в приличном обществе не полагалось спрашивать. И ему, Андрею, удружил с супермаркетом. Без его связей разве бы им такой магазин достался, да еще в таком месте?

Андрей опять окинул взглядом стол. Странно, что желудок по-прежнему не откликался на любимые закуски; он ведь,

кажется, уже давно ничего в рот не брал. Вот мать встала из-за стола, сейчас, наверное, на кухню пойдет – утку проверять. Перед тем, как выйти из комнаты, она вдруг оглянулась и долгим взглядом посмотрела на отца, но тот все продолжал бушевать и что-то доказывать тестю и всем остальным, кто слушал его, не забывая подкладывать себе закусочку. Андрей хотел было последовать за матерью, но решил, что времени еще много, они еще даже за горячее не принялись, хотя уже успели порядочно разомлеть от всех этих деликатесов. Успеет еще с ней побыть. Но где же все-таки его семейство? Вроде Света с родителями не ссорилась, да и приличия светские она всегда блюдет. Так ее отец воспитал, для ее же блага. Тут из-за стола встала одна из старых подруг родителей, бывшая балерина Лиза, и тоже пошла на кухню, для компании. Ну, вот и отлично, а он пока здесь останется с чистой совестью.

Нет, Андрей не чувствовал ни малейшего голода при виде всех этих яств, о которых когда-то, в застойные времена, можно было только мечтать, во всяком случае в таком количестве и разнообразии, зато ему вдруг ужасно стало жаль отца, которого подминал под себя новый век. Он даже удивился силе чувства, которого уже давно не испытывал ни к кому, кроме Чарли, как, впрочем, не испытывал и всех других чувств, то ли когда-то живших в нем первородным грехом, то ли навеянных ему высокой литературой. Да какая, к черту, разница? В начале его карьеры они только мешали ему, а потом куда-то подевались, лишь изредка напоминая о себе то головной болью, то радикулитом, то мерзким ощущением в желудке или нервным подергиванием глаза. Теперь-то он знал, что их всех поглотила та самая свобода, о которой они мечтали, живя в тоталитарном государстве. Почему-то эта свобода больше всего оказалась похожей на ту болезнь, которой так боялся их знаменитый и очень свободолюбивый поэт: «Не дай мне, Бог, сойти с ума. Нет, легче посох и сума». Не зря он все-таки в университетах учился. Каким-то безумным ветром эта свобода выдула из них усвоенные с детства чувства и устроила в их телах сквозняк. Да, именно тот самый, мировой, столь нежно любимый отечественными писателями и поэтами, от которого и раньше не было спасения подданным их державы, а теперь по закону сохранения энергии он перекочевал в их нутро, и жить не стало ни лучше, ни веселее.

Как ему было жаль отца… Но сейчас его взгляд проникал глубже, за отцовскую браваду, наигранную крутизну и беспомощность перед новым временем. Андрей видел, что отца что-то очень тревожит, и гораздо сильнее, чем шаткое положение в фирме. Тревожит так, что он изо всех сил старается скрыть это

от себя. Впрочем, это вообще была отцовская черта. Андрей пригляделся к нему еще повнимательнее. Да, точно. Тут он опять увидел, как мать обернулась и посмотрела на отца, перед тем как выйти из комнаты. Будто хотела что-то спросить у него. Вдруг Андрей понял, что отец заметил, как она смотрела на него, но и ухом не повел, а специально продолжал горячиться и катить бочку на эстонцев и новую политику. Как будто бы ответив на ее взгляд, он признал бы что-то, чего сильно боялся. По тестю, как обычно, ничего нельзя было понять, а милейшая, розоволикая теща вообще была делом безнадежным. За всю их жизнь со Светой Андрей ни разу не слышал от нее ни одного слова, которое не звучало бы эхом речей ее мужа. У нее даже выражение лица, как в зеркале, отражало выражение лица супруга. А может, она просто боготворила его, чтобы не осложнять себе жизнь. Мудрейшая женщина, его теща. Только толку от этого мало.

На лице тестя играла улыбочка, как всегда, когда он слушал полупьяные отцовские излияния. Сам тесть никогда не распускался, был начеку: раньше – по долгу службы, а теперь, в новые времена, – чтобы не дать миру застать себя врасплох. Но Андрея уже больше никому было не обмануть, даже такому тертому калачу, как тесть. В его светло-голубых, всегда безоблачных глазах тоже мелькала тревога, которая тут же невидимыми волнами передавалась теще. Она уже пару раз посмотрела на свои часы, тайком сверяя их с часами соседа, как будто надеясь, что ее время идет быстрее. Андрею было занятно рассматривать их физиономии, где, как в театре теней, разыгралась целая гамма чувств. Теперь теща стала дергать головой, она явно ожидала кого-то, бросая взгляды в коридор, который был виден в открытую дверь. Когда Григорий, муж балерины Лизы, спросил у нее что-то, она вздрогнула и как-то нарочито пожала плечами. Посмотрев на мужа и не найдя поддержки, она чересчур мило заулыбалась ему и подложила себе семги. Андрею стало скучно. Ему вдруг ужасно захотелось увидеть мать, которая все еще была на кухне. По дороге туда он опять подумал о Свете, которая так и не удосужилась появиться, – а ведь теперь они жили всего в пятнадцати минутах ходьбы, вот лахудра, – но, услышав запах лимонного пирога, сразу забыл про жену. Мать всегда пекла его любимый пирог, ожидая его в гости. Чудный запах струился в ноздри, не вызывая, правда, ни малейшего аппетита, как и роскошные закуски. Но, вдыхая в себя кисловато-пряный аромат и еще не видя матери, он вдруг и словно впервые осознал всю силу ее любви к себе и, совершенно ошарашенный этим чувством, замешкался у порога, желая оградить его от кухонной суеты. Пожалуй, да нет, точно, из всех

живых существ, окружавших его в последнее время, с такой силой его любил только Чарли. Но Чарли зависел от него всем своим, хоть и благородным далматинским, но все-таки собачьим сердцем, а мать всегда была независимой и сдержанной женщиной, не выказывавшей своих чувств. Некоторые даже считали ее холодной. Мать умела держать лицо почище тестя, но не из стратегических соображений, не потому, что была вовлечена в бесконечную шахматную партию с миром, а из чувства достоинства, такта и легкого отвращения к драмам за пределами искусства.

Именно поэтому Андрей, задержавшись у порога, пока не смел приблизиться к ней, чтобы не застигнуть врасплох, незащищенной, с розоватым отблеском кровоточащей, как рана, любви к сыну на лице, которую сейчас еле выдерживало ее сердце. Как это было непохоже на нее. Слава богу, голова у нее была опущена – она как раз вытаскивала из духовки утку с яблоками, и он мог слегка расслабиться, не видя ее лица и потихоньку привыкая к ее граничащей с безумием любви к нему, которую ей обычно удавалось скрывать под маской легкой насмешливости. Всегда, но не сейчас. Где-то у него забрезжила мысль, что это только начало, что самое главное еще предстоит ей. Подуло холодком, он поежился и отогнал от себя эту мысль. Интересно, что мать, раньше не выносившая собак, сразу полюбила Чарли. Больше, чем Свету. Она, кажется, и не скрывала этого. Чарли неделями жил у нее, когда они уезжали в отпуск. И не потому, что, как она уверяла, у нее вдруг к старости проснулась любовь к собакам. А за то, что Чарли любил его, ее сына.

Балерина Лиза, стоя у окна, все трещала, видимо, считая своим долгом развлекать мать. Та, конечно, и виду не подавала, что ей это в тягость, а может, и правда, не хотела быть сейчас одна. Она рассеянно кивала, тыкая вилкой в утку, но чем больше болтала Лиза, пересказывая матери театральные сплетни, тем тяжелее становился воздух на кухне. Обе понимали это, но упорно вели свою роль, боясь соскочить с рельс в неизвестном направлении. Подойдя поближе и теперь уже глядя в лицо матери, которая начала разделывать утку, Андрей понял, что случилось что-то непоправимое, связанное с ним, Андреем, что только еще предчувствовало ее сердце и от чего ее любовь к нему стала похожей на рану. Потом мать, как будто вспомнив что-то, подошла к столу, на котором стоял противень с лимонным пирогом. Помешкав секунду, она вытащила из шкафа чистое белое полотенце и накрыла им пирог. Опять подуло холодом, которого, казалось, не чувствовали ни мать, ни балерина Лиза.

Он больше не мог здесь оставаться, видя мать в таком состоянии, и, презирая себя за малодушие, слинял из кухни в гостиную. Может, здесь будет потеплее? Действительно, холод вроде поубавился, время от времени лишь потягивая по ногам сквознячком.

На столе освобождали место для утки, собирая в кучу пустые блюда и относя их на кухню. Дантистка Таня раскладывала чистые ножи и вилки, коллега матери Ольга убирала пустые бутылки. Ее муж расставлял красное французское вино, то самое, которое Андрей привез родителям вместе с икрой и балыком. Отец молчал, поглаживая черную с проседью, как и шевелюра, бороду. Перед ним стояла нетронутая рюмка. Тесть уже не улыбался, а с напряженным лицом сидел у телефона. Теща же, изменив семейной традиции, не присоединилась к мужу, а в одиночестве восседала на своем месте и даже, вертя головой, все еще изображала на лице улыбку. Никто не обращал на нее внимания. Григорий, владелец строительной фирмы, подсел к отцу и стал что-то говорить, но отец, так ни разу и не взглянув на него, вдруг уронил голову на руки, а Григорий беспомощно стал оглядываться, и не найдя жены, опрокинул в рот отцовскую рюмку. Потом, обрадовавшись, что есть чем заняться, начал как можно медленнее подливать водку в пустую рюмку. Видно было, что ему очень хочется встать и уйти подальше из этой гостиной, как и большинству гостей. Но во-первых, приличия, а во-вторых, все-таки знаменитая материна утка с яблоками, которую вот-вот водрузят в центре стола.

Жаль, что здесь не было его подружки детства. Ее родители сидели рядом с Алевтиной и с другой старинной, похожей на цыганку подругой родителей, еврейкой Мириам. Они что-то тихо говорили друг другу, поглядывая на отца, который так и остался с опущенной головой. На лице у них была написана уже явная тревога. Интересно, как бы сейчас вела себя его подружка. В последний раз он видел ее почти год назад, когда она приезжала сюда из своей сказочной страны. Она почти не изменилась, только стала потише и задумчивее. Все его подруги, начиная со Светы, с возрастом становились все бойчее и шумнее, шагая в ногу со временем и грубея голосом и телом, а эта, наоборот, как-то утончалась. Смирившись с общим тревожным ожиданием неизвестно чего, Андрей стал вспоминать ее. Маленькой она была худенькая и нескладная, с выпирающими коленками на тонких ногах и готовая расплакаться в любую минуту. Она мгновенно обижалась и, развлекаясь, он часто поддразнивал ее, надеясь, что из ее глаз поскорее польются слезы, и тогда он сможет проявить великодушие, утешая ее. Но так же легко, как и расстраивалась,

она забывала свое горе и с еще невысохшими слезами на щеках уже болтала о чем-то, шмыгая носом и благодарно поглядывая на своего обидчика и избавителя.

Хотя сквозняк гулял вокруг его ног, поднимаясь все выше, к пояснице и спине, в груди у него потеплело. Кажется, он улыбался впервые за весь вечер. А еще он почему-то больше не обижался на нее за то, что она укатила за бугор, хотя еще до сегодняшнего дня считал, что она бросила его. Он даже уже почти простил ее и, глядя на это печальное и в ожидании чего-то непонятного, на глазах распадающееся сборище, вдруг подумал, что если бы она была здесь, то все было бы по-другому, и не сидел бы теперь отец, уронив голову на руки, и не накрыла бы мать белым полотенцем любимый Андреев пирог, и не трещала бы балерина Лиза без умолку, заговаривая нервы, а любимая материна коллега Ольга рассказывала бы интересные истории о своей ссылке в Казахстан, и ее муж Виктор травил бы новые политические анекдоты, а его дядя, не оставаясь в долгу, отпускал бы свои знаменитые колкие замечания, и все хохотали бы во всё горло, подливая себе и друг другу вперемешку водку с вином. Но ее не было, как не было больше и злости, всегда сопровождавшей мысли о ней, которых он так никогда и не додумал до конца, потому что сразу начинал злиться.

Он еще прекрасно помнил эту злость, но теперь она стремительно отделялась от него, превращаясь в воспоминание. А тогда, год назад, на родительской даче он даже не подошел к ней, почти ненавидя ее за то, что она так берегла свои ручки. Подумаешь, чистоплюйка нашлась. Сбежала в страну сказок в самый стремный момент. Чем она была лучше Светы, Изольды, Инны и всех других девчонок, которым надо было мараться во всей этой житейской грязи? Вот они и грубели голосом и телом. Да здравствует свобода, но за бесплатно ничего не бывает. Слава богу, они все быстро усвоили эту заповедь. Теперь им приходилось вертеться почище, чем при Лёлике. И это при том числе ублюдков, которое росло в арифметической прогрессии вместе с долгожданной свободой. Он вспомнил, как сидя за столом под березой, он все больше и больше распалялся, и наконец, чтобы не взорваться, встал и пошел на кухню, где, слава богу, никого не было, и залпом выпил чуть ли не полбутылки из отцовской заначки. Да черт с ним, с ее предательством. Чего он так разволновался? Вроде патриотом никогда не был. Нет, дело здесь было в другом. Правду говорят, что русский народ Бога через водку видит, даже такая критически мыслящая личность, как он. Дело было, конечно, в том, что когда он смотрел на нее, ему казалось, что он все делает неправильно. Что он неправильно

живет и неправильно женат, что он неправильно думает и идет в неправильном направлении, общаясь с неправильными людьми, и что даже выглядеть он стал неправильно, погрузнев и раздавшись лицом. А ведь она всего лишь тихо сидела за столом, пытаясь поймать его взгляд и расстраиваясь, что ему неохота смотреть на нее. Как всегда, чувствовала себя виноватой.

Андрей усмехнулся и подумал, что ни черта она не изменилась со своей наивностью и легковерием, которые так смешили его в детстве. А изменились они, или их изменило время, и неизвестно, чем все это кончится. Ему опять стало холодно, остатки тепла испарились из груди, и тут как раз зазвонил телефон. Тесть схватил трубку, отец вскинул голову, и все, кто еще что-то говорил, замолчали и повернулись к телефону, образовав немую сцену. Прижимая трубку к уху, тесть сначала слушал, а потом быстро заговорил с побледневшим лицом. Таким Андрей его никогда не видел. Отец выскочил из-за стола и, натыкаясь на стулья, подбежал к тестю, вырвал у него трубку и стал кричать в нее бешеным голосом. Рядом с ним вдруг неожиданно оказалась теща, которая тихой сапой покинула свое место и теперь пыталась что-то сказать отцу и в телефон одновременно, но видя, что это бесполезно, подошла к мужу и стала что-то спрашивать у него. Но тот только качал головой. «Светка, что ли? – подумал Андрей с любопытством. – Объявилась, наконец. А дальше что?»

Он осмотрелся, и только тут до него дошло, что среди гостей нет брата. Вроде он его видел в начале, когда Боря ухаживал за балериной Лизой, подливая ей вино и подкладывая закуски, безопасные для фигуры бывшей балерины, а потом забыл про него, как часто забывал в последнее время. Хотя не то чтобы забывал, а как-то переставал видеть его. В гостях, например, он мог сидеть и смотреть на брата, и тот постепенно скукоживался и исчезал под его взглядом, превращаясь в пустое место. Да-да, именно в пустое место. Вот только что был Боря, а теперь сплыл, стал ничем. Может, это происходило оттого, что Андрей презирал его? Неужели он презирал его, своего брата? Да, как и все они – и Света, и тесть с тещей, и даже Сашка, чутко вбирающая в себя их настроения, и все их старые и новые друзья, которые обзаводились, росли и расширялись. А Боря все так же кочевал по бывшей империи, ненадолго оседая то тут, то там, у него даже «пылесоса» своего не было.

На всякий случай Андрей заглянул во все комнаты. Никого. Послали, наверное, опять куда-нибудь по поручению. Он был здесь как мальчик на побегушках. И Андрей его часто куда-нибудь посылал, типа: давай, Борька, сгоняй туда, сгоняй сюда. И

Борька гонял, куда надо, хотя был старше Андрея на восемь лет.

Отец не отдавал трубку, все продолжая кричать в нее, но вдруг замолк и сник, покорно опустив руку. Тесть же все качал головой, явно не зная, что делать. Теперь трубкой завладела теща, но и она молчала, кусая губы. Лицо у нее шло красными пятнами. Андрей первым заметил мать. Почему-то никто не удосужился подойти к ней, даже ее любимая коллега. Она стояла в дверях комнаты с вилкой в руке. Через плечо у нее было перекинуто белое полотенце. Над ним ее лицо, такого же цвета. Никто не смел подойти к ней, понял Андрей. Единственный, кто мог и должен был сделать это, был он. У матери стали шевелиться губы и она чуть покачнулась. Ее поддержала Лиза, подоспевшая из кухни.

Позвонили в дверь. Тесть с отцом бросились в коридор, а мать, пропустив их и отстранившись от Лизы, прислонилась к дверному косяку. В проеме появился Боря, и мать, увидев его лицо, закрыла глаза. Андрея обдало холодным воздухом, как будто одновременно распахнули все окна в квартире. В последний раз оглядев комнату, он только сейчас поразился тому, что на дне рождения отца не было самого главного гостя, – его любимого сына Андрея. Что случилось? Как это могло произойти? Надо что-то делать, что-то предпринять… Вот сейчас он подойдет к матери, сострит, как бы невзначай обнимет ее, и все встанет на свои места. Гости с гомоном рассядутся по своим стульям, в центр стола под восторженные восклицания водрузят утку, а потом чьи-то проворные руки ловко раскупорят новую бутылку. Боря, затягиваясь и посмеиваясь в бороду, опять станет ухаживать за Лизой, ее муж Гриша будет рассказывать про невероятные успехи своей фирмы, а отец бить кулаком по столу, критиковать новую власть и со скупой слезой вспоминать прошлое.

Но времени больше не было. Студеный воздух, ворвавшись в окна, мгновенно набрал силу, подхватил его и понес. Перед Андреем опять замаячил темный, строгий профиль шофера, его сильные, непреклонные руки на руле. «Мерседес» разгонялся, унося их в надземную мглу.

Один день в Дерпте

Сначала вспышка света ослепила его, и он опять прикрыл глаза. Уши стало закладывать, значит, машина шла на посадку. Андрей приоткрыл глаза, но почему-то не решился спросить у шофера, где они. В окна по-прежнему бил свет, но теперь из него исчез тот холод, что окрашивал его синеватым цветом. Свет как будто потеплел и помягчел и уже не так резал глаза. Была весна, черт знает почему, но он просто был уверен в этом. В сущности, для него уже не было никакой разницы, какое сейчас время года. Но все-таки он обрадовался, что они летели через весну, хотя никаких явных признаков ее за окнами пока не прослеживалось.

Отступая, свет рассеивался, и в этом рассеянном свете мир предстал перед ним раздробленным, распавшимся на миллионы, миллиарды мельчайших частичек, как на картинах пуантилистов, если смотреть на них вблизи. Чувство беспомощности, похожее на щенячью слепоту, которое он так ненавидел в себе, опять нахлынуло на него и тут же исчезло. Разноцветные точки стали спариваться, объединяясь цвет к цвету и образуя контуры и формы, знакомые ему по прошлому. Некоторые формы были более близки ему, чем другие, и, пытаясь разгадать их, он чувствовал, как у него от волнения начинает биться сердце.

Где-то вдалеке заблестела синяя искристая лента и, всмотревшись, он понял, что эта река. Сразу за ней волновались травами светло-зеленые холмы, за которыми стелились поля, а за ними чернели зубцы ельника. Вдоль ближнего берега реки шла тропинка, а повыше – асфальтовая дорога, при виде которой в голове у него забрезжили смутные воспоминания, но связанные не с прошлым, а с будущим, которое, правда, ждало не его, а кого-то другого. Почему-то он совершенно не удивился своему дару провидения и побыстрее попытался выкинуть из головы эту побитую, проложенную здесь еще в брежневские времена дорогу. Тем временем мир быстро материализовался, контуры и формы наполнялись камнем, деревом, бетоном, первой зеленью, плотью. Вот он уже видел мощеную булыжником средневековую площадь, над ней висят надменные терракотовые головы в готических четырехлистниках. Чуть поодаль – знакомая белая колоннада под треугольным фронтоном, мимо нее по площади идут люди. Вот площадь уже наполнилась гулом голосов, ветром с реки, выхлопными газами проезжавших автобусов, смехом из отворенных окон, впускающих в дома весну.

Почему-то звуки интересовали его сейчас больше, чем виды старинного университетского городка. Остановившись посреди

площади и прислушавшись к ее гулу, он двинулся на голоса, доносившиеся откуда-то из узких улочек, вымощенных такими же средневековыми булыжниками. Эти голоса так взволновали его, и в особенности один из них, который он различил уже на площади и который заставил его свернуть с маршрута, что он пустился бежать, пока не очутился на окраине города с обветшалыми, милыми деревянными домами в резных наличниках. Голоса затихли, но он знал, что уже совсем близко. Стоит только свернуть за угол, и сразу откроется небольшая площадь с желтым двухэтажным особняком. Здесь Андрей чуть замедлил шаг. Он так давно не слышал ее голоса, что должен был подготовиться. Дойдя до угла, он остановился в полусотне метров от особняка.

Желтые стены раздвинулись в обе стороны, как театральный занавес, сгинули куда-то в небытие, и перед ним открылся зал со сценой. Вокруг него смех, веселые возгласы, крики, яростный спор не на жизнь, а на смерть, как это бывает, когда тебе двадцать. Он и не заметил, как оказался посреди зала, среди галдящих студентов, что-то горячо и взволнованно обсуждавших. Свобода, любовь, Пушкин, самодержавие, тюрьма народов и мы, грешные, которых лет через сто, двести, так размалюет какой-нибудь педант, что мы сами себя вовек не узнаем. К стенам придвинуты стулья, перед сценой оставили один ряд, в самом же зале кучками стоят, бродят и куда-то с деловым видом бегут студенты с бумагами в руках. Идет репетиция.

Ее голос уже растворился в общем шуме, но он знал, что она близко, он чувствовал ее присутствие, как тогда, в первый раз, в очереди в столовке, еще даже не зная ее. Расплатившись раньше него, она пошла с подносом к столику у окна, и он последовал за ней, совершенно естественно, как ранней весной переходят на солнечную сторону улицы. Оглядев зал, Андрей прислонился к стенке между стульями, рядом с компанией что-то доказывающих друг другу троих парней и девушки, и стал ждать. Волнение, которое охватило его, когда он только очутился на площади и вдруг среди шума различил ее голос, а потом бежал сюда, боясь и надеясь увидеть ее, улеглось. Вместо него появилось спокойствие, то самое, которого так не хватало ему в последние годы, пожалуй, до того момента, как он сел в белый «Мерседес». Вглядываясь в зал, он думал, что, в сущности, так никогда и не уходил отсюда, а что, разве не так? Вот он стоит, склонившись к столу в углу сцены, на нем черный джемпер, тот самый, его любимый, который ему из ГДР привезла мать. Он уже давно исчез куда-то за ненадобностью, да и кто теперь вообще такие носит? Только интеллигентики в протертых на заднице штанах, с давно немытыми волосами и с перхотью на сутулых плечах, которые всё

рассуждают с пеной у рта об архаических схемах мифологического мышления в структуре романов Достоевского или о каком-нибудь психофизиологическом компоненте поэзии, ну, скажем, того же самого Мандельштама.

Вот теперь он, опершись рукой о стол, с чувством говорит что-то. Придумывает, наверное, как помочь бедному поэту в ссылке, как спасти его, вывезти из этой проклятой страны, тюрьмы народов. Под джемпером белая рубашка, чтобы не кусался. И джемпер, и рубашка очень ему идут, вид у него может и не байроновский, но уж точно с отпечатком мировой скорби на тонком бледном лице. Неужели он когда-то был таким? За столом сидит Вася, смотрит вдаль и молчит, барабаня пальцами по колену. Рядом стоит Света. Она отвечает что-то сидящим на стульях перед сценой и смеется. На ней длинная, ниже колен, юбка и нежно-сиреневая блузка, которой он почему-то не помнил. Ну, правильно, тогда она еще была Васиной девушкой. Это уже после репетиции роли поменялись.

Глядя на Свету, Андрей подумал, что она, как дипломированная парка, уже тогда начала прясть свою тайную нить, о которую сначала споткнулся Вася, а потом и она, которая пока что бродит где-то по залу или по лестницам, невидимая ему, а потом уже и он сам, наверное. В сердце кольнуло, но как ни странно, спокойствие не оставило его, а даже наоборот, как-то уплотнилось, переросло в умиротворение или, скорее, в приятную безучастность от сознания того, что ни тогда, ни тем более сейчас ничего бы не удалось изменить. А все-таки… если бы он тогда сразу пошел к той, чей голос привел его сюда? Самое интересное, что ведь он ни о чем не жалел ни тогда, ни позже, когда жизнь уже стала складываться, как она стала складываться, а не так, как она могла бы сложиться, если бы он тогда сдержал свое обещание, а не остался после репетиции распивать армянский коньяк, который принес Леван.

Глядя на правильное и миловидное, но уже и тогда какое-то неуловимое лицо Светы, он вдруг испугался, что увидев ту, другую, после стольких лет, не выдержит и совершит какую-нибудь глупость, которую он так никогда и не совершил, до того самого момента, как сел в белый «мерседес». Андрей оторвался от стены и прошелся по залу. Он не хотел, чтобы она застала его врасплох, поэтому должен был найти ее первым. Пройдя весь зал по периметру, он вышел на широкую лестницу, уперся в окно, где топтались курильщики, вдохновенно размахивая руками, повернулся и пошел дальше по коридору. Может быть, она в бывшей библиотеке, а теперь помещении для реквизита? Приоткрыв дверь и увидев поганую морду Печорина, он сразу

захлопнул ее. Тот, как всегда, обрабатывал какую-то девицу. Почему-то они все льнули к нему, ценили, так сказать, его мужицкую, распутинскую стать, сейчас бы сказали – аутентичность, а тогда нравы еще были попроще, да и слов таких не знали. Он и бороду себе отпустил, разве что косоворотку еще не носил, как Лев Николаевич, и на лекции иногда босиком приходил эпатировать публику.

«Лучше член в руке, чем синица в небе», – многозначительно восклицал Печорин во время пьянок, подбираясь к очередной девице. Он предпочитал нетронутых цивилизацией первокурсниц-дикарок в благородном духе Жан-Жака Руссо и бредил «Розой Мира», которую достал у кого-то в самиздате. Если на пьянках не было милых его душе диких девушек под стать юной Татьяне, то Печорин начинал грозиться, что когда наконец настанет свобода, он восполнит силы Света Планетарным Логосом, семенем и ядром нового мирового начала, третьего, противостоящего и Богу и демонам. Ему совали в нос стакан водки, чтобы заткнулся, и, бормоча что-то о карме, монадах, падении Люцифера и законах Шаданакара, Печорин тихо засыпал в углу, натянув на голову пиджак. Никто точно не знал, откуда он взялся, сам он, в упор глядя на собеседника, на полном серьезе утверждал, что происходил из Энрофа, физического слоя, охватывающего все мироздание. При этом он как-то умудрялся сдавать все экзамены, в том числе и по марксизму-ленинизму. Говорили, что Печорин откуда-то из Псковской области. После развала империи он сгинул где-то в российской глубинке, куда поехал создавать, уже на свободе, новый слой, чтобы положить начало новому человечеству, титанам, конечно. Уже после того, как Печорина перемололи девяностые, кто-то, кажется их будущий премьер, сказал, что Печорин был членом партии. Теперь наконец всем стал ясен второй, загадочный смысл слова «член», который Печорин закодировал в непристойной пословице. А в партию, он, конечно, вступил, пока служил в армии.

А что случилось с ней? Андрей сел на ступеньку, подставив лицо солнцу, теперь уже вовсю бьющему в окно. Весна, точно, хоть он и не чувствует тепла. Неужели он сидит здесь и жмурится, как кот, не зная, как она, где, что с ней? Года два назад мать мимоходом сказала ему, что встретила в городе ее маму, но та прошла мимо, даже не взглянув на нее. Он хотел побольше расспросить ее, но тут в комнате появилась Светка, и он замолчал.

После того, что произошло, она бесследно исчезла. А он даже не порывался искать ее, что-то узнавать, или хотя бы позвонить ее матери. Ее друзья тоже ничего не знали, да он и не спрашивал.

Светка тактично помалкивала, утешая его везде, где была свободная комната, своими парными белыми ляжками, мягкой грудью, теплыми губами, всем своим округленным телом без единого резкого изгиба, за который он мог бы зацепиться и очнуться от дурмана. Вот он и плавал в ней неделями, месяцами, молчаливо растворяя в ее молочной плоти всю свою ярость к той, которая так обманула его. Когда Света, ласково поцарапывая его по спине идеальными розовыми ноготками, объявила ему, что беременна, он почти обрадовался, несмотря на всю несвоевременность этого зачатия. Как будто после изнурительного плавания он доплыл-таки до берега, который оказался, впрочем, островом с вероломной нимфой. Она же, глядя сквозь него зеленоватыми глазами, сказала, что знакомый гинеколог сделает за сто рублей аборт под наркозом. Нужна только квартира, где он спокойно сможет работать вместе с анестезиологом и где она потом сможет выспаться. Его присутствие там было совершенно лишним.

Мать, не спрашивая ни о чем – как он был ей благодарен за это, – дала ему денег, и через три недели все было в порядке, как сообщила ему Светка. Тогда он впервые подумал, что такая женщина больше подходит ему, чем та, что, лежа в постели после секса, тихо плакала у него на груди, то ли от счастья, то ли от каких-то своих, неведомых ему переживаний, а потом еще долго водила пальцем по стене, рисуя там тоже какие-то свои, недоступные ему мысли и поглядывая на него влажными, доверчивыми до нервной дрожи глазами.

Света тоже поставила на правильную лошадку. Чутье у нее было просто феноменальное, от отца, конечно. Вася. Его падение произошло так же неожиданно и резко, как и взлет. Еще сегодня правая рука министра, щелкают камеры, вот он чуть ли не в обнимку с английским эмпи, вот уже жмет руки главным российским демократам, а здесь, стоя под трепещущим эстонским флагом, принимает французскую делегацию, – а завтра тебя уже клеймят все газеты, обвиняя в торговле и употреблении наркотиков. Да здравствуют девяностые! Вася тоже бесследно исчез, а через год-полтора его труп был найден в номере московской гостиницы. Отнюдь не пятизвездочной. Самоубийство. Да-да. Но все-таки лучше так, чем быть закатанным в бетон. С этим и тесть сразу согласился, правда, прочитав сначала целый монолог о гордыне и ее последствиях для здоровья.

По ногам потянуло совсем не весенним сквозняком. Спасительный холод. А впрочем, какой у него теперь выбор? Да и времени, кажется, осталось не так уж много. Она так и не

появилась. Андрей встал и опять направился в зал. Остановившись в дверях, откуда хорошо была видна сцена, он расхохотался. Надо же, в нем, наверное, все-таки погиб актер. Играл бы себе Гамлета или какого другого лишнего человека, как сейчас говорят – антигероя, их, кстати, расплодилось пруд пруди, вот лафа писателям и поэтам, только почему-то их не видно и не слышно. Ну да, конечно, им теперь тоже деньги нужно делать в условиях рыночной экономики. А так ездил бы он себе на «пылесосе» и плевал бы с высокого дерева на все это дерьмо, всплывшее вверх вместе с долгожданной свободой.

Прижимая правую руку к сердцу под черным джемпером и церемонно кланяясь, он, студент философского факультета Дерптского университета, поэт и приятель того, другого, великого поэта, тоскующего в ссылке и жаждущего свободы, уже объяснялся в любви Светке, которая все порывалась бежать, чтобы ее не застукал злой муж. Тот самый, профессор и тоже стихотворец, а также развратник и шпион.

Он: Вы же знаете…

Она: Не надо, Никола, слова там мало значат.

Он: Давно хочу вам сказать…

Она: Поэты всегда придумывали себе вдохновительницу. Овидий, Данте, Петрарка. Я счастлива быть для вас Лаурой[2].

Вот дает, Лаура! «Я в мыслях там, откуда свет исходит»… Вот уж точно, свет, тот самый, от зелененьких. Когда она все ему рассказала? И главное – почему? Почему… ну уж точно не из любви к истине, а чтобы как следует дать ему по морде, чтобы знал раз и навсегда. Он тогда уже ушел из института на биржу и иногда возвращался домой под утро. Один раз, обшарив его карманы, Светка за завтраком положила ему на тарелку визитную карточку. Кажется, какого-то секс-хутора под Таллинном. Их тогда развелось не меньше, чем баров и банков. Там девицы в классических пачках, на пуантах и с голой грудью, скорбно склонив увенчанные серебряными диадемами головки, танцевали танец маленьких лебедей. Как сказал хозяин, здесь работал чуть ли не весь прошлогодний выпуск хореографического училища. Еще этот хутор очень любили французы. Они приезжали сюда в поисках утраченного времени. Бонжур, месье, бонсуар, месье, антре, сильвуплэ, Бале Рюсс, месье, улыбался хозяин, встречая дорогих гостей у порога бревенчатого здания. На ее разъяренный взгляд Андрей пожал плечами.

– И это все, что ты можешь мне сказать?

– Ностальгия. Ты же знаешь, мать водила меня на балет,

когда я был маленький. Вот я и соскучился по Чайковскому.

– От тебя несет перегаром!

– Издержки производства, – он отхлебнул кофе. – Кстати, кто подбивал меня уйти в бизнес? Уж точно не мать. Она меня и голенького любила, любит и будет любить.

– Вот сидел и корпел бы сейчас голенький под ее юбкой над диссертацией о предметном мире в антропоцентрической перспективе у Гоголя, а мы с Сашкой, тоже голенькие, подыхали бы с голоду, тихонечко, чтобы не мешать тебе думать.

Он сделал вид, что задумался.

– Ну, дорогая, можешь не скромничать. Ты без меня не пропадешь, да и папенька вас в беде не оставит, у него уже вон какая тачка, как у премьер-министра. Кстати, не понимаю, чего ты от меня все-таки хочешь?

Светка встала и, опершись руками о стол, так посмотрела на него, что он отвел взгляд и опять пожал плечами.

– Я тебе сейчас объясню.

Вдруг она рассмеялась, прямо-таки залилась хохотом, а потом истерично замахала руками, как будто отгоняла мошек. Так же внезапно успокоившись, Светка, все еще улыбаясь и похлестывая себя поясом махрового халата, загадочно посмотрела на него.

– А бэби-то тот был твой.

– Ты о чем?

– Ты знаешь, в чем твоя главная проблема, Андрюша? Нет, конечно, куда тебе. А проблема твоя в том, что ты считаешь себя умнее всех, а это, между прочим, как говорит мой папа, очень опасное качество. И особенно, Андрюша, в наше время. В наше время, Андрюша, надо быть очень даже начеку. Про гордыню мы сейчас говорить не будем, хотя Васю помянуть всегда полезно. Вы ведь с ним были очень похожи, поверь мне, я вас обоих знаю, как облупленных.

– Ну, это для меня не новость. А все-таки какой бэби, Света?

– Ну ты даешь, – она вылупила глаза. – Да тот самый, твоей любимой, правда это и бэби-то трудно назвать, какое там, комок клеток. Но все-таки как-никак своих, родных.

Он помотал головой, вбирая в себя смысл сказанного, а потом вдруг так заорал, что она мигом вскочила и дернула в ванную. Он стал ломиться туда, а она все скулила и повторяла, что это вранье, что ребенок был Васькин, это она специально, чтобы отомстить ему. Тогда он ушел в комнату одеваться, а она так и осталась сидеть в ванной, боясь вылезти, пока он не захлопнул за собой дверь квартиры.

Сначала он бесцельно бродил по улицам, а потом поймал

такси и уже хотел было поехать к девкам, таксист успел распахнуть варежку, надеясь на куш, – но вдруг назвал материн адрес. Она оказалась дома и, ни о чем не спрашивая, сказала, что как раз собиралась печь лимонный пирог. Так что, если он не торопится… Тогда, кажется, до него впервые дошло, что как бы она ни была загружена зачетами, экзаменами, комиссиями, дипломами и всякой бюрократической ерундой, в холодильнике у нее всегда было все необходимое для его любимого пирога, так, на всякий случай, если вдруг он забежит в гости.

Он ничего не сказал ей, а она, как всегда, ничего не спросила. Просто сидела напротив и, не обращая внимания на его лицо, спокойно рассказывала что-то из жизни института – о его бывших коллегах, о дрязгах на кафедре, о том, что Лена будет защищать диссертацию по Пушкину, а Рогов пытается наладить связи с американскими славистами, что студенты в этом году вполне приличные и что вообще, жизнь, конечно, усложнилась с наступлением свободы, и идиотизм тоже, конечно, остался, лишь переменив физиономию (а куда он денется?), и что произошли вполне логичные для этого времени перетасовки по национальным признакам, но жить можно, а главное, можно работать. Потом мать расстелила скатерть с маками, расставила свой любимый немецкий чайный сервиз с кудрявыми пастушками и пошла за пирогом.

Она и сейчас ни словом, ни взглядом не упрекнула его за то, что он ушел из института, погнался, как говорили многие, за длинным рублем. Он знал, как она переживала его уход на биржу, как расстраивалась, что он, ученик знаменитого на весь мир профессора литературы, облачившись в костюм-тройку и черное полупальто, вместо прекрасного, разумного и вечного будет сеять по земле партии товаров широкого потребления.

Окутанный ароматом лимона и ванили, упершись локтями в красные маки, он отключался, мягчел, мысли о Светке и о той, другой, о которой он не смел спросить у матери, чтобы не выдать себя, теряли остроту и уже не так кололи сердце. Да-да, именно тогда, сидя у нее, он решил завести собаку. Но не такую, которыми сейчас поголовно обзаводился народ, под стать его гнусной морде и адским железным вратам в их жилища, баррикадируя свежекупленные видаки и телеки, не собаку Баскервилей, а чувствительную породу с нежным сердцем. Так в их доме появился Чарли. Гордый далматинец со скорбными глазами, и мать, никогда особо не жаловавшая собак, сразу привязалась к нему, объявляя всем, что Чарли надо любить и лелеять, ведь он так и не оправился от римского нашествия, вы только взгляните на его глаза.

Теперь же на сцене Вася и он обсуждали планы побега опального поэта. Андрей прошел вперед и сел с краю на свободный стул. Рядом с ним давал указания режиссер, резко закидывая назад голову с богемной гривой и в таком же богемном кожаном пиджаке. Аркадий из Ленинграда. Он потом завел роман с Изольдой, и та еще долго ходила с зареванными глазами, когда Аркадий неожиданно для всех взял и женился на эстонской скрипачке.

Вблизи смотреть на себя было неловко, хотя стыдиться было нечего. Он всегда был красивым мальчиком и вполне пристойным актером. Но он знал, что видит себя таким в последний раз – и поэтому все смотрел на себя, не отрываясь, все пытаясь угадать или скорее предугадать что-то в этом облике. Что-то, что объяснило бы ему его дальнейшее движение по жизни, какие-то его поступки или наоборот не-поступки, его самого в конце концов, уже такого, каким он сидел сейчас в этом зале на репетиции студенческого театра тринадцать лет назад в бывшем особняке графини фон Бекк. Но глядя на себя, столь старательно выводящего придуманные их доцентом литературы слова о гениальном и опальном поэте и его романе со свободой, на свое живое, но как будто чуть отстраненное лицо, на свой черный джемпер, которым когда-то так гордился, а потом выбросил при очередном переезде, – он понимал, что единственное, что дозволено ему сейчас, – это прощание с собой. И, может быть, встреча с той, другой, что завлекла его сюда, как сирена, остановив мчавшийся в надземной мгле белый «мерседес».

На сцене к ним присоединился еще один поэт – тогда в Дерпте почти все образованное население мужского пола занималось стихоплетством, как сейчас добыванием денег, – и опять начался спор о реальности побега.

Он: Простите, как наш герой вам о крепости писал?

Третий поэт: Спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем.

Он: Так, может лучше – Гамбургом?

Третий поэт: Простите… не понял.

Он: Наш герой не для операции в Дерпт едет.

Третий поэт: Что?

Он: Он побег готовит.

Третий поэт: Да, полноте, голубчик! Вы просто Байрона начитались… гяуры… корсары.

Он: Какой тут Байрон! Вот… письмо… просит разузнать о всех пунктах побега.

Третий поэт: Но это – мечтание одно. Спасительная игра.

Он: Все серьезно до предела. Вульф уже заграничный паспорт получил. Нашего героя – за слугу.

Андрей знал, что последует за этой сценой, но напрягся, как будто его незримое присутствие здесь тринадцать лет спустя могло как-то изменить ход событий. Вот проклятое сердце. Оно волновалось и спешило, так же как и «мерседес», несущийся по мировому пространству и окатывающий его оттуда холодными волнами. Теперь его время измерялось температурой. Он поежился. Сквозняк уже добрался до пояса, но время еще было. Режиссер Аркадий вздохнул в очередной раз с наигранным драматизмом, – ну что поделаешь, не МХАТ конечно, но жить-то надо, – повернулся и пошел на перекур, махнув рукой, чтобы начинали без него.

За Светкой на сцену медленно выплыла Изольда. Аркадий уже спешил обратно, на ходу снимая кожаный пиджак и оставаясь в польской клетчатой рубашке с погонами. Он приосанился и заметно оживился, под узкими брюками поддавал току тестостерон. Ол райт, пускай здесь и не МХАТ, но девки в Дерпте даже очень ничего. Андрей сильно заволновался, хотя знал, что еще рано.

Изольда: Вот тут… она мучается во время родов. Густав слышит ее стоны и почти рассудок теряет.

Света: Но кончилось-то все хорошо. Больше всего страдания причиняют нам несчастья, которые мы ожидаем, и которые никогда не произойдут.

Изольда: Можно подумать, что мне плохо, а тебе хорошо. Я же знаю, как ты плачешь по ночам.

Света: Не надо, Маша.

Изольда: Никто и не подозревает, какой у нас ад. Вчера Зизи как восхищалась. Каждый день – пьянство, оскорбления, а при гостях сама добродетель.

Света: Не надо… ты же знаешь, об этом я молчу. Каждому – свой крест.

Андрей затаил дыхание и, внезапно испугавшись, что его будет видно со сцены, отклонился назад, насколько позволял стул, и, тут же опомнившись, опять сел прямо. Какой бред. Как будто кто-то вообще мог видеть его. Это все она сбивает его с толку, та, другая, даже сейчас, тринадцать лет назад и тринадцать лет спустя, в незримой точке пересечения прошлого с небытием. На сцену выбежала рыжая первокурсница и стала кричать, что кто-то на Домберге со всего маху свалился с лошади.

Света завизжала и стала сползать со стула, а Андрей, не в силах подняться, уронил голову в руки. Он больше не увидит ее. Никогда. Господи, как он мог забыть это? Как? Идиот… Ведь она болела тогда уже третий день, лежала с температурой под сорок с обмотанной шеей. Ангина. Ни о какой репетиции, конечно, не могло быть и речи. Вместо нее Изольда нашла ту самую рыжую девицу, которая теперь металась по сцене в поисках воды для упавшей в обморок Светки.

Он обещал прийти к ней сразу после репетиции. Но пришел только на следующий день. Ей уже было лучше. Она сидела у окна, бледная, с распущенными волосами и с теплой шалью на плечах. Прямо как Татьяна в ожидании Онегина, только письма не хватает в ослабевшей руке. Если бы не этот Леван со своим коньяком, а потом и Печорин, который сказал, что у него еще осталась водка… Почему-то перед глазами у него тогда все время мелькало светло-сиреневое пятно. Из общежития они перекочевали к кому-то на квартиру. Уже позже – когда все изрядно поддали, а Изольда, как всегда, закатила истерику и заперлась в ванной, грозя перерезать себе вены сей секунд или в крайнем случае чуть попозже, если ей не удастся выехать из этой сраной страны, – это пятно все витало вокруг него, похожее на облачко, а потом оказалось совсем рядом. Он уронил на него свою пьяную башку, вдохнул теплый аромат и зарылся в него носом. Когда сверху послышался легкий смешок, он поднял голову. Светка.

– А где Вася? – спросил он в каком-то полубреду.

– А Вася пошел больную утешать, – прошелестел ее голос, после чего нежные пальцы стали перебирать его волосы. Она все играла ими, а он все пытался что-то вспомнить и соединить с чем-то другим, очень важным, но все эти иксы и игреки, так и не слившись в искомую единицу, превращались в прах, осыпаясь в тайные извилины его размягченного мозга, и он опять зарывал в Светку свою голову.

На сцене злой муж, а также профессор словесности, а также вполне замечательный стихотворец, а также развратник и любитель юных девушек, а также доносчик, потирая руки, подслушивал разговор студентов о планах побега опального поэта. Потом он, Андрей, опять пытался объясниться в любви Светке, но та не желала слушать его, все бежала – от него, от себя, от свободы, которой боялась пуще, чем злого мужа. А потом начался тот последний спор о поэте и его судьбе и, конечно, опять о свободе, а о чем еще можно думать, кроме секса конечно, когда тебе двадцать два и ты живешь в стране, где все рабы? и он, Андрей, философ и поэт, гремел и метал молнии, и

декламировал свои свободолюбивые стихи, и все кричал, что вся Россия – ссылка, что все мы под надзором, что кругом одни рабы, а тот, другой, старший, умудренный опытом третий поэт все увещевал его, посмеиваясь и на ходу изобретая теорию относительности всего сущего, в том числе и свободы, очень напоминая Андрею тестя.

Третий поэт: Стихи хорошие. Но какие вы горячие головы! Разве так: уже все рабы? Вот вы – раб? И таких много. Поймите… нашему герою без России невозможно. Говорите – «задыхается»… Но вне ее, без ее воздуха он ни строчки не напишет. А не писать для него – не жить.

Он, горячая голова: Писали же в изгнании. Данте – «Божественную комедию», Байрон – «Дон-Жуана».

Третий поэт: А он не сможет. Да знаю, знаю, сколько у него надзирающих. Но сядет вечером за стол… перо… бумага… Муза впорхнет – и свободен!

Зачем она заманила его сюда из небытия? Зачем остановила бег «мерседеса», обернувшись сиреной? Зачем заставила оглянуться на прошлое, которое он успешно забывал все эти годы? Зачем, усыпив его память сладостным голосом, во второй раз дала пережить ему этот день в Дерпте? Чтобы наказать его? Или дать надежду в последний раз увидеть ее? А потом вместо себя показать ему его самого тринадцать лет назад, с тонким лицом, в черном джемпере, в роли пламенного философа, любителя вольности и поэзии, а также ярого ненавистника правопорядка.

Студеный, уже совсем не весенний ветер дул в грудь и спину, охлаждая нутро. На сцене рыжая первокурсница скромно стояла со своим спасителем, старшим поэтом, который увозил ее прочь от развратного барина, посещающего ее по ночам в девичьей.

Поеживаясь, Андрей встал и пошел к зашторенному окну. Чуть раздвинув пыльные шторы, он уткнулся в черноту и быстро задернул их. Весны как не бывало. Вместе с холодом на него вдруг накатила такая усталость, что он еле удержался на ногах. С трудом дойдя до противоположной стены, к которой были сдвинуты стулья, он сел подальше от народа. Время еще было.

Вася. После того, что произошло, он перестал общаться с ним. В мыслях он уже сто раз набил ему морду – до хрипа, до кровавых соплей и разбитого носа, до свернутых шейных позвонков и поломанного хребта, но на деле просто игнорировал. Если они вдруг случайно пили в одной компании, то Андрей садился как можно дальше, чтобы по пьянке, уже ничего не

соображая, вдруг не прикоснуться к нему. Та, другая, уже исчезла, а Светка теперь была его девушкой и у них были серьезные планы на будущее. Вася же, после Светки, стал ходить по бабам почище Печорина. Как-то Изольда, с которой Вася завел роман, попыталась во время одной пьянки примирить их, и Вася вроде был не против, что-то дрогнуло в его лице, когда он через батарею бутылок посмотрел на своего старого друга. Но Андрей послал Изольду на три буквы и сказал, чтобы не лезла не в свое дело.

После университета Вася исчез – как рассказывали, пытал счастья на московском телевидении. Границы их маленькой родины всегда стесняли радиус его действий. Когда же наконец наступили свобода и демократия, Вася вернулся в родные пенаты – видимо, столица мира так и не пала к его ногам, и уже скоро его видели в обществе их бывшего сокурсника, а также эстонца, а также историка, а также бывшего активного комсомольца Андреса Вильде. Вступив в партию эстонских патриотов, тот быстро покорял политические вершины. Вася, до этого с легким пренебрежением отзывавшийся о культурном уровне местного населения, вдруг заговорил на чистейшем эстонском языке. Оказалось, что его мать была эстонкой, причем какого-то знатного рода, восходящего чуть ли не к осевшим в Прибалтике тевтонским рыцарям. В сорок четвертом ее родителям не удалось переплыть на другие берега, мать болела тифом, и отец не захотел оставить ее. Потом отец, конечно, сгинул на Востоке, а бабушка Васи каким-то чудом уцелела, сначала скрываясь с дочкой на хуторе у знакомых крестьян, а после перебравшись в провинцию, где устроилась работать в библиотеку. Об этом Андрей читал в многочисленных интервью под фотографиями Васи и все дивился, стараясь увязать своего бывшего лохматого и беспутного друга, – с которым они, познавая истину, пили и ходили по бабам, а также на пьяную и на трезвую головы материли прогнившую лёликову систему, пока их не развела та, другая, – с этим новым, коротко подстриженным, и каким-то отглаженным Васей с фотогеничным драматизмом на лице, когда он рассказывал о своих эстонских корнях, за отсутствие которого его в свое время ругал режиссер студенческого театра петербуржец Аркадий.

Свобода, независимость и демократия не хуже олимпийских богов проделывали фокусы со смертными. И хотя они не превращали их в парнокопытных, птиц, рыб или деревья, но меняли до неузнаваемости. Почему-то от этого становилось страшно. Ведь олимпийские боги, а с ними и их римский певец, оставляли смертным их душу, тогда как метаморфозы,

проделанные свободой, независимостью и демократией, разрушали нутро, оставляя нетронутой человеческую оболочку и делая людей оборотнями. И это в условиях перехода к рыночной экономике. Еще немного, и Андрей, глядя на свое поколение, выросшее при Лёлике, и стыдясь себя самого, действительно поверил бы в наличие категории души, но на эти смехотворные сейчас размышления не оставалось ни времени, ни места. Хронотоп подкачал, поминал он про себя великого Бахтина, а так можно было бы конечно пофилософствовать, почему нет.

Но надо было срочно искать квартиру побольше. К тому времени Сашке исполнилось пять, она росла, заполняя своим бурным темпераментом две смежные комнатки, и им со Светкой уже совершенно негде было заняться сексом, ну и с центральным отоплением, естественно, и все время подрабатывать, так как ставки в институте еле хватало на самое необходимое. Конечно, были и такие, что, брезгуя бизнесом и политикой, ринулись искать спасения в религии. Чтобы уберечься от порчи и спасти свою бессмертную душу, а на самом деле – просто от пониженной дозы мозгового вещества и тестостерона в организме, не на дураков напали. Впрочем, и эти менялись такими же темпами, обрастая первобытной гривой и помрачаясь лицом и рассудком. Блестя безумием глаз и наваливаясь немытым телом на собеседника, в постоянном угаре, они грозили Страшным судом всем политикам и торговцам, а также женщинам, ведущим беспорядочную половую жизнь, вне зависимости от национального признака.

А когда он сам начал меняться? В какой-то момент – он тогда уже устроился на биржу – Андрей стал ловить на себе отчужденные взгляды старых знакомых. Те, которые знали его получше, болезненно щурясь, вглядывались в его лицо, как будто стараясь узнать привычного Андрея. Первое время он еще смотрел на себя по вечерам в зеркало, пытаясь отгадать признаки метаморфозы, которая, кажется, настигла и его, а потом плюнул. Да пошли они все… И разговор, который раньше тек сам собой, застревал уже после первой фразы. Как дела? Со свободой, независимостью и демократией отвечать на этот простой вопрос вдруг стало очень сложно. Вдруг надо было выбирать слова, тон, взгляд, которым сопровождался ответ. Чтобы не приняли за лоха, но и не позавидовали черной завистью, растрепав всему миру, что разбогател, что теперь можно присосаться, звонить день и ночь с какими-то немыслимыми прожектами – только войди в долю и будешь через месяц богаче Ротшильда.

Тем временем Андрес Вильде уже размахивал сине-черно-белым флагом на политическом Эвересте. Газеты хором трубили

о самом юном премьер-министре в истории человечества. Его переплюнул разве что Гелиогабал, вступив на императорский престол в четырнадцатилетнем возрасте. Теперь Вильде повсюду сопровождал Вася фон Стаал, которого уже прочили в министры. И вдруг такой скандал! Наркотики, связи с российской мафией, какие-то проститутки-Лолиты с перепачканными мелом розовыми пальчиками, которых вызванивали чуть ли не с уроков. И разъяренный, а также потрясенный до глубины души Андрес Вильде, от которого его советник все это время успешно скрывал свое истинное лицо. По молодости лет и учитывая интересы ведущей партии, а значит и интересы всей молодой страны, премьер отделался парочкой чистосердечных интервью. На этом дело и закончилось.

Васина мама, пережившая смерть отца, страдания матери и советскую оккупацию, не выдержав позора, скончалась от инфаркта. Так, по крайней мере, интерпретировала ее неожиданную смерть Изольда, которая, кстати, осталась жить в этой сраной стране, даром что теперь все купались в свободе. Она устроилась работать в столичную газету и, хотя делала вид, что в курсе подоплек всех событий, так и не смогла внятно объяснить, кто подставил Васю. А может, боялась или не хотела, блюдя по закону метаморфоз какие-то свои и уже тайные для их компании интересы.

Потом Вася исчез и появился уже в коротенькой заметке, где сообщалось о его загадочной смерти в номере московского отеля. Так Андрей и не избил его до кровавой пены изо рта, до животного хрипа, до поломанного хребта. Так и не наступил на него, лежащего, как архангел Михаил на Люцифера, так и не придавил ему ногой поверженную голову и не спросил, глядя на него, издыхающего, с высоты своего роста, что же случилось тогда в Дерпте, после репетиции в студенческом театре.

Заканчивалась последняя картина. Государь не соизволил дать разрешения поэту ехать в Дерпт. Надежда сбежать из тюрьмы народов улетучилась, как утренний туман под вечным светилом. Прощай, Кенигсберг, Париж, Неаполь… прощай, свободная стихия. Сидеть тебе теперь, поэт, под высочайшим надзором до скончания века. Воспевать тебе теперь, поэт, до скончания века женские ножки и волю, глядя со слезами от аквилона на глазах на исчезающие за свободным горизонтом греческие фелюги. Проблема выбора отпала сама собой, вместе с проблемой свободы. И свободы воли. Вот счастливчик. Нам бы так.

Народ стал расходиться. Вот уже Леван тряс бутылкой коньяка над головой. Соблазнял, змий, и соблазнил, конечно. Вот уже замелькало в зале светло-сиреневое пятно, которое потом на

ощупь оказалось таким мягким и теплым. Проплыла мимо Изольда, бросая томные взгляды на распаренного от вдохновения Аркадия. Вернулся и Печорин, использовав девицу в реквизитной, и теперь томимый первобытной жаждой. И рыжая первокурсница, опустив глазки и снимая белый фартук, смиренно ждала своего часа. Вокруг бутылки собиралась теплая компания, не хватало только его, Андрея. Поглядывая на него с другого конца зала, чего-то доказывал старшему поэту Вася. Все никак не мог выйти из роли.

Он знал, что она ждала его. Сидя у окна с распущенными волосами, в чем-то длинном, с обмотанным горлом, бледная и тихая, как Татьяна. Как и тогда, у него заныло в груди, когда он думал о ней и одновременно слышал смех девчонок и Левана. Она знала, что он придет, не может не прийти. В груди заныло еще сильнее: сейчас все повторится, и он, мучимый легкими угрызениями совести, во второй раз войдет в ту же реку. В конце концов, он ничем не мог помочь ей, и потом, ей же уже было лучше, она уже сама заваривала себе чай, теперь ей, наоборот, нужен был покой, а ему сейчас нужно было что-то совсем другое: веселая компания, веселые девчонки, пьяная трепотня Печорина о «Розе Мира», мат-перемат, которым они крыли все и вся, всю их сраную страну вместе с их сраным правительством дедков-маразматиков во главе с главным маразматиком Лёликом. И потом, она поймет, она такая, она всегда все понимала.

Выйдя от матери и с благословения ее лимонного пирога, он опять вызвал такси и поехал к Изольде в редакцию. Вытащил ее прямо из-за стола в бар за углом и без всяких предисловий спросил, что случилось тогда, после репетиции. Изольда, бегая глазами, стала вилять, плести что-то о той, другой, и о ее несчастном бэби. Тогда он прикрикнул на нее и она, разозлившись, сказала, что ничего не знает, что пускай он у Светки и спрашивает. Он заказал водки. Изольда, несмотря на всеобщую европеизацию, до сих пор принципиально не признавала вина, не желала цивилизовываться. Со смаком опрокинув стопку, она выдохнула, потом вздохнула всей грудью и только теперь посмотрела ему в глаза.

– Если Светка узнает, убьет.

– А если я не узнаю, тебя убью я. Пей, лахудра.

– Да чего ты так разволновался, Андрюш. Это было давно и неправда.

– Тем более, чего уж теперь темнить. Давай-давай, не робей, ты же у нас всегда была смелой девушкой.

Изольда помолчала, выразительно посмотрев на пустую стопку. Андрей кивнул официанту. Тот подошел с бутылкой,

подлил святой водицы и поставил на стол салат из креветок.

– Больше не получишь. Я тебя знаю, сейчас так упьешься, что маме надо будет звонить. Приезжайте за доченькой. И давай, закусывай.

Изольда подцепила вилкой креветку, пожевала и посмотрела на него мутным взглядом.

– Ну…

– Ты же знаешь, Андрюш, как тебя любили девочки…

Он молчал, давая ей время. Сейчас водочные пары сделают свое дело и Изольда расколется. А что будет с ним, об этом потом будем думать.

– Ну, в общем, Светка сразу положила на тебя глаз, а ты, ну, короче, увлекся этой кисейной барышней. Андрюш, она тебя околдовала, что ли? И что ты в ней нашел? Она даже бухать как следует не умела. Я помню, все морщилась и давилась, когда водку пила. Да ты бы с ней намаялся потом, я те точно говорю, она ж была совершенно неприспособлена к этой жизни. Совершенно. И это уже тогда, а про сейчас и говорить нечего. Светка это сразу поняла, а вот ты… ты еще должен был дозреть до этой простой истины. Ну, Светка стратег еще тот, ты же знаешь, как она в шахматы играет… папа научил…

Изольда захихикала, с вожделением посмотрела на пустую стопку и задергала головой в сторону официанта. Андрей прикрыл стопку ладонью.

– Потом, – сказал он, – а сейчас я продолжаю вас внимательно слушать, госпожа корреспондент. Очень интересный репортаж.

– Да что тут интересного, Андрюш, скорее – это грустная история. Сплошная проза жизни. В общем, Светка ждала-ждала и дождалась наконец. Почему-то вы, наши мальчики, любили с нами водку пить, ну и это самое, не будем для приличия называть вещи своими именами, все-таки в Европе живем. А вот любовь до гроба и все такое поэтическое, это для романтических особ типа Татьяны, чтобы волосы до попы и взгляд мечтательный. Чтобы дышала, короче, духами и туманами… Ваське она тоже нравилась, хотя и не то чтобы до дрожи в коленках, ну, а с другой стороны – почему бы не попробовать, если дают.

– Если дают…

– Вот именно. Это Светка ему тогда сказала, вроде как в шутку, что твоя испытывает к нему тайные, романтические чувства и что это ей, Светке, невооруженным глазом видно. Знала, кому сказать, да еще и дала понять, что ревнует, ну он и возгорелся, наш дерптский Казанова фон Стаал. Насчет пьянки врать не буду, понятия не имею, сам Леван объявился со своим

коньяком или Светка его организовала. Но факт тот, что когда ты пошел с нами пить, она Васе мимоходом намекнула, что пока они тут все будут веселиться и пьянствовать, больной барышне будет очень одиноко… В общем, Андрюш, я не знаю, что у них там точно произошло, но думаю, что Васька, конечно, ринулся в атаку, и честно говоря, думаю, что ничего между ними и не было, она ведь в тебя была влюблена по самые уши, наша верная Татьяна. А он потом просто стал трепаться, чтобы свою честь казановскую не потерять, а вы и поверили, хотя все такие образованные, интеллектуальные, всё обо всем знаете и Отелло читали в десятилетнем возрасте… Ты ведь к ней потом и не подошел ни разу, не спросил…

Андрей молчал. За разговором Изольда умудрилась съесть весь салат и теперь, хмуря брови, водила вилкой по дну вазочки. Она знала, что он не задаст этот вопрос, и поэтому ответила на него сама.

– Так что это был твой бэби, Андрюш. Васька тут ни при чем.

Он опять промолчал, и она продолжила.

– Ну ты понимаешь, что такое аборт для такой чистой барышни – это ж целая трагедия. А тут еще с такими последствиями. Связей-то у нее не было, как у Светки, вот она и пошла к какой-то бабке. В общем, чуть не померла, а что потом, я правда не знаю, куда она делась, что с ней…

Изольда пожала плечами, а затем, посмотрев на его лицо, встала, пошла к бару и вернулась со стаканом для виски, до краев наполненным водкой. Когда он выпил его, Изольда медленно заговорила.

– Может, Светка и стерва, но ведь и жизнь такая, Андрюш. И потом, она мучилась, я точно знаю, она же не думала, что все так кончится. Знаешь, может, тебе это покажется странным сейчас, но я уважаю ее. Так идти к своей цели – это, правда, достойно уважения. Она завоевала тебя, потому что знала с самого начала, что вы созданы друг для друга, для успеха в этой говенной жизни, а не для жалкого прозябания. В этой жизни побеждает сильный, это закон природы, Андрюш. Ты ведь тоже такой – сильный, умный, ловкий, свободный…. Вот и радуйся, что со Светкой, а не связался с той девочкой-ромашкой…

Кажется, Изольда еще что-то говорила, что-то ему втолковывала, дыша водочными парами, про эту самую вонючую жизнь, которую и сама ненавидела, а что теперь прикажешь, лечь и умереть? Кажется, просила, чтобы не выдавал ее Светке, и даже пробовала утешать, принесла ему еще стакан, что-то шептала на ухо и гладила по спине. Потом он остался один в темном баре, где-то маячила белая рубашка официанта, а он все сидел, с

недопитым стаканом на столике, не в силах протянуть руку и взять его. Он очнулся, когда в бар ввалилась компания бритоголовых и с шумом расселась за соседним столиком. Звеня бутылками и стаканами, к ним подкатил официант. Андрей расплатился и, пошатываясь, вышел из бара.

Он еще долго бродил по городу, потом опять взял такси и почему-то поехал к морю, мимо которого еще вчера проезжал по дороге в секс-хутор. На пляже было холодно и пусто, только какие-то тетки в купальниках делали упражнения, энергично сгибаясь и разгибаясь, и разбежавшись, сигали в хмурое, серое море. Он постоял на берегу, глядя слезящимися от ветра глазами в мутную даль, потом повернулся и пошел обратно. Он шел пешком до самого дома, сначала вдоль моря, а потом по сумеречному городу.

Светка ничего не спросила у него, и, глядя на ее миловидное лицо, на мягкие, округлые формы, он понял, что этот разговор закончен раз и навсегда и что они теперь просто будут жить дальше, как будто ничего не произошло, но зная друг про друга то, чего не знали раньше. В этом были и свои преимущества. В пятницу, например, он опять пойдет смотреть «Лебединое озеро», и она уже ничего не спросит у него утром, а просто молча поставит перед ним тарелку с омлетом и красиво нарезанными помидорами и так же молча будет варить кофе, а потом они будут обсуждать планы на выходные и, может быть, даже выберут наконец цвет для новой кухни. Появилась Сашка в пижаме и Андрей, шлепнув ее по попе, сделал вид, что сердится, что она еще не спит. Но Сашка видела его насквозь. Усевшись ему на колени, она обхватила его шею руками и стала рассказывать о новом видаке, который они смотрели у подруги, и что он тоже обязательно должен ей его купить, а Светка сидела напротив и листала какой-то журнал, поглядывая на них поверх страниц.

Этой ночью, после разговора с Изольдой, ему снилась она, впервые за все это время. А может, он придумал этот сон уже здесь, сидя в опустевшем зале, откуда студенты вместе со звуками, шумом и смехом унесли с собой жизнь. Ну и все голоса, конечно, кроме ее, который завлек его сюда, в Дерпт, в студенческий театр, на репетицию пьесы об их великом опальном поэте и который он теперь слышал в себе, как эхо. Или она нашептала ему этот странный сон, зачаровав его память, которая все ускользала и играла с ним в прятки с того момента, как он сел в белый «мерседес».

Тогда ему снилось, что он входит в комнату, где она ждет его у окна, в чем-то длинном и с распущенными волосами. Она не поворачивает головы, но он видит, что она плачет, и хочет

подойти к ней, но не может сдвинуться с места и стоит у двери соляным столбом. Вдруг она встает, открывает окно и, так и не оглянувшись на него, идет в него, как в дверь. Он подбегает к окну, наконец-то его тело вышло из оцепенения, но ее нигде нет, только белая птица летит ввысь в пустой, бессолнечный воздух. Но даже если она наколодовала ему этот сон или он сам придумал его здесь, в этом пустом зале, теперь-то он точно знал, откуда тот взялся.

Однажды, лежа в постели после секса, когда она, как всегда, чертила пальцем по стене замысловатые узоры, погруженная в какие-то свои, тайные мысли, она вдруг спросила у него, верит ли он в жизнь после смерти. Он засмеялся и, поцеловав ее в нос, сказал, что верит только в себя и ей советует. Она же, положив голову ему на грудь, заговорила так страстно, что он удивился. Никогда раньше он не видел ее такой и не слышал.

– Самое прекрасное, что может произойти с нами после смерти, – говорила она, – об этом я читала в одной персидской легенде, это то, что мы, то есть наши души, превратятся в белую птицу, навсегда соединившись в ней. Представляешь, Андрей? Мы с тобой станем белой птицей. Но это при условии, что наша любовь победит жизнь, ну, в смысле дух победит материю, которая есть наш знаменитый базис, понимаешь? Только так. Тогда эта бессмертная, как и наша любовь, птица будет иногда залетать на землю, и люди будут смотреть на нее, конечно ничего не зная о нас, но чувствуя, что здесь какая-то тайна, и от этого им будет немного грустно, но и хорошо…

Потом она помолчала и, повернув голову в другую сторону, сказала:

– А если жизнь победит любовь, то после смерти с нами произойдет самое ужасное. Это то, что мы или наши тени, ну какая в общем разница, пройдем мимо, не узнав друг друга, как чужие… Но этого никогда не произойдет, Андрей, я точно знаю, никогда.

Она затихла, и он, вместо того чтобы, как обычно, надсмеяться над ее сказочками – как он говорил, в воспитательных целях, закаливая к жизни, – только хмыкнул и стал гладить ее по голове.

Андрей встал и опять подошел к окну. Там чернел густой надземный мрак, из которого вот-вот вынырнет белый «мерседес», чтобы подхватить и унести его с собой. Холод уже целиком окутал его, словно он с головой нырнул в зимнее море. Где-то внутри еще звучал ее голос, сопротивляясь холоду и тьме, но уже все слабее.

Она заставила-таки его оглянуться назад, заставила сделать

невозможное. Его, такого умного, образованного, наученного великим опытом человечества, который ему с детства прививали мать, а потом профессора литературы знаменитого университета, и поэтому всю свою жизнь, до того момента как сесть в белый «мерседес», твердо придерживающегося единственно верного и великого правила. Не оглядываться назад, на горящие города, куда проливается прах и сера, не оглядываться назад на тень любимой, что следует за тобой в темном лабиринте. Не оглядываться назад, что бы ни случилось, и нигде не останавливаться, а идти дальше, в гору, где ждут тебя спасение и счастье.

За окном в черном воздухе мелькнула белая тень, затрепетала и исчезла. Она? Ее прощальная весть перед его последним путешествием? Отняв часть памяти, она взамен послала ему этот давно забытый сон. Она узнала его, как и обещала, а значит, ее любовь победила жизнь. Это она хотела сказать, обернувшись белой птицей?

Но уже ревел, призывая его, мотор «мерседеса», и Андрей шел к нему, смиренный и холодный, повинуясь силам, которые неумолимо гнали его дальше. Не взглянув на него, шофер кивнул, нажал на газ, и они опять взлетели ввысь.

Пикник в летнюю ночь

Они, видимо, влетели в тучу. За окнами клубился туман, от него отрывались клочки и неслись наперегонки с «мерседесом». Упершись взглядом в лобовое стекло, повинуясь известным только ему законам навигации, Слава так ни разу и не взглянул на него. Весна осталась позади, и тело Андрея уже успело забыть ее мгновенное, земное тепло.

Перед ним, как бесенята, всё куда-то мчались злые туманные ошметки, и слепому воздуху, казалось, не будет конца. Он попробовал так пристроить голову, чтобы забыться хотя бы на пару минут, и вспомнил про Димку. Обернувшись, он увидел, что тот съехал с сиденья и полулежит, откинув назад голову. Почему-то его особенно поразили разинутый рот и правая рука телохранителя. Она висела из плеча вдоль тела, как у тряпичной куклы. Другая же рука, образовав на спинке кожаного сиденья угол в сорок пять градусов, наоборот, застыла, как деревянная. Скользнув взглядом пониже, Андрей увидел, что в Димкиных пальцах зажата пушка. В затылке сильно заныло, и Андрей опять повернулся вперед. Он покосился на Славу, но шофер и бровью не повел, будто шефа здесь в помине не было. Напомнить о себе Андрей не решился, в сером пространстве явно царила своя, новая для него иерархия.

Он снова уставился перед собой, стараясь забыть о Димке с нелепо раскрытым ртом и пушкой в руке. Ему вспомнилась беременная Димкина жена. Тот иногда привозил ее в своем «пылесосе», когда приезжал за поручением. Она всегда оставалась ждать в машине, даже если Димка сидел у него больше часа. Когда Андрей спросил, не лучше ли в ее положении сидеть дома, Димка засмущался и сказал, что она боится оставаться одна. Вдруг начнутся роды, а у них здесь никого нет. Тогда Андрей предложил ему следующий раз взять ее с собой наверх. Ему захотелось развлечься: интересно, как эта девочка из города сланцев поведет себя в их шикарной после евроремонта квартире. Димка еще больше стушевался и стал говорить, что вряд ли, что она уж очень стеснительная, а когда за ним закрылась дверь, сразу появилась Светка и объявила, что это, между прочим, и ее квартира, и что он там делает за ее пределами – это его дело, а вот в ее пределах она попросила бы с ней советоваться. Как же быстро она усвоила барские замашки. В следующем доме точно построит вход для низшего персонала.

Димкина жена должна была вот-вот родить, и разлучаться им становилось все труднее. Димке было все равно, кто родится,

лишь бы с руками и ногами, а то у них в городе в последнее время младенцы шли на свет убогими, с обрубками вместо конечностей, ну или без пальцев, но это еще ничего, можно прожить. Поэтому, если бы Димка не нашел работу в столице, то увез бы жену к бабке под Псков, чтобы только не дышала загаженным воздухом. Светке это рассказала Славкина жена.

– Пить надо меньше, – говорила потом Светка Андрею. – А то нажрутся, и давай детей лепить, а потом жалей их. Знаем мы их горючие сланцы, вот именно что горючие.

– Это они тоску заливают по империи и по государю, – отвечал Андрей. – Это у них в груди жар-птица. Это понимать надо. Эх ты, жестокосердная дева, дочь советского чиновника.

– А потом жалей их, – повторяла Светка и шла по своим делам, не оглядываясь назад, как и положено.

И разлучаться им становилось все труднее. Сегодня утром она наверняка истерику закатила, или еще хуже: обхватив живот, стояла, тихо глотая слезы. Попробуй, уйди теперь. Суббота, все нормальные люди покупки едут делать, потом в «Макдоналдс» – гамбургер и мороженое есть, а он с пушкой в кармане к шефу на задание. Про карьер он ей, конечно, ничего не сказал. А то бы точно разродилась перед порогом. Андрей усмехнулся. А что? Тогда он хотя бы узнал, девочка у него или мальчик. С конечностями или без. А теперь… А глаза у Димки, кстати, были закрыты? Вроде да. Посмотреть, что ли? Не, лучше не надо пока. Да нет, какая там вина? Не в девятнадцатом веке, чай. Просто каждый поворот головы отдавался дикой болью в виске, а пушка в оцепеневших пальцах телохранителя напоминала о черной морде «ауди», которая хоть и пропала из поля зрения, но и не думала исчезать. Она просто обогнала их, и, умчавшись вперед, затаилась где-то. Вот почему Слава не отрывал глаз от мглы, из которой в любой момент мог вынырнуть черный оскал.

Теперь Андрей тоже стал вглядываться в туман, ища в нем знакомые очертания. Он покрутил головой: если «ауди» вдруг появится сбоку, он сразу предупредит Славу, но за окном все так же бесстрастно плыли серые облака. По лобовому стеклу застучало, поехало ниточками и потекло. Слава на секунду оторвал руку от руля и включил дворники. Дождь. Самый настоящий. От волнения Андрей сглотнул. Наконец-то что-то понятное в этом странном, мглистом силовом поле, которое затянуло в себя «мерседес» с его безмолвными пассажирами. Нестерпимо захотелось открыть окно, сунуть руку в мокрый воздух и потрогать дождь, но покосившись на Славу, он опять оробел. Между тем капли на стекле стали редеть и вокруг посветлело, как будто бы они из тучи попали во вполне

приветливое облако.

Снизу шел голубоватый свет, растворяя в себе остатки мглы. Посмотрев туда, Андрей увидел, что они летят над морем. Слава выключил дворники и, сбросив скорость, начал садиться. У побережья зыбкую голубую плоскость разрезали узкие, темные пеналы со свинцово-серыми нагромождениями. Приглядевшись, Андрей понял, что это военные суда. На берегу были разбросаны коробки неопределенного цвета, цеха судоремонтного завода. К востоку от заводской территории начиналась желтая полоса пляжа. Вот они уже летели над голубоватыми плантациями осоки, потом опять над песчаными дюнами, которые упирались в сосновый лес, отделяющий пляж от дороги. Он успел зацепиться взглядом за стеклянное, обшитое просмоленным деревом пляжное кафе под соснами и сразу же окунулся в тенистые сады во мшистых валунах со старыми деревянными домами и просторными верандами. Руха! Кажется, он даже выкрикнул это слово. Никто не ответил, но ему было до лампочки. Когда он в последний раз так радовался? Может, когда тесть сообщил, что они выиграли дело и супермаркет, один из первых в городе, да еще такого масштаба, да еще в таком районе, теперь в их распоряжении? Тогда у него тоже все задрожало внутри, да, кажется, и снаружи. Во всяком случае Светка, стоящая рядом с бокалом шампанского, воззрилась на него в недоумении. Видно посчитала, что не комильфо. Обычно он игнорировал ее многозначительные взгляды, но тут вдруг заволновался. Чтобы унять дрожь, он отлучился на кухню и быстро опрокинул стопочку. Вернулся уже в форме и стал паинькой лакать сладкую водичку. Это, конечно, Наталья выудила потом откуда-то бутылку «Смирнофф» и водрузила на стол, так, что вокруг зазвенело. «Налегай, ребята». Она, кстати, все делала со звоном.

– Ай да детки, – посмеивался тесть, – ай да интеллигентики. Не зря все-таки в университетах учились. И в консерваториях, – добавил он, подмигнув Наталье.

– Не, Пал Палыч, не скромничайте, что мы без вас? Вы наша экспертиза и великий кормчий, – кокетничала Наталья, тряся белокурой гривой.

– Ни-ни, и даже слышать ничего не хочу, это дело родственное, почему хорошим деткам не помочь?

Руха медленно проплывала перед глазами, как будто он листал давно забытую и оттого еще больше любимую книгу. Вот и Морская улица, а какая улица в Руха не морская? Море в Руха, как собор Святого Петра у католиков, – везде, и если оно не просвечивает синим светом через дома и деревья, то его гул слышен во всем поселке, а запах щекочет ноздри уже на вонючей

автобусной станции. Вдоль моря приморский лес со знаменитой просекой, где в июле было всегда навалом черники и где они соревновались, кто быстрее наберет литровую банку. Подальше, вглубь материка березовая роща по дороге к не менее знаменитому озеру. Туда надо было топать аж семь километров, зато потом можно было с разбегу броситься в тихую, прохладную воду, остужая вспотевшее тело. А вот и остатки заброшенных картофельных полей. Над ними, как мошки, роится лиловатая дымка цветения. Здесь они с отцом как-то набрали ведро картошки, случайно наткнувшись на поле, когда шли с грибного похода. Отец сразу же захотел испечь ее и все учил его, как правильно разжигать костер, а Андрей томился, скучал и ужасно хотел домой, к матери, к ее идеальному яичку в мешочке и ветчине, что она обещала к завтраку. Он не понимал, чего отец так суетится, подумаешь, картошка, но тот ничего не замечал и все бегал туда-сюда с просветленным лицом. Таким Андрей его никогда не видел. Отец, казалось, совсем забыл про него и вспомнил, уже когда загорелся костер, и, катая корягой картошку в золе, вдруг заговорил о своем детстве, о войне и о голоде, и что когда они бежали от огня, то нашли пустой дом с огородом, и что-то о супе из крапивы, который варила мать. Андрей еще больше заскучал от этих ветеранских разговоров, которыми их и так весь год кормили в школе. Отец, хотя и был партийным работником, всегда ругал советскую власть, как и мать, как и все их друзья, а тут вдруг заговорил на чистейшем советском языке, прямо как весь их великий народ, меняя, правда, «фрицев» на «фашистов», может, из-за матери с ее немецкими кровями.

Под ними опять поползли дома. Между соснами на Морской улице была видна старая заводская больница с верандой и мезонином, бывшая вилла какого-нибудь благородного лица времен республики. Здесь теперь хорошим знакомым и знакомым знакомых заводское начальство сдавало комнаты на лето. А вот уже и Белая речка, а за ней, на пригорке, еще совсем розовенький, свежеотштукатуренный Дом моряка, где у них был отдельный номер на втором этаже. Там его ждала мать в залитой солнцем комнате. Пахло свежемолотым кофе. Мать никуда и никогда не ленилась брать с собой кофемолку. Здесь казенные столы и тумбочки были одомашнены яркими салфетками, которые она пачками привозила из ГДР и стирала потом в Белой речке для пущей чистоты. Здесь на накрытом столе его ждали идеальное всмятку яйцо, янтарно-желтое масло на блюдечке с кудрявыми пастушками и розовые с мраморными прожилками ломти ветчины, которую отец доставал на мясокомбинате.

Перед Домом моряка скверик со скамейками, теперь

пустыми, а вечером заполненными томившимися по морякам местными девицами в полной боевой раскраске. Сразу за пыльными от самосвалов тополями Советская улица, налево ведущая к кинотеатру «Заря» и к заводу, направо к библиотеке, школе, ресторану и автобусной станции. А за Советской улицей русский район с бараками, баней и современными кирпичными домами со всеми удобствами, куда они с матерью ходили мыться в душе у знакомого инженера, когда в Руха давали горячую воду.

«Мерседес» парил над перекрестком Советской и безымянной дороги, что вела в русский район, построенный в Руха одновременно с заводом. Слава выключил мотор и положил голову на руль, обняв его обеими руками. То ли спал, то ли расслаблялся после напряженной езды. С заднего сиденья не раздавалось ни звука. В салон вливался чистый утренний свет, разгоняя тьму и страх во встревоженном сердце и охлаждая перегревшиеся от непрерывных оборотов мозги. Хотя машина не двигалась с места, Андрей, как на ладони, видел перед собой всю Руха. Все ее дороги и тропинки, все ее малинники и валуны, таинственные, тихие сады с гамаками под старыми яблонями, с кладбищем на Спокойной улице за мшистой оградой из плитняка, где на прохожего с крестов глядели бесчисленные лица, втиснутые в овальные выемки. А вот и дорога, по которой они шли на пляж, сначала спускаясь к мостику через Белую речку, а потом поднимаясь по холму в сосновый лесок с заброшенной баскетбольной площадкой, и недостроенный дом черного капитана, которого он так никогда и не увидел, и грязно-белое здание «Зари», где крутили индийские фильмы, а иногда и вполне приличное европейское кино, и где местная шпана улюлюкала и громко стонала во время любовных сцен, а курортницы из Москвы и Ленинграда, учительницы конечно, возмущенно фыркали и призывали соблюдать общественный порядок.

Он знал каждую деталь рухаского пейзажа, каждое заветное место в лесу, на пляже, в дюнах приморского леса, на школьной территории, на лугу у Белой речки и за большим камнем, каждую крапинку, морщиночку, складочку, каждое пятнышко на этом пронзительно родном лице, которое здесь приняла земля. Руха медленно разворачивалась перед его счастливыми глазами, как китайский свиток, и каждая деталь, которую он помнил, как самого себя, оберегала его от черной морды «ауди», затаившейся в сумерках. Пока он здесь, с ним ничего не случится, не может случиться.

Андрей приоткрыл глаза и снова зажмурил их, теперь уже от

солнца, бьющего через тонкую занавеску. По комнате бесшумно передвигалась мать. Пахло кофе, позвякивала посуда, в открытом окне кричали чайки. Этим летом отец снова устроил им угловую комнату на втором этаже, самую просторную и светлую во всем доме. И кровати в этом году здесь поставили деревянные, с полированными спинками, вместо железных и узких, как в больнице. Не поднимая головы, Андрей опустил ногу на нагретый солнцем дощатый пол и потянул носом теплый июньский ветер. Вставать не хотелось. Он опять прикрыл глаза и почувствовал, как мягкий ветер Руха наполняет его тело и, качая его, как на волнах, затягивает в блаженный, светлый сон самого длинного дня в году.

Хлопнула дверь и в комнату вошла мать. Улыбнулась, кивнула, поставила на стол чайник и принялась резать копченую колбасу. С ножа на доску падали вкусные кружочки, которые она раскладывала рядом с ломтиками сыра. На соседних тарелочках уже красовались безупречно нарезанные огурцы и помидоры, а в специальных рюмочках, которые она привезла из ГДР, круглились вареные яйца. И везде было солнце. Оно просвечивало через тонкий фарфор чашек, разбрызгивалось бликами по столу, по мягким рукам матери, оно отражалось в ложках и ножах, тихо пламенело в клубничном варенье, рисовало узоры на потолке и стенах.

Мать все улыбалась, расставляя тарелки и чашки, нарезая хлеб, переливая молоко в белый в незабудках молочник. Андрей перевернулся на бок и скинул с себя одеяло, но все еще не мог поднять голову с подушки. Щеку, бок и ногу, которую он выпростал из-под одеяла, руку, свисавшую до пола, поглаживая, грело солнце. Торопясь жить, по утрам он обычно быстро вскакивал с постели и бежал умываться, но сегодня почему-то даже шевелиться не хотелось. Если бы не завтрак, не отец, который должен был приехать на первом автобусе, не мать, в конце концов, время от времени вскидывающая на него глаза, он мог бы еще долго лежать так, в полудреме, вбирая в себя ветер и свет Руха, запах моря, крики чаек и ощущая себя частью всей сущей материи. Это чувство было незнакомо ему, словно он вдруг изменился за ночь. Еще вчера вечером, поздно вернувшись от знакомых москвичей, которые снимали у эстонцев две комнаты с верандой в самом конце Спокойной улицы, они с матерью оживленно обсуждали их полубогемную, полудиссидентскую жизнь, их гениальную, но непрактичную дочь, которой все прочили блестящее будущее, втихаря судача, что она останется синим чулком, их откровенное презрение к быту в целом и к чистоте и порядку в частности, их неидеальные, но сытные котлеты с макаронами и дефицитный индийский чай с

земляничным вареньем, а также совершенно первозданный хаос их жилища со всепоглощающими книгами, их бесконечные разговоры об идеалистической революции, которая когда-нибудь спасет их несчастную страну, и то, как им удавалось жить на широкую ногу, не имея постоянного источника доходов.

А сейчас в голове не было ни одной мысли, ни одного воспоминания, ни даже желания, как будто он начинал жить заново, еще не зная, что ему думать и чего хотеть, потому что все было возможно в этой новой, прекрасной жизни, такой же бесконечной и светлой, как и предстоящий день. Так, нежась в лучах солнца, которое сегодня, взлетев на высшую точку над горизонтом, победит ночь, Андрей, полузакрыв глаза, наблюдал за матерью. Она, как всегда, неуклонно соблюдала ритуал завтрака, облагораживая и осмысляя ту самую материю, которую презирали москвичи. Обычно Андрей садился к накрытому столу, не думая о том, как она успела все это сделать, не разбудив его, бегая с чайником и подносом из комнаты на кухню на первом этаже, где стояли холодильник и одна плита на весь дом. Она никогда не просила помочь, понимая, как неловко ему в этом бабском мире, оккупировавшем кухню сковородками, кастрюльками и вечной трепотней. Голодный как зверь Андрей сразу набрасывался на еду, а мать сидела напротив, аккуратно жуя тоненькие бутербродики с мелко порезанной петрушкой и укропом, и все подкладывала, и подливала, и пододвигала ему тарелочки и вазочки.

Но сегодня, насыщенный светом и ветром, он не чувствовал ни голода, ни своего неуемного, бурно растущего тела, которое, казалось, растворилось в сиянии, и теперь тоже рассыпалось солнечными бликами по столу, по лицу и рукам матери, по ее цветастому халату. Сегодня все изменилось, как будто мать делала что-то особенное, в первый и последний раз, и именно поэтому ему обязательно нужно было запомнить ее. Какое-то время он даже перестал слышать чаек, глядя на все эти давно известные и привычные действия, сливавшиеся в то самое неповторимое мгновение, которое так никому никогда и не удалось остановить.

С шумом распахнулась дверь, и сразу же раздались стук и звякание. Это подпрыгнула и опять упала на место крышка ведра, которое отец с выражением поставил на пол. Андрей зажмурил глаза. Мать зашикала, но отец уже прошел к его кровати и загремел над головой.

– Спит еще, что ли? Ты чего, совсем с ума сошла, разбаловала парня, во что вы его тут без меня превращаете?

Мать хмыкнула.

– Уймись, и потом, кто это – «вы», интересно? Ты, давай, на работе своих оборванцев воспитывай. А здесь нечего к ребенку приставать.

– К ребенку… да я в его возрасте…

– Лес валил, дороги строил, снег убирал, знаем, знаем мы про ваши университеты. Пускай поспит еще, сегодня всю ночь на ногах. Устал он.

– Да от чего он устал-то? От каникул, что ли?

– Подрастающий организм, вот от чего. И потом, он мальчик нежный, чувствительный. Не то, что ты.

– Тем более, – не сдавался отец. – Значит, надо его закалять, а то пропадет.

– Ладно, как-нибудь без твоих советов обойдемся, сами педагоги. Подумаешь, как закалялась сталь. Сейчас другие времена.

Отец уже отошел от кровати и выгружал на стол продукты.

– Ну мать, ты даешь. Я, между прочим, тоже очень даже чувствительный и всю жизнь от этого страдаю.

– И я тоже страдаю, – ответила мать. – Только ты у нас, майн херц, не то чтобы чувствительный, а скорее темпераментный, со всеми вытекающими последствиями.

– Страдания не такой уж юной Катерины, – сказал отец. – Прямо по Гёте живем.

– Молодец, – засмеялась мать, – все-таки ты научился чему-то у своей холодной немецкой половины.

– Жить надо благородно, ты права, Катерина. Гёте, Тургенев, Толстой. Но и о хлебе насущном нельзя забывать.

Тут отец замолчал, создавая торжественный момент. Мать тоже помалкивала.

– Меня вчера, дорогая и любимая жена Катерина, на общем партийном собрании избрали парторгом.

– Да ты что? И Сан Саныч проголосовал? Он же сам в парторги метил.

– Да он мою кандидатуру и выдвинул, чтобы, не дай бог, Юрика не выбрали. Он же с его женой крутил, у них это дело в сауне началось, ты, может, помнишь, ну, когда мы там 7 ноября отмечали. Сан Саныч ее как увидел в купальнике, так и обомлел.

– Можешь не продолжать, я все поняла. Праздник помню смутно, у вас что ни красный день календаря, то баня.

– А как же? Это называется культурный отдых. Повезло нам с коллективом.

– Да уж точно, дружный коллектив. Только дай выпить и позажигать во славу родины. Так что нервничал, значит, Сан Саныч из-за своей русалки.

– Вот именно что не из-за своей. Своя у него в полном порядке, в Финляндию ездит два раза в год, чемоданами тряпки привозит… Ну а ты как думала? Его бы Юрик заживо сожрал, а теперь парторг его лучший друг, и коллектив доволен, а это самое главное. Сан Саныч-то у нас бани организует на высшем уровне, ну и вообще, у него все бармены в Таллинне лучшие друзья. Ну и нам хорошо…

Отец прошел к двери, подхватил ведро и, подойдя к окну, пристроил его куда-то в угол и опять заговорил, от возбуждения расхаживая по комнате.

– Я тебе вот что скажу, мать, будем расширяться и жить, не хуже эстонцев, это я тебе гарантирую как любящий муж и новоиспеченный председатель партийной организации. Зарплату прибавят – раз, участок хороший дадут – два. Будем строиться наконец, теперь и с материалами не проблема. Хочу, чтоб из дерева все было, чтоб натуральное, чтоб дышало. И Гришка поможет со своими ребятами. Участок это да, хочу, чтоб нос к морю, чтоб йод – раз и в организм, без препонов, а в спину чтоб лес, тишина, грибы, ягоды, но и от города недалеко. Сауну построим, огород посадим, сад разобьем с камином, тюльпаны разведем голландские, и станешь ты у меня, Катерина, на старости лет помещицей…

Мать посмеивалась, разворачивая пакеты, передвигая что-то и шурша бумагой.

– Ладно-ладно, посмотрим, товарищ помещик, давай сначала завтракать садись…

– Да чего «ладно», все будет как я тебе говорю, не сомневайся, и сады цветущие, и парники с помидорами, и беседку поставим, чтобы чаи гонять, беседы светские вести, ну и классиков читать, само собой, Гёте там или Шиллера. А если хочешь, можно и китайский домик построить в виде пагоды, прям как в царских садах, Гришка все умеет. А потом пиры будем закатывать на весь мир, что я, зря пахал всю жизнь и в детстве крапиву ел.

– Ну про твое детство мы уже слышали, и не раз, а пашут на заводах и на фабриках, а у вас все так больше языком чешут.

– Так это ж идеологическая работа, Катерина, это знаешь какая ответственность. Это понимать надо. Классовое сознание надо повышать? Надо. А моральный облик еще паче. Что нам наказывал товарищ Брежнев на прошлом съезде? А товарищ Кябин? Вот ты не знаешь, а мы это, между прочим, изучаем и внедряем…

– Ладно-ладно, – говорила мать, – ты лучше ветчину ешь, а то она уже вон на солнце плавится. И не забывайся, пожалуйста,

друг мой, со своей идеологической работой, здесь все-таки приличное общество. Вот уже и Андрюшу разбудил своей идеологией, видишь, он лежит смеется…

– Так ты не спишь, мерзавец? Слышал все? Ну привет, сын. А я мясо твое любимое привез. Баранина первой и единственной свежести. Прямо с комбината. То ли еще будет.

– Это точно, – сказала мать. – Скоро жить будет еще лучше и веселее.

Вся компания, увешанная ведрами и пакетами, еще тащилась по дороге, а он уже успел добежать до большого камня. Сегодня почему-то лезть на него не хотелось. Хватит покорять вершины. Положив на камень ладонь, Андрей стал медленно обходить его. Сделав два круга, он прислонился к нему спиной и закрыл глаза, вспоминая, как он в первый раз залез на камень по отцовским плечам. Ему, наверное, тогда было лет шесть. Внутри все дрожало, но пока он чувствовал тепло отцовских рук и плеч, свою связь с ним, ему было не так страшно. Когда же он обеими руками ухватился за плоский верх, уже почти во весь рост стоя на плечах отца, дрожь оборвалась, и вместо нее в тело пополз холод камня, который ждал его, угрюмый и неподвижный. Он покачнулся, и отец, видимо догадавшись, что он боится, крепко сжал его лодыжки и что-то бодро выкрикнул, перекрывая ему дорогу назад. Тогда Андрей стал подтягиваться на руках, все выше и выше, скользя пальцами по гладкой поверхности, касаясь подбородком холодного камня и думая, что никогда не доберется до вершины, пока грудь его вдруг не уперлась в край, и вот он уже, извиваясь змеей, полз животом по камню, даже не заметив, как ноги оторвались от отца. Какое-то время он лежал, не в силах поднять голову и вбирая в себя холод ледников, навсегда поселившихся в камне. Снизу слышались возгласы: «Андрей, Андрюша», но он молчал, прижав ухо к большому камню и стараясь услышать в нем грохот великого движения, миллионы лет назад пригнавшего камень в Руха.

Опять послышались голоса и смех, компания приближалась, вырывая его из одиночества, которое он разделял с камнем, и оттого приятное ему. Народ, собравшийся праздновать Иванову ночь, был свой. Отец с матерью да пара-тройка старых знакомых из Ленинграда и Москвы, которые каждое лето приезжали в Руха. Он различил голос отца, тот рассказывал, что баранину надо мариновать по-грузински, с белым вином, уксусом, хмели-сунели, чесноком, и с самым важным ингредиентом – временем. Мясо должно обязательно пролежать в маринаде не менее суток. «Ну это у них, в Грузии, они там до ста живут, куда им спешить. А у

нас тут инфаркт на инфаркте, хорошо, если до пятидесяти дотянешь», – бурчал кто-то. – «Вот потому и доживают, что не спешат, – отвечали пессимисту. – У них там горы, кинза и до Кремля далеко, почему не пожить?» – «А у нас море, финское телевидение и до Кремля тоже вроде как не рукой подать, – говорил оптимист. – Это вот москвичам, да, тем не позавидуешь». Тут опять зазвучал басок отца, но Андрей, оторвавшись от камня, уже бежал дальше.

Он знал, где отец наметил пикник, и хотел прийти туда первым. Место было за Далеким хутором, на светлом лугу, с одной стороны окаймленное ржаным полем, а с другой – ельником. Когда-то они случайно выбрались сюда, возвращаясь с грибного похода и свернув не на ту просеку. Пройдя через березовую рощицу, Андрей вышел к лугу. Место и правда было что надо. У кромки леса пепелище, вокруг поваленные деревья, на которых можно было отлично расположиться, а подальше разбросаны валуны. Весь луг был облит солнцем, ветер остался гулять за лесом, и стояла такая тишина, что было слышно, как шелестит трава. Дойдя до середины луга, Андрей остановился и огляделся. Хотя все это было знакомо ему, сегодня луг показался загадочным, как будто его здесь вовсе и не было, а появился он только сейчас, специально для него. Как будто пока Андрей бежал сюда от большого камня, лес расступился и раскрыл перед ним одну из своих тайн. Он еще раз повернулся вокруг своей оси, посмотрел на небо, опять на лес и засомневался.

А может, это совсем не тот луг, на который они тогда вышли, и отец что-то перепутал? Сколько они тогда шли отсюда до Далекого хутора? Уж точно не дольше четверти часа, так что по расстоянию вроде все совпадало. Он стал обходить луг по окружности, пытаясь вспомнить какие-то детали, которые отличали его от других. На первый взгляд все сходилось. И ржаное поле, и пепелище в кругу поваленных деревьев, на которых уже зеленели новые ростки. Правда, ему показалось, что стволов тогда было больше, хотя он их, конечно, не считал. Может, их просто увезли на дрова? Потом он вспомнил, что на том лугу было два одинаковых, заостренных кверху валуна, а между ними плоский камень с прямыми углами, похожий на пьедестал, как будто его обтесала человеческая рука. И вот его-то сейчас Андрей как раз и не мог найти – между двумя заостренными кверху камнями зияла пустота, и он все бродил среди валунов, как зачарованный, как будто тот камень мог изменить форму или оказаться в другом месте. В растерянности он присел на валун, и тут ни с того ни с сего подумал, что может и он – это кто-то другой, перед которым предстал этот

незнакомый луг. Такой бред раньше никогда не приходил ему в голову и, пораженный даже не этой нелепой мыслью, а скорее самим собой, способным подумать такое, он замер, больше ничего не предпринимая и совершенно явственно видя перед собой тот квадратный камень, вместо которого теперь зеленела травка.

Раздались смех и голоса, и вдали показалась вся компания во главе с отцом, который, никому не доверяя, нес ведро с маринованной бараниной. Андрей вскочил на валун и замахал руками, приветствуя его.

– Андрей, вот ты где! – закричал отец и помахал ему свободной рукой.

Конечно, это был тот самый луг, который они тогда нашли с отцом. И как ему могла прийти в голову такая дурацкая мысль? Народ уже ввалился на луг, растекаясь по нему, без промедления вовлекая травы, деревья, валуны в орбиту своей деятельности. Это были практичные, энергичные люди, и все так и горело под их ловкими пальцами и проницательным глазом, коим они мгновенно отделяли полезное от бесполезного, приспосабливая луг к своим потребностям. Вот уже звякала посуда, были расстелены скатерти на траве, пристраивались в тень бутылки с вином и соком, а на валунах поровнее резались овощи и хлеб. Мужчины уже натаскали откуда-то плоского плитняка и теперь сооружали мангал, а кто-то решил построить шалаш и зычным голосом побуждал всех искать гибкие ветви. Ленинградский приятель в синей школьной эстонской фуражке, посвистывая, обтесывал ножом здоровый сук, на случай дождя на четырех палках можно было растянуть целлофан и продолжать пировать. К Андрею приближалась мать с какими-то банками. На ней были светлые спортивные штаны, которых он раньше не видел. Погруженная в беседу с московской подругой, мать, кивнув, прошла мимо, и ему почему-то стало грустно, что она ничего не спросила у него, увлекшись разговором.

Обычно Андрей легко присоединялся к любой компании, не желая оставаться в стороне от движения, но теперь все эти четко слаженные действия как-то ускользали от него. Он никак не мог найти лазейку, чтобы нырнуть туда и подключиться к общим действиям. Так и не зная, куда себя деть, он опять потащился к валунам в поисках квадратного камня. Ему было неловко, что он ничем не занят, но никто не замечал его, поглощенный каждый своим делом. Между тем луг, наполненный шумом и голосами, потерял всю свою загадочность. Из головы исчезли странные мысли, видимо не в силах выдержать натиск человеческой энергии, а вместо них появилось одиночество, которое он уже не

мог разделить ни с кем, кроме как с большим камнем.

– Андрей, ну чего ты маешься? Тебе что, заняться нечем? – раздался голос отца.

В шортах, голый до пояса, тот руководил сооружением мангала. Тыльной, чистой стороной ладони отец вытирал пот со лба, одновременно откидывая назад черные волосы. Отец был красив необычной, диковатой красотой, и непонятно было, как он сам к этому относится. Мать, во всяком случае, только посмеивалась, когда женщины, не в силах оторваться от него, подкидывали все новые темы для разговора. Но отца, кажется, больше интересовали цветущие сады, парники и камин их будущего дома. В этом смысле он был как эстонец, помешанный на куске земли. Однажды мать сказала, что ее не проведешь, что она точно знает: самое счастливое время в его жизни было, когда они с матерью, братом и сестрами, убегая от фронтовой линии, вышли на брошенный дом с садом и жили там все лето, пока не погибли мать с братом, и огонь, уже сиротами, не погнал их дальше на запад. И что теперь отец все искал этот дом с цветущим садом, чтоб веселил его сердце, и с огородом, чтоб кормил его. И что за этот дом, в котором он мог спрятаться от мерзости запустения, он был готов душу продать. Отец не стал возражать, только ухмыльнулся и ответил, что ей как дочери народа, подарившего миру бессмертного душелюба Гёте, конечно, лучше знать, но ведь и она, заложив свою душу, тоже строила себе дом, правда, не на берегу моря, а на советском академическом поприще.

Конечно, как человек компанейский и кандидат в парторги, отец ходил на праздники в баню, где весь коллектив пил горячительные напитки и расслаблялся, оголив тела. Но в отличие от плешивого, бесцветного Сан Саныча, каждый раз влипавшего в историю с очередной русалкой, которая оказывалась совершенно неотразимой в купальнике, отец обходился без авантюр.

Он оторвался от мангала и выразительно посмотрел на сына.

– Кто не работает, тот не ест. Шашлык кушать любишь? Любишь. Вот и давай, сгоняй в лес за хворостом, да посуше бери, скоро костер будем делать.

Андрей вошел в лес, и, пройдя немного, оглянулся, чтобы запомнить тропинку, по которой нужно будет возвращаться. Он было уже пошел дальше, как вдруг в просвете между еловыми ветками увидел мать. Нагнувшись, она возилась на стволе у пепелища. Хотя он не видел ее лица, он знал, что она чуть улыбается, как всегда, когда она обустраивала жизненное пространство, как бы лепя его по своему образу и подобию. Он

еще раз подумал, что не видел раньше светлых брюк, которые она сейчас закатала до колен. Андрей повернулся и зашагал дальше, хотя хвороста вокруг было предостаточно. Но ему почему-то казалось, что хворост здесь не такой, какой нужен для их костра, который сегодня ночью заменит солнце. Он уже больше не смотрел по сторонам и вниз, а все шел вперед по устланной хвоей, бугристой, упругой земле. Дойдя до черничника, тропинка сузилась, но отчетливо прорезая еще пустые кустики, все дальше уводила его от луга, от матери с отцом и от всей их теплой компании. Погружаясь в толщу леса, Андрей вдруг подумал, что ведь и у леса, как и у людей, должно быть сердце, где он хранит свою тайну. Сегодня он уже почувствовал это могучее сердцебиение, словно огромный маятник раскачивался по всей Руха. Сначала утром в постели, купаясь в солнце и ветре, потом у большого камня и на светлом лугу, который зачаровав его, на миг заставил усомниться в реальности происходящего. Вот и сейчас, вместо того чтобы остановиться, собрать сколько нужно веток и пойти обратно, он продирался сквозь ельник, обцарапывая руки и ноги и совершенно позабыв, что его ждет отец. Ельник стал редеть, вот уже показались осины и березы, расстояние между ветками все расширялось. Впереди засветлело открытое пространство и, пройдя еще каких-то полсотни метров, Андрей понял, что вышел к Далекому хутору. Это мог быть только он, поскольку других хуторов здесь поблизости не было. Отогнав от себя мысль, что тогда он все это время удалялся от светлого луга, Андрей подошел поближе и огляделся. Он уже несколько раз бывал здесь, поскольку сюда каждый год в июле и августе приезжали знакомые москвичи с дочкой его возраста. Сейчас их еще не было, и небольшая пристройка, которую они снимали у хозяев, пустовала. Не решаясь пока зайти в сад, он обошел его и, остановившись перед домиком, убедился, что там никого нет. Дверь была закрыта на засов, и все занавески задернуты. Он еще постоял какое-то время, прислушиваясь, но ни из глубины двора, ни из большого дома не раздавалось ни звука. Даже собака куда-то запропастилась. Тогда Андрей углубился в сад и опять осмотрелся. На веревке висело пестрое лоскутное одеяло, там же под старыми яблонями раскачивался гамак. У сарая лежали дрова, рядом чурбан с воткнутым топором. Посередине двора был колодец, от которого к крыльцу большого дома вела дорожка из плитняка. Хутор как хутор, ничего особенного, кроме того, что здесь не было забора, видимо потому, что стоял он в лесу, а лес для эстонца был естественным продолжением его дома, и поэтому всегда защищал его. А еще на Далеком хуторе жила Инес, королева Руха. Инес появилась в Руха в прошлом году. Вообще-то

она всегда жила здесь, просто никто не замечал ее, пока ей не стукнуло пятнадцать. Тогда вдруг все увидели ее, и местные и дачники, и поразились ее красоте. Народ стал говорить, что скоро слух о ней дойдет до знаменитого московского режиссера и он пригласит ее играть в своем фильме, как ту другую, знаменитую эстонскую красавицу, которая, с отрешенным видом бродя по апокалиптическим грязновато-коричневым ландшафтам и так и не проронив ни слова, прославилась на всю страну.

Кроме Инес на Далеком хуторе обитало много народу. Андрей точно не знал, как они все были связаны между собой. Инес, во всяком случае, жила здесь с бабушкой. Отца у нее не было, а мать уехала устраивать свою судьбу в город, когда Инес было два года. Осмелев, Андрей подошел к большому дому и поднялся на крыльцо. Веранда оказалась открытой, и он осторожно заглянул внутрь. На столе стояли чайник и чашки, сахарница, банка с вареньем, над которой жужжали мухи. Дальше он не пошел, и, спустившись с крыльца, стал обходить дом, заглядывая во все окна. Интересно, где была комната Инес? Наверное, наверху, где она могла вволю оставаться наедине со своей красотой. Вдруг он отпрянул назад и пригнулся. В комнате в торце доме кто-то лежал на кровати. Держась за подоконник, Андрей стал тихонько подниматься, пока его глаза не уперлись в лежащее на боку тело с платком на голове. Спящая старуха. На коврике перед кроватью расположилась собака, как будто ее главным делом теперь было сторожить не дом, а старухин сон. Обойдя весь дом, Андрей вышел к веранде. Кажется, все ушли куда-то, оставив здесь одну старуху. Тут он опять вспомнил про отца и что его ждали на светлой поляне, но не было сил уйти, бросить все это, как будто и Далекий хутор, и сад, и Инес, которая, даже невидимая, наполняла его своей красотой, держали его здесь, обещая чудо, но только сегодня, в эту летнюю ночь.

В глубине двора стояли разноцветные деревянные стулья. Андрей помнил их еще с того раза, как они приходили сюда в гости к москвичам. Тогда на них расположилась крутая компания чуть постарше его, а в центре ее Инес. Хотя выборы еще не прошли, она уже знала, что будет королевой, и поэтому сидела на облупленном красном стуле, как на троне. По неписаному закону москвичи и их гости не заходили так далеко на хозяйскую территорию, и Андрей стоял у кустов смородины, где проходила воображаемая граница, которую строго блюли обе стороны. Потом, чтобы не мозолить компании глаза, он зашел в домик и стал смотреть на них через окно, уже не боясь, что засветится. Инес все больше молчала – ведь такая красота заменяла ей все, что обычные девочки пускали в ход, чтобы привлечь к себе

внимание. Все и даже больше. Иногда она проводила рукой по волосам, которые недавно подстригла «под сэссон», и уже одного этого тихого жеста было достаточно, чтобы пижонистые эстонские парни в джинсах и в импортных майках замолкали и начинали ерзать на своих стульях. А то она поворачивала свою высокую, гордую шею, просто так, и парни, как по сигналу, сразу начинали суетиться, стараясь угодить ей, кто чем может. Если бы его не позвали пить чай, он так бы и просидел весь день, глядя на нее.

Андрей прошел мимо сарая и сел на красный стул. На веревке, уже в самом лесу сушилось белье. Брюки, халаты, голубой сарафан в горошек. Сарафан покачивался на ветру, и это равномерное движение убаюкивало его, навевая легкий сон. Кажется, он задремал, а очнувшись, чуть не подскочил со стула. Вот дурак. Куда они могли все пойти, кроме бабки? Конечно, справлять свой любимый праздник, день летнего солнцестояния. Значит, и ему было пора. Он вдруг почувствовал, что ужасно устал и голоден, и заторопился, вспомнив отцовский шашлык, который скоро с дивным ароматом зашипит на мангале и про который он успел начисто забыть, бродя вокруг Далекого хутора. Перед тем, как нырнуть в лес, Андрей окинул хутор прощальным взглядом, еще раз удивившись, что собака так ни разу и не залаяла, как будто знала его, и зашагал обратно.

Уже скоро осины и березы остались позади, и лес начал густеть, обступая его со всех сторон. Он опять пробирался через черничник по еле заметной тропке, над головой поскрипывали сосны и время от времени ему приходилось перелезать через поваленные ели – от усталости и голода они казались ему теперь куда массивнее, чем на пути сюда. Андрей решил набрать хвороста уже поближе к лугу, чтобы не тащиться с ним всю дорогу. Он пересек несколько просек, которых не заметил, когда шел сюда, и подумал, что тогда попросту не обратил на них внимания. Это немного сбило его с толку, и он решил, что следующий раз надо быть повнимательнее, как учил отец, всегда повторявший, что одна дорога туда и обратно в лесу означает две совершенно разные дороги. Ельник все не кончался, и он уже начал чуть беспокоиться, что незаметно пошел в другом направлении, как впереди посветлело. Значит, сейчас будет поляна.

В предвкушении веселой компании и шашлыка Андрей взбодрился. Он снова вышел на ровную тропинку и прибавил шагу. Воздух, льющийся между деревьями, поголубел, и, приглядевшись, Андрей увидел, что там, где должен был кончаться лес, колышутся освещенные солнцем заросли камыша. Навстречу ему уже хлынул изумрудный камышовый свет, а ветер

наполнил уши легким шелестом. Он еще даже и сообразить не успел, что у их луга и в помине не могло быть никакого камыша, как вдруг увидел озеро.

Оно блестело перед его завороженным взглядом, пока он пытался уразуметь, где он и как попал сюда. Он точно знал, что в лесу за большим камнем никогда не было озера, а уж тем более такого безбрежного, как море. В Руха было только одно озеро, то самое, знаменитое, в приморском лесу, до которого нужно было топать семь километров. Другое же находилось к западу от Руха около Валмсе. Они когда-то ездили туда с отцом, но до него было уж точно километров тридцать. И тем не менее сейчас он стоял на берегу самого настоящего озера, и всего в получасе ходьбы от Далекого хутора. Сегодня лес во второй раз устроил ему такую шутку. Но тогда на луг вышла их компания во главе с отцом, быстро расставив все по своим местам и положив конец нелепому розыгрышу, а сейчас он был совершенно один у озера, к которому никто не мог выйти просто потому, что его здесь никогда не было. И пока Андрей смотрел на водную гладь, он опять подумал, что, может быть, и он – это не он. Теперь эта мысль уже не так поразила его, как тогда на лугу, как будто он уже успел немного привыкнуть к ней. Ему даже стало весело, когда он представил себе, как ровно в эту же минуту он выходит на светлый луг с охапкой хвороста в руках и идет к отцу, а тот встречает его, как ни в чем не бывало и, сотрясая воздух своим зычным голосом, объявляет, что наконец-то он явился и что мать уже начала волноваться, и вообще давно пора разжигать костер, все проголодались как волки.

Из камышей с криком вылетела птица, и тут же за спиной у него раздались шум и топот.

– Эй ты, Таймо не видел? – по-эстонски закричал женский голос.

Андрей обернулся. К нему бежали две девушки с венками на голове.

– Чего рот разинул? Мы его уже битый час здесь ищем.

Теперь, когда они, запыхавшись, остановились перед ним, он узнал их. Ту, что спрашивала, звали Ану. Она была внучкой старой хозяйки со Спокойной улицы, где снимали знакомые москвичи и куда они с матерью накануне вечером ходили в гости. Другая была подружка Ану из города, которая жила у них летом. Он не знал, как ее звали, да и с Ану не всегда здоровался, поэтому очень удивился, что они обращаются к нему, как к старому приятелю. Он покачал головой, понятия не имея, кто такой этот Таймо.

– Ну вот, я же говорила, что он козел, – сказала городская и,

посмотрев на Андрея, повторила. – Если увидишь, так ему и передай, что козел.

– А ты что здесь делаешь? – спросила Ану. – Ждешь, когда они в воду пойдут? Еще рано, придется потерпеть.

Андрей не успел еще и подумать, кто такие «они», как она громко захохотала и ударила городскую локтем в бок.

– Помнишь, как в прошлом году?

Та тоже захихикала, обнажив мелкие белые зубы.

– Они чуть не потонули и одежду им уже только потом отдали. Так им и надо, нечего было соваться раньше времени.

Тут Ану перестала смеяться и, посмотрев на солнце, сказала:

– Остался час, скоро надо идти, кстати, а ты уже знаешь, где будешь искать?

Это она спросила у Андрея, а когда тот только пожал плечами, то со вздохом закатила глаза.

– Ты чего сегодня такой тупой? Имей в виду, мы с Линдой у старого колодца, так что просим туда не лезть, а то хуже будет.

Линда, значит так звали городскую. Теперь она, прищурившись, чересчур пристально смотрела на него. Повернув голову к Ану, она сказала:

– Я его, между прочим, у костра не видела, а ты?

Та же, в упор глядя на Андрея дерзкими синими глазами, со значением покачала головой.

– Отлынивает.

– Отлынивает, козел, – подтвердила Линда и сощурила глаза. – А что за это бывает?

Переглянувшись еще раз, они, как сговорившись, мигом набросились на него и стали валить на землю. Скоро одна уже сидела у него на груди, трепля за уши и вороша ему волосы, а другая, ползая вокруг на карачках, тискала и щекотала его по всему телу, повизгивая, как поросенок. Он хотел было возмутиться и уже открыл рот, чтобы послать их на три буквы, как сам неожиданно расхохотался, то ли от щекотки, то ли от мысли, что настоящий он теперь разжигает на лугу костер вместе с отцом, слушая его наставления насчет мангала и идеального шашлыка, а этот, тоже настоящий, но новый для него Андрей, катается по траве с двумя шальными, разгоряченными, пахнущими лесом и земляникой девицами, понимая к тому же до единого слова все, что они вопили, хотя до этого плохо знал эстонский. Ану и Линда так же внезапно отстали от него, и теперь они все трое, тяжело дыша и раскинув руки, лежали на спине и смотрели в бледнеющее небо. Первой вскочила Линда. Надев на растрепанные волосы венок, она пихнула ногой Ану. Та поднялась, и сразу за ней, потирая бока, встал Андрей.

– Пора! – выкрикнула Ану, тоже нахлобучив венок, и, схватившись за руки, девицы, не оглядываясь, побежали прочь. Теперь он увидел, что вокруг их ног вихрем развевались длинные цветастые юбки. Андрею вдруг стало страшно, что он опять останется один, у озера, которого здесь никогда не было и не могло быть.

– Эй, куда вы! А как же я? – закричал он им вслед, но они и не думали оборачиваться. Испугавшись, что они вот-вот исчезнут, Андрей сорвался с места и ринулся за ними. Яркие юбки мелькали между деревьями, пропадали и опять выныривали откуда-то уже совсем с другого бока, а он, спотыкаясь о кочки и обдирая руки и ноги, несся за ними, сломя голову, больше всего на свете боясь потерять их из виду. Наконец лес начал редеть, и бежать стало легче. Впереди опять посветлело, деревья стали расступаться, а цветастые юбки, последний раз взметнувшись перед его глазами, нырнули в сторону и окончательно исчезли. Перед ним расстилалась большая поляна, и, приостановив свой бешеный бег, он вступил на нее. Пошатываясь от напряжения, он прошел несколько шагов и только тут увидел, что поляна полна народу. Люди бродили, стояли небольшими группами или кучками сидели на траве, причем парни и девушки отдельно. Рука в руку, склонив голову, прохаживались парочки и, обнявшись, медленно водили хоровод подруги в таких же ярких юбках, как у Ану и Линды, и с венками на голове. Здесь же с гомоном бегали дети, в белых рубашках, и никто не одергивал их и не призывал к порядку. Но больше всего Андрея поразила пегая кудлатая дворняжка, которую он часто видел в Руха. Он не знал, чья она, да это и не имело значения. Собака, с вечно свалявшейся, пыльной шерстью на боках, была такой же частью рухаского ландшафта, как и заколоченная будка, где иногда продавали мороженое, или обшарпанный кинотеатр «Заря». Сейчас же она сновала от одной компании к другой, вовсю виляя хвостом, и, судя по всему, пребывала в прекрасном расположении духа. Народ в основном толпился вокруг холма посреди поляны. На самом верху холма росло дерево, а рядом уже был разложен высокий костер. Люди облепили холм со всех сторон, кто-то взбирался на него с сучьями и подкладывал их в костер или, медленно обходя его, подправлял ветки. Воздух над поляной застыл в ожидании, даже собака время от времени поднимала морду к небу, тихо подвывая.

Потоптавшись на месте, Андрей, видя, что никто не обращает на него внимания, пошел дальше. Он стал искать Ану и Линду, но они как в воду канули, к тому же от всех этих цветастых юбок у него зарябило в глазах, и он бросил поиски. Он уже успел

добраться до холма, как кто-то тронул его за плечо.

– Уже знаешь, где будешь искать?

Андрей обернулся и увидел парня, чье лицо показалось ему знакомым. Приглядевшись, он узнал эстонца, который продавал билеты в «Заре».

– Я забил место у мшистого мостика, так что смотри, туда не суйся, а то пожалеешь.

Андрей хотел спросить у него, где мшистый мостик, но тот уже отошел в сторону, и тогда Андрей, набравшись смелости, подошел к мужчине с палкой в руке и спросил у него, где он собирается искать. Мужик помолчал, буравя Андрея глубоко посаженными глазами, а потом буркнул: «У запруды», и тут же повернулся к нему спиной.

– Эй, привет, – вдруг окликнули его. – Как жизнь?

От компании у валуна отделился Пааво, который работал в книжном магазине на Советской улице. Они иногда заходили туда с матерью, в букинистический уголок, где были и русские книги. Обычно Пааво, лет тридцати пяти, в круглых металлических очках и с длинными волосами, говорил с ними по-русски, но сейчас он обратился к Андрею на эстонском.

– Нормально, – ответил Андрей, тоже по-эстонски, озираясь и узнавая все больше лиц вокруг. Здесь были кассирши из продуктового магазина и продавщицы из универмага, и работники столовой, и директор школы Кульюс со своей крашеной рыжей женой, и местная молодежь, и городские девицы и парни, которые торчали в пляжном кафе «Анкур», а вот мимо прошли и жители Далекого хутора, правда, без Инес.

Пааво усмехнулся:

– Ты на них внимания не обращай. Они сегодня совсем с ума посходили.

– А вы где будете искать? – выпалил Андрей, все еще понятия не имея, о чем речь.

Теперь Пааво засмеялся, с интересом разглядывая его, как будто впервые видел.

– А я не буду искать. Я в эти сказки не верю, ну, и им меньше конкуренции. А то сейчас такое начнется. Кто же не хочет стать королем мира, а потом еще и на Инес жениться? Все конечно, ну, правда, кроме меня. Я для этих дел не гожусь, душою стар. А вот ты другое дело, кровь молодая, кипит. Ну тогда не отставай, ищи давай, но осторожно, в их места не суйся, а то так морду набьют, что потом мама родная не узнает. А она у тебя, между прочим, замечательная женщина и очень цивилизованная, не то что ваши соотечественники, и все понимает к тому же, так что, смотри, парень, не разбей ее сердце.

Видя, что Пааво повернулся и удаляется к своей компании, Андрей схватил его за руку.

– А не подскажете тогда, где мне лучше искать?

Он хотел спросить что, но так и не решился. Вдруг Пааво выдаст его, объявив всему народу, что к ним затесался чужой, и его погонят отсюда в три шеи и тогда он опять окажется один в лесу, из которого не найдет дороги обратно. Но Пааво, высвободив руку, только покачал головой.

– У кладбища лучше не надо, хотя земля там отменная, но говорят, и нечистая сила водится, а сегодня они, то есть черти, конечно, будут особенно стараться.

На губах его играла улыбка, но глаза за очками смотрели остро, и было совершенно непонятно, шутит он или говорит серьезно. Ну хоть и на том спасибо, подумал Андрей и, поблагодарив Пааво, отошел в сторону. Тем временем в воздухе что-то изменилось. В нем по-прежнему было разлито ожидание, но он стал накаляться, как перед грозой. Хотя пока еще ничего не было видно, народ заволновался, группки распались, парочки отпрянули друг от друга, а те, что сначала бродили в одиночку, наоборот, стали сбиваться в кучки. Сидящие на траве поднимались на ноги, подруги расцепили руки, а дети перестали бегать и молча столпились у валуна. Сюда же притулилась и собака. Все головы повернулись в одну сторону и Андрей, на всякий случай отступив на пару шагов назад, последовал их примеру.

По поляне шла Инес. Она казалась еще выше, чем обычно, хотя была босиком. На ее коротко подстриженной, гордой голове был надет венок, тонкие ноздри чуть подрагивали, под длинной белой рубашкой круглилась грудь, а узкие босые ноги так легко ступали по траве, еле прикасаясь к ней, как будто Инес была готова в любой момент оторваться от земли и взлететь. Как будто к земле ее притягивал лишь венок, который, казалось, был сплетен не из полевых цветов, а сделан из золота и драгоценных камней, чтобы своей тяжестью задержать ее на этой поляне, не позволив воспарить и дать людям восхититься ею, а счастливчику, нашедшему то, о чем здесь знали все, кроме Андрея, жениться на ней.

Прошлым летом Инес стала королевой Руха. Эстонцы устроили выборы прямо на пляже, рядом с кафе «Анкур». Проходящие мимо отдыхающие, навьюченные пляжными сумками, надувными матрасами и детьми, сначала не могли взять в толк, что здесь происходит. По кругу, ни на кого не глядя, ходили девушки в открытых купальниках. Иногда они по невидимой команде останавливались, поворачивались вокруг

своей оси и, постояв некоторое время, легко упершись пальцами в бедра и чуть выставив вперед колено, шли дальше. Какие-то отдыхающие, в основном мужчины, останавливались поглазеть, другие же, в основном женщины, демонстративно не оглядываясь, волокли за собой упирающихся детей. Впрочем, некоторые гневно оборачивались.

– Они бы еще жопу голую выставили напоказ.

– А что? Я был бы не против, отдыхать – так отдыхать.

– Это у них по финскому образцу отдых, королеву пляжа выбирают.

– Да-да, ребят, правильно, не забывайте, что мы в Европе.

– Но где же духовное начало, классовое сознание, ну хотя бы элементарная мораль, я уже не говорю о коммунистической, в конце концов?

– Вы еще скажите, куда смотрит партия и правительство.

– И это наши будущие строители коммунизма, позор.

– Зато какие формы, дорогая, какая грация, пластика, слаженность движений, чем вам не Большой театр?

– Вот они формы, капиталистические по содержанию, – почти взвыл от восторга плюгавенький мужчина в панаме.

Андрей быстро прошел мимо отдыхающих, половину из которых знал, и только тогда обернулся. Он во второй раз за это лето видел Инес. Впервые он встретил ее тоже на пляже, в окружении трех парней баскетбольного телосложения, когда они заходили в море. На ней был красный ситцевый купальник в горошек, и она шла по волнам, склонив голову и скользя ногами по дну, раздвигая море. Тогда он смог увидеть только горбинку ее носа, перламутровую, чуть оттопыренную нижнюю губу и до болезненности в желудке нежную линию шеи. Сейчас же на Инес был голубой купальник, а в короткие, золотистые волосы был воткнут розовый цветок. Она была на голову выше всех девиц. Ноздри ее подрагивали, и все ее тонкое тело от макушки до кончиков утопающих в песке пальцев как бы пробирала внутренняя вибрация, которая каким-то таинственным образом передавалась окружающим, в том числе и ему. Он поклясться был готов, что при виде Инес у всех мужчин начинали дрожать поджилки. При этом ее взгляд явно выражал гнев. Оттого ли, что ей приходилось ходить по кругу с низкорослыми соперницами, хотя и так было ясно, что она уже давно королева, а, может, просто потому, что вокруг не было ничего, достойного ее красоты, и поэтому никому не приходилось рассчитывать на ее милость.

Здесь, на этой большой поляне, которая так же внезапно появилась в лесу, как и неведомое доселе озеро, за Инес шли Ану

и Линда и еще несколько девушек в таких же цветастых юбках. Проходя мимо, Ану стрельнула в него глазами, подмигнула и, потупив взор, прошествовала дальше. Вся процессия направлялась к холму, где уже никого не было. Дойдя до него, она стала подниматься наверх, к костру. На вершине вся группа остановилась и повернулась лицом к людям. На потемневшем небе четко вырисовались их силуэты. В середине стояла Инес, выше всех, в простой длинной белой рубашке, которая колыхалась от ветра вокруг ее бесподобного тела. А по бокам девушки в одинаковых юбках и с распущенными волосами. Постояв так неподвижно несколько мгновений, Инес взмахнула руками, как будто выпуская в небо птицу, и сразу же с другой стороны холма выскочили парни с факелами и зажгли костер. Весь народ у подножия заволновался и зашумел. На секунду Андрею показалось, что он стоит на берегу моря. Инес опять взмахнула руками, но на этот раз – разведя их в стороны осеняющим жестом, и все люди, как будто ждавшие этого знака, с ревом тоже подняли в воздух руки, приветствуя Инес и огонь, после чего, как по команде, стали расходиться в разные стороны. Уже через несколько минут никто не обращал друг на друга никакого внимания, поглощенный своей целью. Андрей в растерянности огляделся, он все еще стоял на месте, не зная, куда податься. Его пару раз пихнули и довольно сильно. Вдруг кто-то шепнул ему в ухо:

– Попробуй у водяной мельницы за старой мызой.

Он оглянулся, никого. Вокруг только спины убегающих в лес людей.

Андрей никогда не слыхал от отца ни о старой мызе, ни о водяной мельнице, а ведь тот не раз прочесывал здешние леса с местными. Ближайшая от Руха заброшенная мыза со знаменитым портиком, все три стороны которого украшали высокие арки, находилась в двадцати километрах к западу от Руха. Так что ничего подобного поблизости не было и быть не могло. Но он уже понял, что этой ночью все было возможно, и поэтому не удивился. Да ему и некогда было удивляться, надо было поскорее решать, в какую сторону бежать в поисках старой мызы, а то, глядишь, скоро останешься на поляне совсем один. Набравшись духу, Андрей побежал за высоким парнем в майке с короткими рукавами и, поравнявшись с ним, но не поворачивая лица, спросил, где старая мыза. Тот, не замедляя шага и тоже не глядя на него, буркнул что-то невнятное, помахал рукой в сторону холма, но перед тем, как исчезнуть в лесу, вдруг обернулся и угрожающе проговорил:

– К Тихой речке и за километр не подходи, усек?

Андрей рванулся к холму, где костер, разгораясь, трещал и рвался в небо, напрягая все свои силы в попытках заменить собой солнце. Рядом, в отблесках огня в окружении девушек, положив руки на колени, неподвижно сидела Инес в ожидании короля мира. Андрею ужасно захотелось прервать свой бег и, взобравшись на вершину, посмотреть на ее прекрасное лицо. Только ее красота могла подтвердить, что все в эту ночь в зачарованном лесу происходило на самом деле, даже если он и был не он. Но вот Андрей пролетел мимо холма, уносимый вглубь леса внезапно взыгравшим в нем азартом. Вокруг шуршала листва, никого не было видно, но весь лес дышал, наполнялся шагами и шорохами и неутомимо бился сотнями одиноких сердец, жаждущих того же, что и его так внезапно проснувшееся сердце. Перепрыгивая через канавы, раздвигая руками ветки, он несся в неизвестном направлении с переполненной от возбуждения грудью, сам не зная, за чем. Выскочив на лужайку, он споткнулся о пень и чуть не свалился, как вдруг из длинной душистой травы перед ним выросла девочка с белыми, как лен, волосами. Ей было лет семь, не больше. Она недовольно посмотрела на него, как будто он отвлек ее от важного занятия и тут же опять села в траву. Теперь он увидел, что она собирает землянику.

– А ты почему не ищешь? – спросил Андрей, присев рядом с ней на корточки.

– Я еще маленькая, – спокойно ответила она. – Мне мама разрешила землянику собирать. Смотри, сколько ее здесь. – Девочка поднесла к его лицу душистую ладошку с ягодами. – Хочешь попробовать?

Андрей взял одну ягоду и отправив ее в рот, спросил у нее, где старая мыза.

– Иди прямо до поваленной сосны, за ней будут две тропинки, пойди направо через березовую рощу и выйдешь к воротам, а за ними старая мыза, – говорила девочка, не переставая щипать ягоды. – Ты тоже на Инес хочешь жениться?

– Хочу, только плохо знаю, что ей нужно.

– А как всегда, – беспечно ответила девочка. – Вот принесешь ей цветок папоротника и станешь королем мира.

– Ну, прямо так и королем мира, – сказал Андрей. – Не верю я этим сказкам.

– Не хочешь, не верь.

Девочка насыпала землянику в корзинку, поставила ее обратно на пенек и опять села на корточки.

– И кто же у вас теперь этот король?

– А пока никто, время еще не пришло. А Инес скоро в кино

будет сниматься. Она красивая, правда?

– Да, очень, – ответил Андрей, – а ты в Руха живешь или сюда на лето приехала?

Ему было странно, что он так запросто треплется с этой соплюшкой, но во-первых, сегодня он был не он, во-вторых, по поведению девочка казалась намного старше своих лет, и в-третьих, она была здесь чуть ли не единственным созданием, кроме Пааво, который исчез сразу после того, как зажгли костер, серьезно говорившим с ним. Он повторил вопрос, но девочка, низко склонив белую головку к земле и все дальше передвигаясь на карачках, уже не слышала его.

– Ну, тогда я пошел, – сказал он, чтобы не показаться невежливым, и уже почти зашел в лес, как услышал ее голос.

– Беги давай, а то не успеешь.

И он опять побежал, волнуясь и прокручивая в уме ее слова: «Иди прямо до поваленной сосны, за ней будут две тропинки, а ты пойди направо через березовую рощу и выйдешь к воротам… беги скорее, а то не успеешь…»

Как она и сказала, за березовой рощей он сразу увидел ворота, вернее то, что от них осталось. Два полуразвалившихся каменных столба, завершающих плитняковую ограду, с обломками ваз наверху. Пройдя через ворота, Андрей вступил на дорожку, в конце которой маячил светлый фасад с балконом. Старая мыза. У него заколотилось сердце, значит, где-то здесь должна быть и водяная мельница. Осторожно ступая по гравию, который легко похрустывал под ногами, он озирался по сторонам. В глубине буйно разросшегося парка вдоль всей дорожки тянулись низкие белые здания. Наверное, здесь когда-то жила прислуга и управляющий со своим семейством, держали лошадей и собак, экипажи и сани. Почему-то он был уверен, что мельница где-то за мызой и ему надо поскорее дойти до нее. Он опять побежал, не сводя глаз с фасада, где насчитал шесть окон, три наверху и три внизу. Чем ближе он подходил к дому, тем белее становился фасад, как будто его обливало светом невидимое солнце, а может, на него отбрасывал свое сияние костер на холме, где Инес, тихими глазами созерцая огонь, ждала короля мира. Вдруг вдоль фасада метнулась тень, кто-то сиганул через дорожку мимо крыльца и канул в сень деревьев. На секунду Андрею стало не по себе, но он подумал, что это ему наверняка почудилось, а если нет, то кто-то незаконно охотился на чужой территории и поэтому так быстро смылся. Как бы то ни было, надо торопиться, пока бесценным сокровищем, дающим во владение мир и красавицу, не завладел другой. Он свернул с дорожки и побежал по траве, решив справа обогнуть мызу. Низкий флигель с пустыми

окнами оказался длиннее, чем он ожидал, и он уже почти выбился из сил, как вдруг очутился в полной темноте. Казалось, в эту часть парка за мызой никогда не проникал свет, воздух здесь был сырой и застойный, как в давно не проветриваемом помещении. Андрей остановился, чтобы отдышаться и привыкнуть к темноте, и тут услышал шорох. Где-то вблизи гнулись и хрустели ветки, шуршала трава, но когда он спросил, кто здесь, все сразу затихло. Однако теперь совсем рядом билось чье-то сердце, так же лихорадочно, как и у него. Он еще постоял так, с вмиг пересохшим ртом, а потом с шумом и треском рванул в темноту, уже не прислушиваясь, один ли он несется или их двое.

Тьма все не расступалась, и пахло сырой землей, но вот уже впереди забрезжил свет, словно ночь там переходила в утро. В нос ударил тяжелый пряный запах и слегка закружилась голова, но он все мчался дальше, на шум падающей воды, поглотившей все остальные звуки. По ногам его хлестали жесткие листья, и когда он выбрался на свет, то увидел, что вокруг расстилаются заросли папоротника. Не зная, куда податься в этом безбрежном зеленом море, Андрей решил двигаться в сторону водяной мельницы. Видимо, здесь и была река, которую скрывал папоротник. По пояс утопая в растениях, он продирался вперед, уверенный, что именно там, где крутится невидимое пока колесо водяной мельницы, его ждет счастье. Ему вдруг стало абсолютно все равно, где сейчас тот, другой, который забрел сюда и теперь рыщет здесь в поисках добычи. Ведь это была его территория, и только ему было предназначено найти здесь то, что с таким рвением искали все жители Руха мужского пола, кроме Пааво, чье состояние ума напоминало замерший в своем бытии рухаский валун. Добредя до речки, Андрей увидел блестящее, почерневшее от работы и времени колесо. Деревянные лопасти с гулом вздымали вверх мутно-зеленую воду. Времени оставалось в обрез. Извергая в небо искры, на холме пылал костер, который зажгли ровно в полночь. А значит, надо было как можно скорее найти цветок папоротника, пока он не успел отцвести. Спотыкаясь о стебли и вращая головой, как безумный, он стал передвигаться по прямой, параллельно реке, чтобы не слишком отдаляться от мельницы. Тяжелый запах дурманил голову, и глаза уже начали слипаться, как внезапно слева повеяло нежным ароматом. Он дернулся, принюхиваясь и стараясь поймать едва различимую сладкую струйку, которая вот-вот могла сгинуть в удушливом, прелом воздухе. Он даже закрыл глаза, чтобы лучше слышать этот волшебный аромат первого и последнего цветения. Вдруг запах пропал, но потом появился снова, с удвоенной силой маня его к

себе. Он открыл глаза и осмотрелся. Вокруг сплошняком зеленое поле. Дивный аромат, как родничок, бился теперь откуда-то снизу. Он наклонился – ничего. Тогда Андрей бросился на колени, жадно втягивая в себя воздух, застыв и низко пригнувшись к земле, как кот перед атакой, и вдруг прямо перед собой увидел то, что искали все мужики из Руха. Перед его носом, вибрируя в красном цветке, похожем на колокольчик, источая неповторимый аромат, подрагивали бледно-желтые тычинки. Края колокольчика побурели и слегка загибались наружу. Его уже успел коснуться первый тлен, который совсем скоро обратит его в прах. Андрей сорвал цветок и, осторожно держа его перед собой, бросился в сторону старой мызы, моля, чтобы она не исчезла за время, пока он искал сокровище.

Его снова окутала удушливая темнота, как давеча, но на этот раз цветок придавал ему силы. Он быстро оказался у флигеля и, обогнув его, очутился на белой дорожке. Пока он бродил у речки, успел подняться ветер, который раскачивал старые деревья в глубине парка. Сзади послышался хруст гравия, он обернулся, но никого не увидел и решил больше не оглядываться, что бы ни происходило за его спиной. Но теперь шаги раздавались сбоку, как будто кто-то бежал вдоль пристроек, чтобы преградить ему дорогу к воротам. А может, его преследователей было несколько и они окружали его с разных сторон. Но он точно знал, что ничего не случится, пока с ним волшебный цветок. Теперь он был неуязвим, и его соперники тоже знали об этом и должны были сами справиться с переполнявшей их яростью. Андрей усмехнулся от сознания собственной силы. Добежав до ворот, он чуть не обернулся и не захохотал в лицо ночи, где прятались его преследователи, но, вспомнив об Инес, которая ждала его, решил не терять времени.

И вот перед ним снова замелькали белые березовые стволы, и за рощей он уже различил поваленную сосну. Перемахнув через нее, он ринулся дальше и выбежал на земляничную поляну, где уже никого не было. Задрав голову, он увидел в воздухе отблески пламени. Значит, до большой поляны было уже недалеко. Стараясь идти в том же направлении, Андрей прибавил шагу. Когда впереди показался просвет, у него так сильно заныло сердце, что ему пришлось прижать к нему свободную от цветка руку. Он остановился и прикрыл глаза, чтобы чуть осадить бешеное ликование, которое, казалось, сейчас вихрем закрутит его и сшибет с ног. А когда снова открыл их, то подумал, что это сон. Перед ним опять плескалось озеро, то самое, к которому он вышел от Далекого хутора. Все еще не соображая, в чем дело, Андрей в растерянности ступил на ярко-зеленую, сочную траву.

Куда делась поляна с костром? Как он мог так оплошать? Что здесь случилось, пока он искал волшебный цветок? Он почувствовал, что сейчас бросится на эту проклятую траву и разрыдается. За что? За что лес подстроил ему эту жестокую, бессмысленную шутку, сначала сделав его королем мира, а потом опять выведя его к озеру, которое уже раз затопило его разум? И тут он увидел Инес. Она медленно вырастала из травы, оправляя белую рубашку. Поднявшись, Инес, чуть покачиваясь, будто ее плохо держали ноги, направлялась к нему, придерживая на груди рубашку. Венка на голове у нее уже не было, волосы были растрепаны. Андрей же так и остался стоять на месте, не в силах вымолвить ни слова, но когда она приблизилась к нему, все-таки сумел прошептать ее имя. Инес милостиво кивнула, принимая его обожание. В прорези чуть сдвинутой набок рубашки он увидел кусочек ее тела, там, где округлялась в грудь ее нежная плоть.

– Ну что, принес? – спросила она, отпустила ворот рубахи и, обвив его шею обеими руками, грубовато поцеловала в губы. Потом, так же быстро отстранившись, вытянула вперед руку и требовательно посмотрела на него. Чувствуя ее сладкие губы, будто только что отведал райского фрукта, Андрей ошеломленно смотрел в ее прекрасное лицо, на котором стали появляться признаки нетерпения.

– Ну, где он? – произнесла Инес, топнув ногой и чуть сдвинув брови.

Андрей тряхнул головой, приходя в себя, и уже почти упал на колени, чтобы протянуть ей цветок, как вдруг увидел, что руки его пусты. Он поднес их к лицу и с ужасом стал изучать их, поворачивая во все стороны, и, так ничего и не найдя, принялся лихорадочно ощупывать свое тело.

– Кажется, я… – пролепетал он, осмелившись наконец взглянуть на Инес, которая смотрела на него, скривив губы. Больше не тратя слов, она резко провела тыльной стороной ладони по рту, стирая поцелуй, и повернула голову назад.

Только сейчас Андрей увидел, что у озера есть еще кто-то. Там же, где навстречу ему поднялась Инес, теперь из травы вставал парень с черными, как воронье крыло, волосами. Вот он уже стоял на ногах, голый по пояс, и, засунув пальцы в карманы тесных американских джинс, молча разглядывал Андрея, чуть покачиваясь вперед и назад. Это был Томас, сын черного капитана, того самого, который, по слухам, повесился в собственном доме. Вокруг Томаса в Руха тоже ходили всякие разговоры. Например, что он, как на конвейере, пачками заделывал москвичек, и вернувшись в Москву, их мамочки устраивали своим дочкам подпольные аборты под наркозом. А

что он мог поделать, если столичные потаскушки сами бросались ему на шею? Томас жил один в большом доме, его мать то ли сидела в психушке, то ли совсем спилась и вернулась доживать свою жизнь в родную деревню. Еще говорили, что капитанша просто больше не могла жить в собственном доме, который обставила шикарной мебелью и финской сантехникой, что она все боялась утонуть, думая, что это корабль с пробитым дном. А с его братом Мати произошла какая-то темная история, в которую была замешана дочь высокопоставленного русского военного. Он якобы даже в тюрягу успел загреметь, и с тех пор больше не появлялся в Руха.

Томас нагнулся, взял что-то с земли и стал приближаться к Андрею. Инес уже отошла от него и, отвернувшись, смотрела на озеро. Ее узкая спина в развевающейся белой рубашке стала похожей на парус, который ветер сейчас унесет в голубую даль. Оцепенев, Андрей не сводил глаз с Томаса. Тот подходил все ближе, и Андрею показалось, что он уже видел его сегодня, когда тот сначала тенью пронесся вдоль старой мызы, а потом еще с неистраченной яростью гнался за ним под деревьями вдоль пристроек. В руке у Томаса сверкнуло что-то острое, и, приглядевшись, Андрей увидел, что это нож с кривым лезвием. В этот же момент Инес чуть повернула голову в сторону Томаса, глаза их встретились и Андрей понял, что судьба его решена. Он рванулся к озеру и прыгнул в него. Холодная вода обожгла его с головы до ног, и он проснулся. Перед глазами на веревке колыхался голубой сарафан в горошек, все тело было мокрым от дождя и дрожало. Мать, отец, костер, хворост, пикник в Иванов день – пронеслось у него в голове, пока он вставал с красного стула, сдирая с себя мокрую майку, противно липнувшую к телу. Неужели он продрых здесь все время, пока они готовились к пикнику? Он так крепко заснул, что даже не проснулся, когда пошел дождь. Они, наверное, уже давно ищут его, и мать волнуется, хотя и старается не показывать виду, а отец, как всегда, начальственно покрикивает на нее и говорит, что в здешних лесах только идиот может заблудиться, а они с Андреем знают эту местность, как свои пять пальцев.

Андрей добежал до черничника, успев хорошенько вспотеть. Через каких-то триста метров его с гоготом встретит вся теплая компания во главе с отцом, и он наконец-то отведает шашлычку. А может, отец уже пошел по второму кругу, и баранина будет горячая, с пылу с жару. Интересно, тот мужик из Ленинграда успел закончить свой шатер до дождя? Андрею показалось, что вот он – луг в том самом просвете между еловыми ветками, через который он напоследок увидел мать, отправляясь за хворостом.

Но сейчас между еловыми лапами никто не маячил, и только тут до Андрея дошло, что луг-то уже под носом, а он до сих пор не услышал ни звука. Он раздвинул набухшие от дождя ветки и замер. Луг был совершенно пуст. Все ушли, не оставив следов, или их уже успел смыть дождь. Правда, посреди поваленных деревьев чернело пепелище, но ведь оно было здесь всегда, напоминая о прошлых огнях. И мать с отцом тоже ушли, бросили его, оставили одного доживать эту летнюю ночь.

Послышался шум мотора и, оглянувшись, Андрей увидел белый «мерседес», мигавший ему со стороны дороги. Он не сдвинулся с места, отлично зная, что тот сам приедет за ним, и дверцу откроет, а потом и прикроет, все по высшему разряду, не зря же он директор самого крутого супермаркета в городе.

Машина подъехала и остановилась, распахнулась дверца, приглашая его вовнутрь. Небрежно кивнув шоферу, Андрей сел на мягкое кожаное сиденье, и они тихо взлетели над влажной, притихшей землей. Андрей сделал знак шоферу и тот, вместо того чтобы с ревом умчаться ввысь, стал кружить над лугом, навсегда прощаясь с Руха. Вот тогда-то Андрей наконец и увидел его, тот плоский, квадратный валун, похожий на пьедестал. Он лежал на своем месте, между двумя камнями с заостренной вершиной. Теперь на нем в лучах солнца стоял он сам и радостно приветствовал кого-то.

Дом у моря

Он таки разбил ее сердце. Но она выжила и даже не сошла с ума. Он так никогда и не узнает, как ей это удалось. На секунду ему стало обидно, что она тоже не умерла или хотя бы не выплакала себе глаза и не ослепла, как бабушка знаменитого поэта, так рано погибшего на дуэли. Опомнившись, он подумал, что она не сделала этого ради него. Просто не могла себе позволить уйти, оставив его на произвол судьбы, то бишь на забвение. Каждый день, который она проживала после него, ровно на день продлевал и его уже неземное существование. А глаза ей были нужны, чтобы смотреть на его фотографию, которая стояла на столе в кабинете. Исчезнув из этого мира, он теперь навсегда поселился в ней, и она бережно вынашивала и оберегала его, не давая на расправу прожорливому времени. Пока Андрей топтался на кухне, мать прошла мимо него, задев локтем. В руке у нее была миска, которую она из холодильника нагрузила чем-то мясным. Земное время уже ни о чем не говорило ему, но он видел, как она постарела и сжалась, как поседели кустики ее бровей. Она вышла во двор, а он остался на кухне ждать ее. Волноваться было не о чем. Славка загнал «мерс» чуть ли не к самому морю, чтобы ни в коем случае не попался ей на глаза. Он знал, конечно, что она не может увидеть белую машину, незримую для земного глаза, даже если бы Славка припарковал ее перед крыльцом, но дал-таки задание отогнать ее подальше. А вдруг ее сердце все же учует машину, вместе со смертельным грузом, и это выбьет ее из колеи на весь день?

В доме пахло туалетом и псиной. Запах будущего, куда он так и не попал, и которым теперь дышали мать с отцом, а может, и Борька, если не женился и не переехал. Значит, город еще не провел сюда канализацию, а денег на септик не было. Значит, по старинке садились над выгребной ямой. Андрей вошел в дом, когда еще было темно. Он перебрал связку ключей – единственное, что осталось у него от земной жизни, выбрал самый длинный и запросто отпер дверь. Они так и не поменяли замок. Пока мать кормила во дворе собак, он стал вспоминать, что его врезали в дверь после независимости, когда в городе началась волна взломов и замки вскрывали, как орехи щелкали. Йельский замок с пятью штырями им принес Гриша. Таких замков еще не было в продаже, а значит, пока не было и экспертизы по их взламыванию. Собак они завели уже после него, а куда делся Чарли, он понятия не имел. Вряд ли остался со Светкой, та с самого начала недолюбливала его, ревновала, но гулять выводила

охотно – все-таки далматинец, голубая кровь, а не какая-нибудь плебейская овчарка или мастино, которых народ заводил в придачу к адским железным вратам в свои квартиры.

Так Борька еще жил здесь или нашел себе наконец сердобольную бабу? У ворот стоял раздрызганный красный «фольксваген», пылесос пылесосом. Его? Разбогател, нечего сказать. А отец где? Искать его не было желания, хотелось просто сидеть на своем месте у стола на веранде и ждать, когда вернется мать. Он посмотрел в окно и увидел, что она тоже присела на табуретку у крыльца. Овчарки убежали, размахивая здоровенными хвостами, а она все сидела с пустой миской в руке, которую забыла поставить на землю и, как и он, ждала. На ней был стеганый синтетический розовый халат, еще из ГДР, и почему-то это кольнуло его, как будто в том, что она ходила в старом, застиранном халате, была его вина. Она, видимо, пока не собиралась в дом. Поставив наконец миску на землю, мать положила руки на колени и застыла, лишь время от времени поглядывая на калитку, так что он даже занервничал, не угораздило ли Славку подъехать поближе. Но где же отец? Пока Андрей сидел здесь, за этим столом, где часто сиживал, когда заезжал сюда, будущее, слава богу, все еще похожее на прошлое, правда с легким душком псины и туалета, было вполне выносимым. Стол, как спасательный круг, держал его на поверхности, не давая уйти в мутные, неизведанные воды, которые начинались уже за дверью в гостиную. В то будущее, куда он так и не попал, и которое так страшило его теперь. Он вцепился руками в край стола. Никуда он отсюда не пойдет. Пускай сначала мать вернется, а там посмотрим.

Войдя в дом, он сразу нырнул на кухню, в материны владения, точно зная, что пока жива, она не даст им осквернить. За дверью в гостиной вскрикнули и застонали. Он не шелохнулся, еще крепче уцепившись за край стола. Стон усилился, перешел в неразборчивую ругань, как будто кто-то боролся с кошмаром, не в силах проснуться. Скорей бы уже пришла мать. В свое время в гостиной была библиотека, там же принимали гостей, а сейчас здесь кто-то спал, то заливаясь хриплым кашлем, то тихо скуля, переполненный жалости к себе. Хлопнула входная дверь, и на кухне появилась мать. Сунула пустую миску под буфет, прошла к веранде и села на свое место с левой стороны. Теперь она сидела напротив него, положив руки на стол и чуть улыбаясь, глядя на него ясным взглядом и без тени упрека. Правда, в глубине ее темных глаз таился вопрос, но он знал, что она не задаст его, понимая его бессмысленность. Она просто смотрела на него, не отвлекаясь на мелочи, чтобы,

насмотревшись, суметь прожить еще один день. Потом она встала и, набрав воды в чайник, включила его. Пока мать возилась у холодильника, из комнаты заорали.

– Ты куда папиросы дела?

– Доброе утро, я их никуда не девала, и не рычи, пожалуйста, – ответила она.

– Я точно знаю, что вчера еще пачка была. Ее что, Чарли выкурил за ночь?

Мать только махнула рукой и стала вытаскивать еду из холодильника.

– Или Борька твой?

– Во-первых, Боря сейчас в Индии, а во-вторых, он такую гадость не курит.

– Не курит, как же, он задарма хоть говно собачье закурит, Борька твой ненаглядный.

Мать остановилась посреди кухни с пакетом в руках и крикнула в дверь.

– Повторяю еще раз, Боря в Индии штурманом, деньги зарабатывает, кредит надо отдавать за дом, если ты помнишь. Кстати, ты сегодня весь день собираешься хамить или только утром?

– А вам что, не нравится, когда правду говорят? Вы здесь все такие культурные, цивилизованные, Европа, черт бы вас подрал.

– Уже и Европу сюда приплел, ты лучше под кроватью посмотри, сам их куда-нибудь засунул на пьяную голову.

– Хочу и пью, и нечего здесь командовать. Дом, между прочим, на мое имя записан. Я вас всех отсюда пинком под зад, если захочу.

Мать тем временем заварила чай и расставила тарелки и чашки.

– Ты слышишь, что я говорю?

Она только покачала головой, не реагируя, и, кажется, именно своим молчанием распаляя его, потому что он опять заорал из комнаты, как ненормальный.

– Как только начинаю правду говорить, все сразу молчок! А мне вот она нужна, позарез, у меня кроме нее больше нет ничего. Всё они у меня отняли – квартиру, карьеру, историю мою, деньги, друзей…

Тут он замолк, и мать, по другую сторону закрытой двери, тоже застыла с тарелкой в руке, как будто, задержав ее в воздухе над столом, надеялась предотвратить неизбежное, которое уже неслось на нее, валя с ног и заставляя сначала покачнуться, ища рукой опору, а потом опуститься на стул, все еще с пресловутой тарелкой в руке.

– …и сына, да, единственного сына! – орал отец. – Если бы не вы, не вся эта семейка правдолюбцев в кавычках, то он был бы жив, ты слышишь меня, ссука?!.

За дверью теперь послышались шаги, мать, поставив наконец тарелку на стол, стала медленно подниматься со стула, придерживая у горла халат, и Андрей, не дожидаясь, пока покажется отец, в ужасе выскочил из кухни и выбежал во двор.

В последний раз Андрей видел отца перед днем его рождения. Они как раз завезли родителям ящики с вином и закусками из магазина, потом Славка пошел к машине, а он немного задержался. Мать была в институте, а им еще нужно было заехать в банк, потом к мяснику за уткой, но он почему-то захотел побыть с отцом. Пока тот заваривал чай на кухне, Андрей прошелся по квартире. Ему вдруг бросилось в глаза, как здесь много книг, как будто он видел их впервые, а не прожил между книжными полками до восемнадцати лет. Как же быстро он успел отвыкнуть от них. Андрей попытался вспомнить, какие книги он любил в детстве. «Робинзона Крузо», «Путешествие Гулливера» и «Трех мушкетеров», конечно, как и все дети интеллигентных родителей его поколения. Потом пошла отечественная и зарубежная классика – Толстые, Тургеневы, Чеховы и Пушкины да безопасные для советского сознания Флоберы, Гюго, Шиллеры и Джеки Лондоны. Тогда же он, кстати, прочитал и «Лолиту», которая ходила по рукам в самиздате, тысячу раз перекопированная, со смазанными буквами и черными подтеками между строчками. Он выторговал ее у матери на один день, да она особо и не сопротивлялась, будучи сторонницей свободного воспитания. Позже в руки ему попали «Москва – Петушки» и еще несколько диссидентских изданий. Теперь он свысока смотрел на своих сверстников, на этих поклонников Горького, Фадеева и Шолохова, которых держали на диете прекрасного, вечного и героического, закармливая соцреалистическими сказочками о Человеке с большой буквы. Он еще понятия не имел, кем потом станет, но в одном был уверен на сто процентов: системе не удастся обмануть его, и если ему когда-нибудь придется обслуживать ее, то только на самом высшем уровне, а значит, пользуясь всеми благами, которыми она одаривала своих верховных жрецов.

После Перестройки на них хлынул поток лагерной и диссидентской литературы. Теперь все рассказы, услышанные от родителей и их друзей, вполне материализовались, скалясь на него из-за строчек. Все-таки шок был менее сильным, чем можно было ожидать. Как будто он уже знал все это, и то, что

открывалось ему, лишь подтверждало давно известные факты. Все эти документы, дневники и романы казались ему лишь архитектурными деталями дома, где они родились и выросли, вроде галереи химер на фасаде собора Парижской Богоматери, чудовищ с телами обезьян и крыльями летучих мышей, с козлиными рогами и змеиными головами, вроде демонов и стриксов с когтистыми лапами, питающихся кровью новорожденных. И вот, кто-то вдруг взял и зажег свет, и оказалось, что все это время их дом был погружен во мрак, и теперь все эти доселе невидимые демоны, монстры, крылатые ночные духи, отравляющие детей своим ядовитым молоком, высветились и выступили наружу, а жители огромного здания, привыкшие дышать, жить и двигаться в темноте, ступали по нему, с недоумением и ужасом озираясь по сторонам, – вот где и с кем они, значит, жили до сих пор.

Однако как же быстро он отвык от книг. Всего за каких-то пару лет. И дело было не только во времени. Просто книги больше не вписывались в интерьер его жизни, который стремительно наполнялся атрибутами совершенно иного порядка. Раньше он даже представить себе не мог, что свобода, о которой они когда-то только могли мечтать, так закабалит его с ног до головы и понесет сумасшедшим вихрем, требуя от него все новых и новых даров. Светка, заполучив «Мерседес-Бенц», успокоилась наконец насчет машины, но уже стала поговаривать о другой квартире, а еще лучше об отдельном доме, подальше от загазованного центра, от всех этих «пылесосов». Ее больше не устраивали болгарские курорты, она хотела в Испанию или на Лазурный берег. У Сашки вообще не было никаких тормозов, все ее желания, от тряпок до видаков, исполнялись в мгновение ока если не ими, то тестем и тещей. Магазин требовал все новых расходов, а о Наталье сейчас вообще не хотелось думать. Он уже сто раз пожалел, что связался с ней. Даже Славка, который раньше с уважением в голосе называл ее железной бабой, в последнее время помалкивал и отводил глаза, когда речь заходила о ней. А еще книги стали раздражать его. То ли напоминая ему о самом себе, которого в нем оставалось все меньше и меньше, то ли демонстрируя свою полную бесполезность в новом времени. Интересно все-таки вышло. Раньше, когда свободы не было, книги были ее единственным источником. За книги обличали, преследовали, судили, сажали и высылали. А теперь, в свободные времена, они оказались никому не нужны. Он опять прошелся взглядом по разноцветным корешкам, на фоне которых прошли его детство и юность. Ну ладно, ненужными, но еще и совершенно беспомощными перед

лицом того, что происходило вокруг. Такими же жалкими и ничтожными, как и их фанаты, голодранцы все, конечно, как и он сам еще пару-тройку лет назад, что-то вопившие о духовных ценностях, нравственности и прочей возвышенной белиберде, о которой девяносто девять процентов населения начисто позабыло, заполучив свободу до одурения смотреть порнуху и по субботам отовариваться всем семейством в супермаркете.

Ныла голова, и что-то все время ускользало от него, какая-то связь между ним и его прошлым, которую он пытался разгадать, разглядывая родительскую библиотеку. Но книги молчали, повернувшись к нему корешками. Чтобы отвлечься, он отхлебнул отцовского чаю. Отец кидал в заварку травы из сада, и чай получался душистый и густой, как мед. Отец сидел на стуле и курил, закинув ногу на ногу, чуть сгорбившись и как-то сразу уменьшившись в размерах. Вначале он еще порывался давать советы насчет магазина, но быстро притих, когда Андрей пару раз похлопал его по плечу: «Ладно, бать, сами как-нибудь разберемся».

Когда отец вошел в комнату с чайником в руке, то вдруг сказал, не глядя на сына:

– Ну, вот я и стал лишним человеком.

– Да ладно тебе, – отмахнулся Андрей. – Не драматизируй. Литература сейчас не в моде. Все наладится, вот увидишь. Если что, мы тебя к себе возьмем в магазин, будешь нашу мораль поднимать как бывший парторг, а то совсем уже распустились.

– Я ж его тридцать лет знаю, сколько мы с ним перепили, сколько я ему помогал с бабами, а если банька – кто ему баранину привозил прямо с мясокомбината? А те же стройматериалы! Кто их доставал? Пушкин? А Гришку того же с его ребятами кто ему устраивал дачу строить? Ведь он был мой лучший друг, – сокрушался отец, поминая вероломного Сан Саныча, выживающего его из фирмы.

– Да положи ты на него, какой он тебе, к черту, друг, – сказал Андрей, одновременно жалея и злясь на отца.

Отец все горбился и покачивал ногой, дымя сигаретой, а потом резко вскинул голову и спросил:

– Ты мне вот что скажи, сын, у вас там точно все в порядке?

Андрей пожал плечами.

– Наталья дурака валяет. Но ты меня знаешь… В общем, осталось еще одно дело сделать, и жизнь опять станет лучше и веселее.

– А ты тестю на нее пожалуйся. Пускай отдерет ее по-родственному по голой заднице.

Андрей усмехнулся и встал.

– Ну ладно, мне идти надо, а то в банк опоздаем, матери привет.

Отец пошел за ним в коридор. Курил и молча смотрел, как он натягивает на себя куртку. Надо было еще что-то сказать перед уходом, как-то подбодрить его в их обычной грубовато-шутливой манере, но, зашнуровывая ботинки, он так и не смог найти нужных слов, подходящих привычному тону, и поэтому просто спросил:

– Ну так что, часа в три в воскресенье? Балычок в субботу привезем.

Отец кивнул.

– Как там Сашка?

Андрей видел, что отцу хотелось, чтобы он еще остался немного, как будто надеялся, что за эти пару минут в полутемном коридоре, в приливе доверия и вдруг растаяв душой, он раскололся бы насчет Натальи и ее урлы. И тогда отец дал бы ему наконец мудрый совет, десятком золотых слов от чистого сердца разрешив все его проблемы. За год отец оторвался от реальности на вечность.

– Да бандитка она, драть ее некому, ну ладно, бывай, я пошел, а то Славка заждался, – сказал он и быстро закрыл за собой дверь, чтобы отец не успел спросить еще чего-нибудь.

Чтобы прийти в себя, Андрей пошел к морю. Дойдя до пирса, он остановился и уперся взглядом в еле видимый горизонт. Плеск воды вымывал из ушей отцовскую брань, и он немного успокоился. Осмотревшись, он увидел, что «мерседес» белел в стороне порта у самого прибоя и тоже отдыхал, выключив фары. Славки нигде не было видно, наверное, остался сидеть в машине, а может, пошел размять ноги. Андрей ухмыльнулся. Славка пошел размять ноги. Ну а почему бы и нет, собственно? Он же тоже ходил все это время на своих двоих, и ничего, что они, не люди, по ту сторону?

Потрясенный увиденным, Андрей совсем забыл об «ауди». А ведь в родительском доме он увидел только частичку того, что ему предстояло. Окунувшись взглядом в волны, своим беспрерывным ходом отрицающие конечность, Андрей чувствовал, как и время теряет границы, перемешивается, и от этого ему опять стало жутко. Будущее, в которое он только что заглянул, могло остаться позади, но с таким же успехом оно опять подстерегало его в доме и неизвестно, в каком виде оно предстанет ему теперь. Конечно, он мог сесть в машину и, не оборачиваясь, взмыть в бледное пространство, но эта мысль показалась ему еще более непереносимой. Какой-то голос

нашептывал ему, что так легко ему не отделаться и что остановка у родительского дома – его единственный шанс что-то понять и, как бы бессмысленно это не звучало, отдать долги тем, кто и не подозревал об их существовании.

Он представления не имел, сколько утекло земного времени, пока он приходил в чувство у моря, готовясь к следующей встрече. Во дворе, по крайней мере на первый взгляд, ничего не изменилось. Правда, «фольксваген» перед домом исчез, и рябила желтым береза, а за забором у кустов малины были навалены доски. Мимо, тяжело дыша, пробежали овчарки, которых давеча кормила мать. На всякий случай Андрей сначала заглянул в окно. На кухне было темно и пусто, но на столе на веранде стоял чайник и вазочка, прикрытая салфеткой. Первое, что он услышал, когда вошел в дом, было тиканье часов, отсчитывающих неизвестное ему время. Сжимая в кулаке ключи, которые на этот раз ему не понадобились, так как дверь была открыта, он осторожно заглянул на кухню и прошелся взглядом по углам. Дверь в гостиную теперь была приоткрыта, и, пройдя через кухню, он тихонько толкнул ее. Из-за занавешенных окон здесь было темнее, чем на кухне. Шторы были старые, еще из родительской квартиры. Перед большим окном теперь стоял диван с бельем и скомканным одеялом. Воздух был пропитан табаком и псиной. Вся комната как-то почернела. И желтые в крапинку занавески, и потолок, и белье на диване, и книги, и даже банки с огурцами и пустые бутылки на столе, – все было покрыто темным налетом, как будто сюда уже пробралась чернота небытия. Он чувствовал, что отец где-то здесь, но все еще медлил. Наконец, повернувшись, он увидел его. Отец сидел на стуле в глубине комнаты у книжной стенки, нога на ногу, в той же позе, в какой он видел его последний раз, когда тот крыл Сан Саныча и новые времена. Правда, теперь его голова была опущена на грудь, и, слава богу, пока не было видно его лица. Отец был покрыт таким же темным налетом, как и предметы в комнате, почти неотличимый от неживой материи. Он сильно поседел и тоже сжался, как и мать. Одна рука лежала на колене, а другая свешивалась вниз, с сигаретой между пальцами. На пол падали кусочки пепла. Он был в майке и тренировочных штанах. Время от времени он встряхивал головой, но она тут же опять падала ему на грудь. Отец спал, каким-то чудом удерживаясь на стуле. Нагнувшись, Андрей посмотрел ему в лицо и ужаснулся. Он не знал, сколько сейчас лет отцу, но этому страшному старику с опухшими от водки чертами можно было дать лет восемьдесят. Вдруг отец что-то забормотал и покачнулся. Потом открыл глаза и уставился на Андрея. Через секунду он закрыл их и снова погрузился в сон.

Ему бы дотащить его до дивана, уложить и накрыть одеялом, чтобы не видеть его бессмысленно качающимся на стуле идиотом. Сделать бы что-нибудь, чтобы прервать это невыносимое зрелище. Разбудить, растолкать, растрясти, заорать во все горло. Но, находясь по ту сторону, он был нем и бессилен. Осыпалась сигарета, тая на глазах, еще чуть-чуть – и отец обожжет себе пальцы и проснется, и, может быть, сам как-то дотащится до дивана. Но отец, наоборот, стал раскачиваться еще сильнее, теперь уже мыча и тряся головой, горячась и возражая кому-то по старой привычке, и тогда Андрей, не зная, что делать, вдруг упал перед ним на колени. Мать выжила и даже не сошла с ума, а сошел с ума отец, превратив дом своей мечты в берлогу, где он прятался от жизни в безумных снах. Обхватив его колени, Андрей уткнулся в них лицом, прося прощения за то, что мог вернуться к нему лишь бесплотной, холодной тенью. Отец все качался, балансируя на кончике стула, но уже затихнув, как будто перенесся в другой, более мирный сон. Из кухни послышались шаги и голос матери. Она говорила с кем-то мягким тоном. Дойдя до двери, остановилась.

– Подожди меня здесь.

В ответ заскулили.

– И даже не думай. Нечего тебе здесь делать, – повторила она. – Я сама-то сюда захожу только в крайнем случае, из чувства самосохранения, как бы он дом не спалил, ты сам знаешь, милый, на что он способен.

Мать уже была в комнате.

– Господи, ты посмотри, во что он все превратил. Он же меня сюда уже год не пускает. Теперь взял новую моду: завтракает здесь в гордом одиночестве. Ему, видишь ли, все опротивело. Чарли, лапушка, ты видел, какой чай он себе заваривает? Да такой чифирь только на зоне пьют, когда наркотиков не могут достать. Я ему говорю, у тебя и так давление высокое, а он мне пальцем наверх тычет – а я, может, сдохнуть хочу, надоело мне, говорит, смотреть в пустое небо, и солнце так надоело, что сил больше нет никаких, я вот плащ белый надену и буду помирать. Да у него сроду белого плаща не было. Вот-вот, совсем с ума сошел, я тоже так считаю, лапушка, – продолжала мать, повернувшись к двери. – Боже, что здесь творится… Ну, что он сам за собой не убирает, это ладно, но ведь и мне не дает. Не смей сюда заходить, не смей притрагиваться к моим вещам, всё на мои деньги куплено. Ах, негодяй, смотри, что делает, я же ему сто раз говорила, чтобы не курил, если напьется.

Мать вытащила сигарету из его пальцев и затушила ее в переполненной пепельнице.

– Скоро весь дом спалит, господи. Как дитя стал, на пятнадцать минут одного не оставишь. Что бы мы с тобой делали, если бы не Боря? Он бы нас уже давно в клочья разорвал. Помнишь, как он мне объявил, что Боря ему не сын и пускай убирается из его дома? Совсем озверел, потом, правда, рыдал, ну а потом опять напился и давай все по новой. А Боря его всю жизнь отцом считал, и сейчас считает. Ну вот что мне теперь с ним прикажешь делать? Разбудить, так он на меня сразу с кулаками набросится, я ведь и так ему жить не даю, лезу во все. А если так оставить, грохнется на пол и все кости себе переломает, тогда нам вообще жизни не будет. Погоди, кажется, придумала.

Она стащила с дивана одеяло и расстелила его перед стулом, а потом положила на него две подушки, и покачав головой, уже хотела выйти из комнаты, но что-то задержало ее. Остановившись перед окном, она раздвинула занавески.

– Ну иди, иди сюда, лапушка, давай поговорим немного.

В комнату, разъезжаясь когтями по полу, вошел Чарли. Повернул морду туда, где сидел отец, и тихонько заскулил. Не отрывая взгляда от окна, мать положила ему на загривок руку.

– Не бойся, он теперь долго будет спать. Два дня не просыхал.

Но Чарли все поскуливал, перебирая лапами, порываясь, но так и не решаясь приблизиться к стулу.

– Ну-ну, не надо так нервничать, какая же ты у меня все-таки чувствительная натура. Прямо Чайльд-Гарольд. Не зря Андрей тебя тогда усыновил. Давай лучше поговорим, лапушка.

Чуть успокоившись, Чарли тоже стал смотреть в сад, правда, то и дело кося мокрым, черным глазом в направлении стула. Мать молчала и, глядя в окно, поглаживала Чарли по пятнистой черно-белой морде. Когда Андрей подошел к ним, Чарли опять тихонько заскулил, но как только Андрей опустил руку ему на голову, замолк.

– Помнишь, как прекрасен был сад, с желтыми, синими и бордовыми тюльпанами, и еще с такими двухцветными, кажется, лилово-белыми, в мохнатых лепестках. Ему их из Голландии привозили. Сад был волшебный, казалось, все росло и цвело само собой в этом лазоревом краю – левкои, георгины, нарциссы, даже розы, обычно такие капризные, выживали в самые сильные морозы и пахли слаще, чем в розарии Екатерининского дворца. Помнишь, какие здесь были праздники. Там, где сейчас эта жуткая клетка для собак, стоял камин, где коптили камбалу. Стол занимал полсада, столько сюда приезжало гостей пировать под березами. Ты тогда еще был совсем маленький, и мы боялись, что тебя заклюет соседский петух, а потом он сам в суп попал, а ты всех нас пережил. Ну это я так, глупости говорю, не обращай

внимания. А потом ты вырос, и все вдруг поменялось, и началась совсем другая жизнь. Ты знаешь, лапушка, я никак не могу понять, что я здесь делаю, правда-правда, вот и он тоже не знает, – мать кивнула в сторону отца. – Не знает, а буянит, охрип уже совсем от водки и ора. Он же падает на ходу, на прошлой неделе опять сознание потерял в коридоре. Мы его с Борей еле до кровати дотащили. И все глушит свою водку, память вышибает. Чтобы не помнить, не думать. Он же всю пенсию пропивает. А я все помню, лапушка, все до последнего, я должна помнить, понимаешь?

Мать потрепала Чарли по голове.

– Понимаешь, ты ведь у меня умница, как и он. Все молчат о нем, и я молчу. Как будто его и не было, а мы просто все вдруг проснулись в другой жизни с этой вот пустошью с собачьей клеткой вместо прекрасного сада.

Но он же был, почему все делают вид, что его не было, и я тоже? Все хотят жить дальше, да? Вот и Света вышла замуж, да как удачно. У нее теперь все есть, и даже больше. И Сашка приезжает все реже. У нее опять новый кавалер. А мне о нем поговорить не с кем, однажды попробовала с ним, а он как завопит, чтобы не смела пачкать светлую память, так и сказал, светлую память, по своей этой смехотворной парторгской привычке. И как понес, что это все я вместе с той семейкой, что я недосмотрела, с тех-то и брать нечего, а я, родная мать, ничего не почувствовала, не предотвратила, потому что холодная сердцем и ничего не видела, кроме своей карьеры. А что я могла, лапушка? Я ведь была идеальная мать, он мне сам это говорил, Андрей. Ни во что не лезла, не учила жизни, не совалась со своим мнением, не досаждала просьбами. Я не знала, что у него такие проблемы, никто не знал, он хотел решить их сам, как мужчина. Мы же с ним понимали друг друга с полуслова, лапушка, правда? А сейчас мне кажется: может, надо было спросить, как-то дать понять, что я обо всем об этом думаю. Он ведь пить начал, и, по-моему, изменять. И весь этот бизнес, этот магазин, эти люди, с которыми он связался. А может, я просто не верила, что с моим мальчиком может что-то произойти, с моим самым умным, красивым, любимым мальчиком. С моим королем мира. И ведь они стали хорошо жить, а значит, были правы, лапушка, и не мне было судить об их жизни.

Мать все смотрела в окно, шевеля губами. Лицо ее было, как всегда, спокойно, и как всегда, Андрею было непонятно, как ей удавалось жить, не теряя разума и обустраивая пространство вокруг себя по своему образу и подобию, даже здесь, в этом больном и страшном доме.

– А потом он не пришел на его день рождения. Я как раз лимонный пирог вытащила из духовки, его любимый, когда позвонила Света. Я из кухни услышала, как она рыдает в трубку. Сердцем почувствовала. Он, оказывается, уехал с кем-то разбираться и не вернулся. Никто не вернулся. А потом в Сосновом лесу, на том самом проклятом месте, нашли обгоревшую машину, и двоих в багажнике, а он лежал на сиденье, ну, то, что от него осталось. Боря ж его по ключам опознавал и по пряжке от ремня. А эти уже были на Востоке, двое из них, а других взяли и сразу выпустили. Там же не было ни одного свидетеля, а они все отрицали. Потом они тоже удрали в Россию. А ее выпустили через три месяца за отсутствием улик, ведь то, что она дала задание, никто не мог подтвердить. Боря еще бегал, искал правду, пока ему не дали понять, что для всех будет лучше, если он успокоится, и потом, былого не вернешь, а лучше подумать о родителях, об их здоровье, они люди пожилые, и вообще, мало ли что с ними может случиться. И мы смирились, и ничего не случилось, просто началась другая жизнь, и я вот все думаю: что я здесь делаю, а? Если бы не ты, лапушка…

Не договорив, мать снова стала поглаживать Чарли по голове, не отрывая взгляда от окна.

Пока они втроем смотрели в сад, перед глазами Андрея проплывали синие тюльпаны, и пенилась нежно-лиловая сирень у ворот, и изнемогала соком малина, которую отец посадил у забора. Проплывали сияющие, с солнечными бликами лица гостей с фужерами в руках за столом с белоснежной скатертью – их щеки рдели, а головы осеняли березовые ветки, проплывал отец, размахивая руками в сторону парника и славя на весь мир нежинские огурчики, проплывал маленький Чарли, смешной кесаревич, длинноухий и косолапый, а за ним Сашка босиком и в джинсовом комбинезоне, и дул в нос свежий морской ветер, из леса доносились разные пряные ароматы, и, проплывая, покачивала ногой в красной босоножке Светка, выкрикивая очередной тост, а потом с лазурного неба стали падать снежинки, сначала мелкие, как белые мошки, а потом всё крупнее и мохнатее. Снег падал на березы и тюльпаны, на праздничные блюда и бутылки, на разгоряченные щеки гостей и их смеющиеся рты, на черные отцовские волосы и на Сашкины льняные кудряшки, и на пятнистого Чарли, который с лаем кидался на них в теперь уже белое небо, но снег не обращал на него никакого внимания, а все падал и падал, стирая их всех с лица блаженной, зеленой земли. Мать все еще что-то говорила, но Андрей слышал ее все хуже, как будто снег укутывал и ее, покрывая толстым слоем тишины и забвения. Голос еще доносился до него, и он

напряг слух, чтобы разобрать ее горячечный, как в бреду, шепот. Она теперь быстро бормотала что-то, как будто боялась не успеть, хрипя и прерывая речь, когда ей не хватало дыхания. Он знал, что ей все труднее говорить и что скоро она навсегда затихнет, и тут услышал, как она зовет его и отца, а потом Борю. Она еще что-то шептала про Борю, слабым, уже почти бесплотным голосом, про то, что у нее болит душа и что как он без нее, а потом слилась с белым садом за окном и исчезла.

Теперь Андрей стоял у окна один. Чарли прыгнул в окно и тоже исчез в заснеженном саду, который стал постепенно пробуждаться от зимней спячки. Теплый ветер, растапливая снег, красил сад в новые, весенние цвета. Отца в комнате уже не было. Диван, без белья, с ободранной пестрой обивкой, стоял на том же месте, а стол, на котором теперь лежали какие-то бумаги, был сдвинут ближе к двери.

За окном уже набухали соком ветки старых берез, и лес за забором пах талым снегом и мокрой прошлогодней хвоей, а земля в пустом саду была черная и притихшая, как будто приходила в себя после долгой зимы. Со стороны дороги послышался звук мотора, а потом кто-то нажал на клаксон, приветствуя дом, и сад до самых небес наполнился настырным гудением. К дому подъезжали две машины невиданной аэродинамической формы, придуманной в том будущем, куда он так и не попал. Они остановились у калитки. Из первой вышли трое мужчин, а из второй, вишневого цвета, сначала выскочила длинноногая девушка в короткой пушистой шубке, а чуть позже, когда вся четверка уже подходила к калитке, еще один мужчина. Верховодила всеми девушка. По всей ее стремительной фигуре, решительным, быстрым движениям было видно, что она привыкла главенствовать. Хотя она была достаточно далеко, Андрей видел ее лицо, как будто бы она стояла прямо перед ним, тогда как ее спутники расплывались в одно темное пятно, лишь создавая ей фон. Она была прелестна, с тонкой, почти прозрачной кожей, маленьким ярким ртом и совершенно чудными глазами изумрудного цвета, которыми она теперь смотрела на дом, цепко охватывая его со всех сторон, и даже в невидимую для нее сейчас заднюю часть, как рентгеновские лучи, казалось, проникали эти чудные глаза.

Но где-то на самом дне ее оценивающего взгляда росло и рвалось наружу другое чувство, которое, как огонь, пламенело в зрачках, делая ее еще пленительнее. Безудержное любопытство. Не отрывая глаз от окон, она бросила своим спутникам:

– Интересно, он жив?

Не дожидаясь ответа, девушка обхватила руками колья забора и громко закричала:

– Боря! Борь! – и не дождавшись ответа, прокричала еще раз: – Борька, ты где сидишь? Вылезай давай! К тебе гости приехали!

Но дом молчал, и тогда она, пожав плечами, обернулась к мужчинам. Один из тех, кто вышел из первой машины, отделился от темного пятна и шагнул к забору.

– Зима была холодная, – бросил он деловитым тоном и стал большими шагами ходить вдоль забора, словно измеряя его. Девушка спрятала точеный носик в пушистый воротник, чуть нахмурившись и исподлобья глядя на дом. Андрею показалось, что на ее белое личико легла тень от проплывающего свинцового облака. Теперь и остальные мужчины подошли к калитке, явно намереваясь открыть ее и войти в сад. Но девушка, повелительным жестом вытянув руку, преградила им дорогу. Она еще постояла так секунду, уткнувшись носиком в мех, и вдруг лицо ее просияло, как будто в голову ей пришла замечательная мысль.

– Ой, придумала, – воскликнула она, подпрыгивая и хлопая в ладоши. – Будем держать пари! На ящик шампанского. На «Вдову Клико»! Кто принесет испанскую бурду, кастрируем не сходя с места.

Парни загоготали:

– А ты о себе-то подумала?

– Ну что? – спросила девушка уже серьезнее. – Кто за то, что жив? Я против.

– Да ладно тебе, – сказал один из тех, кто вышел из первой машины. – Жив, конечно, куда он денется. Они знаешь какие живучие.

– Так, еще кто?

– Ну, я, предположим, – сказал другой парень из первой машины, а тот, кто ходил вдоль забора, повторил, что зима в этом году была на редкость холодная.

– И что из этого следует? – спросила девушка. – Ты за или против?

– Ну жив, жив, – пробурчал он, и заложив руки за спину, стал смотреть на дом, уже совсем другим взглядом, чем сначала. Мужчина же, который приехал с девушкой в одной машине, молчал, а у него никто ничего и не спрашивал, как будто его мнение и так было всем известно.

– О’кей, – крикнула она. – По рукам!

Девушка, каждое слово и движение которой причиняли Андрею боль, подняла щеколду и открыла калитку. Вся компания

зашла в сад и уже хотела идти к дому, как она, видимо передумав, замахала руками.

– Стоп! Ни шагу дальше.

– Ты чего? – удивились парни.

– А того, что прелюдия, – сказала девушка. – Вы, мужики, жутко примитивные создания, вам сразу раз – и вставить. А нам прелюдия нужна для пущего удовольствия.

– Ну прелюдия так прелюдия, – согласились они, кажется, даже с облегчением, что не надо сразу заходить в дом.

– Так, – объявила девушка, глядя на дом, – а пока можно и делом заняться. Ну в общем, эту хибару мы сразу сносим, правда, Котик?

Это она обратилась к своему спутнику, с которым приехала в одной машине. Тот кивнул.

– Я здесь ни минуты не собираюсь жить. Хочу бунгало, как у мамы. И бассейн, и сауну с джакузи. Так что нанимаем бульдозер и… да он сразу развалится, только пальцем ткни, он же весь прогнил.

Она стала разгуливать по саду, точно так же размахивая руками, как и отец, когда в золотой век демонстрировал гостям свои огурцы и помидоры.

– Слушай, котик, а я еще зимний сад хочу устроить, с пальмами, там, где веранда, а сюда джим пристроить, чтоб ты у меня не толстел.

Котик кивал, посмеиваясь, а остальные, с серьезными лицами качая головами и потирая угрюмые, идеально выбритые подбородки, обсуждали план постройки нового дома. Когда в саду со стороны дома появился худой человек с бородой, в заношенной куртке, накинутой на плечи, и, опираясь на палку, заковылял к компании, Андрей сначала подумал, что это отец. Первым его заметил Котик и тихо сказал что-то девушке. Та обернулась и вздрогнула.

– Что, думали, я уже концы отдал? – сказал Боря, опершись на палку двумя руками. После смерти матери он не то что не женился, он еле ноги таскал. – Ну привет, племянница, луч света в темном царстве. Спасибо, что заехала.

Девушка побледнела и вдруг таким же жестом, как и мать, прижала к горлу воротник шубки.

– Не смей мне хамить. Я тебе, между прочим, на Новый год целую сумку продуктов притащила.

Тут она стала очень похожей на Светку, когда та шла в атаку, чувствуя себя виноватой. Боря усмехнулся и вдруг, взмахнув палкой, согнулся в три погибели, а выпрямляясь, пошатнулся, но сумел удержаться на ногах.

– Премного благодарен, сударыня. Мне ее на целый день хватило. А еще более я вам благодарен за то, что прописавшись в доме, лишили меня дров на зиму. Но я, как видите, еще жив, можно сказать, законсервировался благодаря низким температурам. В свою очередь прошу прощения, что так разочаровал вас, не окочурившись.

Девушка смотрела на него, закусив губу и все еще прижимая воротник к горлу.

– Я же говорил, что они живучие, – опять сказал один из троицы, желая поддержать девушку. Котик же, стоявший рядом с ней, молчал. Усмешка исчезла с его круглого лица и глаза сразу потяжелели.

– Да-да, простите, не знаю, как вас по имени-отчеству, вы совершенно правы, они живучие, – повторил Боря, – старой закалки, советской то бишь. Так что придется еще подождать, дорогая Александра, с бульдозером и джакузи. Но ты не расстраивайся, все-таки эта развалюха – память о бабушке с дедушкой, да и о папе. Сможешь приезжать сюда в сентиментальное путешествие и рыдать крокодильими слезами. А хочешь, переезжай сюда вообще, на правах домовладелицы, вдвоем будем плакать, когда я тебе буду рассказывать, как бабушка умирала, ну, если муж пустит, конечно.

– Папу не смей трогать, алкоголик несчастный, – выкрикнула девушка. – Ты нам вообще никто, седьмая вода на киселе.

– Помнится, когда тебе деньги были нужны, мы были родственники. И когда дом у нотариуса на твое имя переписывали, тоже. А насчет твоего папы и моего брата, напомнить тебе, кто опознавать его ездил, хотя там и опознавать было нечего, кроме ключей? И кто потом его делом занимался, пока его не прикрыли?

– Замолчи, замолчи, замолчи! – заорала Сашка, прижав к ушам руки и дико замотав головой, и вдруг, повернувшись, ринулась вон из сада и бросилась сначала к машине, но, раздумав, в ярости захлопнула дверцу и побежала в сторону моря. Боря тоже повернулся и не оглядываясь, поплелся обратно в дом. Троица зашагала к калитке, а Котик, обогнав их, нырнул в вишневую машину и стал разворачиваться. Андрей отошел от окна и вышел из комнаты. За столом на кухне, заваленной грязной посудой и пустыми, разодранными коробками, которые доставали почти до потолка, уже сидел Боря со стаканом в руке. Он что-то бормотал с несчастным видом, икая и опорожняя стакан. Постояв перед ним пару секунд, Андрей выскочил из дома и побежал к морю.

Она сидела на самом краю пирса, свесив ноги вниз, и плакала. Котика, слава богу, нигде не было видно. Андрей сел рядом с ней и обнял ее за вздрагивающие, пушистые плечи. Славка уже успел подогнать «мерс» поближе к пирсу и, перекуривая, ходил теперь вокруг машины. На шефа он не смотрел, но Андрей знал, что времени у него осталось не так уж много. Сашка, рыдая, прижимала к уху золотистую плоскую коробочку.

– …Он мне такого наговорил, деда, ты не представляешь. Как будто я сволочь какая-то. Он, конечно, опять надрался, ты бы его видел, он же стал натуральным бомжом, от него воняет за километр. Мы с ребятами приехали дом смотреть, мы думали, он того, а он вдруг вышел из дому, как леший с палочкой. Ну разве я виновата, что он стопроцентный лузер, он же всегда таким был, я же помню, когда была маленькая, что папа тоже над ним смеялся, да он даже себе машину приличную не мог купить, все на «пылесосах» ездил. Ну при чем тут я, а, деда? Он же сам виноват, что такой. Да?

Из коробочки лился голос тестя, как всегда вкрадчивый и мягко увещевательный.

– А мне все равно плохо! – рыдала Сашка. – Мне сейчас так плохо, деда, так тошно, что ты и понятия не имеешь, я же обещала бабушке его не бросать, он же слабый, он пропадет без нее, он же пьет не просыхая. Ну а я тут при чем? Что я ему, нянька, что ли? Да он меня вообще благодарить должен, что я такая дура добренькая. Я ж его отсюда в два счета могла бы выпереть, дом-то он сам на мое имя записал, а я его не выгоняю, пускай живет, да я ему в декабре целую сумку продуктов притащила, а он мне такое выдал, такое… нет, деда, я здесь одна, да не волнуйся ты, и отстань от меня со своим Котиком, да, я его прогнала, а ты как думал? Я сейчас видеть никого не могу, да куда он денется, прибежит, как миленький… А Борька у меня еще попляшет, он у меня еще в ногах будет валяться, раз я такая скотина…

И она все жаловалась, и говорила что-то путаное и сбивчивое в этот искристый телефончик будущего, сияющий, как маленькое солнце в серой мгле, и утирая слезы замерзшей красной лапкой, то каясь, то обвиняя весь мир в своем горе. Зареванное лицо, которое она повернула в его сторону, было совсем близко и, глядя на ее родные, распухшие черты, он вспоминал, как быстро он когда-то мог утешить и даже развеселить ее, просто присев рядом. В ней жила такая же нервность, как и в нем, они оба чувствовали это, и уже одного этого было достаточно, чтобы она сразу успокаивалась. Сашка надрывно крикнула что-то в

телефончик и тут же яростно нажала на кнопку. Он подумал, что со злости она сейчас швырнет его в волны, но она сунула его в карман и, схватившись обеими руками за бетонную плиту пирса и кусая губы, наклонилась над водой. Хотя он не расслышал последних слов, поглощенный изучением ее лица, он понял, что тестю не удалось утешить ее, и она наказала его за это, прервав разговор. Телефончик запел нежным голоском, но Сашка, не глядя, придавила ладонью карман, и он опять заглох. Теперь она, не отрываясь, смотрела на зыбкий горизонт, так же как и он, набираясь мужества перед тем, как во второй раз войти в дом. Хотя это было совсем недавно – «мерседес» стоял тогда ближе к порту – но на земле за это время успели умереть мать с отцом и Чарли, Боря превратился в алкоголика с палочкой и трясущимися руками, а когда-то прекрасный дом у моря, который строил знаменитый Гриша со своей артелью, почернел, прогнил и в нем стало страшно жить.

Телефончик опять запел, она вынула его из кармана и опять, не глядя, хлопнула по нему, заставив замолчать. Шевеля губами и сдвинув красивые брови, Сашка напряженно всматривалась в сизое море. На лице у нее была ненависть. Вдруг она схватила телефончик и, нажав на кнопку, прижала его к уху и как-то по-детски, страдальчески морщась, запричитала.

– Я же ему говорила, что мне плохо, а он мне все: ты самая красивая, умная, сильная, ты самая удачливая и так и должно быть, это закон жизни, в ней побеждают самые умные и сильные, такие как ты, наша принцесса. А Боря сам виноват, пить надо было меньше, он же взрослый мужик, что нам теперь, нянчиться с ним всю жизнь? А мне так плохо, и я никого не люблю. Слышишь меня, никого. Я маленького хочу, чтобы его любить, а у нас не получается. Только ты один меня понимаешь, у меня ведь больше и нет никого, ты же знаешь, я не сволочь, мне просто так тошно иногда бывает, а они все заладили – принцесса. А я просто жить хочу по-человечески, с маленьким, чтобы я его любила, а у нас все никак не получается, и мама мне тоже говорит, что все у меня будет хорошо, что я самая красивая и умная, а я им не верю, они мне всегда врали, и тогда про тебя, и сейчас, они мне врали, что ты в аварии погиб, это я все сама потом узнала, без них…

Она все рыдала в телефончик, но уже без злости, вся ее ненависть растворилась в этих детских слезах, остались только отчаяние, беспомощность и какое-то фанатичное упорство, с которым она напирала на собеседника. С холодеющим сердцем Андрей наклонился к золотистой коробочке и прислушался. Она не издавала ни звука. И как могло быть иначе, если Сашка говорила с ним?

– Я ведь теперь все про тебя знаю. Все-все: и что тебе голову прострелили и руку, и что «мерс» сожгли, и что Борька тебя по ключам опознал. Я только тебя люблю, и бабушку, а их всех ненавижу, и маму, и Борьку, и себя, и весь мир, ну почему, почему мне так паршиво, если я такая неотразимая, умная, сильная, я ведь должна быть счастливой, они же мне обещали, что я буду счастливой…

Сжав свободную руку в кулачок, она постукивала ею в грудь, поскуливая, и этот тонкий протяжный звук все глубже врезался в него, переворачивая и кромсая внутренности. Андрей гладил по голове свое сопливое, глупое, взбалмошное дитя, и, глядя на зыбкий горизонт, утешал себя тем, что Сашка тоже смотрела на этот же горизонт, и что может быть, где-то там, образуя точку пересечения, их взгляды встречались, а значит, приближали их друг к другу.

Сзади послышался шум колес и бибиканье. Оглянувшись, Андрей увидел, как к пирсу подъезжает вишневая машина. С другой стороны берега ехал белый «мерседес». У пирса машины поравнялись и остановились. Из вишневой машины вылез Котик и закричал:

– Сашка! Ну ты чего дурака валяешь? Мы по тебе соскучились! Иди сюда скорей. И хватит рыдать, а то глазки испортишь. Ты не волнуйся, мы этому алкашу так бока намнем, что мало не покажется, только свистни.

Но Сашка не обернулась, продолжая смотреть в море.

– Эй, принцесса Турандот, ну я кому говорю? Ну хва реветь, а? Пошли лучше шампанское пить в «Асторию»! Твое любимое, «Вдову Клико».

Славка тоже вышел из машины и теперь стоял возле нее, приподняв воротник и притоптывая. «Мерседес» уже включил фары, подзывая к себе Андрея. Они одновременно поднялись на ноги и медленно побрели на берег по склизкому бетону.

Ассистент

То ли они летели ночью, то ли уже попали в вечную тьму, но вокруг было так черно, что Андрей перестал вглядываться в окно. «Ауди» сгинула без следа, но он знал, что это вопрос времени. Сзади несло холодом. Андрей вспомнил, что где-то на заднем сиденье валялся плед, но оборачиваться не хотелось. Вид Димки с откинутой головой, разинутым ртом и с пушкой в окоченевшей руке внушал страх и тоску. Висок, слава богу, уже так не колотило, но стала противно ныть ладонь правой руки. Он потянулся вперед и включил отопление посильнее. Черт его знает, где мы, но хоть ноги согреются. Славка повернул к нему голову, будто угадав его мысли, и вдруг подмигнул. В следующее мгновение «мерседес» притормозил и стал снижаться. Внизу по-прежнему расстилалась тьма, но теперь в ней что-то двигалось, наполнялось рельефом, точно оживал ландшафт, покрытый черной тканью. Тьма стала распадаться на отдельные куски, где-то заблестев, а где-то чуть посветлев до свинцового оттенка. Андрей уже различал границы между распадавшимися формами и теперь с тревожным любопытством всматривался в расклад этих неизвестных ему сил. Вот свинцовый цвет сузился и потек по черноте, образовав дорогу. Искристый оттенок тоже обрел свою форму и лентой заструился параллельно с дорогой. Теперь по ней ехала машина с включенными подфарниками, медленно объезжая дыры в асфальте, а может, просто выбирая подходящее место. Наконец она затормозила там, где от реки ее отделяла узкая полоска земли, и из нее вышли двое. «Мерседес» тоже остановился и теперь парил над ней, чуть накреняясь носом вперед для лучшего обзора. «Альфа Ромео». Парни с бритыми головами, в коротких пуховиках нараспашку открыли багажник, вытащили оттуда длинный сверток и, подхватив его с двух сторон, потащили к реке. У самого берега они остановились, опустили его на землю и повернулись к машине.

– Может, камень подложить?

– Да-а… – раздалось оттуда. – И так пойдет.

– А если всплывет?

– Так пока всплывет… Здесь течение ништяк.

Парни подхватили сверток и, раскачав, швырнули в реку. Потом оба, отряхнув руки, постояли у берега.

– Хорошо идет, – крикнул один из них, обернувшись.

– Ну, – отозвался третий, – ладно, хватит ежей пасти. Поехали.

Парни пошли к машине, а Андрей посмотрел на Славку. Тот

еще раз и как-то особенно смачно подмигнул ему, и «мерседес» тронулся, но не за машиной, куда сели похожие на близнецов бритые парни, а следуя течению реки, по которой плыл сверток. Перед глазами в последний раз мелькнула побитая асфальтовая дорога, проложенная еще в благие брежневские времена. Потом все опять исчезло, кроме черной реки, которая текла теперь по пустынной, холмистой местности.

Сверток то пропадал, то опять появлялся на поверхности. Когда он застревал в ветках упавшего дерева, Славка тормозил и, ухмыляясь, ждал, пока течение не вызволит его и не понесет дальше. Иногда река ускоряла свой ход или ее путь преграждали пороги, и тогда сверток трепало и кидало между камнями и несло вниз со страшной силой, точно река бунтовала, хотела вышвырнуть из себя эту непрошенную ношу. И каждый раз, когда сверток преодолевал очередное препятствие, Андрей, замирая, ждал, что вот сейчас он наконец развернется, и на поверхность всплывет его содержимое.

Как только, не выдержав натиска реки, сверток стал поддаваться, и из него показалось что-то длинное, Славка спикировал. Теперь они летели над самой водой, и Андрей увидел, что это нога с черными ногтями. Нет, с ярко-красными, конечно. Она всегда красила их в ярко-красный. Он не ощущал ни ненависти, ни облегчения, ни радости, ни даже злорадства. Все это осталось на земле, а здесь царили холод и смирение. Теперь из другого конца свертка, который стал медленно разворачиваться, водорослями заструились волосы. Длинные и белые. В последние годы она красила их в белый цвет, поддерживая имидж интересной блондинки. Раскрываясь, саван виток за витком обнажал все новые части ее тела. Теперь, почти выскользнув из него, она плыла по уже притихшей реке, мягкая, белая и безвольная. Наталья. Андрей понял, что здесь, над этой бесконечной рекой, которая скоро поглотит их всех, наконец началось их последнее и главное путешествие.

Когда наступили свобода и независимость и Андрей еще как-то пытался выжить в институте, Наталья сразу пошла в бизнес. Правда, не в столице, а в провинции, где сначала открыла какое-то акционерное общество, которое быстро прогорело, потом еще одно, а потом стала совладелицей местного банка. Когда он встретил ее у тестя, то с трудом узнал. До этого он видел ее несколько раз. Первый раз на своей свадьбе, тогда она была тощей, вертлявой девицей в малиновом платье с оборками на груди и по подолу, которая лихо отплясывала с его профессором. Лица ее он не запомнил. Уже потом, встречаясь с Натальей через

более или менее равные промежутки времени, он понял, что в этом-то и заключалась ее особенность. Каждый раз перед ним появлялась новая, совершенно другая Наталья. Причем менялись не только прически и цвет волос, как у большинства женщин, но и фигура, манера поведения, походка и даже голос.

Поэтому, встретив у тестя пышную, голосистую блондинку, затянутую в узкую кожаную юбку, он не особо удивился, когда она оказалась Светиной кузиной Натальей. Скорее, удивилась она.

– Андрей, – пророкотала она. – Темпора мутантур, ну а мы, грешные, меняемся с ними. Но как ты стал хорош, однако. Ты, конечно, всегда был Аполлоном, но сейчас… Свобода явно пошла тебе на пользу.

Не дождавшись ответного комплимента, Наталья провела руками по внушительным формам, обворожительно улыбнулась и пожала плечами.

– А худенькие нынче не в моде.

Андрей развел руками.

– Ну раз так, будем любить женщин в теле.

– Надо говорить, женщин в стиле Рубенса, – поправила Наталья и захохотала, слегка откинув назад голову, после чего, нарочито раздувая ноздри и глядя ему в глаза, проговорила роковым голосом: – Даю тебе стопроцентную гарантию, что не пожалеешь.

– Наталья у нас такая бизнесвумен, почище любого мужика, даром что с высшим музыкальным образованием, так что смотри в оба, Андрей, – сказал тесть ни к селу ни к городу и подмигнул им обоим.

Потом пришли Светка с Сашкой, и под водочку с тестиными грибами и огурчиками Наталья стала рассказывать про свою первую фирму. Турецкие кожаные куртки а ля комсомольский вожак и кожаные пальто а ля красный комиссар. В них весь наш рэкет ходил, смеялась она. Потом кто-то кого-то подставил, и фирма прогорела. В подробности она не вдавалась. Мало ли мудаков на белом свете, а тем более сейчас. Так что не будем лить слезы и ворошить проклятое прошлое, а лучше выпьем за будущее. Потом она занялась «пылесосами», которые из Германии пригоняли ее мальчики. Чтобы каждому сурку в городе по машине. Пока один из мальчиков не исчез по дороге с солидной суммой. Его правда потом в Польше нашли, с пулей в затылке, ага, точь-в-точь как у польских офицеров под Катынью. Правильно между прочим, традиции надо уважать, ну и вообще здесь налицо гуманность и историческая справедливость. На востоке ему бы за такое голову отрезали. С бабками ей помог тамошний бизнесмен,

но и она у него в долгу не осталась. Это потом, а сначала надо было зализывать раны и искать новых мальчиков. А что ей было делать? Учить ребятишек музыке? Облагораживать всех этих славных детишек, мечтающих стать рэкетирами и проститутками, ну как мы раньше Юриями Гагариными и балеринами, Чайковскими и Рахманиновыми?

– Н-да… вообще-то, может, и надо было попытаться спасти красотой хоть одну душу, как нам завещал Достоевский, ну и чтоб, так сказать, не зря прожить жизнь, – задумчиво протянула Наталья. Покачав головой, подцепила вилкой гриб и, ухнув, отправила его в рот, запив водкой.

Нет, конечно, свой диплом с отличием об окончании консерватории она вставила в рамочку, повесила на почетное место и смотрела на него ежедневно, думая о добром, прекрасном и вечном, ну а дальше что? Наталья обвела всех ликующим взглядом и хлопнула себя по крутому кожаному бедру.

– Вот именно, а дальше что? – повторила Светка и посмотрела на Андрея, играя пустой рюмкой. Раньше она не особенно жаловала Наталью, и даже громко недоумевала, когда та в середине восьмидесятых в одночасье вышла замуж за бывшего афганца, с которым познакомилась где-то в России. Тот оказался не то наркоманом, не то импотентом, нажравшимся брома, который в Афгане был введен в рацион младшему составу, чтобы укротить гормоны, ну а заодно и моральные устои поддержать. Уже через год они развелись, и афганец, ко всеобщему удивлению, покинул Эстонию, променяв ее на Подмосковье. Там, он, кстати, не пропал в начале девяностых, а, вступив в афганское братство, сделался местным авторитетом и разъезжал на таких тачках, которые нам, европейцам, здесь и не снились. Тонка европейская кишка.

А теперь Светка, сидя рядом с тестем, подливала себе водочки и очень внимательно слушала Наталью.

– А дальше, Светик, то, что тетя Наташа, – тут Наталья нежно погладила по коленке Сашку, которая задремала, привалившись к отцу, – решила обратиться за советом к одному очень важному и очень умному дяде. Почему-то тетя Наташа не хотела торговать на рынке носками, как, например, ее подруги, тоже, кстати, с дипломами в рамочке на стене. И потом, ты же знаешь… – это она уже обращалась к Светке, – что от Карлуши в делах жизненной важности никакого толку.

Карлуша был второй муж Натальи, которого, она, опять-таки по всеобщему мнению, выбрала лишь по контрасту с афганцем. Карлуша был сыном эстонского профессора физики их знаменитого университета и русской домохозяйки. Окончив

физико-математический факультет, он так увлекся философией, что забросил диссертацию и заперся в четырех стенах, небритый и обросший, выползая только в университетскую библиотеку да чтобы прочитать пару лекций по статистике. После распада империи зла он почувствовал небывалый прилив сил и спешно стал разрабатывать концепцию государства философов. Он был убежден, что такое государство можно было построить в отдельно взятой, маленькой стране. Свободная Эстония как раз была идеальным объектом Карлушиных умозрений. Он даже произвел какие-то сложные алгоритмические операции, чтобы доказать, что платоновское государство по размерам совпадало с Эстонией, если вычесть из нее северо-восток страны. Этому отсталому региону с устаревшей, экологически преступной советской экономикой и низкоквалифицированным, русскоязычным населением в концепции Карлуши была предназначена роль материального базиса. Северо-восток с рухнувшей индустрией, алкоголизмом, преступностью и армией безработных должен был превратиться в житницу страны. Бывшие рабочие стали бы счастливыми крестьянами, в процессе труда обуздавшими в себе животное начало и обеспечивающими философов сельскохозяйственной продукцией. Таким образом, и национальный вопрос, который бушевал в стране, деля ее на два непримиримых лагеря, был бы разрешен самым органичным способом, а именно с помощью высокого, осмысленного труда на благо мудрости. В свою очередь философы регулярно проводили бы среди новоиспеченных крестьян воспитательную работу, проповедуя умеренность и разъясняя им высший смысл их труда. В результате уничтоженное Советами равновесие между базисом и надстройкой было бы наконец восстановлено. Злополучная кухарка, которая полвека управляла государством, вернулась бы к своим кастрюлям, крестьяне бы пахали, солдаты радели о безопасности родины, а философы думали и управляли. По планам Карлуши, расцвет Эстонского государства наступил бы уже через семь лет.

Пока бывшие сокурсники и коллеги, а также собственная жена бросились создавать фирмы по продаже китайских пуховиков, электроники, астрологической литературы, пикантного белья (тогда Эстонию как раз ударным темпом завоевывали стринги и лифчики с дырочками на месте сосков), а также «пылесосов» всех мастей и белой мебели с позолоченной резьбой в стиле арабского неорококо, Карлуша рассылал свой проект по всем политическим партиям и очень сокрушался, что не получал ответа. На издевательства друзей он не обращал никакого внимания и все чаще запирался в их маленькой спальне,

кропя и совершенствуя свои государственные идеи. Одни друзья обзывали его Кампанеллой недобитым, а другие, в том числе и Наталья, кукурузником, и посылали его на три буквы, когда он опять начинал разглагольствовать о своей модели высшей гармонии. Наталья уже давно крутила с одним из своих мальчиков и терпела Карлушу только из-за его матери, которая ежедневно приходила к ним готовить домашненькое, чтобы сын не испортил себе желудок вредной западной пищей, напичканной химией.

– Ну что, построил он уже свой город солнца? – спросил тесть.

– Не дай господи, – вдруг подала голос теща, разрезая пирог с капустой. – Мало мы терпели от коммунистов.

– Ну, милая моя, обижаешь, ты от меня, кроме горячей любви, ничего не видела, – хмыкнул тесть, тоже бывший коммунист, а теперь весьма успешный фирмач.

– Так это ты, а я вообще говорю, народ-то страдал, – сказала теща.

– Ну это еще неизвестно, – ответил тесть, – мы например с тобой, что – очень страдали? А народ это дело темное, вон он сейчас на демократов бочки катит, как раньше на коммунистов. Народ всегда страдает, тем более у нас, это ему по должности положено. Ну, если дурак, конечно, и ничего другого больше не умеет. А меня вот что интересует. Какую он нам конкретно роль заготовил в своем городе солнца? Я, например, философом хочу быть, чтобы думать и управлять.

– В философы берут только самых достойных, – сказала Наталья.

– Прямо как в компартию, – лениво промолвила Светка и опять подлила себе водки. Город солнца интересовал ее явно меньше, чем Натальин бизнес.

– И кто их туда берет? Спецкомиссия? Или какая-нибудь могущественная тройка? Уж давайте пофантазируем, а то всё о деньгах и о деньгах, совсем уже капиталистами стали. Скучища, – предложил тесть.

– Вам придется экзамен держать, – захохотала Наталья, – у Карлуши все по первоисточникам. Но вы не волнуйтесь, вы его сдадите, вы ведь у нас очень способный, у вас это на лбу написано.

– А если на лбу написано, почему меня как Далай-ламу не выберут и не назначат пожизненно на главного философа?

– А потому, что мест мало, а умных много, – неожиданно оживилась Светка. – Вон Андрюша у нас, например, какой умный, а толку?

– А Андрея и так не возьмут, он у нас еще маленький, – сказала Наталья. – В философы только с пятидесяти восьми можно.

– Ну тогда я в крестьянский рай пойду, в житницу на северо-востоке, а, Свет? Пойдешь со мной? Будем вместе трудиться на всеобщее благо.

– Я с тобой в эту тюрьму народов не пойду, и не жди, – сказала Светка, и на ее миловидном розовом лице вдруг промелькнула злость.

– Это она о животном начале беспокоится, – захохотала Наталья, и Андрей мысленно поблагодарил ее за поддержку.

– Да ты не боись, Светик, – сказал он. – Мы внесем в этот прагматичный европейский муравейник горячий, истинно русский элемент. Сразу за полями вырастут простые, но просторные хоромы с отдельными кабинетами, обитыми персидскими коврами, где смогут уединиться пары, а то и две. Мы же должны шагать в ногу со временем. Вход туда будет без ограничений, по потребности, то есть по темпераменту.

– Знаем мы вас с вашими темпераментами, – сказала Наталья, – а урожай кто будет собирать?

– Ну а муравьи на что? – удивилась Светка. – Их тем временем специальные ширмы над полями будут защищать от палящего солнца, чтобы лучше работали. Да, Андрей? У нас свои первоисточники, великая русская литература. Я же говорю, он у нас интеллектуал не хуже твоего Карлуши, жалко только, что все эти духовные ценности всё никак не материализуются во что-нибудь конкретное.

– Ну вот, опять заговорили о презренном металле, – вздохнул тесть, – что за молодежь пошла. Все у вас еще будет, уж поверьте мне, старику.

– Пап, я сейчас жить хочу, а не в прекрасном будущем, нас уже им накормили досыта, – отрезала Светка и перевела взгляд на Наталью. – Да, кстати, а что тебе сказал тот очень умный и важный дядя?

– Не только сказал, но и дал, – усмехнулась та. – Я теперь совладелица банка.

И она нежно погладила по голове спящую Сашку, которую уже успела усадить себе на колени, прижав к пышной груди. Детей у Натальи не было. Не от Карлуши же рожать? Да и время было такое, не до детей.

Следующий раз Андрей увидел Наталью быстрее, чем обычно. В новом времени вообще все происходило быстро. Быстро сходились и расходились, женились и разводились, быстро

обзаводились любовницами и любовниками и так же быстро их бросали, быстро меняли друзей, и еще быстрее партнеров по бизнесу. Быстро передвигались, обзаведясь кто «пылесосом», а кто уже вполне приличной тачкой, быстро говорили, ели и пили, быстро кидали друг друга, быстро принимали решения, не давая опомниться ни себе, ни другим и больше всего боясь упустить свой шанс в этом новом быстром мире с новым, безграничным небом, где кружились миллионы невидимых, и оттого еще более умопомрачительных лотерейных билетов. Казалось, и само время бежало куда-то, сломя голову, отсчитывая уже не минуты и секунды, а новые кроны и зелененькие, которым по старинке больше доверяли. А еще стали быстро и до неузнаваемости меняться представители обоих полов, и быстро и страшно умирать, в основном мужчины. Смерть настигала их в самых разных местах: за рулем, на улице рядом с собственной тачкой, в своем доме, у входа в ресторан, в постели с любовницей, на воскресной прогулке с детьми в парке, а также в темных закоулках, под виадуками, в заброшенных советских зданиях, одиноких хуторах, на пустырях, в лесах, и в естественных и искусственных водоемах находили их изувеченные тела, обнаженные, полураздетые, в домашней или спортивной одежде, или в дорогих костюмах, в зависимости от того, где их застала смерть. Новое время оказалось не только быстрым, но и прожорливым, как ацтекское божество.

Наталья, по-прежнему пышная блондинка, прекрасно выглядела, хотя немного похудела и побледнела с прошлого раза. Но эти маленькие поправки делали ее даже интереснее, как-то утончая ее несколько грубоватый, шумный имидж «души нараспашку, а также души компании». На этот раз она сама зашла к ним, прослышав, что Андрей бросил науку и устроился на биржу. За то время, пока они не виделись, у нее тоже многое изменилось. Во-первых, она развелась с Карлушей. Во-вторых, она переехала в столицу за своим новым мужем, известным эстонским журналистом и светской фигурой, с которым познакомилась на фуршете в столичной галерее. А в-третьих, она больше не была совладелицей банка. Об этом-то она и рассказывала сейчас, сидя за столом в гостиной и потягивая «Чинзано».

– А что мне было делать, если банк взял да и лопнул, – говорила она. – Сначала деньги стали пропадать, а знаешь, сколько туда хозяин вбухал.

– Это твой вор в законе, что ли? – спросила Светка.

Они уже, конечно, знали про эту историю с обгоревшим трупом, о ней в криминальной хронике сообщали газеты, правда,

без особых подробностей.

– Ну почему сразу – вор? Что у вас за советские рефлексы, ребят? Мы уже три года на свободе, черт бы вас побрал. Он просто очень деловой человек… Если человек ворочает капиталами, то уже сразу и вор? Андрюш, ты же у нас широко мыслящая личность и все знаешь о жизни, – обратилась она к Андрею. – Не ты ли мне рассказывал, дорогой, что в советской Эстонии вся теневая экономика была в руках КГБ? Так что воров в законе здесь отродясь не было чисто по историческим причинам.

– Ну спасибо, что напомнила.

– Между прочим, если бы я осталась там, то неизвестно еще, в каком карьере нашли бы мое безжизненное тело. У нас их четыре, свобода выбора.

Светка сделала большие глаза и посмотрела на Андрея.

– Думаешь, вру? Да у нас иногда по три трупа в неделю вылавливают.

На лице у нее нарисовалась бравада.

– В том числе и твоего партнера, – сказал Андрей.

– А я о чем? – Наталья покачала головой и тут увидела Сашку, которая как раз засунула нос в дверь.

– Привет, племянница, а ну-ка иди сюда, дай я на тебя полюбуюсь.

Она поставила стакан на стол и протянула обе руки к Сашке. Та подошла поближе и уставилась на нее, хмыкая. Наталья притянула ее к себе и стала ощупывать с головы до ног.

– Ой, тетя Наташа, мне щекотно, – заверещала Сашка.

Но та и не думала ее отпускать.

– Да какая ж ты у нас стала красавица, ой, ребят, не могу, честное слово, через десять лет мы ее за Дональда Трампа замуж будем выдавать, он как раз к этому времени со своей лыжницей разведется, ой, и попляшем мы на твоей свадьбе, племянница! Смотри, не забудь тетю Наташу пригласить и всем рассказать, какое она тебе счастье нагадала.

Шлепнув Сашку по заднице, она наконец отстала от нее и опять взялась за свой коктейль.

– Так я вам о чем говорю? Конкретно. Если бы я осталась еще на пару дней, то вместо его трупа нашли бы мой.

– Сашка, вон отсюда, – сказал Андрей и та, скорчив рожу и виляя попой, удалилась.

– Ты чего, совсем уже? – спросила Светка. – При ребенке такие страсти рассказываешь.

Но Наталья равнодушно пожала плечами.

– А что? Пусть знает, в каком мире живем. Чем раньше она это усечет, тем лучше. Это мы на сказочках росли, а теперь

экспромтом должны жить. Они же мне угрожали, названивали дурными голосами, дверь взломали в квартиру и кошку дохлую подкинули с петлей на шее, я ж ночами не спала и все думала: господи, слава богу, у меня детей нет. Он все деньги разворовал, а сам мне нож под горло. Если бы хозяин мне не поверил…

– Так это он его хату поджег?

Наталья всплеснула руками.

– Ну откуда я знаю? Он мне лично не докладывал. Не исключено, что мой бывший коллега, царствие ему небесное, сам и поджег, чтобы замести следы. И вообще, мое дело маленькое. Я вот сижу, пью и не могу нарадоваться, что ноги унесла. А дело закрыли за отсутствием доказательств. Слава богу, теперь в правовом государстве живем.

– Ничего себе, правовое государство, – усмехнулся Андрей. – Поджигают дом в центре города, там обгоревший труп со следами пыток, из карьера вылавливают еще один, почти одновременно горит здание банка со всеми документами, совладельцем которого являлся покойный из карьера, после чего дело спокойно закрывают за отсутствием прямых доказательств. У твоего хозяина очень большая, мохнатая лапа. А деньги-то нашли?

– Да о чем ты говоришь, Андрей? Вот святая простота. Он их давно прокутил где-нибудь на Ривьерах. А насчет правового государства ты не прав. Я, например, обратно в совок не хочу.

– И мы не хотим, – сказал Андрей, а Светка, глотнув из своего стакана, задумчиво проговорила:

– Ты, между прочим, тоже неплохо жила все это время, да и сейчас вроде особо не страдаешь.

– Светик, сейчас на прожиточном минимуме только лохи живут, а страдают только те, кто ничего другого не умеет, как говорит твой замечательный папа. И потом, что мне теперь, великий пост устроить из-за этого придурка? Да, кстати, если хочешь знать, то тачку эту мне Альберт помог купить, в качестве свадебного подарка.

– Да, Альберт – это не Карлуша, хоть и без города солнца, – сказала Светка.

– Хорошая тачка, – согласился Андрей, – лучше, чем у нас.

– А я о чем, ребят? Я вот что хочу сказать. Здесь намечается одна тема. Если она раскрутится, мы себе десять таких тачек купим. Нет, в цветные металлы мы не полезем, там пусть пермяки с краснодаром друг другу глотки рвут, а мне жить охота. Я, правда, пока в подполье сижу, мне сейчас лучше не светиться, но… В общем, я тут подумала, если что-то начинать, то только с родственниками, а не со всякими разными люпусами, так вот, у меня тут завелся один интересный контакт, и как только что-то

определится, я вам сообщу. К тому времени тебе как раз твоя биржа осточертеет, ол райт, Андрей?

Самое интересное, что все случилось именно так, как предсказала Наталья. После чего Андрей не то чтобы уверовал в ее умственные способности, но признал в ней качества, сообщающиеся с новым временем, как два тех самых сосуда из учебника физики. Деловое чутье, напор, агрессивность, бесшабашность, безграничный оптимизм и веселый, простодушный, совершенно неотразимый цинизм, с которым она делила мир на супер-пуперов и низшие организмы. Если в городе происходила очередная разборка, то Наталья, пожимая плечами, говорила, что это вопрос эволюции, в которой по закону природы побеждает сильнейший, чтобы мир мог двигаться дальше. А если где-нибудь устраивали смертоубийство низшие организмы, типа алкоголиков, бомжей или безработных, то она с таким же апломбом утверждала, что именно так природа избавляется от хлама, и мы должны быть благодарны ей за это.

«Любое общество нуждается в чистках», – говорила Наталья, – а это уже дело истории, то бишь высшего разума, происходят ли они с помощью человека, планомерно и организованно, либо высший разум сам заботится об этом, перетасовывая и селектируя биологический материал соответствующим образом. Из коих рассуждений следовало, что ее брак с философом Карлушей все-таки не прошел совсем бесследно. Она носилась по городу в «Альфа Ромео», с кем-то обедала, с кем-то пила, заводила контакты, с легкостью входя в любую компанию, бегала со своим Альбертом по вернисажам и фуршетам, во всеуслышание объявляя, что они живут в современном, свободном браке, не обременяя друг друга предрассудками и излишними эмоциями. Иногда она исчезала куда-то на неделю, другую, «навещала своих мальчиков», как выражалась Светка, а потом возвращалась похудевшая, томная, с кругами под глазами, и пару дней никуда не выходила, по словам Альберта, не притрагиваясь к пище и часами играя на рояле.

А еще Наталья регулярно посещала церковь, повязав грешную голову кружевным платочком, который натягивала до самых бровей, пекла на Пасху куличи, приносила Сашке крашеные яйца и даже съездила на паломничество в знаменитую лавру на востоке страны. После чего опять влезла в свои любимые кожаные юбки и узкие платья с вырезом, покрасила губы и ногти в ярко-красный цвет, села в «альфу» и начала разъезжать по городу в поисках интересных контактов.

Итак, где-то месяцев через восемь, когда Андрею порядком

надоела брокерская деятельность, в точности, как предсказала Наталья, она позвонила ему и сказала, что у нее к нему дело. Та самая тема. С тестем она уже переговорила, тот был готов дать бабки, и со Светкой тоже. И с юристами, но об этом позже.

– Это будет самый крутой супермаркет на юго-западе, Андрей. Ждет не дождется хозяев. Ими станем мы. Конкретно, я – деньги, ты – товар. И заметь, никакой конкуренции, там всего два сраных подвальчика на весь район. Мы им живо шею свернем. Есть, правда, еще один нюанс, парочка кандидатов. Им тоже это местечко понравилось. Но это мы как-нибудь утрясем. Мир не без добрых людей.

И действительно, все опять произошло в точности, как нагадала Наталья. Уже через две недели после их разговора она позвонила и сообщила, что один подвальчик внезапно закрылся, так как его хозяин срочно уехал к себе на родину в Азербайджан, в другом же случился пожар, несильный, но потребовались новые расходы, а денег у хозяев не было. В общем, еще немного и в районе начнется голодный бунт.

Магазин, на который положила глаз Наталья, был просторным, светлым зданием. Его построили в последние годы советской власти уже в более современном, западном стиле. В начале девяностых, когда рухнула вся экономика и даже сахар уже стали давать по талонам, он закрылся и простоял пару лет с заколоченными окнами, осыпаясь штукатуркой и обрастая нецензурными надписями. Когда же страна стала вылезать из кризиса, проведя денежную реформу и создавая новые экономические структуры и сюда, теперь уже с Запада, хлынул поток невиданных доселе товаров, то оказалось, что это бетонное здание позднесоветской архитектуры в самом сердце большого жилого района, имеет, как сейчас говорили, очень даже сильный потенциал. Наталья, видя себя хозяйкой крупного супермаркета, уже прокручивала в голове немыслимые обороты. Видимо, они нимбом светились вокруг ее головы, потому что даже обычно осторожный тесть пообещал помочь с деньгами и подключить все свои связи в переговорах с городскими властями. Относя себя к высшему разряду супер-пуперов, Наталья не сомневалась, что магазин достанется именно им. И действительно: то ли помогли старые связи тестя, то ли кому-то хорошенько дали на лапу, то ли подсуетились юристы, которых она нашла через Альберта, то ли, как утверждала Наталья, в дело вмешались звезды, но в рекордные сроки они с Натальей стали арендаторами практически нового здания в юго-западном районе города.

Впервые Андрей увидел Владимира, когда тот вышел из Натальиной машины и направился к магазину. Григорий с ребятами уже закончили ремонт, открытие планировалось через неделю. В этот день как раз устанавливали холодильники, и Наталья хотела приехать поторговаться с фирмой насчет цены. Оставив монтеров на Григория, Андрей, сильно измотавшийся за последнее время, подошел к стеклянной стене у входа и, закурив, стал смотреть на улицу. На противоположную сторону подъехала «Альфа Ромео». Сейчас из нее выскочит Наталья в высоких, чуть ли не до одного места сапогах и в длинном кожаном пальто нараспашку, и, победоносно тряся белой гривой, направится к магазину. Но вместо Натальи из машины вышел стройный парень в джинсах, короткой кожаной куртке и с сигаретой в зубах. Прихлопнув дверцу, он осмотрелся и, затянувшись, задрал голову и выпустил дым в небо. Усмехнулся и стал не торопясь переходить улицу. Остановился перед стеклом, где стоял Андрей, и вдруг, как балерина, отведя руку с сигаретой в сторону, сделал глубокой реверанс. После чего запустил окурок в воздух и с серьезной миной, как будто и не думал дурачиться, вальяжно двинулся к входу и, толкнув ногой дверь, вошел. Чтобы не выглядеть идиотом, Андрей, как ни в чем не бывало, пошел навстречу парню.

– С кем честь имею?

– Владимир Рут, – сказал парень. – Свободный консультант и ассистент Натальи.

– С каких это пор у нее ассистент? Впрочем, с нее станется, – подумал Андрей, рассматривая его лицо, которое смутно показалось ему знакомым. – А где она сама? Она ж вроде должна была подъехать.

– Ей срочно нужно было на историческую родину. По делам. Вот она меня и послала проверить обстановочку.

– И надолго она уехала по своим делам?

– А это уж я не знаю, начальничек.

Андрей даже оторопел от такой наглости, но сдержался.

– Чего ж она меня не предупредила? У нее здесь тоже, между прочим, дело.

– Бабы… – ухмыльнулся парень. – Да чего ты так нервничаешь? Мы и без нее справимся. Как будто она в аппаратуре сечет. Ее дело бабки считать, прожекты строить да банки грабить. Это она умеет. Да ладно, ладно, шучу… Ну что, все идет по плану?

Не дожидаясь ответа, парень отошел от Андрея, прошел вовнутрь и стал расхаживать по магазину, как по своей квартире, похлопывая рукой по стенам, любовно проводя указательным

пальцем по еще пустым стеллажам, поглаживая по загривку массивные, металлические кассы. Проходя мимо наваленных горой коробок, он пнул ее ногой, гора покачнулась, но устояла.

– Хорошо стоит, у нас бы так, – засмеялся парень и, подмигнув Андрею, направился дальше к холодильникам. Там он встал, наблюдая за монтерами и время от времени одобрительно кивая. Потом присвистнул: – Люблю профессионалов.

Подойдя к стеклянной стене, за которой его давеча увидел Андрей, он остановился и засунув пальцы в карманы джинс, качнулся на каблуках.

– Я раньше балеруном хотел быть. Чтоб принца танцевать в белых колготках, как в телевизоре. Прям обмирал каждый раз, когда его видел. Бред уснувшего генсека. А потом и правда, стал танцором. И консультантом по особо важным делам. И ничего, живу. Вот, пожалуйста, Наталье ассистирую. Ну ладно, бывай, начальничек.

Он уже было вышел, как вдруг притормозил и, отпустив дверь, оглянулся и весело посмотрел на Андрея.

– Дело у вас на мази. Хорошее дело. Я так и знал, с Натальей не пропадешь. В общем, да здравствует свободная Эстония, а заодно свобода личности. А также свободно конвертируемая валюта, лучший друг человека. Мы с тобой еще потанцуем, начальничек.

– Меня, кстати, Андреем зовут, – сказал Андрей, не совсем понимая, почему он сразу не послал этого кадра на три буквы. Опять проклятое воспитание подкачало, так и прет из него интеллигентщина. Но как раз в этот момент хлопнула дверь и Владимир, не услышав его, легко сбежал по ступенькам и, перейдя дорогу, сел в машину. Он уехал, а Андрей, недоумевая и презирая себя за это недоумение, подумал, что он точно где-то раньше видел это красивое, дерзкое лицо с быстрыми глазами, эту стремительную и неуловимую фигуру, почему-то вызывающую у него ассоциацию со сверкающим в пустом пространстве кривым лезвием. «Альфа Ромео» уже давно исчезла, а Андрей все стоял у стеклянной стены с незажженной сигаретой в руке, кроя себя всеми словами за малодушие и мягкотелость и совершенно по-идиотски надеясь, что этот красивый, как дьявол, блатной парень чертиком выпрыгнул откуда-то из его разгоряченного, переутомившегося мозга. Кто-то подошел к нему сзади, он вздрогнул и обернулся. Григорий.

– Это что за птица? Рэкет, что ли, уже к нам пожаловал?

Андрей покачал головой.

– Или Натальин мальчик из провинции? Смотри, уже и в ее тачке разъезжает. – И сразу ответил самому себе. – Да нет, тут,

пожалуй, другая весовая категория.

Григорий помолчал немного, а потом, бросив взгляд на Андрея, сказал:

– Слушай, я ж тебя давно знаю, а? Ты тогда еще под стол пешком ходил. Ну в общем, выясни у Натальи, кто он, откуда и почему. Чего-то мне его морда не очень понравилась. А так, все о'кей, холодильники завтра включим, можно будет товар привозить.

До Натальи он дозвонился только через два дня.

– Ты чего мне всяких отморозков посылаешь?

– Ой, Андрюща, не ругай меня, пожалуйста, – залепетала Наталья. – Я тебе сейчас все объясню.

– Ты мне сначала объясни, где ты шаталась, пока мы тут дело обустраиваем.

– Фу, какое пошлое слово, шаталась. Ты уж мне, пожалуйста, не груби. Я, между прочим, для вас старалась со Светкой.

– Ага, а твой рэкетир что у нас забыл?

– Во-первых, Владимир Рут никакой не рэкетир, а старый друг, который мне здорово помог, когда я вляпалась в жу-у-уткое дерьмо. Я ему по гроб благодарна. А во-вторых, надо же подстраховаться в таком деле. Чай не в Швейцариях живем.

– И как же он нам будет ассистировать?

Наталья засмеялась.

– Ну, это уже по обстоятельствам будет видно, нечего вперед загадывать. Жизнь, Андрей – это непрерывная, сногсшибательная авантюра, а также гениальная симфония, и именно в силу этой гениальности никогда и не знаешь заранее, как и куда польются волшебные звуки. Если, конечно, живешь, а не прозябаешь, как лох. Ты уж мне поверь, я консерваторию кончала. А в-третьих, нам Югбанк обещает пятьсот тысяч. Это уже на твой вопрос, где я шаталась.

Наталья выдержала паузу, дав ему очухаться.

– Югбанк – это что-то новенькое, – ответил Андрей, несколько сбитый с толку. – О Югбанке вроде речи не было. И вообще, при чем здесь Югбанк? У нас пока свои бабки есть.

– Так то просто бабки, а то – большие бабки.

– Погоди-погоди, я, кажется, начинаю немного соображать. Этот Югбанк – не твой ли бывший хозяин держит?

– Правильно соображаешь. И еще как держит. Всем бы так. Да чего ты мандражничаешь, Андрюш? И вообще, я тебя что-то не совсем понимаю. Где дикий восторг, где слезы радости? Или, может, ты жирафом прикидываешься? Да вы со Светкой знаешь, как заживете. Ну в золотой унитаз, может, сразу писать и не

будете, но приличную тачку я тебе гарантирую. А возможно и евроремонт, и не в прекрасном, а в самом ближайшем будущем. Мы что, зря в бизнес пошли? Пионером в наше время быть нерентабельно.

– А я не знал. Ну ладно, хватит меня воспитывать. Ты мне лучше скажи, зачем мы твоему Югбанку?

– Да уж точно не по доброте душевной, – захохотала Наталья. – А просто хозяин очень деловой человек с совершенно потрясающей хваткой. Почему бы ему не вложить в наше дело, если он в него верит? Он, кстати, у себя уже полгорода скупил, он из России цветные металлы вывозит и при этом на пермяков плюет с высокого дерева, он ведет переговоры о покупке порта, к нему все политики в очереди стоят, а образования у него, между прочим, неполных семь классов. Вот тебе натурально и меритократия. Высшая стадия развития общества, высший виток спирали, высший закон природы и высший закон истории, высший, то есть чистый разум, ну это уже для индусов вроде Карлуши…

– Да заткнись ты со своим чистым разумом… – оборвал ее Андрей и опять попытался узнать что-нибудь о Владимире Руте, но так и не добился от нее ничего путного. Наталья окончательно завелась, не давая ему ни слова вставить в свои бурные излияния о меритократии, которая избавила их от ига уравниловки, что было почище татаро-монгольского. То ли сама прикидывалась жирафом, то ли опять просто натрескалась, поддавая за трепотней. А скорее всего, уже была подшофе, когда он ей позвонил. Тогда он плюнул и положил трубку.

И опять все произошло, как нагадала Наталья. «Мерседес-Бенц» со стоянкой за углом и шофером Славкой. «Мерседес-Бенц» – жгучая мечта всех граждан, не желающих довольствоваться лишь свободой и демократией, чуть подержанный, но с мощным мотором и роскошными кожаными сидениями, и такой неотразимо буржуазный, что в нем сразу тянуло на коньяк и на длинноногих, укутанных в меха незнакомок, дышащих духами и туманами. Но главное, что «мерседес» был совершенно первозданной белизны. Он был как снег на гималайских вершинах, как чистый лист бумаги, где мог написаться какой угодно роман, а значит, и как свобода. Еще Андрею иногда казалось, будто в его белизне спряталось что-то из их старой жизни, что-то старомодное, родное и нелепое, не нашедшее себе эквивалента в новой. То, что за нерентабельностью отчаянно изживали в себе они все, чтобы не угодить в низшие организмы. «Мерседес» успокаивал его,

чудодейственным образом заменяя своей сияющей белизной те слова и понятия, которые, если еще и произносились вслух, то в лучшем случае с иронией. «Воистину, красота спасет мир», – почти всерьез думал Андрей, захлопывая дверцу.

Кроме гнилого балтийского климата, белый «мерседес» – символ нового времени – защищал его от этого времени, от людей, их завистливых взглядов, от того безумия, с которым все, в том числе и он, бросились делать деньги. За его сверкающей оболочкой хорошо и привольно дышалось, телу было мягко и удобно, а серая уличная мгла проплывала мимо, как на экране, не задевая его.

По второму предсказанию Натальи Светка начала перестраивать и расширять ванную, чтоб была теперь с душевой кабиной, разрываясь между голубым и бледно-желтым кафелем.

А в их супермаркет, между тем, валил народ, охая и ахая и проклиная новые деньги, но покорно отовариваясь и столь же покорно разбавляя культурный шок от новой жизни вином всех цветов и водкой всех сортов, которую продавали у входа, в винном, не самообслуживания, ясно, отделе. Водка Эстляндская, водка Курляндская и Католическая Речи Посполитой, а также Тевтонского ордена, водка «Великорусская» и водка «Боже, царя храни», водка Чухонская и водка Сааремаа, водка Эстонской Республики «Пятс», водка прусская «Бисмарк», водка сибирская «Сталин», водка приволжская «Стенька Разин» и, конечно, водка «Пролетарии всех стран соединяйтесь» для живущих на прожиточный минимум.

Они наняли пятерых охранников-телохранителей и искали еще двоих, чтоб было семь самураев, как у приличных людей. И пока на них еще никто не наехал – то ли не успели, то ли работала крыша, которая как-то была связана с Югбанком и Натальиными мальчиками. Сама она загадочно помалкивала, а тесть, на все сто доверяя любимой племяннице, только отшучивался, похлопывая Андрея по плечу. Светка же, окрыленная евроремонтом, и слушать его отказывалась.

– Ты, пожалуйста, брось свои интеллигентские штучки, тоже мне, чеховский герой нашелся. Ты же сам Чехова терпеть не мог за занудство. Да какая разница, кто нам манечки дает? Балтбанк, Югбанк, Нордбанк, да хоть Жопбанк. Тачка, наконец, как у людей, не стыдно по городу ездить. Да если бы не Наталья, ты бы еще на бирже пыль глотал. Ну хорошо, мне, может, тоже не все в ней нравится, ну предположим, одевается она, как проститутка, ну, голос у нее – труба иерихонская, но зато какой размах и связи, она уже о втором магазине подумывает! А как она в два счета с конкуренцией разобралась? Были подвальчики – и нет

подвальчиков. Ее и отец уважает, говорит, железная женщина. Ты же его знаешь, он просто так словами не бросается. Видишь ли, Владимир какой-то там тебе не понравился. Тебе-то какое дело, с кем она в свободное время развлекается и как он ее там ассистирует? Спереди, сзади или сбоку? Она у нас натура любвеобильная. А это уже не твоя проблема, а Альбертова. И потом, что ты знаешь об этом Владимире? Ровным счетом ничего. Подумаешь, мифическую личность нашел. Да может, он вообще тебе приснился. Я вот, например, ничего о нем не слышала. Если б он был такой важной персоной, то Наталья уж наверняка бы о нем рассказала, она ж у нас душа нараспашку.

Потом Светка стала говорить, что каждый должен заниматься своим делом, в частности он – снабжать и организовывать, Наталья – заниматься стратегией и бабками, а прочие мелкие сошки – охранять, развозить, разносить, расфасовывать, убирать, мыть и так далее. Тогда магазин будет процветать и расти, а там и второй появится и расцветет пышным цветом, а потом, глядишь, и третий, как говорит наша супер-пупер Наталья. Вон сколько еще районов в городе без приличных торговых точек. Сплошная целина. И это еще все только начало, то ли еще будет…

Андрей уже давно не слушал ее, отлично зная все ее аргументы, но как ни странно, ее бездумная, переливчатая, как у тестя, трепотня уже не приводила его в бешенство, как обычно, а действовала успокаивающе, размягчая мозги, как в студенческие годы, когда он, одурманенный ее голосом, засыпал у нее на груди. В голову пришла мысль о «мерседесе» с такими же мягкими, обволакивающими, как Светкино тело, кожаными креслами. Но сейчас спать не хотелось.

– Так как он ее там ассистирует, говоришь? – спросил он, потянувшись к Светке и схватив ее за щиколотку. – Сзади, спереди или сбоку?

Светка взвизгнула, и в коридоре сразу заворчал Чарли.

– И потом они расцветают пышным цветом? – спросил Андрей, упав на колени и задирая ей юбку.

– Сашку разбудишь, – запищала Светка, но он уже, зажав ей рот, грубо стащил ее с кресла на ковер, цыкнув на Чарли, который тут же убежал обратно в коридор. Больше он не заводил с ней разговора о Наталье.

И опять, как нагадала Наталья, жизнь стала лучше и веселее. По вечерам Андрею уже не приходилось ездить на собрания в хутора с полуголыми балеринами. Теперь они сами устраивали себе «Лебединое озеро». В роскошных Альбертовых апартаментах в центре старого города, недалеко от парламента и парочки

посольств, где в советское время размещалась затхлая контора при Министерстве образования. Апартаменты достались Альберту по наследству от двоюродного дедушки, знаменитого юриста и общественного деятеля, арестованного в тридцать девятом сразу после первой советской оккупации и погибшего в застенках Лубянки. Вонючий, темный двор под аркой средневекового дома, где раньше торчали алкоголики и пугали женщин угрюмые дядьки в длинных плащах, выскоблили, вычистили, вытурили оттуда кошек и отгородили от улицы железными вратами. В апартаментах с метровыми стенами, двумя ваннными и туалетами было очень уютно пировать. Тусовались по бессмертному принципу интернационализма и материалистической диалектики. Революционные праздники органично сочетались с новыми и старыми эстонскими. Водка с икрой и балычком вкусно и обильно пилась и в День социалистической Октябрьской революции, и в День независимости и освобождения Эстонии от советских оккупантов. Супер-пуперы был народ широко мыслящий и стоял выше национальных предрассудков.

А Альберт национальным вопросом вообще не интересовался. Он разоблачал своего брата, эстонских коллаборационистов, работавших на коммунистов. Вот, например, как вдова одного красного поэта, которая уже тридцать лет незаконно получала хорошую пенсию и проживала в хорошей квартире. Кровавые деньги, квартира построена на костях репрессированных соотечественников, громыхал Альберт в прессе, требуя, чтобы вдову, осквернявшую светлую память жертв советской оккупации, немедленно выслали на пожизненное поселение в Россию или, на худой конец, лишили незаконных материальных благ.

Впрочем, за водкой и «Лебединым озером» быстро забывали о земных горестях, и развлекались искренне, на всю катушку, не то, что на секс-хуторах, прагматично торгующих женским телом. Нет, девки на Альбертовых тусовках были аутентичные, то бишь любительницы, и если уж давали, то от всей души и для взаимного удовольствия.

Седьмого ноября Андрей подъехал к Альберту попозже. Днем он был в магазине, чтобы проверить, наладили ли новую сигнализацию, а заодно порыться в бухгалтерских книгах. На днях позвонил Григорий и сказал, что за ними должок за холодильники. Наталья обещала заплатить, но пока все обещает. Просил не затягивать, сейчас всем деньги нужны. В сейфе он нашел только бумаги с литовским товаром. Григорию он сказал, что все уладит, промолчав, что Наталья уже ездила в фирму с деньгами и с кем-то из своих мальчиков. Он отпустил Славку на три часа. Пить сегодня не очень хотелось, даже во славу

революции. Давно пора завести бухгалтера, подумал он, да Наталья все артачится, говорит – что им, деньги некуда девать? Надо будет поскорее найти кого-нибудь просмотреть бухгалтерию.

Дверь открыла незнакомая девица в блестящем балахоне и босиком. Прислонившись к косяку, осмотрела его с ног до головы, пока он снимал куртку, и повелительно ткнула ему под нос руку. Пожав плечами, он притронулся к ней губами и быстро прошел дальше. В гостиной было шумно, темно и знойно, как в июле. Мелькали знакомые лица, ему кивали, подмигивали, хлопали его по плечу, а кто-то сунул ему в руку стакан: «Пей, товарищ, за красное колесо!»

В середине под звуки «Калифорнии» терлись парочки.

– Кто поставил эту гадость? – закричал кто-то дурным голосом. – Вы еще «Бони М» включите с «Распутиным»!

– А вам чего, завидно, интеллектуалы недобитые? – вяло отмахивались парочки, и не думая отлипать друг от друга.

– Сразу видно, Альберта нет, – сказал Андрею парень с четвертинкой в руке и в шляпе. – Он бы поставил экспериментальный скандинавский джаз и все бы сразу выпали в осадок.

– А он где? – спросил Андрей.

– В Стокгольм укатил, в архивах копаться.

– Все разоблачает?

– А как же, борьба продолжается, – сказал парень и подлил Андрею водки. – Ну что, товарищ, вперед за власть советов?

Неподалеку загремел Натальин голос, и уже в следующее мгновение она сама предстала перед Андреем – большая, белая, в узком кожаном жилете без рукавов на голое тело. Смачно поцеловав его в губы – в последнее время она именно так здоровалась с ним – она прокричала:

– А вот и моя дражайшая половина. У нас все честно, по-капиталистически, фифти-фифти!

Раздался звонок, и Наталья побежала к двери, запев на ходу: «Не уходи, побудь со мной еще немного»…

Когда Андрей присел на диван, рядом с ним плюхнулась та самая девица в блестящем балахоне.

– Ты почему от меня убежал? – спросила она и положила ему на колено руку. У нее было милое лицо, челочка до бровей и родинка над верхней губой. Но все эти прелести его сейчас совершенно не волновали и, аккуратно переложив ее руку на ее собственное колено, он, ничего не сказав, встал и пошел искать Наталью. Та стояла у окна в окружении трех парней и, пошатываясь, чего-то им доказывала. Он тронул ее за локоть.

– Извини, у меня к тебе вопрос. Ты ребятам за холодильники деньги возила?

– Конечно, возила, да еще с каким риском для жизни! – завопила Наталья. – Да-да, я к ним с мальчиками ездила, чтобы не грабанули по дороге. А ты чего такой скучный сегодня, Андрюшенька? И все о делах, о деньгах. Сегодня, между прочим, День Революции, и я отказываюсь говорить на меркантильные темы. Даже с тобой, мой любимый.

– Ты бухгалтерию где держишь?

Наталья скользнула по нему мутным взглядом и подмигнула.

– Запишись на прием к моему ассистенту. А теперь – чао, бамбино, сорри. Не мешай людям расслабляться после трудовых будней.

И повернулась к нему спиной.

Разозлившись, он опять сунулся к ней, но кто-то похлопал его по плечу.

– Ты чего, не видишь, она еле на ногах держится. С утра бухает.

Нет, сегодня явно ничего не добиться от проклятой бабы. Для Славки было еще рано, общаться ни с кем не тянуло, трахаться еще меньше. Можно было, конечно, сесть куда-нибудь в теплый угол и медленно натюхаться, но в гостиной, забитой любителями Великой революции, яблоку было некуда упасть. Тогда он, выудив из-под журнального столика полбутылки коньяку, двинулся в спальню – но там уже сидел парень с девицей на коленях. Тот самый, в шляпе, которая теперь уже красовалась на голове девицы. Он вспомнил, что рядом была Натальина комната, где стоял рояль. Приоткрыв дверь, Андрей сунул в нос в проем и сначала даже не понял, в чем дело. На него в упор смотрел Владимир Рут. Его чертовски красивая голова и голый торс были освещены уютным светом зеленой лампы на рояле. Перед ним, спиной к Андрею, на коленях стояла голая по пояс девица. Ее равномерно двигающаяся голова упиралась ему в пах. Услышав скрип двери, девица вздрогнула и дернулась, но Владимир Рут запустил ей в шевелюру пятерню и, не дав оглянуться, сильным рывком водворил голову на место. Владимир Рут сидел со спущенными штанами на табуретке перед открытым роялем и, не отрываясь, смотрел на Андрея, двигая девицыной головой. Его лицо было неподвижно, только поблескивали русалочьи глаза да была чуть выдвинута вперед нижняя челюсть. На полу валялись ноты, лифчик и еще какие-то тряпки. Вдруг Владимир Рут ухмыльнулся и, сжав голову девицы другой рукой, быстро задвигал ею, теперь уже двумя руками. Девица захрипела и мотнула головой, но он надавил ей на шею, и она затихла. При

этом он не отрывал взгляда от Андрея, как бы вызывая его поучаствовать в его игре. И Андрей, вместо того чтобы закрыть дверь, принял вызов, глядя в глаза Владимиру Руту поверх безлицего тела с разъезжающимися коленками. Тогда он наконец увидел его, над головой девицы: с груди Рута на него скалился скелет с горящим крестом в вытянутой вперед руке и с косой в другой, отведенной назад. Он сидел на чудовище со страшной мордой, увенчанной, как трезубцем, тремя рогами. Под мягким светом зеленой лампы скелет, упершись коленными чашечками в бока чудовища с дьявольской короной, бешено мчался по голой груди Владимира Рута из одного потустороннего мира в другой, вперив в Андрея пустые глазницы.

Потом Андрей, уже ничего не соображая и не помня, когда он прикрыл дверь, бродил по гостиной с пустой бутылкой в поисках Натальи. Коньяк он вылакал, усевшись на пол за дверью ее комнаты. Но та как сквозь землю провалилась. Ушла по делам, сказал какой-то парень, взяв у него бутылку и с разочарованным видом сунув ему ее обратно. Он спрашивал у всех, на кого натыкался, что здесь в День Революции делает ассистент по имени Владимир Рут со скелетом на груди, но народ только таращился на него пьяными глазами и крутил пальцем у виска. Он даже затащил кого-то в комнату с роялем, но никакого ассистента там не оказалось, а под самим роялем мирно храпела его бывшая сокурсница, а теперь журналистка Изольда, с черными, а не рыжеватыми волосами, как у девицы между ног Рута. Потом появился Славка и потащил его к машине, но он упирался и все говорил, что ему позарез нужно поговорить с ассистентом. Очнулся Андрей уже под утро у себя дома на диване в гостиной.

Калев вышел из офиса и сказал, что счет еще не оплачен. Лицо у него было сонное, помятое, но серые глаза смотрели цепко. Андрей ответил, что разберется, и Калев, как настоящий эстонец, не задавая лишних вопросов, кивнул и, махнув ребятам рукой, дал им знак загружаться. В магазине Натальи не оказалось, и пока ребята выгружали голландское масло, Андрей позвонил ей. Трубку взял Альберт и сказал, что у нее мигрень.

– Тогда я приеду.

– Подожди.

Через пару минут подошла Наталья и, выслушав его, понесла.

– Такой шум из-за каких-то десяти тысяч. Тут люди капиталами ворочают, а этот… Типичный мелочный эстонец. За гроши удавится. Если ему наши условия не нравятся, пускай катится к черту. Что мы, масла не найдем? С каких это пор мы

должны платить вперед? Что? За сентябрь? Ну ладно, ладно, заплатим мы твоему Калеву, успокойся.

Пообещав, что через неделю все будет в порядке, она положила трубку. Но через неделю Наталья позвонила с юга страны и сказала, что она на переговорах с Югбанком и расскажет подробности, когда вернется. Она появилась в магазине уже к Рождеству, вся сияющая, шумная, в ярко-красном бархатном пиджаке под купеческой норковой шубой, отороченной лисой на вороте и подоле, и, поздравив народ с праздником, поцеловала Андрея в губы.

– Мы хотим второй магазин. В первом микрорайоне. Там уже полгода гастроном пустует, около рынка. Золотое дно, и хозяин так считает.

Глаза ее сильно блестели и все время куда-то убегали.

– Я за, но давай сначала с одним магазином разберемся, – сказал Андрей. – Ты, кстати, ребятам уже заплатила?

Он опять подумал о Владимире Руте. Интересно, Наталья тоже иногда посиживала у него между ног, ублажая, как та девица, которой потом и след простыл, так же как и самого ассистента? Он был уверен, что узнает ее, хотя видел только голую спину и рыжеватые волосы. И еще интереснее, заводилась ли Наталья от смертоносной татуировки на груди ассистента?

– Каким именно? Ребят-то много, а я одна, – вздохнула Наталья. И этот демонстративный вздох, и то, как она закатила глаза, было притворством. А непритворным было ее вмиг осунувшееся, постаревшее лицо, как будто она не спала все это время, пока они не виделись.

– Мы все одни на этом белом свете, Натали, и одиноки. Кондисьон юмэн, – ответил Андрей. – А если по-простому, то пить надо меньше. В общем так, ты зайди в контору, посиди, расслабься, попей кефирчику и подумай. Я тебе гарантирую, сразу все вспомнишь. Так что давай, действуй, а потом уже о втором магазине можно будет поговорить. И бухгалтерию не забудь просмотреть, на трезвую голову. А я за кроликами китайскими поехал. Народ кормить.

Андрей вывел для себя «закон белого “мерседеса”». «мерседес» успешно защищал его от нежелательных встреч, но стоило ему хоть пять минут пройтись по улице, оставив его на стоянке, как он сразу встречал кого-нибудь из старых знакомых. Как правило, неудачников без машин. Вот и сейчас, возвращаясь от матери, жившей неподалеку от их новой квартиры, он совсем не удивился, увидев перед собой Колю, бывшего коллегу из института. Как всегда, сработал «закон белого “мерседеса”». В

последнее время он, правда, уже легко проходил мимо таких знакомых не останавливаясь, небрежно кивая или делая вид, что не узнаёт, и благородно избавляя их от унизительных расспросов и еще более унизительных ответов. Но этот специалист по стихосложению в изрядно поношенной, социалистических времен польской куртке, сам чуть ли не бросился к нему на грудь.

– Андрей, сто лет тебя не видел, какими судьбами?

Андрей пожал плечами.

– Да я от матери иду.

– Верно, верно, – вскричал Коля. – Как же я забыл? А, это все новые времена виноваты. А ты хорошо выглядишь, солидный такой стал. Кушаешь, наверное, хорошо?

– Ну уж получше, чем в институте, – ответил Андрей и хотел было быстренько распрощаться, но Коля был начеку.

– Да уж не сомневаюсь. Но как замечательно, что я тебя встретил. Я ведь тебе вот что уже давно хотел сказать. Тебя в институте многие осуждали, ну, ты знаешь нашего брата. Погнался за длинным рублем, променял духовные ценности на доллары и торгует теперь ветчиной, кетчупом и женскими прокладками. А я вот нет, я не осуждал, Андрей, поверь мне, и я тебе скажу почему. А потому, что в институте сейчас работают только безумцы, юродивые, ну или верующие, в общем те, что с искрой божьей. Капитализм и литература вещи несовместимые. И прав был наш Белинский, а потом и ихний Маркс, когда утверждали, что народу в первую очередь нужны сапоги, и неправы были Маркс с Белинским, когда утверждали, что народу в первую очередь нужны сапоги, а уже потом Шекспир, Пушкин или Шиллер. Самого главного-то и не разглядели великие мыслители. А именно, что после сапог настанет очередь хрусталя, цветных телевизоров и голубых унитазов, ну а потом пойдут виллы, яхты, золотые унитазы, замки, личные острова и так до бесконечности – ведь и материя бесконечна, ей же надо, бедной, конкурировать с нашей бессмертной душой, так что все время будет как-то не до Шекспира, Пушкина и Шиллера. В общем, Пушкин с Шиллером – это что-то вроде коммунизма, верно? Так я о чем говорил? Точно, о безумцах, коим ты никогда не являлся. Ты же всегда был очень здравомыслящим человеком с центробежным энергетическим полем, как у викингов. Я это сразу понял, когда ты пришел к нам из университета. И, между прочим, очень тебя за это уважаю. Вот поэтому мы и сидим на своих говенных госставках, а ты хозяин крупного супермаркета.

Коля даже голову склонил набок, умильно, как иерей, восхищаясь успехами Андрея и жутко действуя ему на нервы.

– А скоро и второго, – выпалил он неожиданно для себя

самого, злорадно припоминая, в каком году в Таллинне выбросили куртки из ПНР. Кажется, еще до Перестройки.

– Да ну, – не удивился Коля. – Я же говорю, что у тебя размах. И никак с Наташей Бирсудской?

Увидев лицо Андрея, хитро ухмыльнулся.

– Да-да, не думай, мы все про тебя знаем в нашей большой деревне городе Таллинне. Второй магазин, говоришь. И когда?

– Скоро, брат, скоро, – ответил Андрей, проклиная «закон белого “мерседеса”».

– А ты сначала справки наведи на всякий случай, – вдруг сказал Коля. – Про Наташу Бирсудскую всякое говорят. И хорошее и плохое. Она, говорят, как Шива, созидает и разрушает. И с огнем любит играть. Рисковая женщина.

– Наташка? Божественное создание? Ты еще скажи, что она Лилит. Это на тебя так новые времена действуют?

Ничуть не смутившись, Коля заговорил дальше.

– Наташа Бирсудская – личность яркая. А страна у нас маленькая. Очень удобно, везде найдутся свои люди. Так вот, мои студенты с юга слышали, что у нее долгов выше крыши. И что она, как это по-вашему, еще тот химик. Так что держи ухо востро.

Тут Коля заторопился.

– Ну ладно, бывай. Да ты в институт бы хоть раз зашел поболтать. Нехорошо старых друзей забывать.

Альберт, видимо, опять уехал за границу копаться в архивах, а Наташа на звонки не отвечала. Кассирши говорили Андрею, что она приходит в магазин, когда его нет, и сидит в конторе, куря и треплясь по телефону. Тогда он подкараулил ее, велев Славке загнать машину за угол, а сам остался ждать внутри. «Альфа Ромео» подкатила к магазину, из нее вышла Наташа и, кивнув кому-то, пошла к входу. Не успев разглядеть пассажира, Андрей побежал в контору и закрыл за собой дверь. Она вошла и, увидев его, чуть отпрянула. В следующую секунду она уже бурно целовала его в губы, упираясь в него грудью.

– Ой, Андрюш, а я тебя искала.

– Вот счастливое совпадение. И я тебя искал, – сказал Андрей, отстранившись и присев на стол. – Ну ладно, нежничать потом будем. Меня бельгийские курицы ждут. Я, кстати, тут кое с кем договорился насчет бухгалтерии. Толковая баба. Надо бы просмотреть книги.

– Надо бы, – закивала Наташа. – Отличная идея. Что б я без тебя делала? А ребятам я все заплатила, можешь спать спокойно.

Она уже очухалась и, присев рядом на край стола, закурила, задумчиво глядя на него через завесу дыма.

– Ты мне номерок дай своей толковой бабы, мы с ней сами обо всем договоримся. Чего тебя зря дергать? У тебя и так курицы там, кролики, скоро, может, индюки пойдут.

– Обязательно пойдут. Как народу без индюков? А эти еще на немецких харчах, упитанные и гладенькие, как ихние фатеры. Их в Голландии выводят, а потом в Германию везут откармливать. Интересная наука супермаркет, почти как литература. Реминисценции там всякие… и снились индюшатам в Баварии голландские польдеры с тюльпанами и мельницами. А бухгалтерша тебе сама позвонит.

– Надо говорить аккаунтант, Андрюшенька. Отстаешь от жизни со своими индюками и реминисценциями. Она от Гришки что ли?

Андрей кивнул и пошел к двери.

– Ол райт, мы с ней сами разберемся, – бросила она ему вдогонку. – Славке привет.

Андрей так и не разглядел, кто сидел в машине. На город уже упали сумерки и обволокли улицы, дома, машины и редких пешеходов серой пеленой. Проезжая мимо «Альфы Ромео», он повернул голову, но увидел в окне лишь смутные очертания.

Бухгалтерша Нина все не звонила, и он решил сам позвонить ей. К телефону долго не подходили, и Андрей уже хотел положить трубку, как в ней сказали:

– А, это ты, Андрей?

Голос был настороженный, тусклый, непохожий на ту энергичную Нину, с которой он разговаривал совсем недавно. Она тут же затараторила, не слушая его и не давая слово вставить.

– Нет, нет, Андрей, я нигде не была, я тебе сейчас все объясню, ну в общем мы с твоей партнершей сначала договорились, а потом у меня начался такой аврал, и я ей перезвонила и отложила встречу. Ну ты же знаешь, на мне пять АО и еще мебельный магазин, а они торгуют мебелью из Арабских Эмиратов, у них в бухгалтерии там сам черт ногу сломит. А еще из бизнес-школы звонят, умоляют помочь – у меня ж там дочка учится, так что никак не отказать, ты же понимаешь, ну в общем я кручусь с утра до ночи и у меня просто нет никакой возможности помочь вам в данный момент, прости, мне очень неудобно, но я ничего не могу поделать, правда, не обижайся ради бога, Андрей, я тебя очень прошу…

Он хотел было спросить у нее, почему она не позвонила раньше, но Нина, продолжая бормотать извинения, уже повесила трубку. Вот тогда он и вспомнил про шубу. Вернее, она не давала

ему покоя весь день, и теперь он, кажется, понял, почему. Днем он зашел выпить кофе с бывшим однокашником, совладельцем птицефабрики под Таллинном, поговорить о сотрудничестве. Встретились на Вышгороде, в Девичьей башне. Славка остался ждать в «мерсе» внизу, у Оленьего парка. К кофе приятель заказал бутылку коньяка и сразу стал жаловаться, что бизнес говенный, фабрика устарела, партнер жульничает, а всякие жуки, вроде Андрея, наводнили рынок польскими курицами, и вообще, телки стали не те, раньше давали за обед в «Норде», а теперь им французское белье подавай и шубу, да чтоб не из нутрии, а соболя, ну в крайнем случае из норки.

– А ты себе выпиши деву из Урюпинска, – посоветовал Андрей. – Помнишь, был такой город? Она тебе полный сервис предоставит да еще и в рот будет смотреть. Заодно и развивающимся регионам поможешь.

– Тебе хорошо, – не обиделся приятель, подлив себе и Андрею коньяку. – У тебя железная женщина всем ворочает. Только денежки считай. И телки тебя любят за просто так.

– Да я вроде как тоже ворочаю, старина… – ответил Андрей, пропустив телок мимо ушей. – Ты лучше давай думай, какую партию нам организуешь, до пяти тысяч все возьмем, и учти, тебе за твоих цыплят никто такую цену не даст. Это я тебе по старой дружбе подфарчу.

– Ничего себе друг – пятьдесят копеек за цыпленка, – опять заныл приятель, но Андрей только усмехнулся, поднимаясь с кресла.

Вышли они из башни уже здорово поддатые, поэтому, когда Андрей в дверях столкнулся с тремя парнями, один из которых, в женской шубе нараспашку, подмигнул ему: «Здорово, начальничек», до него не сразу дошло, в чем дело.

Наташина норковая шуба с пышным лисьим воротником и широким подолом волнами ниспадала с тонкой фигуры Владимира Рута. Двое его спутников в надвинутых на лоб лыжных найковских шапках тоже притормозили, но Рут кивнул им, и они сразу исчезли в дверях. В шубе с женского плеча он выглядел, как шут гороховый. И все же в этом нелепом наряде Рут смотрелся неожиданно серьезно, как будто именно это маскарадное обличье открыло его истинное лицо. Во Владимире Руте все оказалось до ужаса серьезным: и кривлянье, и точеное, как лезвие ножа, балетное тело, и пофигизм, благодатью разлитый по красивому лицу. Как он сразу не разглядел это?

– Чего такой тухлый? – удивился Рут. – А, это… Так я ее в карты выиграл. У нас все по закону, мы кодекс уважаем. Как там с германскими индюками? Хорошо идут? А то смотри, если надо

помочь, мы всегда-пожалуйста. С кем угодно разберемся, только свистни.

Перед тем, как скрыться за дверью, Рут оглянулся.

– Да, ты уж Наташку-то не обижай, она у нас женщина тонкая, у ей чувства в груди горят.

Андрей посмотрел на трубку, в которую только что сыпала извинениями Нина. Перед глазами пышными волнами всколыхнулась шуба ассистента, а сам ассистент теперь скалился на него из-под черных дыр носа и глазниц. В воздухе взметнулся горящий крест, и на Андрея уже во весь опор скакало чудовище с распахнутой пастью и лыбящимся скелетом на спине. Андрей схватил из бара бутылку виски и, закрыв глаза, жадно хлебнул из горла.

Когда из сейфа пропали двести тысяч, Андрей нисколько не удивился. Удивился же он тому, что ему почти год парила мозги стервозная баба и бывший музыкальный работник из провинции. А потом он возликовал. Осанна! Наконец-то он поймал ее, да еще, можно сказать, с поличным – кроме них двоих, доступа к сейфу ни у кого не было, – и вся эта туфта, в которой он погряз, как в болоте, вмиг затвердела под его ногами, и он снова почувствовал себя сильным, легким, быстрым, как греческое божество с крепкими икрами и крылышками на щиколотках, а главное – способным на целенаправленные действия. Он опять поймал за хвост жизнь, которая в последнее время все ускользала от него. Как будто пришел конец игре, в которую он играл, замаскировавшись бизнесменом и разъезжая в крутом белом «мерсе», и началась настоящая жизнь, где ему, бывшему литературному мальчику, предстояло доказать себе и миру, что он стоит ее. В этой настоящей жизни проигрывали в карты чужие шубы, а за неимением шуб – честь и жизнь. В этой настоящей жизни под кожаными куртками носили пистолеты «ТТ», окружали себя угрюмой свитой узколобых, презирали красноречие как признак слюнтяйства и интеллигентщины, ездили выяснять отношения в окрестные леса, иногда со смертельным исходом, и, не сомневаясь в продажности всего сущего, предпочитали глушить страх виски, а еще лучше водкой, и причем в полном одиночестве, не доверяя обмякшее тело ни свите, ни телкам. А еще в этом настоящем, некнижном мире оборотнями рыскали те, что не знали страха, как будто наполовину уже принадлежали потустороннему миру, тому самому, откуда по голой груди Рута на всех парах скакал лыбящийся скелет. Таинственные ассистенты со смертоносными татуировками на груди. Никто точно не знал, из каких широт их бывшей, необъятной родины

этих волков-одиночек пригонял ветер нового времени. Они исчезали так же внезапно, как и появлялись. Ассистенты не примыкали ни к каким группировкам, лишь по делу слетаясь в небольшие стаи и мгновенно разлетаясь, оставляя после себя кровавые следы. Но чаще всего эти слепые инструменты яростной чужой воли работали в одиночку. Казалось, бывшая родина, когда-то наштамповав в неимоверном количестве, теперь рассылала их по своим просторам, как ангелов смерти, мстя за свой позорный крах.

Нет, Светке, конечно, он ничего не сказал. Во-первых, не ее ума дело, а во-вторых, она бы тут же побежала к тестю, и старый иезуит, нажав на нужные кнопки, все бы как-нибудь обустроил, выдвинув себя на первый план и предоставив Андрею играть роль лоха. Тогда бы весь город сразу узнал, что его продинамила провинциальная баба, да еще и с высшим музыкальным образованием.

На этот раз она быстро сняла трубку, как будто ждала его у телефона. Начала, как обычно, со своего «я сейчас все объясню».

– Да чего там объяснять? – сказал Андрей. – И так все ясно.

– Мне они позарез были нужны.

– Ты мне скажи, кому они сейчас позарез не нужны, и я тебе прощу половину. И потом, у тебя же Югбанк – лучший друг, вот и заняла бы там, сколько нужно. А партнера грабить – это очень некрасиво.

– У Югбанка сейчас проблемы.

– А у партнера – денег куры не клюют. Ты меня что, совсем за лоха считаешь? – ответил Андрей. – Долго ты мне еще лапшу на уши будешь вешать? Как мне теперь с поставщиками расплачиваться?

– Успокойся, Андрей, с поставщиками мы разберемся, – сказала Наташа обиженным голосом.

– Я совершенно спокоен. А поставщиков ты уже три месяца за нос водишь. Они мне тоже скоро дохлую кошку подкинут в квартиру. С петлей на шее. Так что ты мне лучше скажи, когда бабки вернешь, я имею в виду, по-хорошему.

Вдруг она засмеялась заливистым смехом души компании.

– Ой, Андрюш, не могу… Ну че, мы с тобой, прям как дети. Мы же друг друга сто лет знаем, свои в доску. Мы ж с тобой родственники, одна кровь, ну почти… Чего мы, не договоримся, что ли? Договоримся, по-хорошему.

– Ну вот и отлично. Чтоб через две недели все бабки были на месте, – сказал он и, повесив трубку, сразу же перезвонил Славке.

От птицефабрики до дому доехали с ветерком. Дорога как вымерла, по бокам высились сосновые леса, врастая в черное январское небо и почти сливаясь с ним. Ощущение было, как будто ехали в туннеле. Славка поднажал на газ, и «мерс» радостно рванул вперед на городские огни. Все это время Славка не проронил ни слова, и только уже заезжая во двор, сказал, что достал все, что нужно, и прибавил, что теперь в поездки за город лучше брать с собой и Димку. Так, на всякий случай. Он вытащил из-под сидения пакет и дал его Андрею. Потом тоже вышел из машины и, доведя Андрея до самой двери, быстро сбежал с лестницы.

Поздно вечером, когда заснула Светка, а Сашка уже видела десятый сон, Андрей закрылся в ванной. Вытащив из пакета завернутый в тряпку пистолет, он развернул его и взвесил на ладони. Потом повертел и, обхватив рукоятку, осторожно положил на курок палец. Скинул с плеч махровый халат, переступил через него, чтоб не путался в ногах и прицелился в зеркало. Таким он видел себя впервые. В одних трусах и с пушкой в руке. Настоящий Тарзан, только лиан не хватает. И очень даже круто, а главное, вполне реалистично. Мы еще посмотрим, кто кого, ассистент.

В последний раз Андрей держал оружие в руках в школе, на уроке гражданской обороны. Автомат Калашникова, который они разбирали и собирали с закрытыми глазами под руководством темпераментного подполковника Передистого. А потом лежали на животе в подвале в школьном тире и Передистый учил их стрелять, кроя мазил последними словами и угрожая, что никого не выпустит отсюда, пока все слюнтяи и маменькины сыночки не станут настоящими мужиками, которые смогут достойно защищать родину.

На этом и закончилась его военная карьера. Не в армию же ему было идти. Во-первых, туда шли одни пролетарии, а во-вторых – мать. Тогда как раз начался Афган и по стране ходили слухи о свинцовых гробах под кодовым названием «Груз 200», в которых привозили сыновей и настоящих мужиков с отрезанными головами. Разрешив открыть гроб, родина брала с родителей подписку о неразглашении военной тайны.

Андрей опять прищурился и, прицелившись, восемь раз бабахнул по зеркалу, опорожнив магазин. Банг-банг-банг… В настоящей жизни уважали «ТТ». «ТТ» был прост, недорог и легок в обслуживании. У «ТТ» был мощный патрон, замечательная проникающая способность и высокая дульная энергия. Из «ТТ» можно было поразить цель за пятьдесят метров. Плоская и компактная форма «ТТ» была оптимальна для скрытого ношения.

Из таких же, как у него, китайских «ТТ» стреляла и полиция, и бандиты, а также приличные бизнесмены, вынужденные защищать свою собственность от всякого хлама. Завтра утром они со Славкой поедут в лес пострелять. На севере США из «ТТ» валили гризли, так что там говорить об ассистентах в женских шубах.

За дверью заскулили и зацарапали, легонько, чтобы не разбудить дом. Андрей открыл дверь и впустил Чарли. Тот ткнулся ему в ногу горячим носом и стал обнюхивать «ТТ», а потом вдруг заскулил и, поджав хвост, попятился назад, глядя на Андрея скорбными глазами.

– Ты чего, пес, – засмеялся Андрей и, завернув пистолет в тряпку, опустился на пол рядом с Чарли.

Теперь в Светкином новом зеркале от пола до потолка отражались человек и собака. Глядя на свое голое, бледное тело, человеку в голову почему-то пришли древние японские ныряльщики за жемчугом, которые с головы до пят разрисовывали себя устрашающими картинками, чтобы отпугивать морских демонов. Человек обнял собаку и прижал ее к себе.

Ровно через две недели в их доме появилась Наташа. Пошатываясь, вошла в квартиру, высоко держа перед грудью торт, в другой руке – бутылку. Водрузила все на стол и стала стягивать с себя кожаное пальто.

– Я на минутку. Трубку мира раскурить и сразу помчалась. Дела.

Подняв брови, Светка выразительно посмотрела на Андрея.

– Профилактика производственных отношений, – сказал он, и Светка, хмыкнув, стала разворачивать бутылку. Выполз из-под дивана Чарли и, потоптавшись рядом с Андреем, ушел в коридор.

– Ваше любимое, бургундское, – объявила Наташа и кивнула на торт. – А это «утоли мои печали», то бишь «Птичье молоко».

На шум прибежала Сашка и закричала, что тоже будет пить чай с тортом. Наташа схватила ее в охапку, чмокнула – «привет, принцесса» – и посадила к себе на колени. Светка пошла на кухню заваривать чай. Наташа вопросительно повела глазами в сторону двери, за которой она исчезла. Андрей покрутил головой.

– Я так и знала, – сказала Наташа. – Без нее разберемся.

– Без кого, тетя Наташа? – спросила Сашка.

– Да уж без тебя мы здесь точно не справимся, принцесса. Сейчас нам будешь помогать торт есть, – сказала Наташа, глядя через Сашкину голову, как Андрей откупоривает бутылку и разливает красное вино по фужерам. Поставив бутылку на стол,

он в упор посмотрел на нее. Она ответила ему лучезарным взглядом и потерлась носом о Сашкину макушку.

– Фу, – дернулась та, но Наташа еще крепче обхватила ее и прижала к себе.

Вернулась Светка с чайником, розовая, веселая.

– Ну что, сестричка, когда второй магазин будем открывать?

Наташа спустила Сашку на пол и взяла фужер.

– Вот мы как раз сейчас за него и выпьем, и за нашу с тобой дружбу, да, Андрюш?

Она встала и, глядя ему в глаза, пригубила вино, а потом, не обращая внимания на Светку, подошла к нему и крепко поцеловала в губы. Впрочем, Светка давно привыкла к выходкам сестры, не придавая им особого значения. К тому же она знала, что Наташа совершенно не в его вкусе. Андрей любил тоненьких барышень с тихими глазами и длинными, русалочьими волосами, как та, давнишняя подруга, которая когда-то околдовала его, и Светка тогда долго разрабатывала план, как разлучить их, чтобы заполучить этого красивого, умного и сильного принца, которому прочили блестящее будущее. А потом, как это часто бывает, жизнь сама все расставила по своим местам. Светка лишь слегка подтолкнула события, воспользовавшись непредвиденной, счастливой случайностью и почти не замарав руки. А два этих эмоциональных, гордых максималиста, оскорбленные в самых глубоких чувствах, так ничего и не поняв, прошли мимо друг друга, как чужие. Будучи натурами романтичными, они увидели во всей этой истории знак судьбы, не разглядев за бурей собственных чувств Светкиной аккуратной, розовой лапки с наманикюренными коготочками. Потом, слава богу, барышня исчезла, а Андрей узнал обо всем уже через много лет и, как человек благоразумный, не стал восставать против уже налаженного и вполне пристойного миропорядка. Побунтовал немного, а потом все опять вошло в свою колею. Правда, подруги иногда докладывали ей, что видели его в кино или в парке с романтического вида барышнями. И хотя она ревновала тогда больнее и мучительнее, чем к хуторским, а позже к Альбертовским балеринкам, но виду не подавала, боясь, что он опять устроит ей сцену. Она была уверена, что если бы она тогда не убежала в ванную, он бы убил ее. А еще она знала, что тот нерожденный барышнин младенец навсегда повязал их общим грехом, который они совершили отдельно друг от друга, он – по гордыне, а она – по алчности, которую она для приличия переименовала в необходимое зло, чтобы завладеть им.

– Пап, я торт хочу, – захныкала Сашка, и Андрей, поставив фужер, взялся за нож.

– Нет-нет, – замахала руками Наташа, – я пас, а то сразу все сожру, а я на диете, ну ладно, побежала.

Доведя ее до двери, Андрей спросил, когда будут бабки.

– Будут, будут, я завтра позвоню, честное пионерское.

Она снова поцеловала его в губы, глядя прямо в глаза, повернулась и ушла.

– Как она тебя сегодня любит, Андрей, – услышал он Светку. Та стояла в коридоре с фужером в руке и насмешливо смотрела на него. – Чего ей от тебя надо? И на какой это она, интересно, диете сидит? Никак на коньячно-водочной…

Светка помахала рукой у лица, отгоняя алкогольные пары, и ушла в комнату.

На следующий день позвонили в магазин, как будто знали, что он как раз заскочил туда между разъездами.

– Добрый день, Андрей – сказал вежливый мужской голос. – Это Владимир.

– День добрый, Владимир, – ответил Андрей и, так как обычно словоохотливый ассистент молчал, добавил: – Мне Наташа вроде сама обещала позвонить.

– Ты чего, баб не знаешь?

Хмыкнув, теперь промолчал Андрей.

– Она мне поручила с вашим делом разобраться, – продолжил ассистент. – Так что считай, что я выступаю от ее имени.

– Согласен, что надо поскорее разобраться.

– И мы согласны. Предлагаю встретиться на нейтральной территории. Все дело займет не больше часа. Ну, от силы полтора, если очень душевный разговор образуется. Как насчет следующей субботы?

«В воскресенье у отца день рождения», – подумал Андрей и сказал:

– Идет.

– Ближе к делу Наташа назначит тебе точное время, – сказал ассистент.

– Так где будем разговаривать?

– Как где? – удивился ассистент. – Где все. У карьера в Сосновом лесу. И приезжай один. Ну что, по рукам?

– По рукам, если и ты будешь без бритоголовых, – ответил Андрей.

– Ты о шестерках, что ли? По месту говоришь, – сказал ассистент. – Ништяк, мы и без них договоримся. Свои люди.

Андрей посмотрел в зеркало и, наткнувшись на черную морду «ауди», перевел взгляд на Славкины руки. Ассистент был не один,

но не ясно было, сколько шестерок в машине. Январская мгла, прочно засев в воздухе, и не думала расходиться. Утром позвонила Наташа и сказала, что разговор назначен на том же месте в двенадцать, чтоб разобраться до темноты. Прокричала «успеха и целую» и бросила трубку. Светке он не сказал про карьер. В прошлом месяце там убили одного чеченского бизнесмена, проехали по нему пару раз на машине. Неизвестно, по мертвому или по живому. Видимо, сильно кого-то достал. Впрочем, что у них могло быть общего? Он и чеченец-гастролер, дикий горный человек, приехал сюда, дал кому-то на лапу, купил два казино и сразу возомнил себя королем мира. Решил, что теперь будет заказывать музыку. Ну вот и остались от козлика рожки да ножки. Правда, у карьера находили и местных ребят, но все они были замешаны в темных делах. А у него был честный бизнес, его знали и уважали полгорода, и он никому ничего не был должен. Просто, как настоящий мужик, он ехал выяснять отношения в Сосновом лесу с нашалившим партнером. Никто точно не знал, кто и почему первым пометил это место, но это уже давно никого не интересовало. По неписаным законам нового времени разборки происходили именно здесь. В Сосновый лес ездили посмотреть друг другу в глаза, померяться силами и показать себе и миру, кто его достоин, а кто так, инфузория-туфелька, бултыхающаяся в собственной слизи. Светке он сказал, что едет в загородный ресторан на переговоры с Югбанком. Перед самым уходом, отталкивая ногой скулящего Чарли, она сунула ему в руки ключи, которые он забыл положить в карман, где теперь была пушка.

Они уже проехали бары, банки, казино. Вот уже позади остались и молочный комбинат и конфетная фабрика, и потянулись заборы, автостоянки, будки с автошинами, стройки и пустыри. На развилке у бензоколонки Славка взял направо, и через три минуты город остался позади. Машины поредели, лес стал чернее и гуще. Теперь по дороге ехали только две их тачки. Вдруг «ауди» исчезла, а потом, поравнявшись с ними, обогнала их.

– Их четверо, шеф, – сказал Димка.

Славка молча покосился на Андрея. Тот развел руками и потрогал пушку. Не обратно же ехать. Потом оглянулся и подмигнул Димке.

– Торжественная встреча с делегацией дикарей племени мумба-юмба. Да ты не боись, мы быстро. Через час будешь со своей любимой мороженое кушать в «Макдоналдсе».

«Мерс» тоже прибавил ходу, но обгонять не стал. Какое-то время «ауди» еще маячила впереди, а потом исчезла, заехав в лес.

К карьеру вела дорога как дорога, ничего особенного, хотя в народе, с легкой руки журналистов, ее называли дорогой смерти. Увидев «ауди» с распахнутыми дверцами, они затормозили. За черными диагоналями деревьев карьера не было видно, но ассистент уже шел к ним, руки в карманах, с голой головой и в Наташкиной шубе нараспашку. От сосен отделились трое с одинаковыми лицами. Первым из «мерса» вышел Андрей, за ним Славка, а может, Димка. В воздухе раздался сухой треск, и он так и не успел понять, кто из них крикнул, потому что в следующее мгновение оба они лежали на снегу. Славка, завалившись на бок, а Димка на спине, ошарашенно глядя в небо, с «ТТ» в руке.

– Ай-ай-ай, нехорошо химичить, – сказал ассистент, сплюнув и кивнув на пистолет, – я ж сказал, фраеров с собой не брать.

Андрей схватился за карман, но руку пронзила дикая боль, а потом грохнуло в голове. Он упал лицом в снег, в глазах стало мокро и горячо, и тут он увидел, как скелет на груди ассистента соскочил с чудовищного зверя, и, размахивая горящим крестом, прыгнул ему на загривок. Перед тем, как в затылке грохнуло в последний раз, «контрольный в голову» донеслось до него, Андрей еще успел подумать: «Хорошо, что я не взял с собой Чарли».

Книга 4
Великий Зодчий и Бухгалтер

Слух о том, что Великий Зодчий хочет спуститься в город, кажется, распустил массажист жены Шестого Советника, хромой скиф. Его потащили ко Второму Советнику, но того не оказалось, и тогда стража повела его в башню к Самому. Переступив порог кабинета, скиф повалился на колени и заскулил, не поднимая головы. Напрасно стража пинала его, чтобы приветствовал Великого Зодчего. Скиф, дрожа всем телом, намертво прижал голову к полу. По ней не били, чтобы ненароком не вышибить мозги. Вдруг еще пригодятся. Все это время Великий Зодчий молча сидел за столом, играя ручкой, и стража, внезапно испугавшись, что нарушает закон, который, может, именно сейчас, глядя на избиваемого скифа, придумывает Великий Зодчий, и неизвестно еще, кто потом окажется в дураках, как по команде встала по стройке смирно. Перед тем, как вытянуться, начальник караула, правда, еще успел двинуть скифа по почке, чтобы не подумал, что перестали бить из жалости. Великий Зодчий поднялся из-за стола и, не поднимая глаз, подошел к скифу.

– Покажи язык, – сказал он.

Тот, оторвав лоб от пола, высунул язык.

– Не вижу.

Тогда скиф, зажмурив глаза, приподнял голову. Какое-то время Великий Зодчий задумчиво разглядывал его.

– Хорош, – сказал он, переводя взгляд на свою руку, и как бы взвешивая язык на ладони, а потом спросил. – Ты говорил, куда я собираюсь?

Не убирая языка, скиф замотал головой.

Великий Зодчий повернулся и пошел к столу, на ходу отдавая приказ.

– Дать ему триста ойлов и гнать в шею. А теперь марш отсюда.

Когда он дошел до стола, кабинет был уже пуст. Великий Зодчий распахнул окно. Блеск куполов бил в глаза, и он зажмурился, подставив лицо сиянию. Вообще-то Великий Зодчий не любил держать глаза закрытыми, да еще стоя спиной к двери, но сейчас забыл об этом, купаясь в золотых лучах и вдыхая чистый воздух Баблограда. Великий Зодчий стоял в центре прекрасной Газолии, ровно как ему было положено, чтобы все видеть, и думал, что Первый Советник будет отговаривать его

ехать вниз. Конечно, его можно было понять, ведь Великий Зодчий первый раз в жизни сам не знал, почему он что-то делает. И именно это больше всего и беспокоило Первого Советника. Пропуская сквозь веки розовый свет, Великий Зодчий чувствовал, как напрягается. Надо было торопиться, а он все еще не мог принять решения. И это злило его больше, чем упрямство Первого Советника.

Скиф исчез из замка, сохранив целостность тела и при языке, помилованном Великим Зодчим. Из трехсот ойлов стражники вычли у него сто пятьдесят за транспорт. Не задарма же тащили его с ветерком туда и обратно. А то, что бока намяли, так это он еще дешево отделался, как представитель дружеской нации. В замке же гадали и гудели, чем объяснить такую милость Великого Зодчего, и не знак ли это каких-либо неблагоприятных перемен.

Теперь по башне ходил Первый Советник, озабоченно покачивая головой.

– Что происходит? Ты можешь мне это внятно объяснить? Сегодня скифа отпустил, вот уже вниз просишься, а завтра что будет?

– Ты же сам говорил, что нужна тайна. Вот и считай мой поход неким таинственным ритуалом, над разгадкой которого будет ломать голову вся Газолия, – улыбнулся Великий Зодчий, поигрывая ручкой и исподлобья глядя на Первого Советника.

– Да, мистика нужна, – согласился тот. – Но она должна быть научно разработанной, стратегической, чтоб укрепляла твою неземную сущность, а не просто какой-то блажью.

– А что, нельзя подкинуть народу что-то простое, человеческое? Типа великий муж под сенью лип в родных пенатах или у скромных отцовских гробниц. Это же сейчас в моде.

– В моде, да не для всех. А вообще можно, – опять согласился Первый Советник. – Но еще рано. Сначала надо утвердить твой абсолютный божественный статус, и потом уже постепенно придавать ему человеческие черты. Но делать это изредка и неожиданно, а то разбалуется народ, почувствует себя на равных, перестанет уважать, ну а дальше сам знаешь, что.

– Пойми, технически мы все это обставим, – продолжал он, остановившись перед Великим Зодчим. – Ты спустишься с небес в золотой колеснице, как бог солнца, и оросишь всех ойлами. Все падут ниц, заголосят. А ты пойдешь в белом одеянии и дети будут класть тебе под ноги одежды и петь осанну. Потом нагоним облако, ты исчезнешь в нем и вдруг р-раз – и опять воспаришь, как жар-птица. Но в каждом шоу должна быть хоть какая-то, но идея. А ты так и не смог мне толком объяснить, зачем тебе все

это. Нечего тебе там делать. Какие там к черту отцовские гробницы? О чем ты? Твои-то уже все в мавзолее лежат. Не, я так работать не могу. У меня должна быть концепция. И твое полное доверие, – добавил он, тактично опустив глаза.

Великий Зодчий молчал, поигрывая ручкой.

– Ты мне сто тысяч платишь не для того, чтобы я с тобой соглашался. У меня должность такая, ты уж извини.

Великий Зодчий швырнул ручку и сжал кулак так, что побелели костяшки. В потемневшее лицо провалились глаза. В такие минуты лучше было поскорее удалиться, что и начал проделывать Первый Советник, продвигаясь спиной к двери. Он уже было исчез в проеме, как Великий Зодчий поманил его обратно. Теперь он хмурился, но не от гнева, а от какой-то непреодолимой мысли.

– Мне надо туда. Это дело государственной важности. Значит, спущусь просто так, как простой смертный.

– Забыл уже, как мы тебя еле от баб отбили, когда ты в народ пошел после наводнения нашей великой Нехоры, простым смертным? – спросил Первый Советник, облегченно вздохнув, что Великий Зодчий все-таки заговорил. – Слушай, может, тебе к Балерине наведаться? Расслабишься, отойдешь душой и телом.

– А вы мне пока здесь революцию устроите, – сказал Великий Зодчий. – Проваливай давай, пока все внутренности на месте. Ты свои ойлы сегодня уже отработал.

Оставшись один, Великий Зодчий усмехнулся. Какая там революция, когда ойлы так и брызжут фонтаном из их прекрасной земли. И потом, они же сожрать друг друга готовы заживо. Только одно могло бы их объединить – ненависть к Первому Советнику, к этому гениальному выскочке из Горгонии, без роду и племени. А в вольнолюбивой Горгонии Великий Зодчий уже навел порядок, Слава Баалу. Вот теперь их главному горгонцу, еще совсем мальчишке, Баал и дает, чтобы дисциплину поддерживал среди населения и любовь к Великому Зодчему. За такие ойлы он не то что братьям по вере – родной матери горло перекусит, если будет артачиться. Глаза у главного горгонца мутно-голубые и какие-то полусонные, как будто он на игле все время. Видно захмелел совсем от Бааловских даров. Ему Баал и колизей помог построить, копия, как у Великого Зодчего, только поменьше и без казематов. Теперь ему и зэков есть куда девать. Всех же не перережешь, скучно. А так и естественный отбор поддержать, и народу игры. Это Великому Зодчему, кстати, Первый Советник на Горгонию посоветовал не скупиться. Знает своих. Первый же Советник на то и Первый, чтобы его ненавидели. Вот и ладненько, Великому

Зодчему меньше забот. Разделяй и властвуй. Да и ненависть в замке уже не та пошла, а тепленькая, пресненькая, разбавленная ойлами, нет, совсем не та, что внизу, в газолийских долинах за великой Нехорой. Великий Зодчий не забыл, как его еле отбили от баб в зоне наводнения. Такое разве забудешь? И потом, что-то странное происходит с его памятью, но об этом сейчас думать никак нельзя. Все по порядку. Дисциплина прежде всего.

Та ненависть у притихшей после наводнения Нехоры пахла давно забытыми запахами. Потом, луком, селедкой, дешевыми сигаретами, жаром нечистых тел. Если бы его тогда не вырвали оттуда, он бы просто задохнулся, и бабы рвали бы его на части мертвого. У вонючей ненависти было и лицо с черной ямой рта, бешеными глазами, мокрым лбом с прилипшими к нему спутавшимися волосами. У нее были охрипший голос и огромные багровые руки, которыми она трясла его. Ненависть брызгала ему в лицо слюной, клокотала и ревела в наступавшем на него разбушевавшемся теле, зловонным огнем дышала на него всеми своими измученными внутренностями. Он еще пытался что-то сказать, подбодрить бездомных баб, вилял и плел что-то насчет домов, лекарств и дорог, но никто уже не слушал, сжимаясь вокруг него яростным, раскаленным кольцом. Если я когда-нибудь выберусь отсюда, подумал он, в ужасе закрывая глаза, то построю храм перед самой башней. Потом он долго приходил в себя в объятиях Балерины. Ее стоны, пусть и притворные, заглушали крики и брань толпы в ушах и он все терзал ее, извлекая из нее любовь, которой надеялся затушить пылавшую в теле уже свою ненависть и страх.

Великий Зодчий подошел к окну и стал смотреть на золотые и лазурные, со звездами, купола. Храм построили в рекордные сроки узкоглазые варвары из колоний. С тех пор Великий Зодчий больше просто так не спускался вниз. Народ для встреч ему отбирала спецкомиссия. Тогда же Первый Советник и выдвинул концепцию божественности Великого Зодчего в центре прекрасного мира. Недовольным входа в него не было, и не потому, что их туда не пускали. Все обстояло гораздо проще. Ведь ослепленные ненавистью, они просто не видели этого мира, а значит, и не могли войти в него. Он открывался и впускал в себя только достойных. За их любовь Газолия щедро воздавала ойлами и божественной милостью. Великий Зодчий вспомнил свое чудесное спасение, когда телохранители еле вырвали его из разъяренной толпы, и его потянуло к Балерине.

Приятно изогнувшись на ложе, Балерина, приветствуя Великого Зодчего, подмигнула лукавым глазом и повела плечом.

– Не сердись, душка, – сказала она, потягиваясь, и потерла пальчиком между его бровями, – а то опять морщинки появятся. А ты у нас должен быть вечно молодым, как бог.

Раскинувшись на жарком теле Балерины, Великий Зодчий пробормотал, что не сердится. Ему хотелось так бесконечно лежать на ней, ни о чем не думая, как на теплой земле. Как он любил это дитя степей за силу и царственное равнодушие, с которым она взирала на все происходящее в замке, и за ее волю, которой могла бы позавидовать сама природа. А еще он любил ее за то, что она была умнее, чем делала вид, когда принимала соблазнительные позы, называла его душкой и папочкой, надувала губки или растирала розовыми пальчиками его морщины. Но сегодня даже Балерина, которая обычно, как семена, вбирала в себя все его настроения, тут же превращая их в похожие на себя, пышные пахучие цветы, не могла избавить его от мучительных мыслей. Он застонал от досады, испугав ее. Она не привыкла видеть его таким.

– Ты, говорят, вниз собрался. Что-то случилось?

Великий Зодчий покачал головой и поглубже зарылся в ее живот.

– Да так, Первый Советник волнуется. Зря, говорит, я скифу язык не вырвал.

– Так другому вырвешь, папочка. Вон их сколько, скифов. А Первый Советник пусть лучше за себя волнуется. А ты чего вниз собрался? Тебе что, здесь плохо, со мной?

Великий Зодчий приподнял голову. Балерина посмотрела на него шальными и черными, как у варваров из колоний, глазами, и, покусывая ее в шею, он думал, что, откройся он ей, она запросто заложит его, нет, не за ойлы, и даже не из брезгливости, что должна любить старика, а от скуки и той загадочной отрешенности, с которой кошка меняет одного хозяина на другого или, может, как раз таки от переизбытка той самой воли, безошибочно совпадающей с течением жизни, что непрерывно выбрасывает из себя ослабевшие организмы.

Вернувшись в башню, Великий Зодчий приказал никого не впускать и отключил Первого Советника. После чего бессильно опустился в кресло и прикрыл глаза. Сегодня даже сияние куполов не утешало его. Обычно, зарядившись у Балерины, он ощущал подъем сил, но сейчас на него, казалось, давили все его годы, скрытые под божественным сиянием и как выглаженным, новым лицом. Он уже не помнил, когда в последний раз чувствовал себя так паршиво. Может, все-таки надо было вырвать язык болтливому скифу, восстановив привычную логику

действий. Может, это дало бы ему энергию, да и замок бы вздохнул с облегчением, и устроил бы от радости чиновничьи игры в новом колизее. Но скиф навеки сгинул, а ослабевшее тело хотело лишь покоя и одиночества. Не было даже сил отдать приказ найти новую жертву. Посидев так какое-то время, Великий Зодчий взял пульт управления и, опустив жалюзи, включил экран.

На трибуне, опершись руками о балюстраду и нависая над многотысячной толпой, стоял человек в старомодной военной форме, перетянутой ремнем. Человек говорил, и площадь внимала ему. У толпы было просветленное, одно на всех лицо. Экстаз и вера стерли с людей все различия. Человек говорил отрывисто, грубовато, и без бумажки, от него исходила энергия, в одну секунду заполнившая башню. Великий Зодчий подкатил к экрану. Вот он, вождь от бога, вдыхающий волю в свой этнос. Такому никакие золотые колесницы не нужны. Время от времени человек ударял кулаком о балюстраду, и толпа взрывалась восторженным ревом. Человек поднимал вверх руку, и толпа мгновенно затихала, затаив дыхание. Лоб человека блестел от пота, глаза пылали, тело беспрерывно двигалось, еле поспевая за горячечным ритмом его слов, казалось, его сердце вот-вот вырвется из груди, как птица из клетки, и разольется на миллионы голов божьей благодатью. Человек на трибуне творил новый мир, почище любого божества перекраивая по своему образу и подобию мужчин и женщин с блаженными глазами, стриженых под гребенку подростков и пухлощеких детей, сидевших на отцовских плечах.

Великий Зодчий прикрыл глаза. Он сидел уже почти вплотную к экрану, стараясь вобрать в себя энергию великого вождя, но не чувствовал ничего, кроме вялой зависти. Сегодня чары вождя не действовали на него, так же как и балеринины. Когда он снова открыл глаза, с экрана на него вдруг хлынула ненависть, та самая, что настигла его сегодня утром после разговора с Первым Советником. Вместо демиурга перед ним теперь бесновалась баба с растрепанными волосами, в съехавшей с плеча блузе. Из ее черного рта неслись проклятия. Он отчетливо слышал каждое ее слово, что она уже год спит на земле, что на их лагерь и днем нападают собачьи своры, что их дети умирают от неизвестных болезней – сначала у них распухает язык и выпадают зубы, а потом они теряют сознание и так и не приходят в себя, что вода в Нехоре лилового цвета и в ней плавают дохлые рыбы, все птицы давно исчезли, а мужики воруют последние запасы и меняют их на химию из батареек, чтобы только не видеть и не слышать, что его чиновники разъезжают вдоль Нехоры на бронированных машинах и летают друг к другу в гости на

вертолетах, пока он строит себе дворцы, выкачивает золото из их земли и переправляет его за океан в подводных трубах, взамен получая ойлы, на которые строит по всему миру всё новые и новые дворцы, празднуя свое бессмертие. Ненависть глядела на него безобразным, опухшим лицом, вот она уже протянула из экрана свои огромные, как грабли, багровые руки и сейчас схватит его за горло, как тогда…

Великий Зодчий затрясся и трахнул кулаком по пульту управления. Как это дерьмо попало к нему? Кто посмел послать это сюда? Немедленно разыскать, доставить, отбить почки, кастрировать, размазать печень по стенке, вырезать все внутренности, кроме мозгов и языка, чтобы было чем назвать сообщников. Он уже было потянулся вызвать Главного Агента, да вдруг опомнился. Какой же это к черту фильм? Глюки это. Самые настоящие. И это у него, у Великого Зодчего? У короля Газолии? Как у какой-нибудь климактериальной истерички или хлипкого интеллектуала-неврастеника? Нет, не может быть… Или это все-таки Первый Советник? Он один знал, как переворошило тогда Великого Зодчего у Нехоры. Догадался своим шестым, бесовским чутьем. А может, услышал, разгуливая по замку, как тот скулил потом в объятиях Балерины. Ходит Первый Советник бесшумно, как кошка. Его никогда не слышно, даже если он уже совсем за дверью. Всех слышно, а его нет. Знает, знает Первый Советник, куда бить. Вот и начал психологическую атаку. А еще Первому Советнику ведомо, что пуще страха для Великого Зодчего жгучая обида на свой народ, а пуще жгучей обиды – унижение. Он ведь к Нехоре со всей душой ехал, осчастливить хотел народ своим явлением, поговорить по-отечески, выслушать, помочь, чем может…

Тут Великий Зодчий призадумался. Первый Советник и на горгонца-то вовсе не похож, а по матери он вроде как чистый газолиец. И как он к нему в доверие втерся, стратегию власти разрабатывает, государственную концепцию Газолии, и ведь ни разу не промахнулся еще. Очень все гладко идет, слишком гладко, без сучка и зазоринки, и лицо ему посоветовал обновить и отменить всю политику как пережиток прошлого и орган репрессии, и обращение вон придумал «Ваше Бессмертие», и газолийский символ в виде солнца с золотым мечом посередине. Да и унижения Первый Советник сносит не как другие, с подобострастием и благодарностью, а с достоинством, даже когда без штанов стоит. Глаза опустил и молчит, а иногда даже тихонечко так себе улыбается, мол, не замарать тебе мой святой огонь своими грязными лапами. Нет, тут явно что-то не то. Не иначе, как он по кетману действует, в совершенстве уподобляя

себя газолийским нравам, чтобы усыпить его бдительность, зачаровать, а потом… Великий Зодчий поежился. И то, что он ему правду в лицо говорит, единственный в замке, и даже спорить с ним осмеливается – это тоже все кетман, но уже современнее, рафинированнее, с демократическим уклоном, чтоб было еще правдивее и убедительнее. Кетман в Газолию с востока пришел. Ex Oriente Lux. Кетман у них считается тайной волей Баала. По этому высокому искусству там устраивают все дворцовые перевороты. Вот так сначала медленно и верно втираются в доверие, принимая образ и подобие противника, становятся одним из своих, а потом постепенно, не вызывая подозрений, тихой сапой прибирают к рукам власть. Но ведь и Великий Зодчий не дурак. Мы кетман между прочим тоже изучали. Для разведчика это главная наука. Без кетмана он бы сейчас штаны протирал в каком-нибудь засранном министерстве, а не качал бы золото. И встречала бы его у порога малогабаритной квартиры жена в провонявшем супом халате, и скакала бы Балерина, запрокидывая голову и колыхая молодой грудью, на другом венценосном теле, восседающем на верхушке вертикали власти.

Великий Зодчий снова включил фильм, прокрутил туда-сюда пару раз, и не найдя больше нехорских баб, шмякнулся в кресло. Нет, не Первый Советник, значит дело все-таки… Так, про то, что у него пошли галлюцинации, не должен знать никто. Надо успокоиться, проанализировать ситуацию, вспомнить наконец кто он. Великий Зодчий встал и сделал пару дыхательных упражнений. На смену ярости и страху пришла растерянность. Да, теперь он, кажется, вспомнил, когда чувствовал себя так хреново в последний раз. Тысячу лет назад, когда умерла его собака, смешной неуклюжий сенбернар Оле. Этим дурацким именем его назвала жена, в детстве начитавшаяся сказок. У Оле оказалось слабое сердце. О смерти собаки ему сообщила секретарша, которой он запретил связывать себя с женой. Первая мысль была: почему Оле, а не она? Он даже перезванивать ей не стал, хотя знал, что жена, рыдая, сидит у телефона. А позвонил в ветеринарную службу и дал задание поехать к нему домой, вывезти труп и немедленно сжечь его. Смотреть на мертвого Оле он не мог. Оле, жена, секретарша… почему он вспомнил о них сейчас? Прошлое давно не тревожило его. У Газолии, а значит и у Великого Зодчего, было только великое настоящее и еще более великое будущее, о котором он рассказывал народу на огромных стадионах, спускаясь туда в золотой колеснице или выходя из-за царских ворот в телестудию со строго отобранной публикой. Газолия была, как его новое лицо, – гладкая, без единой морщинки. Но сегодня утром произошло немыслимое. Проклятое

письмо. Именно с него все и началось. Его с утренней почтой принес секретарь. Письма, как всегда, были от газолиек, на надушенных листочках они превозносили его мудрость, железную волю и мужественный торс, после чего все, как одна, признавались ему в любви. Были и такие, что утверждали, что их брак уже свершился на небесах и теперь они ждут его ночью в своих спаленках, облаченные в подвенечное платье. Перебрав с десяток таких посланий, Великий Зодчий взял письмо, в нем оказался еще один конверт, из которого выпал замусоленный лист бумаги, исписанный мельчайшим, но удивительно четким почерком. Великий Зодчий так удивился, что сразу начал читать, не подумав о том, что бумага могла быть и отравленной.

Прочитав письмо, он вызвал Главного Агента и, ничего не объясняя, приказал ему следить за Первым Советником и Балериной. Секретаря он пока решил не допрашивать, чтобы не разводить панику. Первый Советник был в это время на севере Баблограда, значит, он не мог утром подбросить письмо секретарю. Потом он позвонил Главному Тюремщику и, получив от него нужную информацию, велел молчать под страхом удаления языка, и, наконец, заявил Шестому Советнику, ответственному за транспорт, что хочет спуститься в город. Отдав все указания, Великий Зодчий снова вытащил из кармана письмо и в который раз начал читать.

«*Дорогой Великий Зодчий, Ваше Бессмертие, я должен написать Вам, пока у меня есть силы, а они иссякают с каждым днем. Я не уверен, что мое письмо дойдет до Вас, но я обязан сделать для этого все возможное, чтобы мне потом не было стыдно перед своими детьми. И потом, Вы ведь сами говорили, что каждый газолиец должен выполнять свой гражданский долг, а мать всегда учила меня, что надежда умирает последней. А теперь о деле. Дорогой Великий Зодчий, я мог бы подписать все, что они требуют от меня, и тогда мне бы вызвали врача, пустили жену, а потом, может быть, отпустили домой и я бы наконец увидел детей. Почему я не делаю этого? Почему гублю свою жизнь, а главное, жизнь и счастье своих любимых? Почему не подписываю их гнусные документы? Разве вся низость моих преследователей важнее для меня, чем мои дети, которых я не видел уже восемь месяцев? С женой и матерью мы в последний раз виделись в суде, где мне продлили срок пребывания. Они разрыдались, когда меня ввели в зал, а я потом всю ночь не спал, мучился, что так и не смог утешить их, как-то подбодрить. Ведь им сейчас тяжелее, чем мне. Жена начала говорить мне про детей, но конвоир велел ей замолчать, добавив, что сначала моя подпись, а потом*

разговорчики. Так они шантажируют меня, чтобы я подписал бумаги. Дорогой Великий Зодчий, поверьте, мне и самому странно свое упорство. Ведь я никогда не был героем. Я самый обыкновенный бухгалтер, ведущий дела различных фирм, в том числе и "Бельведер Компани", уже семь лет успешно оперирующей на газолийском рынке. В качестве бухгалтера "Манцетти и Партнерс" я несколько раз встречался с Сэмом Хэвенсоном, главой компании. Хотя наши встречи носили сугубо деловой характер, он показался мне вполне счастливым человеком. Как рассказывают сотрудники "Бельведер Компани", Хэвенсон сам ездит на машине, иногда приезжает на работу на велосипеде, и не было случая, чтобы он забыл поздороваться с уборщицами и буфетчицами, а иногда он даже останавливается поговорить с ними, к большому удивлению наших газолийских менеджеров, и спрашивает, довольны ли они своей работой. Но все это осталось в прошлом, так как год назад Сэма Хэвенсона и "Бельведер Компани" обвинили в том, что он украл четыреста пятьдесят миллионов ойлов из газолийской казны. Хэвенсон обратился ко мне, и уже скоро мы с адвокатом "Бельведер Компани" обнаружили, что чиновники газолийских служб сами изъяли эти деньги с помощью украденных документов и подставных лиц. Когда я представил им доказательства их махинаций, то был арестован и обвинен в сообщничестве с Хэвенсоном. Теперь они требуют, чтобы я отказался от своих показаний и подписал бумаги с обвинением Хэвенсона. Дорогой Великий Зодчий, я знаю, что на Ваших плечах забота о всей нашей необъятной родине, что каждое утро Вас ожидают бесчисленные и неотложные дела. Я знаю, как бы зорок ни был Ваш глаз, он не может заглянуть во все уголки нашей огромной державы. Поэтому я пишу Вам, рискуя жизнью неизвестного вестника, который, может быть, сумеет передать Вам письмо, чтобы Вы знали, что на нашей земле все еще творятся неправда и беспредел. Люди, чей долг защищать Газолию от зла и несправедливости, обворовывают и порочат ее. Подписав фальшивые документы, я бы предал не только Сэма Хэвенсона, своих детей, совесть и профессиональную честь, но и всю нашу прекрасную страну, а значит, и Вас. Вы – моя последняя надежда, что невинные будут оправданы, а неправедные наказаны. У меня есть все доказательства их преступлений, копии документов, раскрывающих их махинации.

С глубоким уважением,
Бухгалтер»

Великий Зодчий откинул голову и выругался. Ему опять вспомнилась жена, уже после смерти Оле, в клинике, куда он

поместил ее по совету Первого Советника. Ей кололи препараты, выписанные из-за океана, чтобы избавить от памяти и ненужных страданий. Но она все равно узнавала его, или ему это только казалось, потому что она, не отрываясь, таращилась на него, шевеля губами и как бы мучительно что-то припоминая. Про детей, слава богу, больше не спрашивала. Он остался недоволен результатами, и тогда главврач предложил прооперировать ее, удалив кусочек гиппокампа, а вместе с ним и все проблемы. Великий Зодчий сразу же согласился, и главврач не подвел, сделал все как надо, за что и был в срочном порядке награжден орденом Героя созидательного труда. После операции жена смотрела на него безмятежным взглядом, иногда даже улыбалась, и все время просила чего-нибудь сладенького. Хотя она навсегда забыла, кто он, Великий Зодчий продолжал аккуратно навещать ее. По его приказу ее в неограниченном количестве кормили пирожными. За полгода она так растолстела, что он сам уже с трудом узнавал ее. Потом ее перевели в святую обитель на севере Газолии, и уже скоро Великий Зодчий не мог вспомнить ее лица, а с ним и всю свою предыдущую жизнь.

Но теперь вслед за женой из памяти выплыло лицо шефа, уже мертвое, обрамленное смехотворными, белыми рюшечками обивки гроба, и над ним застывшие глаза его жены. Почему-то привиделся и крест на крышке гроба, хотя покойный вроде никогда верующим не был. Шеф внезапно скончался от разрыва сердца перед самым взлетом Великого Зодчего на вертикаль власти. Шеф был умным, но тщеславным и самолюбивым человеком. Он был так поглощен собой и своими успехами, что не сумел разглядеть знаки нового времени, зато вовремя успел расчистить дорогу в новую Газолию от бородатых идеалистов в доморощенных свитерах, витийствующих об идеалистической революции. Разумеется, Великий Зодчий был благодарен ему за это. Жаль только, что шеф, опять-таки гонимый тщеславием, стал слишком охотно и непринужденно отвечать на некоторые вопросы некоторых журналистов. Врач, вскрывавший тело и установивший причину смерти, тоже был на похоронах. Его красивое, мужественное лицо маячило за плечом вдовы. Он поддерживал ее ослабевшое от горя тело. Теперь врач заведовал знаменитой Первой Нано-клиникой в Баблограде. Как и о жене, вспоминать о шефе было неприятно.

До вечера еще было далеко, а Великий Зодчий думал о том, какая ему предстоит ночка после такого дня. Потом он опять перевел взгляд на письмо. Кто-то, рискуя потерять один или более органов, каким-то образом получив его, сумел переправить в замок, засунув в стандартный конверт с символом Газолии. Это

было невероятно, опасно и поразительно. Еще более поразительным было само письмо, и не только по содержанию. Простодушный, немного церемонный слог и старомодные слова, которые Бухгалтер употреблял в прямом значении, придавали его тону наивность и абсолютно негазолийскую искренность. Словно оно было написано не в Газолии, а в том самом мире, о котором мечтал и который воспевал столетия назад великий, вольнолюбивый. Великий Зодчий уже давно не читал его стихов, но по совету Первого Советника часто цитировал в своих речах, чтобы подчеркнуть связь времен в прекрасной Газолии, а также духовно скрепить газолийцев.

Сегодня Бухгалтеру снилось, что он дома. Вернее, на даче. К ним в гости приехали друзья после рабочей недели. Всем весело и легко друг с другом. Рядом с ним жена, мать, сына, правда, нет, он, наверное, уже успел убежать на речку, а дочка здесь, бегает с девчонками за соседской козой, которой он покрасил рога в золотой цвет.

Этот домашний, светлый сон был так не похож на предыдущие черные и бездонные ночи, что он, четко осознавая, что спит, молил, чтобы сон продлился как можно дольше. Глядя на родные, любимые лица, Бухгалтер чувствовал прилив сил. В душе появилась надежда, что скоро весь этот кошмар кончится. От радости он приобнял за плечи мать, которая как раз проходила мимо с блюдом, и притянул ее к себе, но она строго посмотрела на него и сказала, чтобы он не заплывал далеко, когда пойдет купаться, и пошла дальше. Потом он увидел Банкира, с которым в школе учился в одном классе. В последнее время Банкир редко приезжал к ним на дачу, и Бухгалтер, обрадовавшись, что видит его, крикнул ему, что тот растолстел на банковских харчах, и когда же они наконец опять пойдут в поход на байдарках растрясти жирок и стряхнуть с себя городскую суету, но Банкир не услышал его, продолжая разговаривать с другим его бывшим одноклассником, Математиком. Лицо у Банкира было серьезное, глаза внимательные, цепкие, но без всякого выражения, как будто он не хотел, чтобы собеседник угадал его мысли, и Бухгалтеру расхотелось разговаривать с ним. Он стал искать жену, она только что стояла рядом. Оглянувшись, он сразу увидел ее, правда со спины, теперь она была в красивом платье с крупными маками. Она прислонилась грудью к забору, обхватив колья, как будто ждала кого-то. Словно почувствовав его взгляд, она обернулась, на лице у нее была тревога. Не заметив его и видимо так и не увидев, чего ожидала, она отвернулась и стала смотреть

в сторону речки. Он еще покрутился в саду среди гостей, а потом тоже подошел к забору и положил руку на плечи жены, но она, никак не откликнувшись, как будто его здесь не было, продолжала смотреть на луг, за которым начиналась их речка. Проследив за ее взглядом, он увидел вдали маленькую фигурку, бегущую вниз к реке, и обрадовался, что наконец видит сына. Поэтому он не сразу услышал, что жена плачет. Тогда Бухгалтер обнял ее и стал говорить, какой у них отличный сын, и что на будущий год он обязательно возьмет его с собой в поход по газолийским рекам, но она все плакала, не обращая на него никакого внимания, и тогда он как-то сразу понял, что его здесь просто нет. Где же я, подумал Бухгалтер в ужасе, продолжая молить, чтобы сон не кончился и он успел найти себя. Фигурка все еще бежала по лугу и, приглядевшись, он увидел, что это не сын, а он сам, маленький, в любимой полосатой зеленой футболке, которую ему сто лет назад подарила тетя и которую он заносил буквально до дыр. Бухгалтер не отрывал взгляда от фигурки, пока она не исчезла за откосом. «Я так и не увидел сына», – подумал он и, застонав, проснулся.

– Что, и тебя продрало наконец? – услышал он голос соседа и быстро натянул на голову одеяло. – А то все гордый ходишь, как царица Савская, – продолжал сосед натужным, но веселым голосом. Соседа подселили к нему две недели назад. Он умирал от рака и был похож на скелет, обтянутый сизой кожей. Он почти не спал и все время следил за Бухгалтером ненавидящим взглядом. Бухгалтер знал, почему его подсадили к нему. Чтобы испугать его видом смерти и так заставить подписать документы. Как только он понял это, сразу перестал бояться. Сосед ненавидел Бухгалтера за то, что умирает, за то, что он годится теперь только на роль ходячей смерти – пугать живых, а еще за то, что Бухгалтера часто водили к следователю, в мир живых, чтобы он поставил свою подпись под какими-то бумажками, а тот упирался, скотина, отказывался, считая себя лучше других, забыл видно, что в Газолии все равны.

– Эй, Бухгалтер, не будь сукой, открой личико и поговори с человеком, видишь, плохо ему, – не отставал сосед. Сегодня он чувствовал себя лучше, к тому же жалобные стоны Бухгалтера во сне прибавили ему сил. Но Бухгалтер молчал, накрывшись одеялом, и сосед стал злиться. – Эй, ты, между прочим, еще неизвестно, кто кого переживет. Даже если я раньше помру, ты тоже долго не протянешь. Ты ж за это время, что я здесь, вон как исхудал, на скелет стал похож, прям краше меня.

Сосед захихикал и хлопнул себя руками по бедрам.

– И умирать тебе будет тяжелее, ох, тяжелее, вот тогда ты

меня и вспомнишь, Бухгалтер. Ты будешь лежать здесь и помирать, а рядом никого, ни одной живой души, слышишь? Только эти грязные стены и вонючая параша. И будет тебе так хреново, Бухгалтер, хреновее, чем мне, вот увидишь. Я-то ведь один, как перст, жена ушла, только меня посадили, и детей у нас не было. Мамаша тоже померла давно. А тебя любят, да, Бухгалтер? Тебя ждут, о тебе плачут. У тебя ведь жена, детишки, мать. И ты любишь, вон как ты стонал во сне и плакал – это все от любви, оттого, что ты их больше никогда не увидишь, никогда, только во сне я тебе говорю, Бухгалтер, запомни это. Они тебя отсюда живым не выпустят, даже если и подпишешь все их бумажки. Ты уже, считай, помер, Бухгалтер, слышь, а значит мы с тобой равны, так что не гордись. Мы с тобой два живых трупа, вот поэтому вместе и сидим, чтобы им было удобнее.

Сосед заржал и зашелся кашлем, а Бухгалтер закрыл глаза и, зажав уши и стиснув зубы, чтобы не разрыдаться, стал усиленно вспоминать сон. И сон, как бы почувствовав его состояние, сжалился над ним и вернулся.

Теперь Бухгалтер бродил по саду и приветствовал друзей. Сегодня они все собрались у него. Вот наголо побритый Математик, как всегда в черном свитере, демоническая личность, вот Журналистка сверкает белоснежными зубами и поправляет новую стильную стрижку, и Адвокат в черных очках ходит босиком по траве, разряжается от стресса, а вот и Банкир, покусывая травинку, стоит у накрытого стола, думая о чем-то. Бухгалтер остановился. В последний раз он видел Банкира год назад, впрочем, как и всех своих друзей. Это было за месяц до ареста. Они встретились с Банкиром после работы, в «Алмазах Газолии». Был июнь, самое светлое время года.

– Бухгалтер, старина, – сказал Банкир и хлопнул его по плечу. – Как жизнь?

Они поднялись на крышу в стеклянном лифте и сели за хрустальный столик. Вокруг во всей своей стеклянно-мраморно-хромовой мощи раскинулся Баблоград. На востоке, в вечно синем небе Газолии полыхали золотом купола храмов, построенных Великим Зодчим. Внизу, под «Алмазами Газолии», расположенными на самом верху нового, восьмисотметрового здания, медленно текла Алет-река. Вода в ней была похожа на темную, густую массу. В ней ничего не отражалось, а с недавних пор в реке появились невиданные рыбы с длинной пастью, наполовину прорезающей их туловище. Несколько раз в день рыбы меняли окраску, и было непонятно, какого они изначально цвета. Банкир, опершись рукой на мраморную балюстраду, смотрел вниз на Алет-реку и о чем-то думал, пока Бухгалтер

рассказывал ему о сыне, который плавал уже не хуже отца. Банкир был так поглощен своими мыслями, что даже не вскинул глаза, когда к столику подошла официантка с грудью, талией и бедрами в соответствии с индексом идеальных пропорций материнства, недавно принятым газолийским Вече. Бухгалтер видел, что Банкир не слушает его, но делал вид, что не замечает. Он был по натуре добродушным и легким человеком, и поэтому, чтобы не смущать Банкира, продолжал рассказывать о сыне, о котором, впрочем, мог говорить часами.

«Мало ли, что у человека на душе, – попутно думал он. – Пока не буду лезть. Вот сейчас глотнет живой газолийской водички, и все как рукой снимет. Если что, сам расскажет».

Банкир, отпив глоток, все же проводил взглядом официантку и, вздохнув, поставил стакан на столик.

– Давай, что ли, о женщинах поговорим, – предложил Бухгалтер, – а то я тебе все о сыне, как будто тебе это так интересно, а тут такие газолийки ходят.

Банкир хмыкнул, но ничего не ответил.

– Правда, старина, может тебе жениться пора? Сколько можно по бабам бегать? Все свободу боишься потерять? Я вот как женился, ни одной минуты не пожалел.

– Ты если бы и не женился, ни о чем бы не жалел. Счастливая натура. Ну и вообще, ты же у нас всегда был примерным мальчиком, вот и сейчас…

– А что сейчас? – улыбнулся Бухгалтер.

Банкир промолчал и криво усмехнулся, как бы досадуя на непонимание Бухглатера, из-за чего ему приходилось самому начинать неприятный разговор. Ему было явно не по себе.

– Слушай, Банкир, ты мне, может, скажешь наконец в чем дело? – спросил Бухгалтер. – Сначала мы должны были кровь из носу встретиться, чтобы поговорить, а теперь из тебя и слова не вытянешь. У тебя что-то случилось? Проблемы в Газолбанке?

Банкир покачал головой, словно не веря своим ушам.

– В Газолбанке все распрекрасно. А вот ты, кажется, смеешься надо мной, Бухгалтер. Или дурака из себя разыгрываешь. Я же все знаю, мне твоя жена звонила. Она в ужасе от твоих планов. И я с ней полностью согласен.

– Ты о чем, Банкир? При чем тут моя жена? Какие такие планы?

Банкир, уже окончательно придя в себя, во все глаза смотрел на своего однокашника. Кажется, теперь до него дошло, что Бухгалтер и в самом деле ничего не понимает. Он хлопнул себя по лбу и расхохотался.

– Какой же я идиот, черт побери. Совсем забыл, с кем имею

дело. Я почему-то решил, что десять лет Газолии и твоя работа в «Манцетти» научили тебя жизни. А не тут-то было. Но что поделаешь? Ладно, попытаемся тебе кое-что объяснить.

Он наконец расслабился, и, пока Бухгалтер с любопытством смотрел на него, заказал бутылку «Огней Баблограда», которую официантка, ловко раскупорив и разлив по высоким бокалам, поставила в серебряное ведерко.

– В общем, твоя жена позвонила мне и сообщила, что ты собираешься подавать заявление в связи с хищениями, совершенными «Бельведер Компани».

– Ты имеешь в виду, совершенными чиновниками, – сказал Бухгалтер, перестав улыбаться.

– Подожди, не перебивай. Дело не в том, кто что совершил. А в том, что ты, газолийский бухгалтер в «Манцетти и Партнерс» собираешься подавать в газолийские органы заявление на газолийских чиновников, которых ты обвиняешь в хищениях из газолийской казны. Так?

– Ну так, – ответил Бухгалтер. – А с какой стати тебя интересует мое заявление?

– Бухгалтер, ты сошел с ума. Может, тебе лучше сразу взять и спрыгнуть отсюда в Алет-реку? Безболезненная смерть гарантирована.

– Я тебя что-то не совсем понимаю, старина, – сказал Бухгалтер. С него сошла вся легкость июньского дня и он как-то сразу посерел лицом. – Чиновники преспокойно кладут к себе в карман ойлы, заработанные и исправно переданные «Бельведер Компани» в газолийскую казну, а я должен делать вид, что ничего не происходит? Ты за кого меня принимаешь? А жене скажу, чтобы не лезла в мои дела.

– Ты ей спасибо скажи, идиот. Она тебя спасает.

– Это чиновники скоро себя спасать будут. Да чего ты вообще расшумелся, Банкир? Я же ничего особенного не делаю, просто выполняю свой профессиональный долг. Мне «Манцетти и Партнерс» за это деньги платит.

– Вот я и говорю, делай свое дело и не лезь, куда не надо. Подумаешь, герой нашелся.

– Да какой я, к черту, герой, Банкир? Дочка на прошлой неделе себе коленки рассадила, все ноги в крови, так я чуть в обморок не упал. Не, я больше по бумажной части. Но что есть то есть, люблю, чтоб бумажки были в порядке и цифры тоже. По долгу службы, так сказать. Меня что, зря учили в топ-университете на народные ойлы? У меня, между прочим, насчет этих чиновников всё черным по белому, все доказательства. А дальше, это уже дело органов.

Банкир пригубил «Огни Баблограда», задумчиво глядя на Бухгалтера.

– Вот скажи, Бухгалтер, тебе нравится здесь, в «Алмазах Газолии» на сияющей вершине Баблограда?

Бухгалтер пожал плечами.

– А что, здесь вполне славно.

– А как тебе нравится этот божественный напиток? – Банкир с наслаждением отпил еще глоток и продолжил: – Или наша прекрасная газолийка, которая скоро осчастливит какого-нибудь сильного, мужественного газолийца и станет идеальной матерью большой, здоровой семьи? – Банкир широко махнул рукой над балюстрадой. – А мощь и величие Баблограда и его великолепные храмы, освященные самим Архиереем? А все эти сверкающие небоскребы, где крутятся наши ойлы? Нет, ты мне скажи, Бухгалтер, тебе это все нравится? Ты гордишься нашей прекрасной Газолией?

Бухгалтер кивнул.

– Допустим, и что дальше, Банкир?

– А дальше то, что ты и я, и вместе с нами сотни миллионов других газолийцев живем, как ты знаешь и как нам ежедневно объявляет «Голос Газолии», в симфонии Истины, Священства и Народности. А конкретно мы с тобой находимся в самом ее сердце, в великом Баблограде, который кормит и поит нас так, что нам до боли в печенке завидуют все заокеанские народы. И ты хочешь потерять все это только потому, что парочка жалких чиновников решила поправить свое материальное положение? Ради этого ты готов подвергнуть сомнению нравственный авторитет газолийских властей и тем самым посягнуть на честь Газолии?

– Банкир, ты чего? Я ни на что не посягаю. Ведь обвиняю чиновников не я, а цифры. Я только предоставляю их органам. А что касается чести… Вот ты сейчас говорил мне о Газолии, и я подумал, что, может, и правда, я делаю это из любви к нашей стране, ну в общем, чтобы она всегда оставалась такой же прекрасной и….

Тут Бухгалтер немного смутился, вероятно, потому, что не привык открыто объясняться в любви к Газолии. Он видел свое служение ей не в словах, а в добросовестной работе на ее благо.

– Я не сомневаюсь в искренности твоих намерений, – сказал Банкир. – Но вот скажи мне одну вещь: тебе конкретно стало хуже оттого, что эти люди одолжили парочку миллионов у «Бельведер Компани»? Они себе еще кучу ойлов заработают, не переживай. Хэвенсон, говоришь? Так этот твой сын небесный себе снова рай земной отгрохает, и не один. Так вот, повторяю, лично тебе, твоей

семье, матери, твоим друзьям в конце концов, стало хуже?

На добродушном лице Бухгалтера появилось упрямое выражение.

– Не парочку миллионов, а четыреста пятьдесят миллионов ойлов, Банкир. И не у «Бельведер Компани», а у казны. На эти деньги можно отстроить новый город на Нехоре. Там после наводнения, говорят, люди до сих пор в палатках живут. А моя семья и мои друзья тут совершенно ни при чем.

Банкир покачал головой и пригубив, опять внимательно посмотрел на друга.

– Это тебе так только кажется, Бухгалтер. В Газолии все связаны друг с другом. В Газолии личность – это Я, ТЫ и МЫ. И свобода в Газолии для всех одна. Святая и неприкосновенная, как истина. И мы все ее одинаково используем, потому что живем по совести Газолии, которая является и нашей совестью. А ты занимаешься индивидуальным произволом, Бухгалтер, и подрываешь авторитет власти. Ведь критикуя низших чиновников, ты тем самым посягаешь на святую вертикаль всей нашей власти, включая и того, чье имя мы не должны произносить всуе… – Он на секунду целомудренно опустил глаза, как при входе в храм, и выдержав паузу, продолжил. – Вот ты говоришь, Нехора? Да, наводнение, да, трагедия, да, очень грустно, что там происходит, что наш народ впадает в первобытное животное состояние, вымещая свою дикость на власть имущих, но соответствующие меры приняты, туда уже была направлена Спецкомиссия вместе со спецбатальоном и все зачинщики скоро будут наказаны. Но речь сейчас о тебе, Бухгалтер. Ты богочеловеком себя возомнил, считаешь себя лучше, чем все. От гордыни и пострадаешь. Я предупреждаю тебя еще раз. Послушай меня, подумай о жене, о детях, о матери. Подумай, как они любят тебя и как ты любишь их. Об этом нельзя забывать, Бухгалтер, никогда. Подумай о своей прекрасной жизни в Баблограде, о новой даче, подумай о том, как мы будем приезжать к тебе, разжигать костер, как раньше, играть на гитаре и петь наших любимых бардов, купаться ночью в речке и вспоминать юность. Подумай, что мы скоро пойдем на байдарках по Егоне и Нипеге и ты возьмешь с собой сына, ты же давно мечтал об этом, Бухгалтер, ты ведь так любишь все это, в тысячу раз больше, чем все твои цифры и бумажки и схемы, неужели ты хочешь потерять все это?

– Нет, нет, нет! – закричал Бухгалтер, и, в ужасе сорвав с себя одеяло, с облегчением увидел, что он в камере. После кромешной тьмы тусклая лампочка над дверью светила в глаза ярче солнца.

Пока он разговаривал с Банкиром, одеяло, став пудовым, придавило его, и Бухгалтер погрузился в душную черноту. Его мутило, будто он только что вынырнул из вязкой, густой, как олия, воды Алет-реки. Тяжело дыша, он перекатился на другой бок и увидел, что сосед наконец заснул, лежа на спине и широко раскрыв рот. Чтобы не видеть его, Бухгалтер тоже повернулся на спину, уставившись в замызганный потолок и мысленно стараясь раздвинуть стены камеры. Скоро перед ним опять засияли «Алмазы Газолии» с хрустальными столиками и радужным фонтаном, золотые кресты на куполах и тысячи солнц, отражающихся в стекле и хроме Баблограда. Каблучки прекрасной газолийки стучали в такт с его сердцем, шипучие брызги «Огней Баблограда» приятно охлаждали кожу. Теперь на него смотрели усталые и какие-то выцветшие глаза Банкира, и, переведя взгляд, Бухгалтер увидел напротив него самого себя – счастливого, беспечного, полного сил и планов на будущее.

Лежа на жесткой койке и вдыхая в себя нечистый воздух, Бухгалтер никак не мог понять, жалеет ли он о том, что не послушался совета Банкира и подал заявление. Его все еще мутило и в который раз сильно схватило бок, словно этот вопрос переселился теперь в его плоть, мучая его и не давая заснуть.

– У вождя тоже была собака, и он ее любил, – бормотал Великий Зодчий. Обычно он пропускал собачьи кадры, чтобы не впадать в слюнтяйство, но сегодня решил посмотреть. Он расстегнул рубашку, поставил рядом бутылку нано-колы, водрузил ноги на столик и включил фильм.

Вождь разгуливал по террасе своего замка на вершине горы. Огромная терраса была встроена в уступ скалы, как гнездо ястреба, и висела над цветущей долиной окаймленным белой балюстрадой краем. Как и давеча на площади, вождь был одет в военную форму, но сейчас вся его фигура и лицо, все его движения были совершенно иными, свободными, дышали довольством и покоем. Поводя туда-сюда головой, вождь наслаждался прекрасным видом на землю и небо. Опершись о балюстраду, он отдыхал от непосильной работы создания нового мира. По террасе степенно разгуливали несколько военных и людей ученого вида в штатском и в круглых очках, взявшись под ручки, живыми цветами здесь же ходили и девушки в народных костюмах с белыми кружевными передниками и в венках из альпийских фиалок на льняных головках. Постояв так, вождь оглянулся на своих гостей. Вдруг лицо его растянулось в улыбке и он стал похожим на мальчишку. С другой стороны террасы, из раскрытых дверей к нему неслась большая лохматая овчарка.

Присев на корточки, вождь широко раскинул руки и чуть не повалился на спину, когда собака бросилась на него с радостным повизгиванием. Гости остановились и, образовав немую сцену, с умилением стали наблюдать за нежной возней. Вождь смеялся, трепал собаку за уши, тянул ее к себе, а она вырывалась и все норовила лизнуть его в нос. Они так радовались, будто встретились после долгой разлуки, и вот теперь тискали друг друга, чтобы удостовериться, все ли на месте, ничего ли не изменилось и не встало между ними и их любовью. Первой посерьезнела собака. Вывернувшись из рук вождя, она выпрямилась и уперлась передними лапами в его плечи. Теперь она была выше сидевшего на заднице вождя и он смотрел на нее снизу. Компания вместе с девушками тактично отвернулась и стала обсуждать что-то, глядя на ландшафт и тыча в него пальцами.

Сегодня Великий Зодчий совсем бы не удивился, если бы собака вдруг сказала что-то вождю, а тот ответил ей, как равной. Но та встрепенулась и с лаем рванулась прочь – это на террасу залетела птица и села на балюстраду. Вождь тоже поднялся и к нему сразу подбежали девушки, а одна из них сняла венок и, смеясь, бросила его в небо.

Великий Зодчий хотел было прокрутить фильм назад, где собака кладет лапы на плечи вождя и они молча смотрят друг на друга, но вместо этого выключил его и сделал пару больших глотков нано-колы, чтобы запить комок в горле. Потом он встал и прошелся по башне, то и дело щупая карман: на месте ли письмо Бухгалтера? За окном темнело. Скоро на площади перед башней зажгут огни, и золотые купола засияют, как на солнце, и будут всю ночь прославлять мощь и величие Газолии. Стоя у окна, он осушил бутылку, но жажда осталась, и он знал, что пока ничто не утолит ее. Жажда шла из глубины тела, оттуда же волнами, обгоняя друг друга, наплывали и воспоминания о сенбернаре Оле, жене, шефе, разъяренных нехорских бабах и еще неизвестно, кто и что явится ему ночью. Он швырнул бутылку за спину и подумал, что давно не напивался. Конечно, стоит только нажать на кнопку – и ему сразу принесут все, что нужно, а наутро весь замок узнает, что Великий Зодчий слабеет, что и у него, оказывается, есть нервишки, как и у нас, грешных. Он почувствовал, как чернеет от зависти к мужикам из Нехорской земли, которых тогда видел с вертолета. Они валялись в поле, бездыханные, накачавшиеся дряни из батареек, с отшибленной памятью и блаженными лицами. Подзаборные нехорские мужики, низшие организмы Газолии, были свободнее, чем он, ее бог и царь. Раздобыв батареечную дрянь, они могли в любой момент

сбежать в беспамятные сны, а он был обречен на вечную трезвость. Он подошел к столу и, нажав на пульт, увидел, что ему весь вечер названивал Первый Советник. Тогда он соединился с Главным Агентом и еще раз напомнил ему, чтобы он не сводил с того глаз. Потом включил Главного Тюремщика.

– Ну что, жив еще?

– Как было приказано, – ответил Главный Тюремщик.

Великий Зодчий молчал, и Главный Тюремщик, струхнув, залепетал:

– Как было приказано, так и все и сделали, а прикажете шею свернуть или как по-другому, так мы сей секунд, только скажите… ему уже недолго осталось, да я его сейчас сам голыми руками…

– Немедленно прислать к нему врача, а больше никого не пускать, – рявкнул Великий Зодчий. – Если он умрет, я тебе собственноручно уши отрежу.

Вырубив Главного Тюремщика, он плюхнулся в кресло. Забывшись, прикрыл глаза и сразу провалился в черноту, откуда на него, шепча и шушукаясь, уже двигались тени, поджидавшие его в вязком и душном пространстве. Великий Зодчий открыл рот, чтобы закричать, – туда хлынула вода, заливая глотку и пищевод. Но вот где-то блеснул спасительный свет – это зажгли огни у храмов – мелькнуло в его угасающем сознании и он очнулся, хватая ртом воздух. Бешено билось сердце и стучало в висках, в глазах плыло. Он помотал головой и увидел, что обеими руками мертвой хваткой вцепился в подлокотники. Он с трудом оторвал и поднес к лицу застывшие, скрюченные пальцы. По лицу тек пот, но все тело дрожало от холода, как будто он вынырнул из проруби Нехоры. Он в панике схватился за карман – письмо было на месте. Хотя Великий Зодчий наверняка знал, что виной всему этому безумию Бухгалтер со своим посланием, если бы оно вдруг исчезло, ему стало бы еще хуже. Он поднялся на ноги и пошел к окну, причаститься к сиянию куполов, но не почувствовал ничего, кроме усталости и сильной тревоги. «Балерина», – подумал Великий Зодчий, жадно глотая нано-колу из новой бутылки и изо всех сил вспоминая ее проворное, гибкое тело.

Балерина летала по кругу в гранд жете ан турнан. Увидев Великого Зодчего, она прыгнула ему навстречу в сиссон па де ша, приземлилась и закрутилась в гранд пируэт, забирая ногой воздух. На ней была сверкающая пачка из нано-ткани, вся, как и трико, прошитая мелкими, как бисер, бриллиантиками. Балерина сияла и лучилась, ее белая, хорошо вылепленная нога при каждом пируэте взлетала в воздух все выше, почти касаясь лба. Длинные

до пояса, распущенные волосы черным пламенем полыхали вокруг лица. Балерина могла кружиться так часами, с отвлеченным взглядом отдаваясь собственному телу и упиваясь своей самодостаточностью.

Великий Зодчий подошел ближе, она притормозила и, зыркнув на него, прокружилась назад в безукоризненном фуэте, чуть разбежалась, оттолкнулась, воспарила в па де пуассон, и вдруг оказалась у него прямо на плечах. За все это время она ни промолвила ни слова, а тут вдруг захохотала, теребя его по макушке.

– Ой, не могу, как же я люблю тебя, папочка. Какие у тебя тут хорошенькие волосики, прямо как у маленького, такой славный, мягкий пушочек…

Крепко обхватив его ногами, она наклонилась и стала дуть ему на макушку, давясь от смеха. От Балерины пахло потом, жаром степей и сильным, молодым зверем. Великий Зодчий опустился на колени, и она соскользнула с его плеч на белоснежную шкуру. Пока он сдергивал с нее трико и пачку, она водила указательным пальцем по его лицу, как бы проверяя его на прочность. Все еще не доверяла, но уже хоть молча. Сначала, когда он только обзавелся новым лицом, Балерина боялась, что там что-то лопнет, и на нее вывалится его старая кожа. Если он слишком распалялся, то она начинала повизгивать и колотить его пятками по спине, охлаждая пыл. Она почему-то была уверена, что его прежнее лицо никуда не делось, а просто скрывалось за новым, как за маской. Эта мысль одновременно приводила ее в ужас и восторг. Теперь она уже никогда не закрывала глаз, отдаваясь ему, и иногда он ловил в ее взгляде странное любопытство, нарушавшее обычное равнодушие ко всему, кроме собственного тела. Отстонавшись, Великий Зодчий сполз с нее и перекатился на бок. Кажется, ему удалось хоть немного забыться. Хорошо, что он все-таки пришел сюда, надо будет остаться здесь на ночь. Размякнув, он прикрыл глаза, а когда снова открыл их – увидел, что Балерина пристально разглядывает его.

– Ты плакал, – проговорила она, словно не веря самой себе. – Нет, ты точно плакал.

Из ее глаз исчезло всякое выражение, но где-то на самом дне радужной оболочки скользила юркая, как рыба, мысль. Великий Зодчий по-прежнему молчал, наблюдая за ее глазами.

– Папочка, почему ты не вырвал язык скифу? – спросила Балерина.

Великий Зодчий пожал плечами и стиснул ее горячее бедро.

– Если бы ты сделал это, то не плакал бы сейчас и не пожимал плечами, – сказала она, не реагируя на его руку. –

Теперь ты должен придумать что-то другое, что-то необыкновенное, чтобы все поразились и преклонились. Ну придумай что-нибудь, папочка, брось кого-нибудь к пираньям или устрой бой чиновников, ну пожалуйста, вон они в Горгонии каждый день та-акие игры устраивают, обалдеть, а ведь их колизей – сарай по сравнению с нашим, а здесь так ску-у-учно… – Балерина надула губки и закатила глаза. – Да и в замке уже все нервничать начинают, вот и Первый Советник говорит…

– Что говорит Первый Советник? – быстро спросил Великий Зодчий и повалил ее на спину. – Что он еще про меня знает? Что ты ему сказала?

– Да ничего я ему не говорила, пусти, – выворачивалась Балерина.

Усилив хватку, он приставил ребро руки к ее горлу и надавил.

– А ты подумай хорошенько.

– Папочка, я ему ничего не говорила, – прохрипела Балерина, закрыв глаза. – Честное слово.

– Вот и молодец, и впредь будь такой умницей. Тебе вообще можно не разговаривать с такими данными. Вон здесь все какое качественное, все на своем месте, полная гармония органов, как в симфоническом оркестре. Зачем же нам ее нарушать? – сказал он и надавил чуть покрепче. – Ну а он что тебе говорил?

Балерина опять залопотала о скифе, о слухах в замке, и что зачем ему, папочке, спускаться куда-то вниз, в гадкие подземелья, когда здесь, в Баблоградском замке все так прекрасно, клево и уютно, настоящий рай с мраморными залами, золотыми храмами и золотыми туалетами, пальмами и фонтанами с игристой газолийской водой, от которой так приятно кружится голова, и чувствуешь себя, как в степи без конца и без края, и хочется всю ночь веселиться, любить, скакать и парить в лазурном воздухе Газолии… Она уже забыла о Первом Советнике, нежно воркуя и поглаживая Великого Зодчего по шее и затылку и водя крепкими пятками по его заднице. Когда ее тело наконец впитало в себя его ярость, он с новыми силами набросился на нее. Ему надо было зарядиться свежей энергией, восстановить волю, которая утекала из его организма, оставляя его на съедение химерам. Без воли ему было не справиться со своей взбесившейся памятью, с Первым Советником, видевшим его насквозь и ждущим своего часа, а главное, с Бухгалтером, который умирал в карцере от болезни и одиночества, но почему-то упорно отказывался подписать документы, которые могли бы спасти ему жизнь.

Стиснув зубы, чтобы со стонами не потерять ни частички энергии, Великий Зодчий терзал Балерину, как никогда раньше.

Сегодня он должен был до последней капли испить этот источник жизни, в котором чудодейственным образом сосредоточилась воля племен с раскосыми глазами, когда-то безумным вихрем мчавшимся по степям его страны.

Его привел в чувство неожиданный и давно забытый запах. Столь давно, что Великий Зодчий не сразу угадал его. Он вспомнил его, лишь когда перед его затуманенным взглядом четко обозначилось запрокинутое лицо Балерины. Но приглядевшись, он увидел, что это не она, а чье-то другое, смутно знакомое лицо, соединившееся с распластанным под ним телом и выплывающее из памяти на волнах тошнотворной вони. Всмотревшись в это мертвенно-бледное, полуобморочное лицо с закрытыми глазами и искусанными в кровь губами, Великий Зодчий задрожал. Вонь распалась на кошачью мочу, дешевые сигареты, сырость и доисторический портвейн, все это приправленное канализационным душком. Теперь в нос ему бил запах распаленных молодых тел, страха, крови и подвала. Отстранившись от истерзанного тела, он стал озираться. Он скользил взглядом по теням, стеной сгрудившимся вокруг железной кровати, и не найдя того, что искал, начинал по новому кругу, пока не понял, что ищет не там, где нужно. Тогда он перевел взгляд подальше и наконец увидел его, в углу, под зарешеченным окошком, под самым потолком, за которым была ночь. Красивый мальчик забился в угол подвала, подтянув ноги к подбородку и обхватив колени руками. Почему-то Великому Зодчему бросились в глаза его джинсы, с сильно простроченными оранжевыми швами, догазолийского периода, предел мечтаний их бедной юности. Расширенными от ужаса глазами мальчик смотрел на него и на распростертое под ним тело. Великий Зодчий видел, что больше всего на свете мальчик хотел спрятать голову в коленях и навсегда исчезнуть, но не делал этого, потому что знал, что должен был смотреть. Ведь еще больше мальчик боялся нарушить закон подвала и поплатиться за это честью. От него, как и от теней, разило доисторическим портвейном и папиросами, и еще чем-то, похожим на страх, но сильнее и тошнотворнее. Это была вонь предательства, придающая воздуху подвала особый аромат. Мальчик, не отрываясь, смотрел на Великого Зодчего, понимая, что ему предстоит.

«Ты думаешь, ты лучше нас? – читал он в его глазах. – Ты думаешь, сейчас умоешь ручки и все? Ан нет, так просто не отделаешься. Вот ты думаешь, что? В угол забился, съежился, глазки спрятал – и нет мальчика? Ты еще сопли пусти, чтоб мы тебя пожалели и отпустили домой, к мамочке. Чистеньким думаешь остаться? Не выйдет. Ты же сам хотел. Вот и докажи

теперь, что ты наш, что тоже можешь…»

Под презрительным взглядом Великого Зодчего мальчик стал медленно подниматься. Вот он встал на ноги и сделал первый шаг в его сторону, вот он нетвердой походкой прошел до середины подвала и тени расступились перед ним, пропуская его к железной кровати без матраса, где лежало истерзанное тело, и вот, низко опустив голову, мальчик уже расстегнул пуговицу джинс и взялся за молнию.

Великий Зодчий затряс головой, отгоняя обступившие его тени и проклиная коварную память. Очнувшись, он увидел под собой удивленное лицо Балерины.

– Папочка, что с тобой? – прошептала она. – На тебе лица нет. Давай я тебя помассирую или, может, доктора позвать?

Ее глаза юлили, избегая его взгляда. Тогда он обеими руками сжал ее голову и приподняв ее, впился в Балерину побелевшими от бешенства глазами.

– Никому об этом ни слова, ясно?

Та быстро закивала.

– А проболтаешься, будешь у меня здесь…

Не договорив, Великий Зодчий встал, натянул штаны и, не оборачиваясь, нырнул в тайную дверь, ведущую в башню. Трясущимися руками открывая нано-колу, он подумал, что, останься он у Балерины еще немного, он точно пробежался бы ногами по ее прелестям, как их учили в школе разведчиков. Проучил бы за невыполнение служебных обязанностей поддержания оптимального уровня его тонуса и энергии. Отдышавшись, он включил Главного Агента и спросил у него о Первом Советнике. Тот доложил, что Первый Советник сначала смотрел у себя в кабинете исторический фильм о давнем враге Газолии, а потом ходил к Балерине, у которой пробыл около часа. В данный момент он находится у себя в кабинете. Вцепившись в край стола, Великий Зодчий отключил Главного Агента.

Бухгалтера взяли прямо в офисе, когда он возвращался с ланча. Он даже до своего кабинета не успел дойти. Сначала перед ним отказались раздвинуться стеклянные двери в их отдел. Он потер карточку о рукав, еще и еще раз, а потом окликнул проходящего сотрудника. Но тот лихо прыгнул в лифт, и уткнувшись в нано-фон, уехал. Мимо прошли еще трое, все дружно глядя прямо перед собой, а четвертый, новый коллега, совсем молодой, не выдержав, метнул на него взгляд, но кажется, сам испугавшись своей смелости, повернулся и быстро зашагал в другую сторону.

«Чего они, с перепоя, что ли, дак уж не пьет никто давно,

может, им нано-кола не в то горло попала?» – подумал Бухгалтер, вертя в руках карточку и с удивлением озираясь. Он уже хотел было воздеть руки долу и вскричать: «Ребята, что происходит?», – как увидел по ту сторону стекла шефа. Все еще не понимая, в чем дело, Бухгалтер поразился чересчур будничному выражению его лица. Таким он его еще не видел. Вместо того чтобы подойти к дверям и открыть их, или хотя бы махнуть рукой, сейчас, мол, посмотрим, шеф неподвижно стоял посередине коридора и ждал чего-то, что происходило в одном из кабинетов за стеклянной дверью, в которую теперь Бухгалтеру был заказан вход. Тогда Бухгалтер перестал суетиться. Он просто засунул карточку в карман и тоже стал ждать. И хотя он не знал, чего, но как-то сразу понял, что должен проявить тактичность и больше не приставать к коллегам с вопросами и просьбами. И коллеги тоже поняли, что он это понял, и тоже как-то сразу расслабились, стряхивая с себя неловкость и напряжение. И вот они, уже болтая между собой или общаясь с нано-фонами, легко сновали мимо, не замечая его, как будто его здесь и не было. И почему-то и ему, и им это восстановленное равновесие, где не было места его телу, уже казалось не более чем естественным положением вещей.

Это уже потом Бухгалтер поражался, вспоминая тот час и не понимая, почему он остался ждать за стеклянной дверью вместо того, чтобы броситься вниз, в гараж, и сбежать. Ведь тогда он еще стоял по ее свободную сторону.

Почему не прыгнул в машину, не погнал по Баблограду, чтобы забрать из школы детей? Почему не заехал за женой и матерью, а потом домой, не побросал в машину самое необходимое и не помчался на всех парах вон из Баблограда, по необъятной Газолии, в ее синие, вольные леса с быстрыми, светлыми реками, туда, где в старину спасались изгнанники, пророки и староверцы, о которых он читал в пожелтевших книгах? Почему, стоя у этой двери, еще с нано-фоном в кармане и без наручников, он хотя бы не позвонил жене, чтобы услышать ее голос?

Значит, все же прав был Банкир, когда говорил, что Бухгалтер ничему не научился в жизни. Ведь он уже тогда знал, на что они были способны. Должен был знать. Чтобы завладеть ойлами «Бельведер Компани», эти люди под видом финансовой полиции организовали вооруженный обыск в офисе и, выкрав бланки и печати, перерегистрировали часть компании на имя своих сообщников и подставных лиц, видимо, решив, что Сэм Хэвенсон достаточно разбогател, чтобы поделиться с ними. Но кроме этого, Бухгалтер знал и кое-что поважнее. А именно, что он родился, вырос, учился, работал и любил, как умел, в самой прекрасной

стране в мире. Его Газолия была прекрасна не потому, что была идеальна, – Бухгалтер отлично понимал, что идеальными в жизни могли быть только цифры, – а по той простой причине, что на ее земле родились, выросли, учились, работали и любили, как умели, его родители, деды и прадеды. Этого знания было достаточно, чтобы любить Газолию спокойной, ровной любовью. Из этой же любви к Газолии он доставал у стариков пожелтевшие, пахнущие плесенью книги и, отдыхая от бухгалтерских моделей и бесконечных цифровых комбинаций, по вечерам читал об ее истории. Старые книги нравились ему больше, чем сверкающие нано-пады, восхвалявшие настоящее и будущее Газолии. Конечно, все эта была правда, в этом у Бухгалтера не было никакого сомнения, но ему отчего-то быстро становилось скучно, как будто он стоял перед великолепным фасадом, за которым скрывались таинственные, полные диковинных предметов залы, куда ему не было входа.

История в книгах была захватывающей, подчас жестокой, и всегда великой, как и положено великой стране. Бухгалтер одновременно гордился ею и радовался, что теперь, под неусыпной заботой Великого Зодчего, они живут в мирной, богатой и справедливой Газолии. Если до него доходили слухи о беспорядках или несправедливости, то он, конечно, сильно огорчался, но объяснял себе, что все это пережитки прошлого, которое Газолия каждодневно изживает из себя, создавая новую историю, а значит, недостатки временного характера, и их скоро перемелят жернова прекрасного будущего. Бухгалтер твердо знал, что вместе с новой историей по Газолии, как драгоценное олиевое пятно в воде, будет разливаться и справедливость, пока она не покроет всю их великую землю, растворив в себе зло, которое в конце концов потеряет свою силу. И чем лучше каждый газолиец будет выполнять свой долг и помогать Великому Зодчему бороться с недостатками, тем быстрее это произойдет. Это была простая и бесхитростная философия, над которой подсмеивались его друзья, но ведь он был бухгалтером, а не философом, чтобы сложно думать о жизни. Вот это знание и помешало ему тогда сбежать из офиса. Оно оказалось сильнее его опыта жизни, о котором ему в «Алмазах Газолии» твердил Банкир и даже, как оказалось позже, сильнее его любви к жене и детям. Но тогда он еще не знал об этом. Уже потом он понял, что об этом наверняка знали люди, арестовавшие его. Поэтому и не поставили конвой у входа, а просто, не торопясь, без суеты, делали свое дело, уверенные, что он и так никуда не денется.

В коридоре за стеклянной дверью задвигались. Шеф, так и не глядя на него, повернулся и сказал что-то в кабинет Бухгалтера.

Все другие сотрудники куда-то подевались, только секретарша Бухгалтера вышла из его кабинета с папками под мышкой и, не оглянувшись, прошествовала в соседнее помещение.

«Наконец-то пойму, в чем дело», – с облегчением подумал Бухгалтер. Будучи натурой прямодушной, он не выносил неопределенности, ни в личной жизни, ни на работе. Если у него в расчетах не совпадали цифры, он мог просидеть за ними всю ночь, пока не находил ошибку, а иногда, увлекшись подсчетами, даже звонил с вопросами посреди ночи своим клиентам. В «Манцетти и Партнерс» у него была репутация блестящего и въедливого специалиста. Именно поэтому ему доверяли свои дела самые крупные газолийские и иностранные компании.

Из его кабинета вышел мужчина, спросил что-то у шефа и направился к дверям. Мужчина был моложе и гораздо красивее Бухгалтера. Почему-то это сразу бросилось ему в глаза. У него были черные, блестящие волосы, очень яркие, лучистые синие глаза и стройная, спортивная фигура. Бухгалтер встречал мужчин такого типа в ночных клубах, куда иногда захаживал с друзьями. На таких красавцах всегда гроздьями висели прекрасные, пышно разодетые газолийки, громко требующие внимания и самого дорогого нано-шампанского. Лицо его показалось ему смутно знакомым, но как Бухгалтер не напрягал память, он так и не вспомнил, где мог видеть его. Красавец, с таким же будничным выражением на лице, как и шеф, открыл двери.

– Добрый день, – поздоровался Бухгалтер и представился. Он уже протянул руку для приветствия, но мужчина, отступив в сторону, жестом пригласил его пройти дальше.

«Что же, будем знакомы», – удивился про себя Бухгалтер и сказал:

– Что-то рановато еще для инспекции.

– Ну, это не вам решать, – ответил тот и подтолкнул Бухгалтера вперед. – Пройдемте в кабинет, сейчас придут понятые.

– Кто придет? – переспросил Бухгалтер.

– Сейчас всё поймете, – ответил мужчина.

Бухгалтер в недоумении посмотрел на шефа, но тот только беспомощно развел руками.

– Понятые когда придут? – осведомился у него мужчина.

– Вы мне можете объяснить, что здесь происходит? – опять спросил Бухгалтер.

– Сейчас всё поймете. Понятые, спрашиваю, скоро придут?

Пока шеф звонил кому-то, Бухгалтер хотел войти в свой кабинет, но мужчина преградил ему дорогу:

– Сначала понятые.

Тогда Бухгалтер чуть подвинул мужчину в сторону – не зря же он раз в неделю ходил на нано-фитнес – и уже хотел было войти в кабинет, но тот молниеносно согнул его вдвое, скрутив руку за спину:

– Ты че, глухой?

Хватка у него была железная, но больше всего Бухгалтера ошеломило то, что этот красавчик запросто говорил ему «ты», да еще таким хамским тоном.

– Что здесь происходит? Вы что себе позволяете? – спросил он, пытаясь вырваться.

Мужчина пожал плечами и чуть усмехнулся, видимо, не считая нужным отвечать. Бухгалтер перевел взгляд на шефа, который закончил разговаривать по телефону и теперь, косясь на него, с несчастным видом утирал пот со лба. По кабинету ходили тяжелыми, совсем не офисными шагами, что-то передвигали, задвигали и рассоединяли, приправляя все эти действия смачной руганью, которую Бухгалтер уже давно считал пережитком прошлого.

– Это у вас, кажется, что-то со слухом, – сказал Бухгалтер. – Я уже третий раз спрашиваю, что здесь происходит?

– Комиссар, готово, – крикнули из кабинета, и красавчик, ослабив хватку, втолкнул Бухгалтера в дверь. Там он увидел наголо побритых парней в черных кожаных комбинезонах с эмблемой солнца, пронзенного мечом, на груди и на рукаве, пустые ящики стола и прозрачные коробки с аппаратурой и стопками досье его клиентов.

– Ваше? – спросил один из них.

Бухгалтер ошалело осмотрел содержимое и кивнул.

– Тогда распишитесь.

Под нос ему сунули бумажку и ручку, и красавчик комиссар отпустил его, дав наконец выпрямиться. Бухгалтер быстро вытащил из кармана нано-фон, но Комиссар, как будто ожидая этого, выхватил его и бросил одному из парней. Тот ловко поймал его, осмотрел со всех сторон, словно впервые в жизни видел нано-фон, положил в коробку и черкнул что-то на бумажке.

– Немедленно отдайте нано-фон, – задрожав, сказал Бухгалтер. – Я знаю свои права.

– А это не права, – возразил Комиссар. – Это следственный материал.

– Я имею право позвонить адвокату, я должен позвонить жене.

– Адвоката тебе назначит Газолия, если сочтет нужным. А о правах не волнуйся. Ты их скоро поимеешь, все до одного. Жене сообщат, когда надо. Так что давай, подписывай, что

вещественные доказательства твои, чтоб потом претензий не было. Нам чужого не нужно. Правда, ребята?

Ребята загоготали и, подхватив коробки, стали выходить из кабинета. Шеф все еще топтался в коридоре, поджидая понятых. Когда те зашли в кабинет, Бухгалтер стоял лицом к окну и, глядя на раскинувшийся перед ним Баблоград, по которому струилась Алет-река, деля его на две части, перечислял про себя все его храмы, стадионы, проспекты, мосты, памятники, рестораны, парки, театры и шопинговые центры. Ему казалось, что если он правильно назовет все видные ему отсюда точки и, ни разу не ошибившись, соединит их между собой улицами, проспектами и мостами, то восстановит реальность, и все, происходящее здесь, в кабинете, растает, как страшный сон. Он так увлекся, что не сразу услышал, как снова заговорил Комиссар, но теперь уже серым и монотонным голосом, не вязавшимся с его яркой внешностью.

– Бухгалтер, вы арестованы по подозрению в совершении преступлений по статье 58-1 а, б, в – а именно: в измене Газолии, в преступном сотрудничестве с иностранными агентами с целью личной наживы и в хищении в особо крупных размерах из газолийской казны. Все, что подозреваемый имеет сказать в свое оправдание, может быть использовано против него. Понятые, прошу расписаться. Подозреваемый, с этого момента все нарушения закона, как то: неповиновение, обструкция и оказание сопротивления представителям закона, в вербальной или физической форме, – будут внесены в судебное дело и будут рассматриваться как отягчающие обстоятельства…

«Все, что подозреваемый имеет сказать в свое оправдание…» – крутилось в голове у Бухгалтера, – «имеет сказать в свое оправдание… разве это наш великий, могучий газолийский язык?» – пока он невидящим взглядом смотрел, как, согнувшись над столом, расписываются понятые. Рядом с ним опять очутился Комиссар и молча надел ему наручники. Потом они шли по пустому коридору в полной тишине. Из распахнутых дверей на него смотрели коллеги, какой-то смельчак даже махнул ему рукой, мол, держись, старина.

Они вошли в лифт, где уже стояли три парня в кожаных комбинезонах, но без коробок, и поехали на крышу. Там их ждал вертолет, тоже с логотипом солнца, пронзенного мечом, на блестящем крутом боку. После короткого перелета они приземлились на площадку, оцепленную вооруженными солдатами. Грузовой лифт повез их вниз и, подпрыгнув, остановился. Его долго вели длинными коридорами, спаянными между собой железными лестницами. В глазах рябило от бесконечных дверей и углов, которые они огибали, углубляясь в

неведомый лабиринт. По-прежнему ничего не осознавая, Бухгалтер пришел в себя уже в камере. Он даже не заметил, кто и когда снял с него наручники. Он был один. Сколько он простоял так, посередине камеры, неподвижно, боясь пошевелиться и дотронуться до чего-нибудь, чтобы не стать частью этой яви в недрах страшного лабиринта и тем самым признать ее существование? В конце концов, так ни к чему и не прикоснувшись, он осторожно опустился на пол и, обхватив колени, сжался в комочек.

Комиссар вел допросы в затхлом помещении с грязно-зелеными стенами без окон. Странно было видеть этого красавца в столь убогих условиях, как будто павлин по ошибке залетел в бедный курятник. Но Комиссара, судя по всему, это эстетическое несоответствие нисколько не смущало. Он всегда был бодр, безупречно и щегольски одет и опрыскан мужественным ароматом, а иногда даже посвистывал от какого-то, только ему одному ведомого, удовольствия. Однажды, заметив удивленный взгляд Бухгалтера, он засмеялся, показав белоснежные зубы.

– Я люблю свою работу, Бухгалтер, вот и свищу, а заодно разряжаю обстановочку. – Он посерьезнел. – И работаю я на совесть, так что прими это к сведению, никаких поблажек от меня не жди, пока не проявишь сознательность и не поможешь нам разоблачить врага.

Над столом Комиссара висел портрет Великого Зодчего – уже с новым лицом, конечно. Бухгалтер заметил, что тот каждый раз так подвигал свой стул, чтобы оказаться точно под его головой. Пожалуй, это было единственное, что по-настоящему волновало Комиссара и несколько омрачало его безмятежное, гладкое лицо, – если положение его тела по отношению к Великому Зодчему не вполне соответствовало его чувствам. Тогда он мог долго передвигать стул налево и направо, придирчиво оглядываясь наверх, пока не принимал идеальную позицию. Когда Комиссар был в благодушном настроении, то предлагал Бухгалтеру сесть, а иногда даже разрешал снять с него наручники. Правда, к доброте Комиссара Бухгалтер теперь относился с опаской, навсегда запомнив первый раз, когда тот позволил ему сесть. Видимо, по молодости и артистическому складу ума, а может, из любви к своей работе, которую он оберегал от рутины, Комиссар каждый раз как бы начинал допрос заново, применяя различные и всегда непредсказуемые методы. На самый первый допрос, просидев сначала трое суток в камере, Бухгалтер шел почти с радостью. Обладая феноменальной памятью, он за это время восстановил в голове все цифры из

последних годовых отчетов и налоговых документов «Бельведер Компани». С цифрами к нему сразу вернулись силы и всегдашний оптимизм, и теперь он жаждал поделиться своими расчетами с органами, совершившими ошибку. «Сейчас все разъяснится, – думал он, огибая угол за углом. – Они поймут свою ошибку, извинятся и, может быть, уже сегодня отпустят меня, и я увижу жену и детей». При этой мысли у него так сильно заныло сердце, что он невольно застонал, на что один из конвоиров грубо прикрикнул на него. Бухгалтера втолкнули в кабинет, и он уже раскрыл рот, как увидел, что там пусто. Бухгалтер стал стучать в дверь, потом присел на стул и положил руки в наручниках перед собой на стол, а позже, утомленный долгим ожиданием и неизвестностью, опустил на него голову. С шумом дверь распахнулась, и вошел Комиссар.

– Тебе кто дал разрешение сесть? – спросил он, окинув Бухгалтера взглядом. – Давай, давай, посидел, отдохнул, подумал, а теперь вставай, разговаривать будем. Идет допрос.

Чтобы не накалять обстановку и не размениваться на мелочи, Бухгалтер встал и сразу начал объяснять, что произошло, вычленяя главное и делая упор на цифрах, как он привык разговаривать с клиентами, чтобы поскорее довести до них суть дела. Рассказывая, он отметил, что Комиссар сидел за совершенно пустым столом, никак не фиксируя его показания. На его лице нарисовалась скука. Он стал позевывать и вдруг трахнул кулаком по столу.

– Ты мне долго лапшу на уши будешь вешать? Когда вы с Хэвенсоном объединились в преступную организацию?

Ничего не понимая, Бухгалтер посмотрел на него.

– Вы о чем?

– «Вы о чем»… Сам прекрасно знаешь. Так это была твоя идея или иностранного агента Хэвенсона?

«Это сумасшедший», – в ужасе подумал Бухгалтер и тупо повторил:

– Вы о чем?

Комиссар засиял и, закинув руки за голову, стал покачиваться на стуле.

– Ты ж вроде из Баблограда сам, из хорошей семьи, и учился на газолийские ойлы в топ-университете. И как из тебя получился такой подонок?

– Вы сошли с ума.

– Молчать, падла, не мешай мне думать! – заорал Комиссар во всю глотку.

У Бухгалтера пот градом катился по телу, во рту пересохло, и стали подгибаться колени. Он хотел было опуститься на стул, как

Комиссар снова заорал:

– Стоять, допрос продолжается. Когда вы с Хэвенсоном решили обворовать газолийскую казну?

«Это какой-то кошмар, этого не может быть, куда я попал, это не моя Газолия, где я?» – думал Бухгалтер, прикрыв глаза. Он почувствовал, что у него окончательно слабеют ноги и что он сейчас упадет – не от боли, не от духоты и слабости, а от совершенно неизвестного ему чувства, которому еще не было названия, но которое с каждым словом Комиссара все сильнее наваливалось на него, вгрызаясь во внутренности и стискивая горло.

«Надо немедленно взять себя в руки», – приказал себе Бухгалтер, стараясь дышать ровно, и открыл глаза. Первое, что он увидел, был портрет Великого Зодчего над столом. Он смотрел на мир без всякого выражения, Бухгалтеру даже почудилось, что глазницы у него пустые, как у античных статуй из старых книг. «Однако», – подумал Бухгалтер, не в силах отвести от него завороженного взгляда. Ведь такие же портреты висели и у них в офисе – их за одну ночь развесили по всему Баблограду вместо других, с прежним лицом Великого Зодчего – а он никогда не замечал этого. Не обращая внимания на крики Комиссара, он глядел на Великого Зодчего, изо всех сил пытаясь вспомнить его прежнее лицо. Почему-то это казалось ему сейчас очень важным в тусклом, убогом подвале, так непохожем на его прекрасную Газолию, где он родился, вырос и счастливо жил с любимой женой и детьми. Почему-то ему казалось, что если он вспомнит лицо Великого Зодчего, то как-то сможет понять происходящее и действовать более адекватно. Но его память молчала. Тогда Бухгалтер, глядя на новое, гладкое лицо, с которого, кроме анатомических, были стерты все человеческие признаки, попытался связать его с божественным статусом Великого Зодчего, но его мозг, не привыкший к упражнениям такого рода, так толком ни до чего не додумался. Все-таки он был Бухгалтером, а не философом. Наконец он перевел взгляд на Комиссара.

– Так где ж я все-таки тебя видел? – Видимо, он произнес эти слова вслух, потому что Комиссар вдруг завизжал:

– Я те щас потыкаю, подонок! Таких предателей в Газолии знаешь, как называют? Говно этноса.

– Почему вы меня все время оскорбляете? – удивился Бухгалтер. Хотя неожиданные размышления о Великом Зодчем и не пролили свет на его божественную сущность, но отрезвили мозг бухгалтера и заставили думать логически. Если все происходящее было не кошмарным сном, а реальностью, значит,

реальным был и он сам, Бухгалтер, работающий в «Манцетти и Партнерс», ценимый коллегами и начальством, исправно платящий налоги, а также заботливый муж, отец и сын, и значит, такими же реальными были и его права, как и у всех граждан Газолии.

– Я больше не буду разговаривать с вами без адвоката.

Комиссар усмехнулся:

– Нет проблем…

Он засунул два пальца в рот и резко свистнул. Дверь открылась, и в кабинет зашел здоровый парень в черном комбинезоне и в надвинутой на лоб кепке. Бухгалтеру бросился в глаза широкий плоский нос. Не посмотрев на Бухгалтера, он вытянулся по швам:

– Вызывали?

– Ты у нас кто, адвокат? – спросил Комиссар.

– Так точно, адвокат.

– Тут товарищу помощь нужна… – Комиссар кивнул и сложил руки на груди, готовясь к представлению.

Парень повернулся к Бухгалтеру и, ни слова не говоря, двинул его в солнечное сплетение. Тот согнулся и тут же получил удар в шею.

– У нас тут такие профессионалы работают, какую угодно помощь окажут, и юридическую, и медицинскую, и психологическую, – и всё по самым высшим газолийским стандартам… – слышал Бухгалтер, постепенно теряя сознание. Сесть ему так и не дали. Когда его перестали бить, то кабинет наполнился шагами и голосами, и запахом знаменитого газолийского одеколона «Нано-шипр», которым пах весь Баблоград во время военных парадов. С обеих сторон его держали накачанные руки, так что весь допрос он таки простоял на ногах, то окунаясь в небытие от жажды, голода и боли, то опять приходя в себя. Один раз он очнулся, потому что между ногами у него потекло что-то теплое. В туалет его не водили, чтобы не терять времени. Правда, и пить не давали, чтобы не мочился и не вонял, так что потом он сутки простоял сухим.

Кажется, иногда Комиссар куда-то уходил и потом возвращался, свежий и веселый. За время допроса он два раза поменял рубашку и один раз пиджак. Иногда он клал на стол ноги в щегольских вишневых ботинках с золотыми носами. Комиссар все время задавал один и тот же вопрос: когда они с Хэвенсоном объединились в преступную организацию с целью расхищения газолийской казны?

Бухгалтеру страшно мешал свет, с трудом шевеля распухшими губами, он просил выключить его. Комиссар шутил с

конвоирами, а когда Бухгалтер впадал в забытье, вися у них на руках, то рассказывал о газолийке из восточной провинции, у которой все было свое, натуральное, и губы и сиськи, не то, что у силиконовых баблоградок. Бухгалтер бормотал, что все это недоразумение и что Великий Зодчий во всем разберется. Он слышал звон стаканов, где-то совсем рядом струилась вода, как в их речке. Больше, чем пить, ему хотелось нырнуть сейчас в эту чистую, прохладную воду, голым, как они в жаркую погоду на даче прыгали в нее ночью, несясь по влажной траве к пустому берегу. Иногда его тыкали в бок, приводя в чувство, чтобы Комиссар мог продолжить допрос. Когда Бухгалтер стал бредить, ему приложили к губам бутылку с водой, и после нескольких глотков поволокли в камеру. Там его бросили на пол, швырнули рядом бутылку, после чего дверь захлопнулась с железным грохотом.

Потом был второй допрос, на котором Комиссар, хотя по-прежнему тыкал, но держался вежливее. Он даже успокоил Бухгалтера, сказав, что его жена в курсе и умоляет его признать свою вину и подписать все бумаги.

– Вот тебе и курица не птица, а баба не человек, – со значением произнес Комиссар. – Повезло тебе с женой. Ну что, будем подписывать?

– Сначала хочу лично переговорить с ней, – ответил Бухгалтер.

– Не доверяешь, значит? – спросил Комиссар, изображая на лице сожаление. – Не положено, ввиду госбезопасности. Вдруг передашь супруге закодированную информацию? А враг не дремлет.

– В чем моя вина?

– А вот это уже другой разговор, – ответил Комиссар, как будто ждал именно этого вопроса. – Мы тут с товарищами посовещались, проанализировали все данные, допросили важных свидетелей и пришли к очень интересным для тебя выводам. Короче, Бухгалтер, не будь дураком, бери, пока дают, реально…

Комиссар махнул конвоирам, чтобы вышли, вытащил из ящика лист бумаги, и, помахав им перед носом Бухгалтера, сунул ему в руки.

– Читай и шевели мозгами.

Потом он подмигнул ему, как сообщнику, с одного раза ровненько сел под портретом Великого Зодчего, и, пока Бухгалтер стоя – сесть ему не разрешили – стал читать, заговорил.

– А реально, Бухгалтер, так, мы ж всё понимаем – и про тебя, и про Хэвенсона, и про «Бельведер Компани»… У нас работа такая – понимать и… – Комиссар выдержал паузу, – …прощать, да-да,

прощать. Ты, я вижу, этого не ожидал, но это именно так, прощение – это очень, я повторяю, очень значительная часть нашей работы. Я бы даже сказал, что вся наша работа, газолийская по содержанию и беспощадная по форме, зиждется на самом прекрасном достижении газолийской государственности – прощении и высочайшей милости. А реально, милосердии. Ведь милосердие и беспощадность – это две стороны одной медали. А по-нашенскому, так это и есть та самая знаменитая газолийская диалектика борьбы и единства противоположностей, которой завидует весь мир. Зависть же, Бухгалтер, как ты знаешь, плодородная почва для самых гнусных планов врагов Газолии. Именно она побудила Сэма Хэвенсона создать преступную организацию и втянуть в нее тебя. Но вернемся к газолийской диалектике, руководящему принципу, по которому мы оцениваем и строим действительность. В ее свете на твой поступок можно посмотреть с двух сторон. То есть с точки зрения беспощадной борьбы с врагом и с точки зрения милосердия, которую тебе в данный момент и предоставляют товарищи как знак их высочайшего доверия. Тебе ведь, как настоящему, чистому газолийцу, и в голову не могло прийти, что Хэвенсон задумал посягнуть на газолийскую казну, и поэтому…

Тут Бухгалтер как раз кончил читать и посмотрел на Комиссара.

– Да тут всё вранье.

Комиссар усмехнулся:

– Прямо-таки всё?

– От первого до последнего слова. Хотя нет, первые два слова – «Я, Бухгалтер» – это чистейшая правда.

На лице Комиссара не произошло никакого движения, он просто продолжал смотреть на Бухгалтера выпуклыми, синими глазами.

– Тут написано, что Хэвенсон через подставных лиц переписал на свое имя пять фирм и подал заявление о неправомерно выплаченных налогах, а получив их, положил себе в карман. Обо мне тут вообще ни слова.

– Так ты ж его бухгалтер, да еще и самый умный в «Манцетти», вот поэтому и раскусил все его махинации, – сказал Комиссар. – Я тебя предупредил, не будь дураком. Повторяю еще раз, товарищи оказали тебе большое доверие, применив к твоему делу именно вторую часть диалектики. Реально – такая честь в Газолии, а конкретно здесь, под Баблоградом, перепадает не каждому.

– Если я подпишу эту бумагу, Хэвенсон пропал. Его бросят в тюрьму, а «Бельведер Компани» разберут на части и конфискуют.

Комиссар пожал плечами:

– Ну вот и выбирай, ты или он.

– Значит, вы всё признаёте? – спросил Бухгалтер.

– Ты о чем?

– Значит, вы признаёте, что чиновники вышеуказанным способом обокрали казну, о чем я месяц назад сам подал заявление в соответствующие органы, и теперь хотят переложить вину на «Бельведер Компани»?

– Что ты мелешь, Бухгалтер? Я думал, ты умнее. Но если ты и правда такой идиот, то хотя бы подумай о жене, о детях. Ладно, ты просто не в себе сейчас. Заметь, я могу еще раз проявить милосердие. Реально, я даю тебе двадцать четыре часа на размышление. И запомни: ты или он, третьего не дано.

Кто-то положил ему на лоб руку. Великий Зодчий открыл глаза, соображая, где он, и услышал шаги, которые удалялись от дивана.

– Кто здесь? – закричал он, вскочив на ноги.

– Да свои, свои, чего ты так расшумелся?

Первый Советник уже уселся в кресло в углу кабинета, положив ногу на ногу.

– А, это ты, – сказал Великий Зодчий, очумело тряся головой. Во рту пересохло, и он потянулся за нано-колой. Вдруг до него дошло, что Первый Советник у него в кабинете и только что даже щупал его лоб. Теперь же он обосновался здесь, в самом темном углу, так что Великому Зодчему с его дивана были видны только ноги в шикарных штиблетах с алмазной пряжкой. Как он проник сюда? Ведь велено было никого не впускать. Подсветку храма тоже почему-то выключили, и за окном было темно. Великий Зодчий уже давно не видел свою Газолию такой черной, и ему стало не по себе.

– Ты как сюда попал?

– Как твоя голова? – участливо спросил тот. – Температура вроде спала.

– Кто выключил огни на площади?

– Ты сам и выключил, – ответил Первый Советник. – Ты не мог спать при свете, вот и дал приказ его отключить. Ну что, поспал наконец?

Великий Зодчий с силой потер лоб, но так и не смог ничего вспомнить, кроме того, что еле выбрался из Нехоры, залившей ему глотку и пищевод водой, черной и вязкой, как олия. Первый Советник переложил ногу на ногу, в темноте разноцветными искрами вспыхнули алмазные пряжки.

– Спроси у Пятого Советника, если не веришь.

Великий Зодчий все мучительно тер себе лоб, а потом, словно вспомнив что-то очень важное, схватился за карман. Письмо было на месте. Первый Советник молчал, давая ему прийти в себя. Обычно Великий Зодчий насквозь видел своих советников, читая их мысли и желания, которые отличались друг от друга только количеством ойлов. Правда, и это уже не составляло для него никакой тайны, и он поражал их воображение, в точности, вплоть до десятых, называя суммы, которые те наготове держали у себя в голове. Он покосился на Первого Советника, но его лицо оставалась в тени. Великий Зодчий чувствовал, что тот наблюдает за каждым его движением, при этом сам оставаясь невидимым.

«Все врет, – подумал он, – не мог я дать приказ выключить огни. Я ненавижу темноту».

– Что, воспоминания одолели? – вдруг ни с того ни сего спросил Первый Советник. – И сразу сопли потекли?

«Мордой о батарею», – понял Великий Зодчий, сглотнув. Этот прием он в молодости сам часто применял на допросах, сначала усыпив бдительность врага вполне дружелюбным красноречием на общие темы, а потом ни с того ни с сего на полном газу взяв крутой поворот, в момент давая понять, что знает о нем абсолютно все, вплоть до размера мошонки.

– Ты как сюда попал?

– Ты, кажется, уже спрашивал это, – ответили из угла башни. – Какой ты у нас сегодня непонятливый, старик, это тебя память подводит, уж поверь мне, она нехорошая такая, придирчивая, злее, чем любовь. Да, слабеем мы с тобой, а в замке, между прочим, нервничают, и не без оснований. Того и гляди наступят у нас здесь сумерки богов, и плакали тогда все их ойлы, а потом еще, не приведи господи, и нехорцы подгадят, возьмут, да и устроют революцию.

– Мы с тобой? Слабеем? Ты о чем?

– Вот и жену вспомнили, и сенбернарчика, и на любимого вождя с его собачкой смотреть не можем без соплей, и шефа в гробу увидели, как наяву, и девочку в подвале, которая давеча испортила тебе все удовольствие с Балериной, и того красавчика-интеллигентика в джинсах, которой ее вам тогда продал, прямо хоть мемуары пиши…

Переливались в углу всеми цветами радуги алмазные пряжки,

и негромкий, ровный голос каждым словом отдавался в груди Великого Зодчего, разрывая сердце и тут же собирая его, чтобы было чем слушать дальше.

– Мы с тобой еще много чего вспомним, и как ты по нашей бескрайней Газолии колесил, когда она еще была безвидна и пуста, и как ассистентом был и поджидал в лесу с корешами и пушкой незадачливых бизнесменов, и ту неугомонную бабу помянем, любительницу истины, которую пристрелили в собственном подъезде, и всю прочую правдолюбивую мелкоту, прошитую пулями, что мешала строить нам Газолию, и как ночью, вот прямо, как сейчас, взлетели в воздух дома вместе с жильцами в пижамах, и их детками с плюшевыми мишками и зайчиками, и горгонских юношей и девушек вспомним с перерезанным горлом, и их обезумевших матерей…

«Когда наконец рассвет? – тоскливо думал Великий Зодчий, зажимая уши. – Может, Балерину вызвать?»

Он хотел подняться, но все тело словно налилось свинцом, и он так и остался сидеть на диване.

– Да ты сиди, не рыпайся, старик, и слушай, – благодушно проговорил Первый Советник. – Все не так уж и плохо. Главное ведь знать, почему?

– Почему что?

– А то не знаешь? Озноб, тошнота, подгибающиеся коленки, мерзкий вкус во рту, чрезмерная потливость, жажда и сердцебиение. Письмо-то при тебе?

Великий Зодчий опять судорожно схватился за карман.

– Да при тебе, не боись, я сам видел. – Тон у Первого Советника был примирительный, с явно благожелательными нотками. – Это все из-за Бухгалтера. Вот почему. И мы с тобой это отлично знаем.

Великий Зодчий угрюмо промолчал, и тот, другой, в углу, продолжил, ухмыляясь, это уж он знал наверняка, хотя и не видел его лица.

– Но если разобраться, старик, то ведь ничего особенного с нами не происходит, да? Чего это мы тут с тобой трагедию развели, да еще в лучших газолийских традициях, прям как нехорцы какие? Мы, наверное, просто стареем, вот и все. Гормончики убывают, а это брат, уже се ля ви, дело серьезное. Тут нам ни нано-ботокс не поможет, ни иньекции, ни божественный статус. Так что всё это сентиментальничание – гормоны в чистом виде, но и Бухгалтер постарался, конечно, внес свою лепту.

– А ты откуда про него знаешь? – не выдержав, завопил Великий Зодчий. – Это ты мне письмо подбросил?

– Я про тебя все знаю, побольше, чем ты сам, а письма я не

подбрасывал. Я к тебе пришел по своей воле и с чистым сердцем, – обиделся Первый Советник. – А ты что, правда хочешь спуститься навестить его?

Великий Зодчий мрачно кивнул, не глядя в угол.

– Не советую, не советую, если, конечно, не хочешь страдать дальше. На что он тебе сдался? Ведь все так просто, старик. Ничего не делай, и все образуется. Главное сейчас – ни пальцем не пошевелить. Наша великая газолийская логика сама расставит все по своим местам. Уже расставила. Зря мы что ли строили Газолию? И потом, судьба Бухгалтера давно решена, вернее, он сам решил ее. Он, видишь ли, правду любит. Они его там уморили внизу. Он помрет не сегодня завтра. А письмецо сожги поскорей, и пепел спусти в унитаз. Вот увидишь, уже завтра встанешь, как огурчик, и первым делом побежишь к Балерине, ну и вспомнишь меня, когда будешь побивать все рекорды.

Первый Советник захихикал, покачивая штиблетом.

– А я хочу увидеть его, – сказал Великий Зодчий.

В кабинете тем временем посветлело: это поднималось на востоке солнце из-за синих газолийских гор, где по трубам, как по кровеносным сосудам, текла волшебная жидкость, превращаясь на своем в пути в ойлы. Вот сейчас золотые лучи озарят уже не черное, а темно-синее небо и зальют его невинным, розовым светом, приветствуя новый день в прекрасной Газолии.

– Ты побьешь с Балериной все рекорды, – повторил Первый Советник, – и тебе опять станет хорошо и легко, и в блаженной пустоте твоего тела и мозга исчезнут все эти непрошеные гости, эти мерзкие призраки, все эти исчадия твоей памяти, и ты почувствуешь себя свободным, прекрасным и вечно юным, как боги.

Розовое солнце уже разлилось по небу и стало рисовать на нем берлинской лазурью красивые, причудливые узоры.

– Мне надо увидеть его.

– Ну и мучайся тогда, – буркнули из угла.

Зазвенел колокол, возвещая начало дня, и первые лучи солнца заиграли на золотых куполах.

– Я сегодня же спущусь вниз, слышишь? – запальчиво крикнул Великий Зодчий. – А тебя я в третий раз спрашиваю. Как ты попал сюда?

Но никто не ответил ему.

– Кто ты? – закричал Великий Зодчий, вскочил с дивана и ринулся в угол. Но там, где только что сидел Первый Советник, стояло пустое кресло.

– Эй, Бухгалтер, слышь, не дрыхни, будь человеком, я тебе

чего скажу, – услышал Бухгалтер голос соседа и очнулся.

Бухгалтер открыл глаза, соображая, где он. В какой по счету камере он теперь находился? Точно, в тридцать девятой. По въедливой бухгалтерской привычке и для тренировки памяти он считал каждое свое перемещение, и вполне преуспел в этом. Все это время его беспрерывно кидали из одной камеры в другую, не давая сблизиться с сокамерниками.

Бухгалтер точно знал, что в камере восемь были выбиты окна, и им приходилось спать на нарах, плотно прижавшись к друг другу, чтобы не околеть ночью от мороза, в шестнадцатой не было воды, а в следующей, семнадцатой, лопнула канализация, залив пол вонючей жижой, и они должны были передвигаться, прыгая по кроватям. В двадцать первую, с незагороженной парашей, набили тридцать человек и продержали так четыре дня, а в двадцать третью поместили сумасшедшего, которого отселили только после того, как он ночью ударил соседа ножом в лицо, чтобы его забрали в психушку. В двадцать четвертой им раздавали сухой суп в пакетиках, но не давали кипятка. В двадцать пятой их кормили слипшимися кильками, которые конвоиры называли хамсой, и не давали пить, так что в конце концов, обезумев от жажды, они общими усилиями сорвали батарею и цедили из нее ржавую воду. А в тридцать первой у него начались боли в боку, да такие, что он даже лежать не мог, так его крутило. Его осмотрела газолийка с гладкими и блестящими, как у куклы, волосами и брезгливыми пальцами в белых резиновых перчатках, дала ему болеутоляющее и сказала, что надо лечиться. В этой же, пока последней за восемь месяцев, к нему подселили умирающего, который ненавидел его изо всех последних сил своего изъеденного раком организма. Но Бухгалтер полюбил тридцать девятую камеру – ведь здесь ему впервые за все это время приснились жена с дочкой и мать. Вот только сына он еще не успел увидеть, но был уверен, что встретится с ним уже совсем скоро. Бухгалтер предчувствовал, что тридцать девятая каким-то образом принесет ему счастье, и поэтому молил, чтобы его оставили здесь.

– Эй, Бухгалтер, ты ж не спишь, я чувствую, – стенал сосед. – Я сейчас все чувствую, почище любого нано-сенсора, я ж умираю, сосед, ты меня слышишь?

– Я вызову врача, – сказал Бухгалтер и стал подниматься.

– Какой врач? Я тебя умоляю… – заверещал сосед. – Они же запихнут меня к чужим, а к тебе я уже привык, мне с тобой помирать будет легче.

Бухгалтер в нерешительности остался сидеть на кровати. Еще никто никогда не умирал в его присутствии. За восемь месяцев в

казематах Баблограда он видел избитых, искалеченных пытками, изнасилованных, сошедших с ума людей, но смерть пока прошла стороной, и теперь он толком не знал, что ему делать.

– Ну я прошу тебя, Бухгалтер, не зови никого, дай мне просто умереть здесь, рядом с тобой. Вдвоем не так страшно, – добавил он подобострастным тоном.

Бухгалтер все молчал, не мог же он сказать соседу, что страшно – ему. Но тот как будто угадал его состояние, видимо, и вправду обострились в нем все чувства, как у бегуна на стартовой полосе перед рывком.

– Ты вот что, Бухгалтер, – затараторил он. – Ты не боись, ты просто поговори со мной, а? Все равно о чем, только не молчи, может, тебе тогда и самому легче станет? А то я ж вижу, ты как зверь в себя ушел.

Тогда Бухгалтер привстал, подтянулся к стене и прислонился к ней спиной. Перед лицом приближающейся смерти лежать казалось ему непристойным.

– Как ты попал сюда, сосед?

– Да за наркоту посадили, – сразу взбодрился тот. – Я ж пекарь, палатки держал с выпечкой, все у меня в гору шло, а вот делиться с мэром и его дружками мне не очень-то хотелось, вот они и завели дело.

– А наркота тут причем? – спросил Бухгалтер, подумав о своих детях.

– Дак это чтоб было за что зацепиться. Я в булочки мак клал, по старым рецептам, мы ж не баблоградские, чтоб их нано-продукты есть, народ у нас в городе простой, еще по старинке живет, ну а они мне раз – и наркоту пришили, мол, опиумом народ травлю и наживаюсь на народном горе. Я, само собой, судье на лапу дал, а он, само собой, взял, скотина, а мне потом еще и подкуп должностного лица пришили. И говорят, миллион давай, тогда иди. Да откуда ж у меня миллион? Я ж булочками торгую, а не нано-бизнесом ворочаю или в олии ихней бабло пилю. Ну я тогда взял и письмо написал в Баблоград, Главному Судье, и сам сюда приехал, чтобы поближе быть. Пока в Баблограде ответа ждал, мэр мое дело на двух мертвых душ переписал и прибрал к рукам, а меня самого уже в приемной арестовали, когда я за ответом пришел. За наркоту, подкуп и клевету на честных газолийских граждан. Вот какие у него длинные руки оказались. Но у безносой они еще длиннее. Она до них до всех дотянется. И до Комиссара, и до мэра, и до судьи…

Сосед зашелся хрипловатым смехом и натянул на голову тонкое одеяло.

– Она ведь мне уже давно снится: придет, сядет рядом и

смотрит, ждет, и глазами ни одного разочка не моргнет, а они у нее – как ваша Алет-река, бездвижные, мутноватые, как слепые, а так – всё при ней, как у нормальной бабы, и сиськи и корма, так вот, придет, посидит, посмотрит, а потом головой покачает, мол, ладно, живи еще, и опять фьюить – и нет ее.

– И до Великого Зодчего дотянется?

– А это уже не нашего ума дело, – вдруг зашептал сосед. – Это такая высшая философия, Бухгалтер, что нам туда лучше не соваться.

– А жена твоя где? – помолчав, спросил Бухгалтер.

– Да как это все началось, она и сбежала, и половину денег прихватила, жалко, что не все, тогда бы мэру ничего не осталось, но она ж у меня не спросила, зараза.

Сосед притих, как будто думая о чем-то, а потом откинул с лица одеяло.

– Слышь, Бухгалтер, тебя как пытали?

– По-всякому, – ответил Бухгалтер.

– И слоника делали?

– Делали.

– С дихлофосом или просто зажимали?

– Зажимали.

– А током били?

– Нет.

– А вот меня прям по яйцам, они у меня теперь все в черный горошек. – В голосе соседа прозвучала гордость. – Я теперь ни одной бабе не нужен, кроме безносой. Вот она ко мне и приходит. Слышь, а тебе какая пытка была хуже всего? Ну чего ты молчишь, забыл, что ли?

Сосед повернул к нему обтянутую серой кожей голову, на лице у него застыла страдальческая усмешка. Костлявыми пальцами он натянул одеяло до самого подбородка, и Бухгалтер увидел, что его истлевшее тело бьет крупная дрожь.

– Нет, не забыл, – наконец проговорил он, решив, что перед лицом смерти нужно говорить правду, даже если смерть в этот момент приняла обличье малознакомого человека, который еще час назад был ему глубоко неприятен. Поэтому он не стал рассказывать соседу о «конвертике» или о «распятии Петра», как хотел сделать сначала, а тихо заговорил.

– Самая худшая пытка – она была без названия. По крайней мере никто не знал его. А может быть, просто не нашлось умника, чтобы придумать его для такого изобретения. Главное, все так просто, – Бухгалтер усмехнулся. – Ну в общем, как все гениальное. Короче, где-то после пяти допросов Комиссар предложил мне сесть. До этого-то я все время должен был стоять,

иногда по два или три дня, ну, ты знаешь, какое это удовольствие, особенно, если в туалет не пускают. А тут Комиссар приходит в радужном настроении, спрашивает, как я себя чувствую, не досаждают ли сокамерники, доволен ли питанием. Я удивился, конечно, но отвечаю все как есть. А сам думаю: сейчас так бить будут, что потом неделю раны придется зализывать. А он себя вдруг по лбу хлопает, мол, во дурак, и говорит: «Может, кофе или чаю, или предпочитаете нано-колу», в общем даже на «вы» заговорил, а я ему – не утруждайте себя, пожалуйста, мне и так хорошо; так мы с ним всё раскланиваемся и обмениваемся любезностями. Он конвоиру кивает, и тот мне снимает наручники. Потом он мне: «Ну вы хоть присядьте тогда, в ногах правды нет». Я думаю: ну ладно, это можно, и сажусь. Только сел, чуть расслабился, – и вдруг из-за стены раздается женский крик, а мне Комиссар как раз опять нано-колу предлагает. Я снова отказываюсь, а за стенкой опять так кричат, что у меня мороз по коже. Я на него смотрю, а он мне, как ни в чем не бывало: «Узнаёте?» Я головой мотаю, а он: «А вы прислушайтесь хорошенько». И нано-колу себе в стакан наливает, и смотрит на меня с удивлением, мол, неужели не слышу. Тогда он глоток отпил и мне так спокойненько: «Вы когда последний раз с женой разговаривали?» Я вскочил, а они меня раз, опять на стул, и наручники надевают. И я вдруг совершенно отчетливо слышу ее голос, как она рыдает и просит пощады, и стонет от боли и ужаса…

– Я ж те говорил, лучше быть одному, чтоб душа хоть ни о ком другом не болела. Ну а ты чего?

– Лучше бы меня тогда до смерти избили, – сказал Бухгалтер. – А что я? Я даже уши не мог заткнуть, тогда я стал головой биться об стол, чтобы потерять сознание, а они мне голову подняли и держат. Комиссар мне снова нано-колу предлагает и документы под нос сует, чтобы подписал.

– А ты?

Бухгалтер покачал головой.

– Неужто не подписал? Нет? Ну ты даешь, Бухгалтер, не пойму я тебя, вот так и помру, тебя не поняв. И что ты за птица?

– Я обещал, что подумаю, если они прекратят. Комиссар допил свой стакан и меня увели. Мне уже потом рассказали про эту пытку.

– Ты ее после этого-то видел?

– Я заболел потом, в тридцать первой, и мне отказали в свидании, по медицинским причинам, сказали, что есть угроза для жизни, что организм может не выдержать таких сильных эмоций и тюремное начальство не берет на себя такую

ответственность…

Теперь они оба молчали, только клокотало и билось что-то в груди соседа, как будто возвещала о себе приближающаяся смерть. Он выпустил одеяло из пальцев и опустил ослабевшие руки. Зубы его стучали. Тогда Бухгалтер взял свое одеяло, накрыл его, и тот заговорил, прикрыв глаза.

– Ты это, Бухгалтер, ты мне расскажи про нее, про свою жену, красивая она у тебя?

– Красивая, сосед, – сказал Бухгалтер. Раньше на свободе он никому не рассказывал о ней, ведь его друзья и сами знали, какая она. Когда же в камере заводили разговоры о женщинах, он не участвовал в них, оберегая жену от двусмысленности и грязных шуточек. Иногда это стоило ему расположения сокамерников, но ему было плевать на это. Сейчас же, упершись спиной в стенку и глядя на почти исчезнувшего под двумя одеялами соседа, который, учащенно дыша, доживал свою жизнь, он не мог найти слов, которыми все это время думал о ней. Как будто сила его мыслей о ней, разогнав слова, наложила на него обет молчания, который он был обязан нарушить теперь перед лицом смерти.

– Красивая… – повторил сосед. – Ну а какие у нее глаза, волосы, как она ходит?

Тогда Бухгалтер решил начать со своего сна.

– Она стояла с распущенными волосами у забора спиной ко мне, так что я не видел ее лица. На ней было ее любимое платье с крупными красными маками, она его всегда на даче носит. По-моему, на плечи она накинула старую мамину шаль с бахромой, ведь воздух уже стал прохладнее, а она все стояла у забора, прислонившись к нему грудью и держась обеими руками за колья. Она ждала кого-то, потому что смотрела на дорогу, что ведет вдоль речки к нашей даче. Вдруг она повернула голову и прямо перед собой я увидел ее глаза. Совсем близко. Обычно зеленоватые, с золотыми искорками, сейчас они потемнели и смотрели на меня с тревогой. Я все ждал, что они опять вспыхнут, но она отвернулась и снова стала вглядываться вдаль. В сумерках ее каштановые волосы казались совсем черными. Я подошел к ней, обнял ее за плечи и прижал к себе. Тело у нее тонкое, нервное, и руки тоже, но они все умеют, и грести, и плавать, и любить, и машину водить, и костер разжечь до неба, и такой обед приготовить, что все друзья только ахают. Я думал, она за детей волнуется, но дочка бегала здесь же по саду с подружками, а сын как раз на речку бежал, и я ей стал говорить, какие они у нас замечательные растут и что пора его в поход брать на байдарках по Егоне и Нипеге, он уже давно просится, и Банкира с собой возьмем жирок растрясти и отдохнуть от цивилизации. Но она

меня не слышала, и все смотрела в сторону не отрываясь, и лицо у нее было совсем бледное, но не от усталости, хотя она целый день готовила на всю нашу ораву, а от какого-то тайного знания, от которого потухли искорки в ее глазах, похолодела кожа, а руки крепко сжимали колья, чтобы не дать ей упасть. Потом она вдруг отшатнулась от забора, открыла калитку и побежала вниз по лугу. Ты хочешь знать, как она ходит, сосед? Легко, стремительно, широко размахивая руками, но сейчас она бежала, и хотя я остался стоять, расстояние между нами не увеличивалось, и я мог видеть ее всю. Когда она добежала до середины луга, все вокруг посветлело, но это было не солнце, нет, какой-то другой свет залил нашу долину, яркий и ослепительный, как бы проникающий вовнутрь, во всю живую материю, так что я вдруг отчетливо увидел каждую травинку, каждый цветочек, каждую букашку, ползущую по листикам. Сначала я думал, она бежит искать сына, но она вдруг остановилась, повернулась и стала махать мне руками. Она тоже была вся залита этим светом, от макушки до босых ног, и тогда я увидел ее точно такой же, какой встретил в первый раз. Она была такой красивой, что я боялся подойти к ней, это было на вечеринке у Банкира, он был тогда еще просто моим одноклассником. На ней было то же платье, вишневое с широкими лямками, и она улыбалась, тоже немного смущенно, как будто извинялась за свою красоту. А теперь она все махала мне руками и звала меня и я перестал бояться, потому что понял: все будет хорошо, все должно быть хорошо, потому что у меня есть она, вот так, сосед, вот какая у меня жена…

Замолкнув, Бухгалтер услышал тишину, и, приподнявшись с нар, заглянул в лицо соседа. Тот лежал, уставившись в потолок, и так тихо, так неподвижно было вокруг него, что у Бухгалтера перехватило дыхание. Вскочив, он подбежал к двери и стал колотить в нее кулаками.

– Человек умер, помогите, человек умер! – кричал он и, когда никто не откликнулся, яростно забил в нее ногами.

Открылась кормушка, и в камеру заглянуло плотное лицо с сонными глазами.

– Чего разорался?

– Человек умер, помогите!

– А чего теперь помогать, если умер. Пусть лежит пока. До утра не испортится.

– Вызовите врача, сволочи!

– Врач ушел, завтра будет. А будешь шуметь, мы тебя самого в морг отправим, прямо сей секунд.

И, захлопнув кормушку, морда исчезла.

Бухгалтер подождал еще немножко, надеясь, что часовой все-

таки передумает и вернется, но за дверью больше не раздавалось ни звука. Тогда он присел на нары, обдумывая, что же теперь делать. Мысль о том, чтобы лечь, упереться лицом в стенку и постараться заснуть, была отвратительна ему своей прагматичностью. Хотя до того, как попасть в Баблоградское подполье, он не сталкивался со смертью, она представлялась ему великой, страшной тайной, которая совершалась где-то в другом, уже не в газолийском пространстве. Конечно, он знал, что вокруг умирают люди, но мысль о конечности жизни, едва задержавшись в глубинах его сознания, как снег, таяла под вечным солнцем Баблограда, под сверканием его ослепительных небоскребов и сияющими радужными струями праздничных фонтанов на площадях. Слишком прекрасна была их залитая светом жизнь, чтобы ее могли омрачить невидимые тени.

Бухгалтер все еще не решался смотреть на соседа и поэтому опять отодвинулся подальше к стенке. Какая-то сила мешала ему совсем отвернуться от него. Посидев так с полчаса, он понял, что все это время набирался храбрости и теперь нет хода назад. Осторожно подталкивая себя, он опустился на колени перед койкой и посмотрел на него. То, что он увидел, поразило его. Сосед действительно преобразился до неузнаваемости. Но вместо искаженного страхом и болью лица, которое он ожидал увидеть, на нем было разлито спокойствие. Словно смерть бесшумной рукой стерла ярость и отчаяние, еще так недавно терзавшие соседа. Зачарованно глядя на него, Бухгалтер вдруг подумал, что, может быть, тот умер счастливым, что, может быть, перед его глазами, которые застыли теперь в ожидании, произошло что-то изумительное и большое, известное только ему одному, и от этого еще более значительное. Глядя в его широко открытые глаза, Бухгалтер пытался найти в них хоть какую-то разгадку, но сосед строго хранил великую тайну, и тогда он провел ладонью по его лицу и закрыл их, чтобы не тревожить его своим любопытством. Страх перед смертью исчез и появилось смирение, но не то, мутное, полуобморочное, схожее с летаргией, что спасало его во время пыток или после избиений, когда он проваливался в неведомые доселе пространства своего тела. Новое смирение было ясным, как идеальная бухгалтерская модель, и как бы залитое тем самым всепроникающим светом из того сна, где на лугу стояла его жена, и звала, и махала ему руками. Стоя на коленях перед покойником, он снова увидел ее. Сейчас она шла к нему, держа руки за спиной, а подойдя поближе, вдруг протянула ему правую руку, в которой что-то блеснуло, потом к нему стали приближаться ее глаза, как и тогда, на даче у забора, но теперь светлея по мере приближения и без

тени тревоги, и вот, приветствуя его, вспыхнули яркие, золотые искорки. Ему показалось, что он слышит ее голос, она что-то говорила ему, утешая, как будто гладила мягкими руками его изможденное тело.

Бухгалтер не заметил, как заснул, сторожа соседа. Проснувшись, он почувствовал неожиданный прилив сил, бок не болел, и голова была на удивление свежей. Чтобы лечь и опять заснуть, не могло быть и речи. Во-первых, сосед был накрыт его одеялом, которое он сейчас ни за что бы не посмел снять с него, а во-вторых, он смутно догадывался, что ему предстоит сделать что-то важное перед тем, как утром придут за покойником. Бухгалтер лег на спину, почти беззаботно, как на пляже у речки, и стал думать. В голову не приходило ничего вразумительного, и тогда он стал вспоминать соседа. Как-то тот злорадно заметил ему, чтобы он забыл все мечты о свободе: «Отсюда только мертвым выход, Бухгалтер».

Тогда он не сдержался и крикнул, что ему уже точно недолго осталось ждать. Сосед загоготал, обрадовавшись, что ему наконец удалось вывести Бухгалтера из себя. Теперь же слова соседа предстали перед ним в совершенно ином свете. Если неделю назад они отнимали у него всю надежду, полностью парализуя его, то сейчас она вернулась к нему в десятикратном объеме. Бухгалтер сполз с нар и подошел к тумбочке соседа. Полупустая пластинка таблеток с закрученными вверх краями, стакан, кольцо с печаткой, которое сосед снял с исхудавшего пальца, колода карт с голыми бабами, пустой футляр, ручка. За нее-то и зацепилась мысль Бухгалтера. У него самого каким-то чудом оказался лист бумаги, то ли с допроса, то ли кто-то сунул во время его камерной одиссеи. Мысль быстро заработала, и уже через пять минут Бухгалтер, сидя на коленях перед тумбочкой, писал убористым почерком.

«Дорогой Великий Зодчий, Ваше Бессмертие, я должен написать Вам, пока у меня есть силы, а они иссякают с каждым днем…»

Докончив письмо, Бухгалтер сложил его, написал на нем: «Великому Зодчему», а затем, откинув с мертвого одеяла, стал соображать, куда бы его получше запрятать. Взгляд упал на матрас, там валялся размотанный, в бурых пятнах бинт, который сосед сорвал с руки, чтобы почесать язву. Бухгалтер оголил ему грудь и, положив на нее письмо, потуже обмотал его бинтом. Потом натянул майку, сверху свитер с длинными рукавами и опять прикрыл соседа двумя одеялами.

«Ну что ж, – подумал он, – если отсюда выход только мертвым, то воспользуемся этим. Во всяком случае, повезти его должны прямиком в морг. Он у них уже давно в покойниках

числится, так что врач его осматривать наверняка не будет. А в морге люди работают. Так что у нас имеются тридцать три процента, что мне повезет, и кто-нибудь, прочитав письмо, отправит его Великому Зодчему. Тридцать три процента, что мне не повезет, и кто-нибудь, прочитав его, отдаст Комиссару. И тридцать три процента, что его вообще не найдут, и тогда оно сгорит вместе с телом соседа. В общем, шанс у меня один к трем, плюс еще тот последний, свободный процент, которым мы пока обозначим некий непредсказуемый фактор. Все не так уж и плохо».

Бухгалтер опять пристроился на коленях рядом с соседом и стал ждать.

Главный Агент вошел в кабинет и, отдав честь, вытянулся перед Великим Зодчим. Тот вяло махнул рукой, разрешая ему расслабиться. Он молча барабанил пальцами по столу, опустив глаза, без выражения на гладком лице. Главному Агенту стало не по себе.

– Ну что, – тихо спросил Великий Зодчий, все еще не глядя на Главного. – Скоро тебе будем кровавые сопли утирать?

Главный Агент встал по стойке смирно.

– Никак не пойму, Ваше бессмертие, в чем виноват. Не могли бы объяснить?

– А ты подумай хорошенько, напрягись. Тебе мозги зачем? Чтобы их по стенке размазывать?

– Никак нет.

– А если никак нет, то думай, пока есть чем.

Главный Агент не на шутку испугался.

– Никак не пойму, в чем провинился. Не изволите ли хотя бы намекнуть?

– Это ты так мои приказы выполняешь?

– Днем и ночью. Незамедлительно и беспрекословно.

– А что тогда Первый Советник у меня ночью в кабинете делал?

По ошарашенному лицу Главного Великий Зодчий понял, что промахнулся.

– Никак не могу знать, Ваше Бессмертие, позвольте вам заметить, что Первый Советник исчез из замка. Бесследно. Со вчерашнего дня. В последний раз он был зафиксирован, когда зашел в ваш кабинет, после этого все его следы теряются. Я как раз хотел доложить вам об этом. Пока все попытки найти его не увенчались успехом. Поиски продолжаются с применением нано-детекторов, способных своими лучами проникать в любые пространства.

У Великого Зодчего закружилась голова. Вдруг он почувствовал, что уже два дня толком ничего не ел. Но охвативший его страх был сильнее голода.

– А кто дал приказ выключить ночью огни на Храмовой площади?

– Извольте заметить, что Ваше Бессмертие сами и распорядились.

В глазах у Главного Агента застыло недоумение, которого не могло скрыть даже натренированное годами шпионское искусство и которое совершенно не вязалось со стойкой смирно. Великий Зодчий понял, что надо поскорее закругляться.

– Ладно, пошел отсюда. Как только будут новости, немедленно доложить.

Когда тот вышел, Великий Зодчий, встав из-за стола, на подгибающихся ногах заковылял к дивану и повалился на него в смертельной усталости, с ужасом думая, что предстоит ему в этот третий день невероятных событий, начавшихся с письма Бухгалтера.

Утром за соседом пришли два конвоира и, завернув тело в рогожу, положили на носилки. Потом один из них ладонью сгреб вещи покойного с тумбочки в пакет и тоже бросил его на носилки.

– Отмучился, бедолага, – сказал Бухгалтер. – Но, кажется, легко умер.

Ответа не последовало, конвоиры, ползая на коленях и стукаясь головами, шарили фонариками под нарами соседа.

– Вы его сразу в морг?

– Это ты ночью буянил? – спросил один, поднявшись и отряхивая штаны.

Бухгалтер пожал плечами.

– Я врача звал, думал, он его осмотрит, как полагается.

– Думает здесь только Комиссар, а не говно этноса, – сказал другой конвоир и, кивнув товарищу, взялся за носилки.

– А морг далеко?

– Не волнуйся, тебя тоже донесем и не вспотеем, – повеселел первый конвоир, и они вышли из камеры. Когда за ними с грохотом захлопнулась дверь, Бухгалтер сел на свою койку и, глядя на замызганный матрац, на котором умирал сосед, опять стал ждать.

Ни в этот, ни на следующий день к нему никого не подселили, может, не нашли пока подходящего умирающего, а может, как скоро стало казаться Бухгалтеру, про него просто забыли. На допросы его тоже не вызывали, и его тело, измученное

побоями и унижениями, стало понемногу приходить в себя. Бок, правда, здорово крутило, особенно по ночам, и Бухгалтера стало чаще рвать, но ни боль, ни захлестывающая горло тошнота, после которой рот и губы разъедала желчно-кислая слюна, ни даже то, что он еще не увидел во сне сына, не могли омрачить тех тридцати трех процентов надежды, что чудом появились у него здесь после восьми месяцев. Лишь бы его не переселили, ведь именно здесь ему впервые приснился дом как добрый знак, и он написал письмо Великому Зодчему, которое сосед унес на своем теле вместе с великой тайной. Еще Бухгалтер мечтал, чтобы в камере хотя бы на одну ночь отключили свет, и он бы наконец оказался в темноте и смог предаться мыслям о своем доме, не видя грязно-зеленых стен с низким потолком в темных разводах. Когда он сказал об этом конвоиру, заметив, что при свете трудно спать, тот заржал:

– Ты что, сюда дрыхнуть пришел? Тебе, может, еще ананасов дать или нано-колы? – и с удвоенной силой захлопнул кормушку.

Поэтому Бухгалтер очень удивился, когда после ужина в камере вдруг погас свет. Он залез на койку и стал вспоминать жену и детей, в первый раз с открытыми глазами и не натянув на голову одеяло. Думая о них, он не переставал поражаться тому, насколько с самого начала были связаны их жизни, так что из их совместного существования невозможно было вычленить отдельно взятую, индивидуальную судьбу. С их жизнями так же тесно переплеталась и жизнь его матери, у которой он был единственным сыном. Что же тогда заставило его отделиться от них, сначала, как он считал, по долгу службы, а после встречи с Комиссаром по какому-то таинственному и сильному убеждению, которого он никак не мог себе объяснить? Ведь каждый раз, отказываясь подписать комиссаровы документы, он собственными руками вытаскивал еще один кирпич из их уютного, теплого дома, который они с такой любовью строили вместе. Бухгалтер точно знал, что даже если ему удастся вырваться отсюда живым, он никогда не простит себе, что так безжалостно ломал их дом. Знал, и все-таки ничего не мог поделать с собой. Как он жалел сейчас, что был простым бухгалтером, а не философом, способным понять самые непонятные вещи. Например, как вдруг могло так получиться, что это странное упорство победило его любовь к любимым. Или что он променял их любовь, по сути предав ее, на совершенно смехотворное и самоубийственное поведение, над которым издевались его мучители и дивились его сокамерники. Часто в их удивлении проскальзывало нечто вроде презрения. Действительно, какой дурак будет жертвовать собой и своей семьей ради иностранца, которого решили общипать

газолийские ворюги в погонах. Не он первый, не он последний, а жизнь ведь дается только один раз и прожить ее надо так, чтобы потом… Да не лез он ни в какие герои, с тоской думал Бухгалтер, какое там геройство, когда ему уже от одного вида крови становилось дурно. Тогда, может быть, им все-таки двигала любовь к Газолии, о которой так красноречиво распространялся Банкир во время их последней встречи? Может быть, их судьбы, Газолии и его, пересекались не только в сверкающем Баблограде, но и в какой-то невидимой точке, где-то за тем великолепным, пышным фасадом, в тайных диковинных залах, куда не было входа газолийцам и откуда как раз-таки и брало начало его упорство? Он вспомнил слова Банкира: «Запомни, мы все живем в Симфонии Истины, Священства и Народности, и в Газолии личность – это Я, Ты и Мы. Совесть Газолии является и нашей совестью, а ты занимаешься индивидуальным произволом, обвиняя газолийских чиновников, и будешь наказан за это. Ты себя богочеловеком возомнил и пострадаешь от своей гордыни».

«Выходит, я возгордился и отделился от общей судьбы, и теперь моя индивидуальная совесть не совпадает с совестью Газолии. Но если я люблю Газолию, значит, моя совесть в порядке. Тогда почему же я здесь? И почему Симфонии Истины, Священства и Народности нужен этот страшный подвал? И знает ли о нем Великий Зодчий? – мучился Бухгалтер, глядя в темноту. – Вон Банкир, он тоже не философ, а у него все ясно, и совесть у него в порядке, совпадает с общей, вот только глаза какие-то старые стали и без выражения, и лицо выцвело, мне даже мать об этом сказала, она ведь его еще мальчишкой помнит»…

Только утомившись от бесплодных размышлений, Бухгалтер лег на спину и, закинув руки за голову, стал опять вспоминать жену и детей, которых чуть приблизили к нему тридцать три процента надежды плюс та последняя, еще свободная и непредсказуемая единица. Уже погружаясь в светлую полудрему, которая вот-вот должна была унести его прочь из подвала, он услышал железное звяканье, и не сразу сообразил, что это дверь. Она открывалась медленно, совсем не так, как это делали конвоиры, распахивая ее с оглушительным грохотом. Вот уже легла на пол полоска света, вот она стала расширяться, оттесняя темноту. Бухгалтер вскочил и провел пятерней по волосам. Во рту у него пересохло, и он не мог выдавить ни звука. Наконец дверь полностью открылась, и в темную камеру тихими шагами вошел Великий Зодчий.

– Не ждали? – спросил он, чуть усмехнувшись, и присел на матрац.

– Тридцать три процента, и все мои, – ответил Бухгалтер, сам удивившись своей наглости.

Великий Зодчий одобрительно кивнул, оглядывая камеру. Несмотря на темноту, они прекрасно видели друг друга.

– Сейчас вот отдышусь, и поговорим, – сказал он. – Уже давно пешком не ходил, отвык, а дорога сюда длинная, но заметь, все сам нашел, без Шестого Советника, видно, не забыл еще.

Он помолчал, рассматривая Бухгалтера.

– Вот ты, значит, какой.

Тот развел руками и чуть опустил голову под его пристальным взглядом. Мол, какой есть.

«Хорошее, типично газолийское лицо, не красавец, но симпатичный, взгляд честный и прямой, умные глаза, сразу видно – хороший семьянин, по бабам не бегает, детей любит до смерти, а здесь одичал, конечно, борода, как у пророка, запашок такой, что хоть противогаз надевай, пожелтел и похудел, как скелет, долго не протянет, в общем, все один к одному, как я и предполагал», – думал Великий Зодчий, с отвращением вспоминая спуск в подвал.

Сырые стены, за которые ему приходилось хвататься на поворотах, чтобы не поскользнуться на склизком полу, зловонные лужи, летучие мыши, противно шелестящие крыльями перед самым носом, и крысы, много крыс с длинными голыми хвостами, наглых и упитанных. Разбегаясь под его ногами, они пищали от возмущения. Последний отрезок темного лабиринта Великий Зодчий уже бежал, уверенный, что за ним гонятся обитатели подвала. Больше всего он боялся, что они перегонят его, развернутся, преградив ему путь, и он снова увидит их лица. Он вытер пот со лба и с облегчением выдохнул. В камере было тихо и покойно, все тени остались за железной дверью, и, глядя на мирное лицо Бухгалтера, он почувствовал себя в полной безопасности. Теперь он знал, что спасен. Великий Зодчий хлопнул рукой по матрацу.

– Тебе здесь как спится?

Теперь усмехнулся Бухгалтер.

– Дома лучше.

– А мне вот нигде не спится, ни в башне, ни у Балерины. Сны замучили, – пожаловался он и потер лоб. Ему стало приятно, когда он увидел на лице Бухгалтера понимание. – Как глаза закрою, сразу начинается весь этот кошмар. А тут они еще свет выключили на Храмовой площади, ведь знают же, мразь и падаль, что мне противопоказана темнота, а еще и утверждают, что это я сам дал приказ. Да нет, какой там врач, о чем ты… – Великий Зодчий отмахнулся, хотя Бухгалтер ничего и не спрашивал, а

просто внимательно разглядывал его. – Он меня сразу заложит, они же все заодно, хотят меня уничтожить, ну да ладно, это нам давно известно, а вот что сейчас происходит, это что-то… – Он приподнялся, на цыпочках подошел к двери и приложил к ней ухо. Потом опять сел, наклонился вперед и, превозмогая вонь нечистого тела, почти вплотную придвинул свое лицо к Бухгалтеру. – Мне страшно, Бухгалтер, – зашептал он. – Ты слышишь? Я слабею, уже третий день пошел, как силы уходят, объясни мне, что происходит, ты один это знаешь, поэтому я и пришел к тебе, втайне от всех, ты понимаешь, какое я оказываю тебе доверие?

Его глаза побелели, словно изнутри их осветила сильная вспышка света.

– Ну скажи, чего ты молчишь? – лихорадочно заговорил он.

Бухгалтер растерялся.

– Да я ничего такого не знаю, я просто написал по правде, что случилось с моим клиентом Сэмом Хэвенсоном из «Бельведер Компани». Я бухгалтер, в философии не разбираюсь, но цифры да – это мое, в общем, они там накрутили черт знает чего, ну я и начал копать, а там что оказалось, короче, я вам все в письме написал…

– Да все не то, не то говоришь.

– Ну то или не то, – сказал Бухгалтер и его нос чуть дернулся вверх, отчего на лице появилось строптивое выражение, – а написал все как есть, по правде.

– По правде…

– Ну да, а как еще по-другому? Я вам сейчас все подробно объясню, у меня же все расчеты в голове, я вам в письме об этом писал.

Великий Зодчий отмахнулся.

– У меня мало времени, Бухгалтер, и потом, я тебе и так верю.

– Правда? – Бухгалтер расслабился и стал похожим на мальчишку.

– Конечно, думаешь, я иначе пришел бы сюда?

Великий Зодчий отклонился назад и приподнял подбородок, из-под ресниц наблюдая за своим собеседником.

– Тогда вот что, – горячо заговорил Бухгалтер. – Я не мог написать вам об этом, вдруг письмо попало бы к нему в руки, но он заодно с ними, я узнал его, правда не сразу, у меня на лица память хуже, чем на цифры, но это он, я голову даю на отсечение.

– Он – это кто?

– Комиссар.

– У тебя и доказательства есть?

Бухгалтер закивал и придвинулся к Великому Зодчему.

– Фотографии. Их снял адвокат «Бельведер Компани». На них Комиссар пирует вместе с ними в «Заре Газолии», на сорок четвертом этаже, там, где в центре зала террариум с питонами, они тогда весь этаж сняли на ойлы «Бельведер Компани», сделку обмыть. Мне его лицо сразу показалось знакомым, а уже здесь я понял, где видел его.

– Кто-нибудь еще об этом знает?

– Да нет, ко мне ж не пускают никого, а адвокат исчез куда-то еще до моего ареста и на записки перестал отвечать, его в последний раз видели с какой-то красоткой, говорят, поехал развлекаться с ней на Белые горы.

– А фотографии?

– Я найду их, можете не сомневаться, – твердо сказал Бухгалтер, – он не мог просто так скрыться, не оставив копий.

Великий Зодчий кивнул.

– Ну а как ты передал письмо? Ведь у тебя полная изоляция. Тебе, наверное, и адвоката не дали.

Бухгалтер мотнул головой.

– Не дали. А изоляция, она полная, да не совсем. Отсюда есть выход, мертвым. В общем, покойный сосед помог.

Великий Зодчий усмехнулся.

– А ты рисковый, Бухгалтер, и оптимист. Молодец. Значит, вот откуда тридцать три процента. Из морга! Это ты хорошо угадал, там тоже люди работают.

И он похлопал Бухгалтера по плечу.

– Скоро выйдешь на свободу, так или иначе, это я тебе гарантирую. А что касается правды, то все не так просто, как ты думаешь, и дело не только в ойлах, которые украли мои чиновники, и даже не в философии, в которой, как ты говоришь, не разбираешься. И правильно говоришь, между прочим. Как можно разбираться в том, чего не существует? Вот ты говоришь – правда, а я говорю – истина, правд много, а истина одна, но это не значит, что она сумма правд-слагаемых. Об этом никому нельзя забывать. История, философия, политика, психология – всё это разномастные правденки, и мы отменили все эти заокеанские игрушки, которые только расшатывают ум и бередят душу, а значит, превращают нас в слюнтяев и хлюпиков. Мы заменили их одной газолийской истиной. Заметь, на благо народа. Ведь газолийцам нужна именно истина – единая, нерушимая и недосягаемая. Как им иначе преодолевать временные трудности? Поверь, я знаю их, сам недавно за Нехорой побывал, у них там подростки на четвереньках ползают вместе с собаками, а они всё детей плодят, непонятно только, от кого, мужики-то весь день на

земле валяются, нажрались всякой дряни… но веруют, должны верить…

Великий Зодчий вздрогнул и оглянулся на дверь, потом перевел настороженный взгляд на молчавшего Бухгалтера.

– Ничего не слышишь?

Тот покачал головой, держась за правый бок и изо всех сил стараясь не согнуться. Глаза Великого Зодчего снова вспыхнули белым светом, как давеча, и, сжав ладонями виски, он зашептал:

– Я слышал стоны, когда шел сюда. Ты точно ничего не слышишь. Нет? Тшш…

Он прижал к губам палец, округлившимися глазами уставившись на Бухгалтера. И вдруг резко вскочил, стряхивая с себя наваждение, и полез в карман.

– Вот память стала, самое главное-то и забыл. На, читай и радуйся, скоро на свободу выйдешь…

Боль в боку усилилась и железным колом поползла наверх, вытесняя дыхание. Ловя ртом воздух, Бухгалтер взял лист бумаги из протянутой руки и попытался сосредоточиться. Но буквы прыгали под его воспаленным взглядом, отказываясь соединиться, а когда они наконец выстроились рядами, их сразу же накрыл густой мрак, заполнивший камеру.

– Читай, читай, видишь, здесь моя подпись стоит, да вот она, сюда смотри… – доносился до него откуда-то из глубины голос Великого Зодчего, словно он погружался в колодец. – А мне идти надо, меня скоро искать будут.

Бухгалтер, зажав в руке лист бумаги, продолжал хватать ртом воздух, но его становилось все меньше и меньше, пока он совсем не улетучился и Бухгалтер со стоном не повалился на бок.

Великий Зодчий шел по лабиринту, громко шлепая по лужам и уже не обращая внимания на крыс и летучих мышей, с шелестом проносившихся над головой. Предвкушая, как сейчас сядет в вертолет и навсегда покинет подвал, он с наслаждением вдыхал в себя зловоние, зная, что это в последний раз. Услышав за собой шаги, он замедлил темп и сразу же услышал знакомый голос:

– Ну что, полегчало?

Снизу в лицо Великого Зодчего блеснули разноцветные искры.

– А ты что здесь делаешь?

– А я всегда с тобой, – ответил Первый Советник и захихикал.

Некоторое время они шли молча, плечом к плечу, как солдаты, в ногу, синхронно огибая повороты.

– Ну ты артист, – прервал молчание Первый Советник. – И не

жалко тебе его?

– Жалость человека к человеку….

– …подрывает газолийскую истину, – договорил за него Первый Советник.

– Так точно, и потом, ты же сам понимаешь, тут или он, или я. Однако я помог ему, не волнуйся.

– В Газолии, где торжествует одна истина, нет места личной правде, что суть диавольский эгоизм. И все-таки, зачем ты пошел к нему? Я же говорил, наша логика сама расставит все по своим местам. Он же не сегодня-завтра помрет. И все твои тени вместе с ним.

– А вот и промахнулся. Мне мало газолийской логики, да и скучно до смерти, здесь ведь речь о спасении идет, а ты мне всё – «логика…», прямо как заокеанский позитивист. Он невинен, наш Бухгалтер, а в Газолии таких раз-два и обчелся. Он исключение, и исключения, конечно, опасны, ты прав, но они и нужны нам. Жертвуя ими во имя единства, мы укрепляем газолийскую истину. Это уже металогика, старина, почище заокеанской метафизики, в общем, не твоего ума дело.

Бодро шагая вперед, алмазные пряжки освещали черноту, из которой на слова Великого Зодчего раздался смешок.

– Энтропия, значит? Чтоб система не взбесилась, плеснем в нее стаканчик свежей крови? Слушай, да ты просто Дракула. А заодно и выяснил, кто передал письмо. Комиссар, наверное, все уже организовал на высшем уровне.

Великий Зодчий повернулся и пристально посмотрел в темноту.

– В нашей профессии нет такого слова «заодно», и ты это прекрасно знаешь. То, что «заодно», в какой-то момент может оказаться самым главным, но тогда уже будет поздно. Мы же настоящие пророки, старина, надеюсь, ты отдаешь себе в этом отчет? Мы просчитываем будущее до мельчайших деталей, с математической точностью, и именно поэтому оно в наших руках. А Комиссар очень эффективно служит нашей истине. Исключительно полезная личность.

– И кто же это оказался?

– Представь себе, не тридцать три, а тот последний, свободный и непредсказуемый процент, как я и думал, впрочем. Сын работника морга. Тот принес письмо домой, чтобы назавтра лично передать Комиссару, а мальчишка нашел его и решил отправить по адресу.

Первый Советник расхохотался.

– Во Бухгалтер дает, все-таки под счастливой звездой родился. Хоть в чем-то ему повезло. Я предполагаю, меры уже

приняты. Дело-то по газолийским законам пахнет диверсией. Да и бумага могла быть отравлена. В общем, под угрозу была поставлена безопасность Газолии и твоя лично. И какой орган будет удален, позвольте спросить? Или конечностью ограничимся?

– До свадьбы заживет, но приятного мало. Зато всю жизнь будет помнить это письмо. А Бухгалтеру не просто повезло, опять ты не прав, тут сработала сила притяжения.

– Вот тебе и физика, старина. Сила, с которой тело А воздействует, начинается на теле Б и направлена в сторону тела А. Тело Б проделывает то же самое с телом А.

За разговором они не заметили, как поднялись из подвала на крышу. В лицо им уже дул свежий ветер Баблограда, и на взлетной площадке сиял золотой вертолет, готовый взмыть в ночное небо.

– Ты со мной? – спросил Великий Зодчий, стараясь перекричать ветер.

– Я всегда с тобой, – ответил Первый Советник. – Мне с тобой удобно. И потом, ты знаешь, я, может, тоже на кое-что надеюсь. В Газолии ведь заранее не известно, кто будет спасен, а кому гореть. Шанс есть у всех. Мы, газолийцы, – широкий этнос. – И, сложив ладони рупором, он прокричал что-то Великому Зодчему.

– Не понял, – ответил тот, залезая в вертолет.

Он опять крикнул, пятясь назад и постепенно сливаясь с темным воздухом.

«Дело хозяйское, не хочешь, оставайся», – подумал Великий Зодчий и закричал:

– Все дело в одном проценте, в том самом, свободном и непредсказуемом, который притягивает к себе другой процент, тоже свободный и непредсказуемый. Тут-то мы их и раскололи.

Вертолет оторвался от площадки, взвился над городскими огнями и взял курс на замок. Внизу черной лентой ползла великая Алет-река. Размышляя о последних словах Первого Советника, Великий Зодчий снизил скорость и стал опускаться. Теперь он отчетливо видел мутную воду, в которой ничего не отражалось: ни небо, ни звезды, ни даже низко нависший над ней сверкающий вертолет. Не зря баблоградцы называли ее мертвой рекой. И все-таки Алет-река жила. Ее вязкие воды кишели плоскими, безглазыми рыбами с длинными ртами, на три четверти прорезающими их тела. Этой чудо-пастью они заглатывали друг друга. Сейчас рыбы были такого же цвета, как и река, практически сливаясь с ней. Иногда они переворачивались и из их брюха выскальзывали рыбешки помельче, с такой же длинной пастью. Уже через несколько минут новорожденных

нельзя было отличить от остального племени. Они с такой же безразличной жадностью поглощали зазевавшихся соплеменников и плыли дальше. Рыбы спаривались на ходу, как собаки, слипшись короткими треугольными хвостами и угрожающе разевая пасть, чтобы не быть проглоченными кишащими вокруг собратьями. Разлепившись, они с удвоенной энергией врезались в косяк в поисках добычи, видимо, сильно изголодавшись во время случки.

Великий Зодчий знал, что с тех пор, как в Алет-реке появились эти рыбы, в ней исчезли все другие формы жизни. К тому же эти, пока безымянные, позвоночные размножались с невероятной скоростью, с лихвой компенсируя свою столь же невероятную прожорливость. В тайных донесениях он читал, что в деревнях за Баблоградом и дальше к Синим горам народ уже давно перестал купаться и жаловался, что стала пропадать домашняя птица, и что по течению нескончаемой чередой плывут обглоданные овечьи и козьи каркасы.

Опустившись пониже, он увидел, как несколько рыб выбрались на берег и медленно и неуклонно ползут по каменной набережной наверх в Баблоград, безошибочно навигируя полуоткрытой пастью. Он перевел взгляд на реку, и ему вдруг почудилось, что в ней больше нет воды, что всю ее выпили неведомые рыбы, которые скоро выползут из ее сухого лона и в поисках пищи и среды обитания заполнят Баблоград, а потом пойдут на всю Газолию живым, неотвратимым валом с огромной пастью. К тому времени они, может, уже и летать научатся, подгоняемые волей и голодом, и не будет в их земле никому спасения. Содрогнувшись, Великий Зодчий надавил на рычаг и взлетел ввысь, думая о том, что надо поскорее обнести замок великой стеной.

Дверь в камеру с грохотом распахнулась, и Бухгалтер проснулся. В одну секунду тесное пространство заполнили люди в белых халатах. «Восемь, – пронеслось в его затуманенном мозгу, – плюс Комиссар».

– Ну что? – спросил Комиссар, встав перед койкой и широко расставив ноги. – Будешь подписывать? Наверное, уже так ослаб, что ручка в пальцах не удержится?

Бухгалтер только мотнул головой, будто отгоняя мух.

– Я с вами больше не буду разговаривать.

– Какой гордый, – заметил Комиссар.

Остальные молчали, опустив глаза со скрещенными внизу живота руками, как в храме.

– Можно полюбопытствовать, по какой причине изволите

молчать?

– Великий Зодчий все знает, – закричал Бухгалтер. – Я ему все рассказал, он верит мне, и вы будете наказаны, все до единого.

– Так, – сказал Комиссар и с наигранным изумлением оглядел всю компанию. – И когда же это ты успел с ним покалякать?

– Сегодня ночью.

Комиссар присвистнул.

– Во дает, а? Что с человеком делают упрямство и гордыня! Ты же вроде и не педераст, а? Наматывайте на ус, ребята. Это вам урок на всю оставшуюся жизнь.

– Да, он приходил, и мы разговаривали с ним, я все рассказал ему, негодяй, вот, посмотри, я сейчас покажу тебе…

Бухгалтер скатился с койки на пол и стал шарить по нему руками между неподвижными, начищенными до зеркального блеска сапогами.

– Что ты ищешь? Скажи, мы поможем.

Но Бухгалтер продолжал ползать по полу, пока его не подхватили сильные руки и не швырнули обратно на койку. Кто-то кинул ему на грудь скомканный лист бумаги.

– Это, что ли?

Когда Бухгалтер трясущимися руками разгладил комок, то увидел, что бумага совершенно чистая, без единой буковки.

– Ну ладно, хватит, – сказал Комиссар. – Тебе нужна помощь, Бухгалтер, и мы ее окажем. Видишь, какая со мной спецкоманда. А вот подпись твоя больше никому нахер не нужна. Ты же у нас чокнулся, а подпись психически неадекватного так же, как и все его заявления… ими только задницу подтирать, усек?

Он кивнул команде и вышел. Когда за ним захлопнулась дверь, мужчины в белых халатах обступили койку со всех сторон. Двое схватили Бухгалтера за руки и за ноги; кто-то сорвал с него рубашку и, морщась, стал ощупывать тело крепкими пальцами в резиновых перчатках; кто-то стащил штаны и начал давить на живот. Еще кто-то наклонился над ним со шприцом, одновременно он почувствовал, как другие резиновые пальцы разжимают ему рот. Он замычал и укусил скользкий палец. Его так двинули по подбородку, что у него посыпались искры из глаз. Он заорал еще громче и стал вырываться.

– Не прикасайтесь ко мне, сволочи, негодяи, убирайтесь отсюда, уберите свои грязные лапы!

Спецкоманда молчала, терзая его тело, пока кто-то из них не бросил:

– Бритву давай.

Ему сбрили бороду и наголо побрили, надавив на горло, чтобы не брыкался, а потом раздели донага, положили на пол и стали бить.

– Поаккуратнее давай – печень, почки, селезенка, по яйцам бей, чтоб все по порядку… – слышал он, теряя сознание от нестерпимой боли в правом боку.

…Бухгалтера разбудила тишина. Он приподнял голову и увидел, что его оставили лежать на полу. Он пошарил вокруг, но не нашел своей одежды. Пощупав голову, он посмотрел на пальцы – кровь. Тут до него дошло, что его не перенесли в изолятор, он все время слышал это слово, пока его били, и больше, чем умереть, боялся оказаться в другом месте. Он так обрадовался, что его оставили в тридцать девятой, что забыл про ярость. Еще он подумал, что ведь ненавидеть можно только людей, и это навело его на другие, более важные мысли. Он знал, что спецкоманда скоро опять завалится сюда, а потом еще раз и еще, пока он не умрет под их резиновыми пальцами и начищенными до блеска сапогами, голый, бессильный, мокрый от крови, слез и соплей.

С трудом перевалившись на живот, Бухгалтер стал ползать по полу, шаря по нему руками. Ничего. Вдруг что-то блеснуло в его памяти и, приподнявшись на колени, он засунул руку под матрас соседа, на котором ночью сидел Великий Зодчий. Кожу охладил металл, и он вытащил небольшой нож с костяной рукояткой и чуть изогнутым к острию лезвием.

– Я же говорил, что он был здесь, это у тебя самого от крови крыша поехала, – сказал он Комиссару и ухмыльнулся во весь рот.

Бухгалтер вскарабкался на койку и лег на спину, с любопытством разглядывая нож, похоже, самодельный. Он потер пальцем медные накладки, прошелся по долам. Интересно, они служат для стока крови или чтобы облегчить клинок? Вдруг он нахмурился, поняв, что надо торопиться. Ведь спецкоманда могла ввалиться в любую минуту. Прикрыв глаза, он сразу увидел жену, словно она ждала его. В ее глазах вспыхивали те самые, его любимые золотистые искорки. Теперь он знал, что она тогда, подходя к забору, протягивала ему в руке, которую сначала прятала за спиной. И что говорила ему, утешая и снимая с него вину: «Мы будем жить, несмотря ни на что, мы будем жить».

Бухгалтер играючи провел пальцами по изгибу ножа, приветствуя смерть, а потом, не раздумывая, поднял ногу и с силой быстро чиркнул себя под коленом и сразу же проделал то же самое под другим. Из-за боли в боку он почти ничего не почувствовал. Она же заглушила и следующую боль, когда он

перерезал запястья. Выпав из руки, нож, звеня, покатился по полу. Бухгалтер не стал поднимать голову, боясь, что при виде крови потеряет сознание, а оно было еще нужно ему, но с благодарностью чувствовал, как она вытекает из его тела, взамен даря свободу.

Он закрыл глаза и погрузился в мрак. Он чувствовал, как легчает тело, избавляясь от страха и печали. Потом темнота, окутавшая мир, стала светлеть, расходиться, растворяться и таять, возвращая земле краски, и он увидел реку. Она скользила по зеленой долине, отражая в себе солнце и небо. Сначала Бухгалтер решил, что эта была их речка, но слишком извилисто было ее русло, слишком глубоки и искристы светлые воды и широки берега. Там, где Нипега, а это могла быть только она, прекраснейшая река его страны, еще сливалась с небом, замаячила белая точка. Увеличиваясь, точка приближалась к нему, и уже скоро он разглядел байдарку, такую же белую, как и облака, проплывающие над рекой. В байдарке сидел его сын, чуть повзрослевший, с серьезным, сосредоточенным лицом. Упрямо сжав губы и чуть нахмурив брови, он плавными и равномерными полукругами рассекал веслом лучистый воздух, точь-в-точь, как учил его отец.

notes

Примечания

1

СИНЯЯ БОРОДА
Что стоишь ты? Ты боишься, свет мой Юдит?

ЮДИТ
Нет, за что-то мое платье
здесь случайно зацепилось.

Бела Балаж. «Замок герцога Синяя Борода»

2

Здесь и далее использованы фрагменты из пьесы Ларисы Вольперт «Семь дней в Дерпте».